ИНОСТРАННАЯ *литература*

ИНОСТРАННАЯ Литература

9

1961

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

«Болгарская девушка» — гравюра польской художницы Эмилии Носка-Парочки.

9

1961

СЕНТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

Содержание

ДОКУМЕНТ, ОКРЫЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

(Зарубежные писатели о проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза) 3

В космические дали (Стихи)

МАКС ЦИММЕРИНГ — Человек — земли владыка. БЕРНАРД КОПС — Юрию Гагарину. УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС — Новый полет Леонардо. РОБЕРТО КРУС — Герману Титову 11

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Особняк (Роман) . . 15

Молодые поэты Латинской Америки

ХУАН ХЕЛЬМАН — Речь в защиту Кубы. ХУЛИО СЕСАР СИЛЬВАЙН — Сегодняшний день. Блюз о моей собаке. ХУЛИО УАСИ — Сын народа. Поэт снова на лоне природы. САУЛЬ ПЕРЕС — Человек — город (Отрывки). АМЕРИКО АБАД — Хозяйка дома 77

МОНГО БЕТИ — Завершенная миссия (Роман) 85

Турецкая новелла

ОРХАН КЕМАЛЬ — Братская доля. ЯШАР КЕМАЛЬ — Коза. ЗИЯ ЯМАЧ — В сапогах. САМИМ КОДЖАГЁЗ — Смерть старого вола 147

КРИТИКА

АННА ЗЕГЕРС — О глубине и широте в литературе 161
И. ГОЛИК — Искусство новых горизонтов . 173
ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН — Уильям Фолкнер 178
ХОСЕ САНТАКРЕУ — Оружие народа (Стихи Бласа де Отеро) 187

Из редакционной почты

МАСАХИТО АРА — Писатели вышли из своих кабинетов 193
МИТЧЕЛ УИЛСОН — После первых читательских откликов 196

ПОЛЕМИКА

Ю. ЮРЬЕВ — Если придерживаться фактов 199

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы . . 202

ОЧЕРКИ

ОТТЬЕРО ОТТЬЕРИ — Доннарумма идет на приступ 209

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕО МОНБУЙРАН — Преступление совершается в Бонне... 222
ЦАРСТВО МОЛЧАНИЯ 231

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ЛЮДВИГ РЕНН — Заказчик — рабочий класс (Фреска Вольфганга Франкенштейна) . . 237

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Р. ОРЛОВА — Искатель правды (К 25-летию со дня смерти Линкольна Стеффенса) . . 243
А. ПИОТРОВСКАЯ — Певец шахтерской Силезии (К 70-летию со дня рождения Густава Морцинека) 249

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

В. Семанов — Великий писатель Китая. ◇ Т. Мотылева — Театр Брехта. ◇ Николай Габинский — Трагедия трех поколений. ◇ М. Кораллов — Человечность и социальность 252

Издано за рубежом

Л. Ерихснов — Живые связи. ◇ В. Фиников — Клод Оливье покидает мир авантюристов. ◇ В. Федосеев — За колючей проволокой 259

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 263

ЗАРУБЕЖНАЯ КАРИКАТУРА

СИНЕ — Роман про любовь. (Вместо рецензии) 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 287

На вклейке: БОЖИДАР БОЖИЛОВ — Есть такая профессия! (Стихотворение)

ДОКУМЕНТ, ОКРЫЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Зарубежные писатели о проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза

Румыния

Михай Бенюк

Вот оно, счастье!

Когда я слушаю запечатленные в грамзаписи голоса таких замечательных советских писателей, как Горький, Серафимович, Островский, Павленко, Фадеев, то подобно светлым облакам на летнем небосводе возникают в памяти такие произведения, как «Мать», «Железный поток», «Как закалялась сталь», «Пугачев», «Дума про Опанаса», октябрьская поэма «Хорошо!», «Оптимистическая трагедия», «Счастье», «Молодая гвардия»... Один лишь перечень этих названий звучит как бы мощным раскатом первых торжественных аккордов величественной симфонической поэмы.

Укажите мне другой пример такого массового участия писателей в служении народному делу, в борьбе под развевающимися знаменами Родины. Назовите другую литературу, которая была бы более человечной, горела бы за более высокие идеалы.

И, естественно, тебя осеняют мысли о стране, о людях и их деяниях, о народе, которые вдохновляют писателей. Родина Ленина, привыкли мы говорить, родина коммунизма, который строят воодушевленные мощным подъемом советские народы. В стране этой, от первых залпов «Авроры» на Неве в октябре 1917 года и до космического полета Юрия Гагарина в апреле 1961 года, от одного съезда Коммунистической партии до другого произошли и происходят события, определяющие новый смысл истории, а изумленное человечество с удивлением спрашивает: что это за люди живут в Советском Союзе?

И для каждого ясно, что вопрос этот выражает, с одной стороны, изумление всего мира перед беспримерными достижениями советских людей в области политики, экономики, науки, техники, культуры или достижениями в области искусства, а с другой стороны, в нем звучит надежда огромной массы людей земного шара, что именно Советский Союз будет отстаивать до конца и обеспечит миру мир.

Советский человек! Ярче чем когда-либо его величие охарактеризовано проектом Программы Коммунистической партии Советского Союза, которая будет утверждена XXII съездом.

Что предлагает людям коммунизм? Равные права не на бумаге, а на деле, на основе уже достигнутых успехов и побед.

Но все ли это? Правда, этого вполне достаточно, но это не все... Нужно подчеркнуть, что коммунизм несет счастье людям труда. И очень важно понять, что при коммунизме труд не будет означать только выполнение какого-то общественно-полезного задания, а будет источником истинного удовлетворения для того, кто выполняет это задание общества.

За каких-нибудь двадцать лет в Советском Союзе, согласно новой Программе, будет достигнут такой материальный и духовный уровень, при котором труд не будет

означать хлеб, добытый в поте лица, ибо полезный труд, для удовлетворения собственных нужд уже сейчас обеспечен всем гражданам. Труд и сейчас уже дело чести и славы в Стране Советов. При коммунизме же счастье человека будет обеспечено не только плодами его труда, но и сам трудовой процесс даст человеку наивысшее моральное удовлетворение.

Проект Программы КПСС говорит об очень многом. Вот почему его изучают и обсуждают с таким большим воодушевлением. Ведь речь идет не больше, не меньше как о том, что стала действительностью мечта многих поколений и нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась началом конца всех общественных формаций, основанных на эксплуатации человека человеком, на разделении общества на антагонистические классы. Сейчас в проекте новой Программы КПСС уже решительно заявлено о том, что конец этой эры наступает и по пути, открытому советскими людьми, смогут пойти все народы мира.

Советский человек! Открыватель новых путей на Земле и в межпланетных далях!

Программа КПСС точно указывает и срок начала новой эры бесклассового общества в СССР!

Начало! Это начало не только для трудящихся СССР, но и для трудового народа всего мира. Ведь какой трудящийся не стремится к победе великих идеалов, которые провозглашает Программа КПСС: Труд, Мир, Свобода и Счастье людей. Какой трудящийся не мечтает о том, чтобы плоды его труда не присваивались теми, кто сам не трудится.

Притягательная сила новой Программы КПСС состоит в том великом моральном кодексе, в той новой этике, которая изложена в этом документе.

И эта новая мораль совершает победный путь вокруг всей нашей планеты, как совершили его первый космонавт Юрий Гагарин и второй, изумивший весь мир, «долетающий» космонавт Герман Титов.

Вспомним слова из Коммунистического манифеста. Более ста лет назад в этом историческом документе было сказано: «Призрак бродит по Европе, призрак Коммунизма!»

С какой гордостью могли бы сейчас сказать Маркс и Энгельс: с исторической стартовой площадки, созданной Лениным, запущен уже не призрак, а сам Коммунизм, плотью которого являются замечательные достижения, факты и цифры советской действительности... И летит этот олицетворенный идеал справедливейшего человеческого общества, согревая сердца людей и призывая их трудом и борьбой приблизить счастье всех людей на земле.

Новая Программа Коммунистической партии Советского Союза — это крылья человечества, устремленного к светлому будущему.

* * *

Сейчас перед XXII съездом люди задают себе и такой вопрос: что за человек Н. С. Хрущев, руководитель советского народа в эпоху развернутого строительства коммунизма? Те, кому привелось чаще встречаться и беседовать с товарищем Хрущевым, имеют, конечно, больше права писать о нем, чем я. Но тот, кто видел и слышал его хоть однажды, никогда этого не забудет.

Это было во второй половине прекрасного августовского дня, во время празднования десятилетия со Дня освобождения Румынии от фашистского ига. Над озером Снагов, близ Бухареста, клонившееся к закату солнце рассыпалось золотистыми нитями яркого света. Народ веселился. Окруженный группой руководящих деятелей партии, стоял дорогой наш гость Никита Сергеевич Хрущев. Тогда я видел его впервые. Он заразительно смеялся, увлеченный игрой выступавших артистов-комиков, как может смеяться лишь человек, умеющий радоваться жизни. Затем он заговорил, и в его глазах заискрился тот свойственный простым людям свет, в котором накопленная тысячелетиями народная мудрость пословиц переплетается с личным жизненным опытом

человека, пережившего немало трудностей, но уверенного в себе и в неиссякаемых силах человека. До меня его слова не долетали из-за расстояния, на котором я от него находился, но постепенно установилась глубокая тишина вокруг этого единого центра, мощно привлекающего все взоры.

Вновь я увидел Н. С. Хрущева на Третьем съезде советских писателей в 1959 году в Большом Кремлевском дворце. Он вошел в зал заседаний скромно, почти незаметно и, усевшись, внимательно вслушивался в каждое слово ораторов. Потом он выступил со своей большой речью о литературе. С чем я мог бы сравнить эту потрясающую и в то же время вдохновляющую речь, не написанную заранее и прозвучавшую словно мгновенно налетевшая весенняя буря? Разве лишь с такой именно весенней бурей, ломающей сухие ветки, сдувающей прочь остатки прошлогодних блеклых листьев, содрогающей от самого корня до верхушки лес, освеженный и запевший всеми своими ветвями. И все же мне кажется бледным это сравнение для отображения звучаний всеохватывающей человечности в голосе Никиты Хрущева, этого человека, умудренного годами, но с неизмеримо молодой душой, окунувшегося в волны всепобеждающей коммунистической революции, которая зовет и влечет к себе все сердца, охваченные неутомимым желанием увидеть наконец, как повсюду и навсегда исчезнет гнуснейшее иго эксплуатации человека человеком в любой форме.

В словах Н. С. Хрущева звучала непоколебимая вера в духовные силы каждого человека, даже такого, кого обстоятельства и личная незадачливая судьба толкнули ко дну. Слышалась в этих словах безграничная любовь к людям, исполненная желания понять, помочь, поднять на ноги упавшего и направить его на правильный путь, даже если с его стороны не последовало еще ничего, кроме обещания исправиться и стать настоящим человеком. Он говорил не напыщенными фразами о социальной или социалистической этике, а живыми образами, приводил конкретные примеры, рассказывал о том, что должна означать на деле подлинная близость к человеку, изображение конкретных фактов, и говорил об этом с большой чуткостью, юмором и, главное, с большой верой в человека. Писатель чувствовал — а нас там было несколько тысяч, прибывших из разных стран мира,— как Никита Хрущев в своей речи словно очерчивал фосфорическим кончиком пера те стороны человеческой жизни, которым литераторы в силу своей профессии должны уделить особое внимание.

Впрочем, вся его речь была сжатым, насыщенно содержательным трактатом о человечности, бьющей из неиссякаемых источников коммунизма.

Думается, что каждый из нас чувствовал себя как растение после летнего ливня, со сверкающими каплями на ветвях и распускающихся почках. Много живительной радости было в этом, но было и нечто более знаменательное.

Я не беседовал ни с кем сейчас же после выступления Хрущева, но я уверен, что, если бы спросил, скажем, Твардовского, Корнейчука, Маргариту Алигер, Бориса Полевого, Арагона, Анну Зегерс или любого другого из моих знакомых, присутствовавших на съезде, каждый из них сказал бы мне, что теперь он проникся чувством еще большей ответственности и не столько перед своим творчеством, сколько перед людьми вообще.

Конечно, писатели, слышавшие тогда Хрущева, не забудут ту хорошую оценку их творчества, о котором было сказано, что оно служит дальнобойной артиллерией нашего времени в области идей, причем было подчеркнуто, что живем мы в эпоху ракет и искусственных спутников, когда Советский Союз является основоположником и могучей силой, открывающей и прокладывающей новые пути. Эта положительная оценка содержала одновременно и указание на огромную ответственность писателя перед человечеством за написанное им призывное слово нашего времени.

В Георгиевском зале Кремлевского дворца, где после окончания работы съезда состоялся прием, Никита Сергеевич Хрущев выразил желание лично познакомиться с каждым зарубежным писателем. Советские друзья искали нас по залу, чтобы представить ему. Его голубые глаза приветливо светились, и к каждому у него имелся вопрос, каждого он внимательно выслушал, и у каждого из нас запечатлелась в памяти его хорошая, светлая улыбка.

Затем я неоднократно слушал выступления Никиты Сергеевича Хрущева по важнейшим вопросам нашего времени: о всеобщем и полном разоружении, о мире для всех народов. Видел, как на III съезде Румынской рабочей партии люди впитывали каждое его слово, как плодотворное семя, брошенное уверенной рукой на благодатную почву. Неутомимый, стойко и пламенно преданный делу народов, он каждым своим словом, которое мне привелось слышать, вселял в сердца людей уверенность, радостное ощущение жизни, желание превзойти самого себя.

Первые искусственные спутники Земли, запущенные Советским Союзом, полет ракеты, облетевшей Луну и впервые снявшей пелену неизвестности с ее невидимой стороны, первое путешествие в космос коммуниста Юрия Гагарина возбудили на всем земном шаре безграничное восхищение перед людьми созданной Лениным страны, и все человечество с неописуемым интересом и восхищением следило за этими достижениями. Искреннее восхищение вызывает и неутомимая борьба за дело мира во всем мире Никиты Сергеевича Хрущева.

Недавно я прочитал в одном из его выступлений, как он, конечно, не без некоторого сожаления, говорил о том, что из-за общественных дел у него нет времени даже поиграть со своими внучатами, которых он так любит. Сколько самоотверженной красоты в этом отказе от личных радостей, какая неизмеримая любовь к человеку — столь присущая коммунисту Никите Сергеевичу Хрущеву — проявляется во всем этом. Да, забота и думы о всех нас, о всем человечестве не оставляют ему времени приголубить своих внучат.

За это ему глубоко признательны современники, честные миролюбивые люди нашей планеты, и будут вечно признательны внуки наших внуков.

Венгрия

Лайош Мештерхази

В интересах всех людей

В течение жизни одного поколения на месте бывшей царской России появилась ведущая держава мира; весь мир знал об отсталости народов царской России, а сегодня даже те, кто принадлежит к противоположному лагерю, с удивлением вынуждены признать блестящие успехи советского народа. Эта гигантская изумительная перемена не может быть объяснена ни личностями, ни размерами страны, ни численностью населения; всей сути происшедшего не сможет понять и тот, кто будет искать объяснение в формальном изменении строя, оставляя без внимания содержание социалистической революции.

Советский народ идет во главе мира, ибо, решая свою собственную судьбу, он сознательно беспокоится о судьбах всего человечества. Естественно поэтому, что события, происходящие в Советском Союзе, всегда интересуют простых людей. Именно поэтому даже буржуазные газеты всего мира вынуждены помещать сообщения об этих событиях на самых видных местах. То, что началось в октябре 1917 года в России, а затем и в других странах, вставших на путь социализма, можно любить или ненавидеть, но никто не может остаться к этому равнодушным, как нельзя остаться равнодушным к самой жизни и будущему! История Советского Союза имеет поистине мировое значение.

У нас в Венгрии простые люди гордятся тем, что и они внесли свой вклад в дело социалистической революции: они помнят добровольцев гражданской войны и Венгерскую советскую республику 1919 года, просуществовавшую сто тридцать три дня. Самым значительным событием в нашей национальной истории со дня основания отечества было Освобождение, которое нам принес в 1945 году Советский Союз, и мы благодарны ему за это. Следуя примеру советского народа, мы научились свободно жить.

С тех пор как наша страна стала социалистической, она больше не является «маленьким государством». С тех пор как наш народ перестал быть невежественным и презираемым, он навсегда распрощался с нищетой. Мы всегда помним о тех переменах, которые произошли в нашей стране за шестнадцать лет, и всегда вспоминаем тех, кому мы обязаны этим.

Вполне естественно, что каждое событие, происходящее в Советском Союзе, оказывает на нас чрезвычайно сильное влияние. Особенно сильное влияние на всю нашу общественную жизнь оказал подлинно революционный дух, которым были проникнуты все решения XX съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1956 года. После разгрома контрреволюции консолидация революционных сил происходила у нас не только очень быстро, но можно смело сказать, что никогда еще социалистический строй в Венгрии не был так силен и крепок, как сейчас. Буржуазные политические наблюдатели не могут понять, как это случилось. Западная пресса неоднократно писала о каком-то «чуде», но мы очень хорошо знаем, что это за чудо. Это чудо наша партия обрела в решениях XX съезда КПСС и в интернациональной помощи братских народов.

Если проанализировать изменения, происшедшие у нас после XX съезда КПСС, который оказал нам большую идеологическую помощь, то первым и основным политическим фактором является более тесная связь партии с народом. Поднялась политическая активность масс, появились десятки тысяч талантливых работников; у нас никогда прежде не было такой деловой, образованной, инициативной, готовой на любые жертвы, воедино слитой с народом политической гвардии руководителей в селах, районах и городах, как сейчас. Применение ленинских принципов дало возможность в неслыханных масштабах развернуть наши творческие силы. Все новые и новые десятки тысяч трудящихся борются на наших предприятиях за высокое звание «бригад социалистического труда», эти бригады добиваются замечательных результатов не только на производстве, но и в формировании людей нового склада, новой культуры и морали.

Тот факт, что начатая два года назад коллективизация сельского хозяйства сегодня по существу почти полностью завершена, является выражением доверия нашего крестьянства к народной власти и свидетельствует о ее силе и прочности. Добавлю, что за эти два года наше крестьянство проявляло все больший интерес к теоретическим вопросам своего труда, к научно-популярным докладам, специальным сельскохозяйственным курсам и к сельскохозяйственной литературе (за последние два года этой литературы во многих местах было продано больше, чем за предыдущие четырнадцать лет).

Само собой разумеется, что мне лучше всего остановиться на освещении изменений, происшедших в близкой мне области, в области идеологической работы и культурной жизни. Я думаю не только об общем подъеме нашей научной мысли и искусства, не только о таких фактах, которые говорят о том, что произведения нашей литературы стали более яркими, народными и всеобъемлющими, чем когда-либо. Но прежде всего я думаю об огромной притягательной силе революционной мысли, обновленной ленинским духом, освобожденной от оков догматизма и искажений ревизионизма.

До 1956 года наша интеллигенция, студенчество, молодые работники искусств проявляли живой интерес к философии так называемого «третьего пути». Этот интерес наблюдался и у молодежи, которая училась в школах, изучала марксизм и откровенно одобряла основные принципы социализма. Характерно, например, что в то время молодые писатели, за небольшим исключением, провозгласили себя последователями более старых писателей, принадлежащих к сторонникам «третьего пути», так называемым «народным писателям». Изменения, происшедшие у нас после XX съезда КПСС, свидетельствуют о том, что увлечение философией «третьего пути» почти полностью прошло. Даже более зрелые сторонники этого пути — писатели и теоретики литературы — в значительной степени приблизились к нам, марксистам, а в кругу молодых писателей марксистское мировоззрение стало сегодня уже нормой. (В этом отношении различие между членом партии и беспартийным почти исчезло; читая, например, книги молодых писателей, слушая споры и выступления молодых интеллигентов, нельзя сказать, кто из них член союза молодежи, а кто нет. Подавляющее большинство их пишет, говорит и мыслит в коммунистическом духе.)

Когда на другой день после героического полета Гагарина в космос я проходил по будапештским улицам, то буквально на каждом шагу слышал: «Как важно, что это совершили мы!» И это самое «мы» напомнило мне о произошедшем у нас за последние годы сдвиге и в понимании интернационализма. И если в начале этой статьи я говорил о том, что в 1919 году мы вслед за советским народом первыми вступили на путь, указанный Лениным, провозгласив Венгерскую советскую республику, то следует сказать и о том, что в 1920 году у нас в Венгрии появился фашизм. В течение четверти века фашизм самым чудовищным образом отравлял и сознание людей. Особенно глубоко пустила корни националистская зараза. Не отважусь сказать, что все это уже в прошлом, но безусловно, что самое трудное уже позади. А раз это так, то главную роль и здесь сыграла советская политика мирного сосуществования, все более растущий авторитет Советского Союза, его достижения последних лет в науке и искусстве; я мог бы перечислить победы, одержанные Советским Союзом на дипломатической арене и в покорении космоса, замечательные творения Шолохова, Чухрая и многих других.

Не могу не упомянуть и о личном влиянии Н. С. Хрущева, выступившего 4 апреля 1958 года с яркой речью на многотысячном митинге трудящихся Будапешта, или о его беседах в более узком кругу с ведущими представителями венгерской интеллигенции в Академии наук, оставивших неизгладимое впечатление у всех присутствующих и явившихся для нас бесценной помощью в революционной идеологической работе.

История Советского Союза имеет мировое значение, в ней заключены судьбы всего человечества. Сила и влияние съездов Коммунистической партии Советского Союза свидетельствуют о том, что на них обсуждаются самые актуальные вопросы, в решении которых кровно заинтересовано все человечество. Мы с нетерпением ждем XXII съезда КПСС, который поможет и нам в решении наших насущных проблем. Мы желаем съезду Коммунистической партии Советского Союза смело идти вперед по ленинскому пути, одерживая новые великие победы в интересах всего человечества.

* * *

Я уже закончил и отправил свою статью, когда был опубликован проект Программы Коммунистической партии Советского Союза. Этот документ включает в себя самый грандиозный созидательный план в истории человечества, который находится сейчас в центре внимания всей мировой общественности. Проект новой Программы КПСС превзошел все наши ожидания. И за всем этим великим делом стоит народ, наш современник — советский народ со своей могучей, реальной силой. Думаю, что теперь во всех частях света люди увидят, как засверкает перед ними заря освобождения от гнета, несправедливости, невежества и войны.

Как замечательно быть современником, свидетелем и летописцем этого великого подвига!

Чехословакия

Франтишек Кубка

Что задумано, то и сбудется

Немного о прошлом

Писатель лучше всего пишет о том, что он пережил сам.

Я родился в тот год, когда Николай II вступил на трон Романовых, а владыкой моей родины был Франц-Иосиф I. Королевство чешское — самая богатая часть Австрии — существовало тогда лишь номинально, а в действительности погибало. Оно было всего-навсего административной единицей с наместником во главе.

Когда мне было десять лет, вспыхнула русско-японская война, а вскоре за ней первая русская революция, которая потрясла и Австрию. Император вынужден был

разрешить всеобщее избирательное право. Но это не воспрепятствовало проведению агрессивной политики Австро-Венгрии на Балканах. В 1914 году поддержанная Германией Австро-Венгрия спровоцировала конфликт с Сербией, разросшийся в империалистическую войну, по окончании которой не стало ни русского, ни австрийского, ни германского императоров.

Я, как и сотни тысяч других чехов, которые не желали умирать за Франца-Иосифа и были противниками германизации чешских земель, попал в плен к русским. Через шесть лет я из Владивостока возвратился на родину. Теперь я стал гражданином Чехословацкой республики, которая возникла на древних землях Чехии и Словакии. Но долгое время после возвращения я был всего лишь «безработным интеллигентом».

Жизнь и мир

Октябрьская революция оказала огромное влияние на возникновение Чехословацкой республики. Она ускорила распад и гибель Австро-Венгрии, способствовала тому, что чешская буржуазия отказалась от мысли сохранить габсбургскую монархию и провозгласила республику, как того требовал чехословацкий народ.

Вскоре после заключения мирных договоров появилась возможность превращения молодого буржуазного государства в социалистическую республику. Но ожесточенное сопротивление чешской буржуазии, которая полностью склонилась пред властью отечественного и «союзнического» капитала, сломило революционные усилия трудящихся.

Искусственно вовлеченная в западноевропейскую политическую, экономическую, культурную и военную систему, Чехословакия два десятилетия находилась под властью банков, промышленных и земельных магнатов, под властью социал-демократии. Коммунистическая партия вела жестокие бои на всех фронтах, укрепляя свои ряды и закаляясь духовно. Она оказывала мощное влияние на прогрессивную интеллигенцию, работников культуры и молодежь. Наши нынешние классики социалистической литературы были тогда молодыми людьми и как члены и друзья коммунистической партии боролись вместе с нею против фашизма и угрозы новой войны. Но силы были неравными.

Всем известно, как пала Чехословакия, которой Гитлер овладел благодаря измене чехословацкой буржуазии и подлому пособничеству правителей Франции и Англии.

Историю Великой Отечественной войны мы все пережили на фронтах, в тюрьмах и концлагерях, в эмиграции и подполье, под авиабомбами и снарядами, в голоде и нищете.

После семи лет небывалых моральных и физических страданий человечества разгромленная Германия капитулировала и Чехословацкая республика была восстановлена в своих прежних границах.

Но лицо Европы и всего мира изменилось не потому, что дважды в течение XX века был разгромлен немецкий милитаризм. Изменилось оно потому, что победителем в этой войне был Советский Союз, социалистическая держава — освободительница всех, кто взывал о помощи. Мы с радостью соединили свою судьбу с судьбой Советской страны — союзницы самостоятельной Чехословацкой республики. Теперь мы уже не были одиноки в сердце Европы.

«Жизнь и мир на нашей земле даждь нам всем, господи»,—молил тысячелетний чешский церковный гимн. Жизнь и мир, однако, дали нам не бог, не царь, не президент, не дали нам их ни американские миллионеры, ни французские генералы, их дал нам и не только одним нам, но и всей части мира от Лабы до Китайского моря, победоносный советский воин.

Заря коммунизма

И в капельке, которой является наша жизнь, отражены великие общественные сдвиги.

Мне всегда хотелось активно участвовать в общественной жизни — через печать, радио, народные собрания. Это желание осуществилось. Я могу выполнять

обязанности социалистического писателя так же, как выполняют их мои советские коллеги и друзья.

Я мечтал видеть и познать мир. И это сбылось. Никогда я столько не путешествовал. В Советском Союзе я побывал трижды.

Я мечтал лучше узнать свою страну. И это мне удалось. Я увидел, как моя родина расцвела новой красотой. Я не техник, но я научился восхищаться заводами, плотинами, самолетами и бульдозерами. А наши поля я уже не могу представить себе без тракторов и комбайнов. В пражском Граде я встречаю юных пионеров и знаю, что нет прекраснее флажка, чем красный.

Из окна своей квартиры я приветствовал Гагарина и при этом не удивлялся тому, что он облетел в космосе земной шар на корабле, который называется «Восток», именно Восток, потому что никто, кроме советского человека и коммуниста, не мог проложить эту дорогу первым...

У нас вырастают поколения, весьма отличные от старших поколений, у них новые идеи и новые методы. Это молодые ученые, художники, рабочие, инженеры, люди бригад социалистического труда.

Эти новые люди скоро будут владеть миром и изменять его. Нас, чехов и словаков, о которых еще в 1938 году англичанин Чемберлен презрительно сказал, что это «никому не известный народ», ныне знают и любят в Африке и в Азии — именно там, в тех странах, откуда изгнаны англичане колонизаторы.

Все это не упало нам с неба. Это завоевал для нас и миллионов людей Европы и Азии Советский Союз. И мы сами завоевали это своей кровью и трудом.

Можно было бы многое рассказать о том, что меня — писателя и гражданина Чехословацкой Социалистической Республики — радует и вдохновляет. Скажу лишь о самой большой радости, которую доставляют мне наши прекрасные, здоровые и веселые дети, которые вообще не знают, что такое война, голод и рабство, потому что они родились (выбрали время родиться весьма умно!) и станут сильными женщинами и мужчинами тогда, когда у нас и во всем мире наступит коммунизм.

А для того чтобы коммунизм наступил скорее, собирается XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Я убежден в этом, равно как и в том, что все, задуманное ленинской партией, всегда претворялось и будет претворено в жизнь. Будет осуществлена величественная программа коммунизма, которую примет предстоящий съезд.

В космические дали

В этом цикле стихов, посвященных историческим полетам в космос Юрия Гагарина и Германа Титова, представлены поэты разных стран мира. Рядом с известным немецким поэтом Максом Циммерингом — боевой прогрессивный поэт США Уолтер Лоуэнфелс, рядом с английским драматургом Бернардом Копсом — молодой поэт Гватемалы Роберто Крус.

Все публикуемые стихи присланы нам в рукописи. Стихотворение Бернарда Копса было вручено автором Юрию Гагарину во время банкета, устроенного в его честь английским Обществом культурных связей с СССР в дни пребывания советского космонавта в Лондоне.

Макс Циммеринг

ЧЕЛОВЕК — ЗЕМЛИ ВЛАДЫКА

Радость, землю ороси,
запылай огнем, гвоздика!
Человек, земли владыка,
хлеб грядущего вкуси!

Вам, рожденным в дни войны,
сладкий сок всех лоз на свете:
вы живые гроздья эти
унаследовать должны!
После крови и потерь,
после гибельных пожарищ
счастье должен ты, товарищ,
унаследовать теперь!

Баскам в бедном их краю
и шахтерам Боринажа
светит солнечная пряжа—
свет надежды узнаю!
Ловит этот свет индеец,
раб селитры в толщах недр;
смотрит ввысь издольщик-негр,
уповая и надеясь.

То в космические дали,
в беспредельность синевы
поднимаются Москвы
нерушимые скрижали.

Бьют куранты над Москвой,
в звоне их соединилось
все, что грезилось и снилось
всей планете трудовой:
«Все во имя человека —
мир, и дружество, и труд!»
Наши руки вмиг сотрут
скорбь с чела седого века.

Так лети, лети, лети,
ветер творческих событий,
космонавтом на орбите,
новой радостью в пути!

Перевод с немецкого Александра Голембы

Бернард Копс

ЮРИЮ ГАГАРИНУ

Юрий Гагарин, в газетах опять
Генералы, политики наши речами
Не дают мне спокойно спать,
В тревоге я просыпаюсь ночами,
Смотрю на небо в окно,
На сына, спящего сладко
В детской кроватке,
И думаю молчаливо:
Неужели не будет ему дано
Прожить до старости жизнью счастливой?

Юрий Гагарин, вы сын России,
Но вы и всего человечества сын.
Над землей пролетая в пространстве один,
Вы с борта космического корабля
Увидели ясно, что наша земля —
Мирок средь звездных пучин.

Под вами земля, пролетавшая вдаль,
Была отчеканена, словно медаль.

Юрий Гагарин, в знак нашей любви
Примите вот эти строки мои.
Да сгинут войны, убийства и муки,
Пускай переженятся наши внуки
И месяц медовый свой проведут
На Венере иль Марсе, найдя там приют!

Юрий Гагарин, со светлым лицом
Вы явились народов советских послом,
Вы всего человечества звездный посланник.
Вы в космосе были как первый избранник.
Генералам, политикам нашим полезно
От вас услышать о том,
Что занавес млечный — совсем не железный.

Перевод с английского Мих. Зенкевича

Уолтер Лоуэнфелс

НОВЫЙ ПОЛЕТ ЛЕОНАРДО

Леонардо, когда ученому в Техасе впервые показалось, что он слышит первое биение сердца и первый звук дыхания на советском космическом корабле 1961 года, люди спрашивали: «Кто там? Лев, обезьяна или человек?» — но я узнал тебя.

Не такого, каким ты умер в изгнании, бородатого итальянца и немолодого флорентийца, «также и живописца» *, и не художника, делающего наброски истерзанных коней и солдат для потерянных «ужасов войны» **,—

А такого, каким предстаешь ты в своих потаенных тетрадях, где твой Спутник пролетел сквозь века на нетопыриных крыльях, которые ты мечтал запустить в небеса,— расчисленный и расчерченный в тайнописи ***, ибо раньше времени верить в мечту человечества означало верную смерть.

Прости, Леонардо, наши насмешки над твоими раскинутыми руками, оснащенными крыльями нетопыря,— наконец ты достиг своей цели — она выше живописи, и ваяния, и военных машин, и водометов, что ты продавал герцогам и королям.

Это твое дыханье, твое сердцебиенье мы слышим в новом покорителе пространств; это ты заставляешь столетья работать на тебя, оставляя позади камень Земли, тяжелый, как надгробье, чтобы обрести мечту. Ты знал, что все это время она скрывалась среди звезд.

Перевод с английского В. В. Рогова

Роберто Крус

ГЕРМАНУ ТИТОВУ

Майор Титов,
фантастический твой полет — это песня,
сложенная советским народом
во славу труда и отваги.
Это песня мира,
пропетая тобой на такой высоте,
откуда она донеслась во все уголки Земли.
Стремительный твой корабль —
это громовое НЕТ войне,
закованное в металл.

«Восток-2»,
порыв людей советских к счастью, к миру
был силой,
так высоко тебя поднявшей над землею,

---

* В 1483 г. Леонардо да Винчи предложил миланскому герцогу Лодовико Моро свои услуги в качестве военного инженера. В конце письма к герцогу Леонардо добавлял: «...а также я могу выполнять какие угодно скульптурные и живописные работы наравне с кем угодно».

** Предположительно в 1503—1505 гг. Леонардо выполнил на картоне эскиз фрески «Битва при Ангьяри (1440 г.)», судя по свидетельствам современников, один из своих величайших шедевров. Ни картон, ни незавершенная фреска не сохранились.

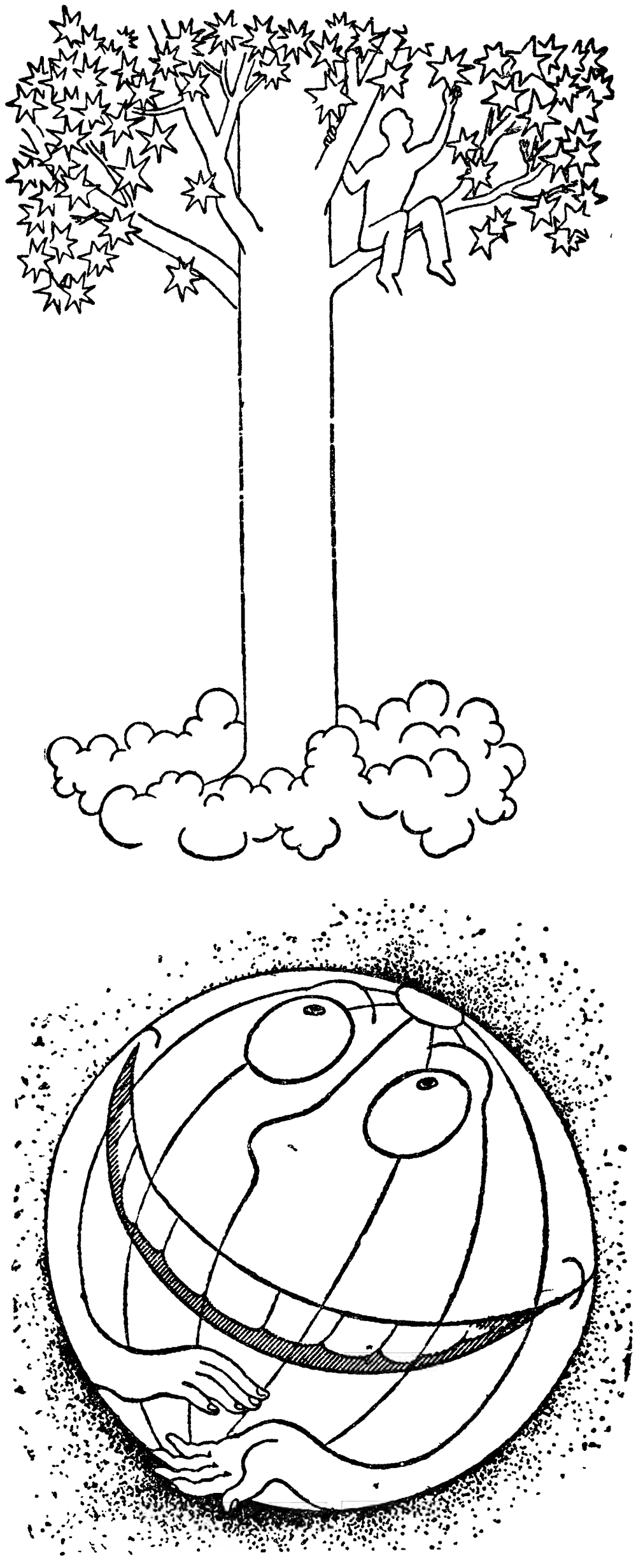
*** Рукописи Леонардо зашифрованы особым образом и впервые были прочитаны через много лет после его смерти. Среди заметок — проект летательного аппарата. Одна из заметок гласит: «Расчлени летучую мышь... и по этому образцу построй машину».

и твой собрат, который
вслед за тобой взовьется в космос,
промчится над Луной.
А русский мальчуган,
смеющийся и хлопающий радостно в ладоши,
он вырастет, чтобы достигнуть звезд.
Я верю — скоро
и в маленькой моей стране,
в моей многострадальной Гватемале,
народ добудет радость, хлеб, свободу —
ведь ты, «Восток-2», тому порукой.
Ты — новая вершина
программы построенья коммунизма,
ты — новая ступень
той лестницы, которая ведет
народы мира к счастью.

Перевод с испанского М. Филиппова

Какой видел Герман Ти́тов Землю?
Каким видела Земля майора Титова?

Рисунки художников Вольфганга Вюрфеля (слева) и Карла Гольца из еженсдельника «Зоннтаг» (ГДР)



Уильям Фолкнер

ОСОБНЯК

РОМАН

Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МИНК

1

Итак, присяжные сказали: «Виновен»,— и судья сказал: «Пожизненно»,— но он их не слыхал. Он и не слушал. В сущности, он и не мог ничего слушать с самого первого дня, когда судья стукнул деревянным молоточком по высокому пюпитру и стучал до тех пор, пока он, Минк, не отвел глаза от дальней двери судебного зала, чтобы выяснить — чего же, в конце концов, хочет от него этот человек, а тот, судья, перегнулся через пюпитр и заорал: «Вы, Сноупс! Вы убили Джека Хьюстона или не вы?» — а он, Минк, сказал: «Не трогайте меня! Видите — я занят!»— и снова повернул голову к дальней двери в конце зала и тоже заорал в упор — через, сквозь стену тусклых, мелких лиц, зажавших его со всех сторон: «Сноупс! Флем Сноупс! Кто-нибудь позовите сюда Флема Сноупса! Я заплачу! Флем вам заплатит!»

Так что слушать ему было некогда. В сущности, и в тот первый раз, как его повели в наручниках из камеры в зал суда, это была бессмысленная, возмутительная нелепость, глупое вмешательство, лишняя помеха, да и каждый раз это хождение в суд под конвоем только мешало правильно решить дело — его дело, да и дело этих проклятых судей,— надо было бы выждать, оставить его в покое: все эти долгие месяцы между арестом и судом у него была одна-единственная самая насущная потребность — ждать, стиснув грязными пальцами ржавые прутья тюремной решетки, выходившей на улицу.

Сначала, в первые дни за решеткой, его просто брала досада на собственное нетерпение и — да, он это сознавал — на собственную глупость. Ведь задолго до той минуты, когда пришла пора вскинуть ружье и выстрелить, он уже знал, что его двоюродный брат Флем (единственный член их семьи, который имел и возможность и основания — во всяком случае, от него одного можно было ждать этого — вызволить его из неприятностей), что Флем уехал и ничего делать не станет. Он даже знал, почему Флема тут не будет по крайней мере год: Французова Балка — поселок маленький, тут все знали обо всем и про всех, все понимали, зачем он уехал в Техас, даже если бы из-за этой уорнеровской девчонки не поднимали вечно шум и визг, с тех пор как она сама (а может, и кто другой)

заметила, что у нее появился первый пушок, уж не говоря про ту прошлую весну и лето, когда этот оголтелый парень, мальчишка Маккэронов, крутился около нее и дрался с другими — чисто свора кобелей по весне.

Так что задолго до того, как Флем на ней женился, он, Минк, да и вся округа на десять миль от Французовой Балки уже знали, что старому Биллу Уорнеру нужно было выдать ее замуж за кого угодно, да поскорее, если он не хотел, чтоб у него весной на выгоне ел траву приблудный жеребенок. И когда на ней в конце концов женился Флем, он, Минк, ничуть не удивился. Этому Флему всегда везло. Ну, ладно, не только везло: он был единственным человеком во всей Французовой Балке, который мог постоять за себя, потягаться со старым Биллом Уорнером; в сущности, он уже почти вытеснил Джоди, сына старого Билла, из лавки, а теперь, став зятем старика, норовил захватить ее целиком. Да еще женившись вовремя, чтоб не дать родиться незаконному пащенку, Флем становился не только законным мужем этой проклятой девчонки, которая с пятнадцати лет одной своей походкой распаляла всех мужчин моложе восьмидесяти, но ему еще за это и приплатили: он получил не только законное право лапать ее, когда ему вздумается,— а человеку стоило только вообразить, что ее кто-то лапает, как он себя не помнил,— но ему еще за это отдали в полное владение усадьбу Старого Француза.

Да, он знал, что Флем не явится, когда потребуется, потому что Флему с молодой женой надо пробыть вдали от поселка до тех пор, пока про то существо, что у них родится, можно будет говорить, будто ему исполнился всего один месяц, и никто при этом не обхохочется насмерть. Но когда, наконец, подошла та последняя минута, тот последний миг и ему уже никак нельзя было не прицелиться и не спустить курок, он об этом забыл. Нет, неправда. Ничего он не забыл. Просто ждать стало невмоготу, Хьюстон сам не дал ему подождать, и это было последнее оскорбление, которое Джек Хьюстон, умирая, нанес ему: заставил его, Минка, убить себя в такое время, когда единственный человек, который мог спасти Минка и спас бы непременно, волей или неволей, по извечным неизменным законам кровного родства,— этот человек находился за тысячу миль, и это оскорбление ничем нельзя было смыть, потому что, нанося его, Хьюстон сам уходил от всякого возмездия.

Нет, он не забыл, что его родича поблизости нет. Просто ждать дольше было невозможно. Просто ему пришлось положиться на *Них* — на *Них*, про которых сказано, что ни один волос не упадет с головы без *Их* воли. *Они* были для него вовсе не тем самым, как его ни назови, кого люди величают Старым Хозяином. Не верил он ни в какого Старого Хозяина. Насмотрелся он в своей жизни такого, что если бы и вправду существовал какой-то Хозяин, да еще, как говорят про него, всевидящий и всемогущий, так уж он наверняка вмешался бы. К тому же он, Минк, никогда верующим не был. В церковь он не ходил лет с пятнадцати и ходить не собирался: чего делать там, где какой-то малый, у которого бурчало в животе и зудело под ширинкой — тут домашними средствами не обойтись,— называл себя проповедником божьим, чтобы под этим предлогом собрать побольше баб и соблазнять их услугой за услугу — они ему набьют пустое брюхо, а он им за это тоже услужит, как только муж уйдет в поле, а жена словчится убежать в кустики, где ее и будет ждать проповедник; и бабы шли в эту молельню, потому что нельзя было выгоднее обменять жареного цыпленка или картофельный пирог, а мужья приходили не затем, чтобы помешать этим сделкам, потому что муж понимал, что никак помешать не может, кишка тонка, а затем, чтобы выведать, не попадет ли его жена в очередь сегодня или он еще успеет проборонить

последнюю сороковку, а уж потом, если придется, привяжет жену ремнем к спинке кровати, а сам спрячется за дверью и станет ждать, что будет; молодежь, та и вовсе не заходила в церковь, даже для виду, а прямо бежала парочками в ближние кусты.

Минк просто считал, что *Они — Он — Оно,* как бы их там ни назвать, должны быть воплощением основной естественной справедливости и равенства в человеческой жизни, а если это не так, значит, и противиться бесполезно. Не могут же *Они — Он — Оно,* зовите как угодно, вечно мотать и мытарить человека и не позволить ему в какой-то день, в какой-то миг самому дать сдачи, по справедливости, по праву. Пусть *Они* его мотают и мытарят, пусть *Они* даже просто сидят и смотрят, как все складывается против него, как удары сыплятся ему на голову без передышки, будто по заказу; пусть *Они* просто сидят и смотрят, а может быть (ну что ж, почему бы и нет — человеку это нипочем, если он только настоящий человек и раз так полагается по справедливости), даже радуются; может быть, *Они* его испытывают, проверяют — настоящий он человек или нет, хватит у него силы выдерживать всякие мытарства и мотания, чтобы заслужить право дать сдачи, когда придет его черед. Но когда-нибудь настанет час, и он, в свою очередь, заработает это право по справедливости, законно, точно так же, как *Они* заработали право испытывать его и даже радоваться его испытаниям; настанет час, когда *Им* тоже придется доказывать ему, что и *Они* — настоящие, как он доказал *Им,* что он — настоящий человек, тот час, когда он не только сможет на *Них* понадеяться, но заработает себе право надеяться на *Них* и знать, что теперь-то *Они* его не подведут; и *Они* не посмеют, никак не осмелятся подвести его, иначе *Они* так же сами себе опротивеют, как он в конце концов опротивел себе, оттого что терпел все, что приходилось терпеть от Джека Хьюстона.

Так что он еще в то утро отлично знал, что Флем сюда не явится. Но ему просто невмоготу стало ждать, просто подошел тот час, когда им с Джеком Хьюстоном больше нельзя было дышать одним воздухом. Значит, раз его двоюродного брата тут нет, ему оставалось только одно — право надеяться на *Них,* право, заработанное тем, что за всю свою жизнь он ни разу ничего с *Них* не спрашивал.

Все началось весной. Нет, раньше, прошлой осенью. Нет, даже еще раньше, задолго до того. Началось это в ту самую минуту, как родился Хьюстон, уже с задатками наглости, нетерпимости, гордыни. Нет, не в ту минуту, как они оба, Хьюстон и Минк Сноупс, стали дышать одним воздухом — воздухом Северного Миссисипи, потому что он, Минк, никогда ни с кем не спорил. Никогда он спорщиком не был. Просто всю жизнь его так мотало и мытарило, так ему не везло, что по необходимости приходилось неотступно и упорно защищать самые насущные свои права.

Но только с лета, перед той первой осенью, судьба Хьюстона неразрывно и окончательно связалась с судьбой Минка, и это было еще одним проявлением извечной обиды: никто, даже *Они* и меньше всего *Они,* не соблаговолил предупредить Минка, к чему приведет эта первая встреча. Случилось это после того, как молодая жена Хьюстона пошла искать куриные гнезда на конюшню, где стоял жеребец, и жеребец этот убил ее, ну и, конечно, каждый порядочный человек решил бы, что ни один порядочный муж ни за что не заведет себе второго такого жеребца. Но Хьюстон был не такой. Хьюстон был не только достаточно богат, чтобы держать кровного жеребца, который мог убить его жену, он был еще настолько заносчив и упрям, что, пристрелив жеребца, убившего жену, и пренебрегая всеми приличиями, тут же купил другого, точь-в-точь

такого же, может, на тот случай, что придется опять жениться, а сам хоть и делал вид, что так убивается по жене, что даже соседи боялись к нему постучаться, но все же раза два-три в неделю скакал по дороге на этом коне, будущем убийце, и рядом его огромный волкодав бежал, словно борзая или жеребенок, и он подъезжал прямо к лавке Уорнера и даже не спешивался; все трое останавливались на дороге: заносчивый, наглый всадник, жеребец, косящий злым глазом, и пес, который скалил зубы и ощетинивал загривок, стоило только подойти,— и Хьюстон приказывал кому-нибудь из сидевших на открытой галерее зайти в лавку и принести ему то, за чем он приехал, как будто тут сидели негры.

А в то утро он, Минк, шел в лавку (у него-то не было лошади, чтобы съездить за жестянкой табаку, или склянкой хины, или куском мяса), и он только что поднялся на невысокий холмик, когда услышал топот копыт, частый и громкий, и он бы уступил Хьюстону дорогу, если б успел, но жеребец почти налетел на него, когда Хьюстон резко осадил назад, а подлый пес чуть не прыгнул ему на грудь, рыча прямо в лицо, и Хьюстон, круто повернув вздыбленного жеребца, заплясавшего на месте, крикнул: «Какого черта ты стоял, ты же слышал, что я еду? Прочь с дороги! Хочешь, чтобы он тебе мозги вышиб, видишь, с ним не справиться!»

Что же, может, это и называется убиваться по жене, будто не по твоей вине она погибла, будто не ты сам прикончил того жеребца. Хватило же у него наглости, или просто денег хватило, купить второго коня, точь-в-точь похожего на того, что ее убил. Но ему, Минку, до этого дела не было, надо было только дожидаться, пока раньше или позже этот сволочной жеребец не убьет самого Хьюстона, но тут случилось то, на что Минк и не рассчитывал, чего не предвидел и даже не предполагал.

Началось все с дойной коровы, единственной его коровы, потому что он был не такой богач, как Хьюстон, а просто человек независимый и ни у кого одолжений не просил, за все сам расплачивался. Она, эта самая корова, каким-то случаем не стала стельной, и он оказался ни с чем — не только просидел всю зиму без молока, но и впереди его ждал такой же год, да и теленка не было, а он заплатил пятьдесят центов за случку, потому что меньше чем за доллар можно было повести корову только к непородистому быку, чей хозяин негр требовал плату вперед.

Вышло, что он кормил корову целую зиму и ждал теленка, а теленка не оказалось. Потом пришлось опять вести корову за три мили к тому негру, не затем, чтобы требовать обратно свои пятьдесят центов, а чтоб второй раз случить корову с быком, но негр отказался и потребовал вперед пятьдесят центов, и он, Минк, стоя во дворе, честил негра, пока тот не ушел в дом и не захлопнул дверь, а Минк уже в пустом дворе все честил и негра и его семейство, притихшее в хижине, но потом выдохся и повел корову домой за три мили.

И ему пришлось держать нестельную, неплодную корову в загоне, пока она не выщипала все его тощее пастбище, а потом пришлось ее кормить тощими кормами в сарае весь конец лета и всю осень, так как фермеры договорились не выпускать скот, пока не уберут урожай. Значит, до самого ноября ему пришлось ее держать. То есть подошел ноябрь, прежде чем ее можно было пустить на зимний выпас. Да и то, чтобы приманивать корову к вечеру домой, приходилось отнимать понемножку корм у свиней, которых он откармливал на зиму, а потом она пропала на три или четыре дня и в конце концов нашлась на пастбище у Джека Хьюстона с его породистыми быками.

По правде говоря, он, со свернутой веревкой в руках, уже дошел до просеки, ведущей к дому Хьюстона, и вдруг, сам того не сознавая, даже

не остановившись и не замедлив шаг, круто повернул и пошел домой, торопливо запихивая свернутую веревку за пазуху, чтобы ее никто не увидел, но он не пошел в некрашеную, нечиненую хижину, где жил, а стал искать, где бы посидеть подумать, и, присев на бревно при дороге, осознал наконец со всей отчетливостью то, что мелькнуло у него в мыслях.

Если он сейчас оставит там эту никчемную корову, ей не только будет где перезимовать, она еще перезимует во сто, в тысячу раз лучше, чем у него. Корова не только перезимует у Хьюстона (а Хьюстон не только так богат, что разводит и откармливает быков на мясо, он так богат, что держит негра, который одно знает — кормить и чистить этих быков, негра, для которого Хьюстон устроил жилье куда лучше того, где жил он, Минк, белый человек, с женой и двумя дочками), но, кроме того, когда весной он потребует обратно корову, она наверняка будет стельная, да еще от породистого хьюстоновского быка, и, значит, у них не только будет свежее молоко, но и теленок выйдет породистый, ценный, тогда как отпрыск того захудалого негритянского быка не стоил бы ровно ничего.

Разумеется, ему придется отвечать на всякие вопросы: Французова Балка — поселок маленький, слишком маленький, тут человек не может делать, что хочет, и уж никак не может заводить себе все, что захочется. И четырех дней не прошло. Началось с лавки Уорнера: каждый день он проходил мимо, заворачивая к себе, так что все его видели и в конце концов решили выяснить, в чем дело. Кто-то спросил — он не помнил кто, да это и неважно:

— Ну как, нашел свою корову?

— Какую корову? — переспросил он.

А тот сказал:

— Джек Хьюстон велел тебе забрать твою животину с его выгона, говорит, надоело ее кормить.

— Вот оно что,— сказал он.— А корова уже не моя. Я эту корову еще прошлым летом продал одному парню по фамилии Гаури, он из Каледония-Чепел.

— Ну и хорошо,— сказал тот,— потому что, будь я на твоем месте и пасись моя корова на выгоне у Джека Хьюстона, я бы взял веревку и сам бы постарался не заметить, как забрал ее, и уж конечно постарался бы, чтоб Джек Хьюстон не заметил бы. Я бы, пожалуй, даже подходить к нему не стал, побоялся бы и спасибо сказать.

Весь поселок слишком хорошо знал Джека Хьюстона: сидит дома, угрюмый и хмурый, всегда один, с того дня как жеребец убил его жену четыре года назад. Будто до него никто не терял жену, хоть, может, по какой-то непонятной причине некоторые мужья и не хотят от своих жен избавиться. Сидит угрюмый, хмурый, один в большом доме и при нем только двое слуг-негров, мужчина и женщина-стряпуха, да еще жеребец и пес, громадный волкодав, такой же заносчивый, наглый и нелюдимый, как сам Хьюстон, а тот, нелюдим проклятый, даже не понимает, какой он счастливчик: до того богат, что может не только завести себе жену, чтоб ныла и придиралась и вытаскивала из кармана последний доллар, нет, он до того богат, что может обойтись и без жены, если захочет, до того богат, что может нанять себе женщину, чтоб готовила ему еду,— и жениться на ней не надо. Так богат, что может нанять негра, чтоб тот вместо него вставал на рассвете, в холоде, и выходил, в сырость и дождь, кормить не только его породистых быков — он срывал за них самый жирный куш только потому, что мог не торопиться их продавать,— но и этого проклятого жеребца и даже эту чертову собаку, которая бежала рядом

с конем, когда они носились по дорогам и заставляли человека, которому всю жизнь приходилось ходить на своих на двоих, прыгать с дороги в кусты, чтоб этот сволочной жеребец не размозжил ему башку кованым копытом, не то придется ему лежать в канаве, и этот сволочной пес загрызет его прежде, чем Хьюстон отзовет его.

Ладно, раз Хьюстон так дерет нос, что ему даже нельзя сказать спасибо, он, Минк, не станет ему навязываться без приглашения. Дело не в том, что он никому не хочет быть обязан. Прошла неделя, потом прошел месяц, уже и рождество прошло, настала холодная, сырая, унылая зима. Каждый день к вечеру в кожанке, заштопанной проволокой и залатанной кусками автомобильной шины,— единственной своей верхней одежде, натянутой на заплатанный старый бумажный комбинезон,— он шел по грязной дороге в унылом меркнущем свете заката смотреть, как породистое стадо Хьюстона вместе с его жалкой животиной двигалось, ничуть не торопясь, домой в стойла, которые были куда теплее и лучше защищены от непогоды, чем та лачуга, где он жил, в стойла, где скотину кормил специально для этого нанятый негр, и одежда на нем куда теплее, чем у него и у его семейства, и он шептал проклятия себе под нос, в облако морозного дыхания, проклиная негра за то, что его черную кожу греет хорошая одежда, лучше, чем у него, у белого, проклиная сытный корм, который давали скотине, а не людям, хотя его собственная корова тоже ела со всеми вместе, и злее всего проклиная ничего не подозревавшего белого человека, чье богатство всему виной, а главное, проклиная то, что мешало ему отомстить, отплатить — а он считал это естественной справедливостью и своим неотъемлемым правом,— отомстить сразу, одним махом, а тут приходилось ожидать, пока корма постепенно не превратятся в живой вес, да еще нельзя было предвидеть и предсказать, когда корова подпустит быка, а потом пойдут долгие девять месяцев до отела; он проклинал себя за то, что может добиться справедливости только таким долгим и бездеятельным ожиданием.

Вот от чего он мучился. От ожидания. И не только от страха, что отдаляется исполнение надежд, не только от обиды, что простое справедливое дело отодвигается, откладывается, а от сознания, что даже в тот час, когда удар падет на Хьюстона, это будет стоить ему, Минку, восемь долларов наличными: эти восемь долларов должны служить доказательством, что воображаемый покупатель коровы как будто заплатил их Минку, чтобы вранье насчет продажи коровы показалось правдоподобным; весной, когда Минк придет требовать свою корову, эти доллары придется отдать Хьюстону в залог того, что до этой минуты он сам верил, будто корова продана или, во всяком случае, оценена в восемь долларов,— и он придет к Хьюстону и расскажет, как покупатель пришел к нему, Минку, сегодня утром, заявил, что корова удрала от него еще в ту ночь, когда он ее купил и привел домой, и потребовал обратно свои восемь долларов, а когда он все это расскажет Хьюстону, тот не станет так задаваться и презирать его, а поселок не будет так любопытничать и он, Минк, всем докажет, что истратил целых шестнадцать долларов, чтобы вернуть свою корову.

В этом и была главная обида: жаль восьми долларов. То, что за восемь долларов он не мог бы даже прокормить корову зимой, а не то что откормить ее до такой прибавки веса, которую он видел своими глазами, это в расчет не принималось. Важно, что надо было отдать Хьюстону, который даже и не заметит, сколько корму съела корова, ненужные ему восемь долларов, а на них он, Минк, мог бы купить к рождеству галлон виски, да еще на доллар-другой чего-нибудь для жены и дочек, проевших ему голову из-за тряпок.

Но выхода не было. И вместе с тем он даже гордился, что это его возмущает. Не такой он мелочный, и жалкий, и ничтожный, чтобы покорно принимать все обиды только потому, что пока нельзя найти выход. Больше того: такая несправедливость еще сильнее раздувала его злобу, его возмущение. Значит, ему придется унижаться и даже пресмыкаться, когда он пойдет за коровой, придется врать впустую, только за честь отдать восемь долларов, необходимых ему самому, скопленных ценою жертв, притом отдать человеку, которому они вовсе не нужны, он и не заметит, если их получит, и даже не знает, что ему их собираются отдать. И, наконец, пришла та минута, тот день в конце зимы, когда по местному обычаю владельцы загоняли скот, свободно гулявший с осени по омертвелым полям, чтобы землю можно было распахать и засеять; и в тот день, вернее, вечер, он дождался, пока его корове в последний раз зададут корм вместе со всем хьюстоновским стадом, и только тогда подошел к загону, с перекинутой через руку истертой веревкой и с жалким комком истертых долларовых бумажек и горстью никелей и центов в кармане комбинезона; но ему не пришлось ни унижаться, ни пресмыкаться, потому что в загоне был только негр с вилами, а богатый хозяин сидел дома, в теплой кухне со стаканом пунша, сваренного не из вонючего тошнотворного самогона, который он, Минк, мог бы купить на свои восемь долларов, если б их не надо было отдавать, а из доброго красного марочного виски, заказанного в Мемфисе. Не пришлось, ни пресмыкаться, ни унижаться, только сдержанно, как полагалось белому человеку, сказать негру, обернувшемуся к нему в дверях хлева:

— Здорово. Оказывается, моя корова у вас? Надень-ка на нее веревку, я ее заберу, чтоб тут не мешала.

Но негр посмотрел на него и ушел через конюшню к дому, не подошел, не взял веревку, хотя он, Минк, этого и не ждал, а сначала пошел спросить белого человека, что надо делать. Именно этого он, Минк, и ожидал, опираясь потрескавшимися, красными от холода руками, вылезавшими из-под слишком коротких обтрепанных рукавов, на верхнюю перекладину белой загородки. Да, сидел Хьюстон со стаканом пунша из доброго красного виски, без сапог, в одних носках, грел ноги перед ужином, а теперь ему придется с бранью спустить ноги и снова натянуть холодные, мокрые, грязные резиновые сапоги и выйти к загону. Так Хьюстон и сделал; в грохоте кухонной двери, в скрипе и чавканье резиновых сапог по двору слышалось недоумение и ярость. Он прошел через хлев, негр — за ним, шагах в десяти.

— Здорово, Джек,— сказал Минк,— жаль, что вас пришлось побеспокоить в такой холод, в сырость. Ваш негр и сам мог бы справиться. А я только сегодня узнал, что у вас моя корова перезимовала. Пусть ваш негр наденет на нее веревку, я ее уведу, чтоб не мешалась тут.

— Я думал, ты продал корову Нэбу Гаури,— сказал Хьюстон.

— И продал,— сказал Минк.— А нынче утром Нэб подъехал на муле и говорит, что корова удрала от него в ту самую ночь, как он ее привел домой, с тех пор он ее и не видел, и отобрал у меня восемь долларов, что дали мне за нее,— и он полез в карман, сжимая в кулаке комок истертых бумажек и мелочь.— Ну вот, раз цена этой корове восемь долларов, значит, я вам столько и должен за зимовку. Теперь, значит, ей цена все шестнадцать долларов, хоть ей это и невдомек. Вот. Берите ваши денежки, и пусть ваш негр накинет на нее эту веревку, а я...

— Эта корова осенью и восьми долларов не стоила,— сказал Хьюстон.— А теперь она стоит куда больше. И съела она моих кормов больше, чем на шестнадцать долларов. Уж не говорю, что мой молодой

бык покрыл ее на прошлой неделе. Верно ведь, Генри, на прошлой неделе? — спросил он негра.

— Да, сэр,— сказал негр.— В прошлый вторник. У меня записано.

— Сказали бы вы мне раньше, не пришлось бы вашему быку стараться, да и вашему негру с его вилами тоже,— сказал Минк. И обратился к негру: — Эй, бери веревку...

— Погоди,— сказал Хьюстон и тоже полез в карман.— Ты сам назначил цену корове — восемь долларов. Ладно, я ее покупаю.

— А вы сами только что сказали, что она подорожала,— сказал Минк.— Я и сам собирался доплатить вам. А за нее я и шестнадцать долларов не возьму, не то что восемь. Так что берите ваши денежки. И если вашему негру трудно надеть на нее веревку, давайте я сам ее заберу.— И он уже стал перелезать через загородку.

— Погоди,— сказал Хьюстон. Он спросил негра: — Сколько она, по-твоему, сейчас стоит?

— Да, наверно, долларов тридцать,— сказал негр,— а то и все тридцать пять.

— Слыхал? — сказал Хьюстон.

— Нет,— сказал Минк, влезая на загородку,— я негров не слушаю. Я им приказываю. А если он не хочет обратать корову, велите ему не мешать мне.

— Не лезь через загородку, Сноупс,— сказал Хьюстон.

— Так, так,— сказал Минк, перекинув одну ногу через верхнюю перекладину и сжимая веревку красной, как мясо, рукой.— Еще скажете, что вы так и привыкли — покупать корову с пистолетом в руках. А может, вы носите с собой пистолет, когда сеете хлопок или рожь?

Это была картина: Минк с перекинутой через перекладину ногой, Хьюстон у загородки с пистолетом, опущенным книзу, а негр стоит не двигаясь, ни на кого не смотрит, прищурился, только белки глаз чуть видны.

— Предупредили бы меня заранее, я бы, может, тоже прихватил пистолет.

— Хорошо,— сказал Хьюстон. Он бережно положил пистолет на столб загородки около себя.— Брось веревку. Перелезай через забор около столба, где стоишь. Я отойду к следующему столбу, а ты считай до трех — посмотрим, кто его захватит, и начнем торги.

— А лучше пускай негр считает,— сказал Минк.— Ему только и надо сказать «три!». У меня-то негра при себе нету. А, как видно, человеку без негра и без пистолета не обойтись, когда с вами рядишься насчет скотины.

Он перекинул ногу обратно и спрыгнул на землю перед загородкой.

— Так что я, пожалуй, схожу в лавку, поговорю с дядей Билли и с констеблем. Видно, надо было мне с самого начала к ним пойти, а не топать сюда по такому холоду. Я бы попросил оставить тут веревку, не тащить же ее домой, да вы, пожалуй, потом спросите с меня долларов тридцать пять за хранение, как видно, это ваша крайняя цена за все чужое, что попадет к вам на участок.— Уже уходя, он сказал:— Ну, пока! А если будете продавать скот по восемь долларов, смотрите, чтоб вам фальшивых денежек не подсунули.

Он шагал довольно твердо, но в такой пронзительной злобе, что сначала ничего перед собой не видел, и в ушах стоял страшный звон, будто кто-то разрядил двустволку прямо у него над ухом. В сущности, он и свою ярость предчувствовал, и теперь в одиночестве, без людей, лучше всего можно было дать ей выветриться. Главное, ему было ясно, что он заранее предвидел все, как оно потом и вышло, и теперь надо было только собраться с мыслями. В душе он предчувствовал, что его

злая судьбина непременно изобретет какую-нибудь каверзу, поэтому то, что ему, очевидно, придется заплатить еще два с половиной доллара мировому судье Уорнеру за бумагу, которую констебль предъявит Хьюстону, отбирая у него корову, ничуть его не удивило: просто снова вмешались *Они*, снова *Они* испытывают, проверяют, сколько он может вынести и выдержать.

Так что, в сущности, его не удивило и то, что произошло потом. В сущности, он сам был виноват, он просто недооценил *Их*: ему казалось, что отнести восемь долларов Хьюстону, накинуть веревку на корову и увести ее домой — дело настолько простое, настолько мелкое, что *Они* нипочем вмешиваться не станут. Но тут он ошибся: избавиться от *Них* было не так-то просто. Уорнер наотрез отказался выдать бумагу, наоборот, два дня спустя семь человек, считая и негра,— он сам, Хьюстон, Уорнер, констебль и два опытных торговца скотом,— стояли у загородки хьюстоновского загона; и негр провел корову перед экспертами.

— Ну, как?— спросил наконец Уорнер.

— Я бы дал тридцать пять,— ответил первый торговец.

— А если ее покрыл породистый бык, я бы добавил до тридцати семи, даже до тридцати семи с половиной,— сказал второй.

— Может, дали бы и сорок? — спросил Уорнер.

— Нет,— сказал второй,— а вдруг она не стельная?

— Потому-то я бы тридцати семи с половиной не дал,— сказал первый.

— Ладно,— сказал Уорнер, высокий тощий узкобедрый человек с густыми усами, точь-в-точь как его покойный отец-кавалерист из форрестовского отряда.— Считайте тридцать семь с половиной. Значит, делим пополам.— Он посмотрел на Минка.— Плати Хьюстону восемнадцать долларов и семьдесят пять центов и можешь забирать свою корову. Да ведь у тебя, наверно, нету восемнадцати долларов и семидесяти пяти центов?

Он стоял спокойно, положив докрасна обмороженные руки, торчащие из рукавов, на верхнюю жердину загородки, в глазах у него совсем потемнело, в ушах стоял звон, будто кто-то разрядил двустволку прямо у него над головой, но на его лице застыло неопределенное кроткое выражение, почти похожее на улыбку.

— Нету,— сказал он.

— Может быть, его родич, Флем, даст ему денег? — спросил второй скотопромышленник. Никто не стал ему отвечать, даже не напомнил, что Флем все еще в Техасе, куда он уехал с женой на медовый месяц в августе сразу после свадьбы.

— Что же, пускай отработает,— сказал Уорнер. Он обратился к Хьюстону:— Есть у вас для него какая-нибудь работа?

— Я собирался ставить еще одну загородку,— сказал Хьюстон.— Гiосчитаю ему по пятьдесят центов за день. Пусть поработает тридцать семь дней и еще полдня с рассвета до обеда, пускай копает ямы для столбов и проволоку тянет. Только как быть с коровой? Мне ее держать или же Квик (Квик был констебль) ее заберет?

— Хотите, чтоб Квик ее взял? — спросил Уорнер.

— Нет,— сказал Хьюстон.— Она тут так долго пробыла, что еще, чего доброго, заскучает. И потом, если она тут останется, Сноупс может ее каждый день видеть, а всегда веселей работать, когда знаешь, за что работаешь.

— Ну, ладно, ладно,— торопливо сказал Уорнер.— Значит, договорились. Хватит с меня болтовни.

Вот так ему и пришлось работать. Но он гордился, что никогда, ни за что он с этим не примирится. Даже если придется потерять корову, даже если корову вообще не брать и, так сказать, успокоиться. А это — то есть отказаться от коровы — было проще простого. Больше того: он мог бы получить восемнадцать долларов семьдесят пять центов, если бы пошел на это, и тогда с теми восемью долларами, от которых отказался Хьюстон, у него оказалось бы почти двадцать семь долларов, а он и не помнил, когда держал в руках такую сумму, потому что даже после осенней продажи хлопка, за вычетом арендной платы Уорнеру и платы за товар, забранный в его лавке, у него еле-еле остались в наличности те восемь-десять долларов, на которые он напрасно надеялся выкупить корову у Хьюстона.

В сущности, сам Хьюстон предложил ему этот выход. Уже второй или третий день он копал ямы и ставил в них тяжеленные столбы. Хьюстон подъехал на своем жеребце и остановился, глядя на него. Но он не прервал работу и даже не поднял глаз.

— Эй! — сказал Хьюстон.— Посмотри на меня!

Он поднял голову, продолжая работать. Хьюстон уже протянул руку, и он, Минк, увидел в ней деньги, как насчитал Уорнер: восемнадцать долларов семьдесят пять центов.

— Вот они, бери. Бери и уходи домой, забудь про корову.

Но он уже опустил глаза, взвалил на плечо столб, который казался тяжелее и больше его самого, поставил в яму, засыпал ее и утрамбовал землю черенком лопаты и только слышал, как жеребец повернул и поскакал прочь. Потом настал четвертый день, и снова он услышал, как подскакал и остановился жеребец, но даже не поднял глаз, когда Хьюстон его окликнул:

— Сноупс.— И опять:— Сноупс.— А потом он сказал:— Минк,— а он, Минк, не поднял глаз и даже не приостановился, а только сказал:

— Ну, слышу.

— Брось. Тебе надо свой участок пахать, сеять. Тебе на жизнь заработать надо. Ступай домой, засей участок, потом можешь вернуться.

— Времени у меня нет на жизнь зарабатывать,—сказал он, не останавливаясь.— Надо корову вернуть домой.

А на следующее утро подъехал уже не Хьюстон на своем жеребце, а сам Уорнер в пролетке. Правда, он, Минк, не знал, что Уорнер вдруг испугался, как бы не нарушился мир и покой поселка, который он держал железной рукой ростовщика при помощи закладных и векселей, спрятанных в сейфе, у него в лавке. А когда он, Минк, поднял глаза, он увидел деньги в сжатом кулаке Уорнера, лежавшем на коленях.

— Я записал эти деньги на твой счет в лавке,— сказал Уорнер.— Сейчас проезжал твой участок. Ты ни одной борозды не вспахал. Собирай-ка инструмент, бери деньги, отдай их Джеку, возьми эту корову, будь она проклята, и ступай домой пахать.

Уорнер — дело другое, для него он остановился и даже оперся на лопату.

— А вы слыхали, чтоб я жаловался на это самое ваше решение насчет коровы? — спросил он.

— Нет,—сказал Уорнер.

— Так не мешайте мне, занимайтесь своим делом, а я займусь своим,— сказал он.

И тут Уорнер соскочил с пролетки — хоть он и был так стар, что должники, подлизываясь к нему, звали его «дядя Билл», но все еще ловок,— одним прыжком, с вожжами в руке и кнутом в другой.

— А, черт тебя подери! — крикнул он.— Собирай инструмент и катись домой. К вечеру я вернусь, и если увижу, что ты не начинал пахоту, я вышвырну все твои манатки на дорогу и завтра же утром сдам кому-нибудь твою лачугу.

И он, Минк, посмотрел на него с тем же неопределенным кротким выражением лица, почти что с улыбкой.

— Это на вас похоже, наверно, вы так и сделаете! — сказал он.

— И сделаю, будь я проклят! — сказал Уорнер.— Катись! Ну! Сию минуту!

— Что ж, придется идти,— сказал он.— Значит, это будет второе решение судьи по нашему делу; ничего не поделаешь, всякий порядочный человек закон исполняет.

И он пошел было прочь.

— Эй, погоди,— сказал Уорнер,— возьми деньги!

— Зачем? — сказал Минк и пошел дальше.

К концу дня он вспахал почти целый акр. Поворачивая плуг на новую борозду, он увидел, что по дороге едет пролетка. На этот раз в ней сидели двое — Уорнер и констебль Квик, и пролетка ехала шагом, потому что к задней оси была привязана корова. Но торопиться он не стал, довел и эту борозду до конца, потом распряг мула, привязал его к забору и только тогда подошел к пролетке, в которой сидели двое, глядя на него.

— Я заплатил Хьюстону восемнадцать долларов, вот твоя корова,— сказал Уорнер.— И если я еще раз услышу, что ты или какая-нибудь твоя живность забралась на землю Джека Хьюстона, я тебя упрячу в тюрьму.

— А как же семьдесят пять центов? — сказал он.— Куда же эти шесть монет девались? На корову вышло судебное решение, не могу я ее взять, пока судебное решение не выполнено.

— Лон,— сказал Уорнер констеблю ровным, почти что мягким голосом,— отведи корову вон в тот загон, сними с нее к чертовой матери веревку и садись обратно в пролетку.

— Лон,— сказал Минк таким же мягким и таким же ровным голосом,— если ты поставишь эту корову в мой загон, я возьму ружье и пристрелю ее.

Больше он на них и не смотрел. Он вернулся к мулу, отвязал его от загородки, припряг и повел следующую борозду, идя спиной к дому и к дороге, так что только на повороте он на миг увидел медленно ползущую пролетку, за которой тащилась корова. Он упорно пахал дотемна, потом поужинал ёлким салом, лепешками с патокой из подозрительно затхлой муки, причем все, что он ел, принадлежало Биллу Уорнеру, пока он, Минк, не соберет и не продаст будущей осенью еще не посеянный хлопок.

Через час, захватив керосиновый фонарь, чтобы видно было, где копать, он снова пошел строить загородку Хьюстону. Он ни разу не прилег, он даже не остановился, хотя проработал с рассвета весь день, и, когда снова занялась заря, оказалось, что он проработал без сна целые сутки; взошло солнце, и он вернулся на свое поле, к мулу и плугу, и только в полдень прервал пахоту на обед, потом снова вернулся в поле, снова пахал или так ему казалось, пока, очнувшись, он не увидел, что лежит в последней борозде под задранными рукоятками ушедшего в землю плуга и неподвижный мул все еще стоит в упряжке, а солнце медленно заходит.

Потом снова ужин, похожий и на вчерашний ужин и на сегодняшний завтрак, и снова, неся зажженный фонарь, он прошел через выгон

Хьюстона туда, где осталась его лопата. Он даже не заметил, что Хьюстон сидит на груде приготовленных столбов, пока Хьюстон не встал, держа ружье наперевес.

— Уходи!— сказал он.— И не смей приходить на мой участок после захода солнца. Хочешь доканать себя — доканывай, только не здесь. Уходи отсюда. Может, я не могу запретить тебе отрабатывать за эту самую корову днем, но запретить работать по ночам я имею право.

Но он и это мог выдержать. Потому что он знал, как это бывает. Он все узнал на собственной шкуре, сам себя научил, потому что другого выхода не было: он понял, что человек все может вынести, если он спокойно и просто откажется что-нибудь принять, признать, чему-то поддаться. Теперь он даже мог спать по ночам. И не потому, что у него было время выспаться, а потому, что ему стало спокойнее, не надо было торопиться, спешить. Он допахал арендованный участок, взрыхлил борозды, пока стояла хорошая погода, а в непогожие дни кончал строить загородку Хьюстону, ведя счет каждому отработанному дню, каждым отработанным пятидесяти центам на выкуп коровы. Но никакой спешки, никакой гонки; наконец пришла весна, и земля потеплела, готовая принять посев, и он увидел, что придется потерять много времени, не ходить на постройку загородки, потому что надо заняться севом; он отнесся к этому спокойно, взял семена хлопка и пшеницы в лавке Уорнера и засеял свой участок быстрее, чем обычно, потому что надо было снова идти делать загородку и в собственном поте растворить еще полдоллара. Он и своим терпением гордился: только не сдаваться, потому что так он мог победить *Их*; конечно, *Они* могут в какую-то минуту пересилить его, но никто, ни один человек не умеет ждать дольше, чем он умел ждать, зная, что только выжидание поможет, посодействует, послужит ему.

И наконец наступил вечер того дня, когда он смог отбросить терпение вместе с лопатой, носилками и остатком проволоки. Хьюстон тоже, наверно, знал, что наступил последний день. Похоже, что Хьюстон весь день ждал, когда он подойдет по тропке к загону и в ту минуту, как солнце сядет за деревьями на западной опушке, заберет корову; похоже, что Хьюстон весь день с самого рассвета сидел у окна кухни, чтобы видеть, как он, Минк, придет на работу в этот последний день и принесет веревку, чтобы отвести корову домой. И, в сущности, весь этот последний день, копая последние ямы и затаптывая в них не колья, а последнюю обиду, которую *Они* нанесли ему, использовав Уорнера как орудие, чтобы испытать его, посмотреть, сколько же он еще может выдержать, он представлял себе, как Хьюстон понапрасну шныряет вдоль дороги, обыскивая каждый куст, каждую канавку, чтобы найти, где же он спрятал веревку.

А он ее, веревку, даже не принес с собой, он работал упорно, пока солнце совсем не село и никто уже не мог бы сказать, что полный день не закончен, не отработан, и только тогда собрал лопату, и кирку, и носилки и отнес их к загону, аккуратно сложив их в углу у загородки, где и негр, и Хьюстон, и кто угодно, кому придет охота поглядеть, обязательно их увидят, а сам при этом даже ни разу не взглянул в сторону хьюстоновского дома, ни разу даже не взглянул на корову, про которую теперь никто не мог сказать, что она не его собственная,— а просто прошел по дороге две мили до своей лачуги.

Он поужинал спокойно, неторопливо, даже не прислушиваясь, ведут ли к нему корову и кто ее на этот раз ведет. Может, ее даже приведет сам Хьюстон. Впрочем, если подумать, Хьюстон похож на него. Хьюстона тоже запугать нелегко. Пусть сам Уорнер спохватится,

пусть-ка он позаботится, пришлет констебля и вернет ему корову теперь, когда, по решению судьи, отработано все до последнего цента, и он, Минк, жует свое сало с лепешками и пьет кофе с тем же самым кротким выражением лица, похожим на улыбку, представляя себе, как Квик идет по дороге с веревкой, спотыкаясь и бранясь, оттого что ему приходится возиться в темноте, хотя ему лучше бы сидеть дома, сняв сапоги, и ужинать; и Минк про себя уже повторял, придумывал, как он ему скажет: «Я отработал восемнадцать с половиной суток. А сутки считаются от зари до зари, значит, и нынешний день кончится только завтра, на рассвете. Так что отведи-ка ты эту корову туда, куда вы с Биллом Уорнером ее поставили восемнадцать с половиной суток назад, а завтра утром я ее сам заберу. Да напомни этому негру, пусть покормит ее пораньше, чтоб мне не ждать».

Но он ничего не услыхал. И только тогда он понял, что ждал корову, рассчитывал, что ее, так сказать, доставят ему на дом. Его вдруг прошибло, пронзило страхом, он в ужасе понял, как непрочно спокойствие, в котором он, как ему казалось, жил с той ночи, два месяца назад, когда он столкнулся с Хьюстоном у загона и тот пригрозил ему пистолетом, понял, до чего хрупко то, что ему казалось спокойствием, и как ему теперь надо быть постоянно начеку, так как, очевидно, любой пустяк может снова отшвырнуть его назад, к той минуте, когда Билл Уорнер сказал, что надо отрабатывать восемнадцать долларов семьдесят пять центов, из расчета пятьдесят центов за день, только для того, чтобы вернуть свою собственную корову. Теперь придется выйти на свой выгон и поглядеть, не поставил ли Квик корову потихоньку, а потом скрылся, удрал; теперь придется зажигать фонарь и выходить в темноту — искать то, чего он наверняка не найдет. Мало того, придется объяснять жене, куда он идет с фонарем. И, конечно, пришлось ей ответить грубым, непристойным, коротким словом, когда она спросила: «Ты куда идешь? Разве Джек Хьюстон тебя не предупредил?» да еще прибавить, не от грубости, а оттого, что она к нему вязла:

— Разве что ты выйдешь да вместо меня...

— У, бесстыдник! — крикнула она.— При девчонках такие слова!

— Ну да! — сказал он.— А то, может, их пошлешь? Может, они вдвоем за одного взрослого сойдут. Хотя жрут они так, что, наверно, и одна справится.

Он пошел к хлеву. Конечно, он так и знал, коровы там не было, и он обрадовался. Все это — ведь он заранее знал, что если кто-нибудь из них привел корову, то все равно надо выйти и проверить,— все это пошло на пользу, предупредило его (хотя ничего худого еще не случилось), какую штуку *Они* ему норовят подстроить. Хотят швырнуть его, пнуть, сбить с ног и тем погубить окончательно: *Они* не могли побороть его ничем — ни деньгами, ни нуждой, не могли взять его долготерпением. Только одним *Они* могли побороть его: захватить врасплох, отшвырнуть назад, в то состояние свирепой, слепой ярости, когда он терял рассудок.

Но теперь все было в порядке. Он даже выгадал: завтра утром, когда он возьмет веревку и пойдет за коровой, не Квик, а сам Хьюстон его спросит: «Чего же ты не пришел вчера вечером? Твой последний, восемнадцати-с-половиной-долларовый день кончился вчера к вечеру».— И он ответит самому Хьюстону: «День считается от зари до зари. Значит, этот восемнадцати-с-половиной-долларовый день кончился сегодня утром, если только этот ваш хворый негр уже успел покормить мою корову».

Всю ночь он спал без просыпа. Потом позавтракал и на рассвете не торопясь пошел по дороге к Хьюстонову загону с мотком веревки на

руке, остановился, облокотясь на верхнюю жердину, болтая свернутой веревкой, и минуты две смотрел на негра с вилами и на самого Хьюстона, прежде чем они его увидали. Он заговорил первый:

— Доброго вам утра, Джек. Пришел за этой самой коровой, что мне присудили, вы уж будьте настолько любезны, велите, чтоб ваш черномазый был настолько любезен и накинул на нее эту веревку, ежели только ему не затруднительно,— а сам стоял, облокотясь на верхнюю жердину, пока Хьюстон не подошел и не остановился футах в десяти от него.

— С тобой расчет не закончен,— сказал Хьюстон.— Тебе еще два дня отрабатывать.

— Так, так,— сказал он негромко и мирно, почти что ласково.— Конечно, человек, у которого есть загон, полный породистых быков и телок, не говоря уже о новой загородке, которую ему даром выстроили ни за что ни про что, он, конечно, может и ошибиться насчет какой-то мелочишки, каких-то долларов, особливо когда их и всего-то восемнадцать семьдесят пять, не больше. А у меня только и есть что восьмидолларовая корова, я-то полагал, что ей восемь долларов красная цена. И не так я богат, чтоб не уметь сосчитать до восемнадцати с половиной.

— Да я не про эти восемнадцать,—сказал Хьюстон.— Я говорю...

— И семьдесят пять центов,-- сказал Минк.

— ...про девятнадцатый. Ты должен еще доллар.

Он не двинулся с места, не переменился в лице, он только сказал:

— Какой еще доллар?

— Штрафной,— сказал Хьюстон.— Закон говорит, что если кто приютит бродячую скотину, а хозяин не придет за ней до вечера в тот же день, он должен заплатить один доллар штрафу за ее содержание.

Он стоял не шевелясь, даже рука не сжала свернутую веревку покрепче.

— Так вот почему вы так поторопились в тот день и не дали Лону отвести ее к себе,— сказал он.— Лишний доллар захотели получить.

— Черт с ним, с лишним долларом,— сказал Хьюстон,— и к черту Лона. Пусть бы забирал. А держал я ее у себя, чтобы тебе не ходить лишнего до Лона. Не говоря уже о том, что я ее каждый день кормил, а Лон Квик, наверно, не стал бы. Вон там и кирка, и лопата, и носилки, в углу, куда ты их вчера поставил. Можешь когда угодно...

Но он уже повернулся, уже пошел спокойным ровным шагом со свернутой веревкой на руке по дорожке к шоссе, но не домой, а в противоположную сторону, к лавке Уорнера, за четыре мили отсюда. Он шел в это ясное, ласковое молодое летнее утро меж зеленеющих перелесков, где уже давно отцвел шиповник, терн и дикий сливняк, меж засеянных полей, где густо и крепко поднялись хлопок и пшеница, но все же не так густо, как на его маленьком участке (видно, хозяева этих участков работали далеко не так спокойно и неторопливо, как, по его представлению, работал он); спокойно шагал он по свежей и спелой земле, до краев налитой жизнью, молнией мелькали птицы в гомоне и гаме, зайчата шныряли из-под ног, их тонкие тельца казались двухмерными, если не считать быстроту третьим измерением,— шагал к лавке Уорнера.

Трухлявая деревянная веранда над трухлявым деревянным крыльцом, наверно, сейчас пустовала. Мужчины в комбинезонах — закончив дела, они обычно сидели весь день на корточках или стояли, прислонясь к стенке, на улице или в самой лавке,— должно быть, сегодня ушли в поле, копают канавы, чинят загородки или ведут первую прополку либо вручную, либо культиватором. Да и в лавке было пусто. Он поду-

мал: «Был бы Флем здесь...» — зная, что Флема тут нет; ему, Минку, больше чем кому другому было известно, что свадебное путешествие продлится, пока им можно будет вернуться домой и объявить всем в поселке, что ребенок, которого они привезут с собой, родился уж никак не раньше, чем в мае месяце. Впрочем, не то, так другое; ведь отсутствие его родича, когда он так был нужен, тоже только проверка, издевка, глумление: снова *Они* испытывали его не затем, чтобы посмотреть, переживет ли он все это — в этом *Они* не сомневались,— а просто ради удовольствия видеть, как он вынужден делать лишнее, бессмысленное, то, что никому не нужно.

Но и Уорнера тоже в лавке не было. Этого Минк не ждал. Он был уверен, что *Они* не упустят возможности до отказа набить лавку людьми, которым место в поле, на работе,— пускай все эти лентяи и бездельники слушают развесив уши, о чем он пришел поговорить с Биллом Уорнером. Но и Уорнера не было, в лавке оказался только Джоди Уорнер и Лэмп Сноупс — приказчик, которого Флем поставил за себя, когда уехал прошлым летом жениться.

— Ежели он поехал в город, он до ночи не вернется,— сказал Минк.

— А он не в городе,— сказал Джоди,— он поехал смотреть мельницу на Памкин-крике. Говорил, к обеду вернусь.

— Он до ночи не приедет,— сказал Минк.

— Как хочешь,— сказал Джоди.— Можешь идти домой, придешь завтра.

Выбора не было. Конечно, он мог бы прошагать пять миль до дому и потом пять миль обратно, не торопясь, до полудня, если бы ему хотелось пройтись. Либо мог постоять у лавки до полудня, но дождался бы старика Уорнера только в ужин, потому что *Они* ни за что не пропустили бы случай заставить его, Минка, потерять весь рабочий день. А это значило, что придется полночи копать ямы для хьюстоновской загородки, потому что ему нужно было отработать два дня к послезавтра, к полудню, чтобы закончить то, что ему необходимо было сделать и для чего надо было еще съездить в город.

А не то он мог бы вернуться домой, поесть, а потом опять прийти сюда — день-то все равно уже пропал. Но *Они*, конечно, и такой случай не упустят: стоит ему отойти, как пролетка вернется с Памкин-крика и Билл Уорнер вылезет из нее. Поэтому он остался ждать в лавке до полудня, и, когда Джоди ушел домой поесть, Лэмп отрезал ломоть сыру и отсыпал пригоршню галет.

— Может, поешь? — сказал Лэмп.— Билл и не заметит.

— Нет,— сказал Минк.

— Ладно, запишу за тобой, если тебя совесть заедает из-за одного Уорнерова никеля.

— Я есть не хочу,— сказал Минк. Но одну вещь он мог сделать, одну штуку подготовить, благо это было недалеко. И он пошел туда, в одно заранее намеченное место, и сделал то, что надо,— ведь он заранее знал, что ему скажет Уорнер,— и потом вернулся в лавку, и действительно, к самому концу дня, так, что день этот уже окончательно пропал, подъехала пролетка и Билл Уорнер вылез из нее и стал, как обычно, привязывать лошадь к столбу, когда к нему подошел Минк.

— Ну что? — сказал Уорнер.— Что там еще?

— Мне бы кое-что насчет закона разъяснить надо,— сказал он.— Насчет закона про оплату содержания.

— Что, что? — переспросил Уорнер.

— Вот именно,— сказал он, спокойно и негромко с невозмутимым, мирным лицом, почти с улыбкой.— Я-то думал, что уже к вечеру отра-

ботал те тридцать семь с половиной дней по полдоллара за день. А сегодня утром пошел забирать свою корову, и оказалось, что я еще не отделался, должен еще два дня штрафных работать, за содержание.

— Сто чертей! — сказал Уорнер. Он с проклятием надвинулся на низкорослого Минка.— Это тебе Хьюстон сказал?

— Вот именно,— сказал Минк.

— Сто чертей! — повторил Уорнер. Он вытащил из заднего кармана громадный потертый кожаный бумажник, перетянутый ремнем, как чемодан, и вынул оттуда долларовую бумажку.— Бери,— сказал он.

— Значит, и вправду в законе сказано, что я должен уплатить еще доллар, прежде чем мне отдадут мою корову?

— Да,— сказал Уорнер.— Раз Хьюстон требует. Бери доллар.

— А он мне не нужен,— сказал Минк, уже уходя.— Мы с Хьюстоном не деньгами рассчитываемся, мы с ним рассчитываемся ямами. Мне только надо было проверить закон. А раз так по закону, значит, мне, как видно, надо подчиниться, я против закона не пойду. Ежели законам не подчиняться, так зачем зря деньги тратить — выдумывать их, писать.

— Погоди,— сказал Уорнер.— Не смей туда ходить. Не смей и близко подходить к Хьюстону. Ступай домой и жди. Я тебе доставлю корову, вот только найду Квика.

— Не нужно,— сказал Минк.— Может, у меня в запасе меньше ям, чем у Хьюстона долларов, но думаю, что еще на два дня у меня их хватит.

— Минк! — крикнул Уорнер.— Минк! Вернись!

Но Минк уже ушел. Правда, спешить ему было некуда, день все равно был загублен. Назавтра он пошел в новый загон Хьюстона и пробыл там до заката. На этот раз он спрятал инструменты под кустом, как делал всегда, собираясь вернуться утром, пошел домой, поужинал соленым салом, мучной болтушкой и недопеченными лепешками. Дома были только одни часы — жестяной будильник, который он поставил на одиннадцать вечера, чтобы встать. Он оставил себе с ужина кофе в кофейнике и немного мяса на застывшей сковородке да пару лепешек, так что уже была почти полночь, когда яростный лай пса разбудил негра и тот вышел из хижины, а он, Минк, сказал:

— Это мистер Сноупс. Явился на работу. Сейчас только пробило полночь, так что отметь!

Ему надо было дать о себе знать, чтобы уйти в полдень. И *Они* вместе с Хьюстоном тоже следили за ним, потому что, когда солнце достигло зенита и он отнес инструменты в угол загородки, там уже была привязана его корова, но он снял чужую веревку и, привязав к рогам свою, уже не повел ее, а сам побежал за ней рысцой, хлеща ее концом веревки по бокам.

Ему надо было поскорее отвести ее домой и поставить в загон. Он и сегодня снова не успеет пообедать, потому что надо бежать пять миль напрямик к лавке Уорнера, чтобы в два часа поймать почтовый дилижанс на Джефферсон, так как патронов с пулями в лавке Уорнера не держали. Жена с дочками тоже будут сидеть за обедом, а так, по крайней мере, не надо было ругаться, клясть их вполголоса, а может быть, и ударить, толкнуть жену, чтобы подобраться к очагу, вынуть вставной кирпич и вытащить из-под него табакерку с той единственной бумажкой в пять долларов, которую они хранили на черный день, как лодочник, которому пришлось распродать все свое имущество, не может расстаться с каким-нибудь буйком или спасательным кругом. Потому что у него было пять зарядов для старой крупнокалиберной двустволки, главным образом мелкая дробь, и лишь один заряд, каким стреляют

дроф или гусей. Но они лежали бог знает сколько лет — он и не помнил сколько. А кроме того, даже если бы он мог гарантировать, что они сработают, Хьюстон заслуживал лучшего.

Он бережно спрятал бумажку в кармашек комбинезона, сел в почтовую пролетку, а к четырем часам дня за последним перевалом показался Джефферсон, и он из простой предосторожности простым инстинктивным опасливым жестом сунул руку в кармашек, ничем не подавая виду, и вдруг стал лихорадочно рыться в опустевшем кармане, куда — он отлично помнил — была тщательно засунута бумажка, потом не двигаясь сидел рядом с почтальоном, пока пролетка спускалась с горы. «Надо,— подумал он,— лучше уж сразу»,— а вслух сказал спокойно:

— Ладно. Отдайте мои деньги.

— Что? — спросил почтальон.

— Деньги мои, пять долларов, они у меня были в этом кармане, когда я сел к вам у лавки Уорнера.

— Ах ты мелкая гадина! — сказал почтальон. Он остановил пролетку у обочины, закрутил вожжи вокруг кнутовища и подошел с той стороны, где сидел Минк.— Вылезай! — сказал он.

«Теперь надо с ним драться,— подумал Минк,— а ножа при мне нету, если потянусь за палкой, он перехватит. Будь, что будет».— И он слез с пролетки, а почтальон подождал, пока он подымет свои тощие, жалкие руки. Потом — оглушающий удар, но Минк почувствовал скорее не его, а жесткую неподатливость земли; грохнувшись спиной, он лежал неподвижно, почти спокойно и смотрел, как почтальон влез в пролетку и уехал.

Тогда он встал. Он подумал: «А ведь можно было бы не ездить, и пять долларов были б целы». Но мысль эта мелькнула и пропала, и он пошел по дороге ровным шагом, словно зная, зачем идет. Да он и знал, он уже все вспомнил: два или три года назад не то Солон Квик, не то Вернон Талл — неважно кто — видел медведя, последнего медведя в этих краях, он ушел в лес через плотину у мельницы Уорнера, и на него устроили облаву, и кто-то поскакал верхом в Джефферсон за Айком Маккаслином и Уолтером Ювеллом — лучшими охотниками в округе, и они приехали с крупнокалиберными ружьями, с охотничьими собаками, поставили флажки и прочесали долину, где видели медведя, но тот уже ушел. Теперь он знал, что ему делать,— вернее, где попытаться, и, перейдя площадь, он вошел в скобяную лавку, где Маккаслин был совладельцем, и посмотрел Маккаслину в глаза, спокойно подумав: «С ним ничего не выйдет. Он по лесам ходил, а там либо есть олени, медведи, пантеры всякие, либо их нет, так или эдак, никаких выдумок. Не поверит он, если ему соврать, хоть бы я и сумел». Но уже нельзя было не попробовать.

— А зачем вам два патрона с пулями? — спросил Маккаслин.

— Нынче утром один черномазый сказал, будто видел след медведя на болоте, у Блекуотерской плотины.

— Нет! — сказал Маккаслин.— Зачем вам эти два патрона?

— Как уберу хлопок, так расплачусь,— сказал Минк.

— Нет,— сказал Маккаслин.— Не продам. У вас там, во Французовой Балке, ничего такого нет, чтоб нужно было стрелять пулями.

Он был не слишком голоден, хотя и не ел ничего со вчерашнего дня: просто надо было как-то протянуть время до завтрашнего утра, пока не выяснится, отвезет его почтарь обратно до лавки Уорнера или нет. Он знал одну маленькую захудалую харчевню в дальнем проулке — ее держал известный всей Французовой Балке агент по продаже

швейных машин Рэтлиф, и если найдется полдоллара или хотя бы сорок центов, то там можно съесть котлету и на никель бананов и еще двадцать пять центов останется.

А на эти деньги можно было получить койку в Коммерческой гостинице, некрашеном двухэтажном бараке тоже в дальнем проулке; через два года владельцем этой гостиницы станет его родич Флем, чего, впрочем, Минк еще не знал. В сущности, он даже ни разу не вспомнил своего родича, с того вчерашнего утра, как вошел в лавку Уорнера, где Флем, до того как уехал с женой в Техас, всегда стоял на самом видном месте,— но ведь ему только надо было переждать до восьми часов утра, а ежели каждый раз за ожидание он стал бы платить наличными, он давным-давно очутился бы в работном доме.

Уже наступил вечер, вокруг площади загорелись огни, свет из аптеки косо падал на мостовую, и на камнях тускло дрожали мутно-розовые и зеленоватые пятна от шаров в окне, наполненных зеленой и красной жидкостью; Минку был виден прилавок с газированной водой и молодежь — молодые люди и девушки в городском платье, которые пили сладкие разноцветные сиропы, и он видел, как они все — парочки, молодые люди с девицами, и старики, и дети шли куда-то в одну сторону. Потом он услышал музыку, играл рояль, очень громко. Он пошел за толпой и увидел на пустыре высокую дощатую загородку с освещенным окошечком кассы у входа. Называлось все это «Светоч», он видел его и раньше снаружи, иногда днем, когда приезжал по субботам в город, а три раза — вечером, освещенным, как сейчас. Но внутри он никогда не был, потому что те три раза, когда он попадал в Джефферсон к вечеру, он приезжал верхом на муле из поселка с компанией мужчин, своих ровесников, чтобы поспеть ранним поездом в мемфисский публичный дом, и те несколько жалких долларов, что были у него в кармане, он силой отрывал от своего скудного пропитания, как отрывал и те два дня от работы дома, да и кровь ему в то время распаляло желание куда более настойчивое и жадное, чем желание побывать в кино.

Конечно, сейчас он мог бы истратить несколько центов. Однако он стал в стороне, пока очередь медленно продвигалась мимо окошечка кассы и пока последний не прошел внутрь. Потом резкий ослепительный свет за загородкой замигал и замер в холодном мерцанье; подойдя к загородке и прильнув глазом к щели, он увидел в длинной вертикальной прорези кусок, часть зрительных мест — темный ряд неподвижных голов, над которыми жужжащий конус света раскалывался в пылком и призрачном движении тел, в пляске и мерцании несбыточных снов и надежд, искусительных и бессвязных, оттого что ему видна была только узкая вертикальная полоска экрана; и он смотрел, пока голос из билетного окошка рядом не проговорил:

— Заплатите пять центов и войдите. Там все видно.

— Нет, премного благодарен,— сказал он. И пошел дальше. Площадь теперь опустела, а когда кончился сеанс, молодежь, юноши и девушки, прежде чем уйти домой, снова станут пить и есть всякие сласти, которых он никогда не пробовал. Он надеялся, что, быть может, увидит хоть один автомобиль: их в Джефферсоне уже было целых два — красный гоночный, принадлежавший мэру, мистеру де Спейну, и белый «стимер», собственность президента банка — старого банка города Джефферсона (полковник Сарторис, второй богач, тоже президент банка — нового банка,— не только не желал покупать автомобиль, но даже три года назад добился закона, который запрещал ездить по улицам Джефферсона в автомобилях, после того как самодельная машина, которую некто по фамилии Буффало сварганил у себя на заднем дворе,

напугала чистокровных коней полковника так, что они понесли). Но автомобиля он не увидел. Когда он переходил площадь, она была по-прежнему пуста. Дальше был отель, «Холстон-хауз», коммивояжеры сидели на тротуаре в кожаных креслах; вечер был теплый, один из наемных экипажей уже стоял наготове, и негр слуга грузил чемоданы и ящики с образцами товаров для тех, кто собрался уезжать на юг.

Значит, надо было идти поскорее, чтобы не опоздать к приходу поезда, хотя все четыре освещенных циферблата часов над городским судом показывали только десять минут девятого, а он знал по опыту, что новоорлеанский поезд из Мемфиса прибывает в Джефферсон только без двух минут девять. Правда, он знал и то, что товарные поезда приходят в любое время, не говоря уж о другом пассажирском поезде, на котором он тоже ездил, проходившем на север в половине пятого. Так что он мог просидеть ночь, не двигаясь, и все же наверняка увидеть до рассвета два, а то и пять, и шесть поездов.

Он прошел с площади мимо темных домов, где старики, тоже не ходившие в кино, сидели в качалках, смутно видных в прохладной темноте дворов, потом через негритянский квартал, куда даже электричество провели,— живут мирно, без забот, им не надо в одиночку биться и бороться, и не затем, чтобы добиться правды и справедливости, потому что все это давно потеряно, но чтобы защитить хоть самые основы, хоть свое право на них, а вместо этого они могут поболтать друг с дружкой, а потом пойти к себе домой, пусть всего лишь в негритянскую лачугу, и лечь спать, вместо того чтобы идти всю дорогу до вокзала, лишь бы на что-то смотреть, пока проклятый почтарь не выедет завтра в восемь утра.

Потом — вокзал, красные и зеленые глазки семафоров, гостиничный автобус, наемные экипажи, самоходная коляска Люсьюса Хоганбека, длинный, залитый электричеством перрон, полный мужчин и мальчишек, которые тоже пришли поглазеть на проходящие поезда: они тут стояли и в те три раза, когда он сам сошел с этого поезда, и на него тоже смотрели так, будто он приехал бог весть откуда, а не просто из мемфисского борделя.

Потом — поезд: четыре гудка у северного переезда, свет фар, грохот, гул паровоза, машинист и кочегар, смутно видные наверху, над струей шипящего пара, тормоза, багажные и пассажирские вагоны, потом вагон-ресторан, и вагоны, где люди спят, пока едут. Поезд останавливается. Негр, куда заносчивей, чем хьюстоновский слуга, выходит со складным стулом, за ним кондуктор, потом богатые люди весело садятся в вагоны, где уже спят другие богачи, за ними — негр со своим стульчиком и кондуктор, кондуктор высовывается, машет паровозу, паровоз отвечает кондуктору, отвечает первыми короткими, низкими гудками отправления.

Потом двойной рубиновый огонь последнего вагона быстро сплывается в одно, мигнув напоследок у поворота, четыре гудка отзываются, замирая у южного переезда, и он думает о дальних местах, о Новом Орлеане, где он никогда не бывал, да и не побывает, о дальних местах за Новым Орлеаном, где-то там в Техасе. И тут в первый раз он по-настоящему подумал о своем уехавшем родиче, о единственном из рода Сноупсов, который выдвинулся, вырвался и то ли родился с этим, то ли научился — сам себя вышколил, приобрел эту сноровку, это везенье, это уменье тягаться с *Ними*, защищаться от *Них*, одолевать *Их*, на что у него, Минка, как видно, ни сноровки, ни везенья не хватило. «Надо было мне подождать, пока он вернется»,— подумал он, возвращаясь на уже опустевшую безлюдную платформу, и только тут заметил, что подумал

не «надо подождать» Флема, а «надо *было* подождать», как будто ждать уже поздно.

В вестибюле вокзала с жесткими деревянными скамьями и холодной железной заплеванной табаком печкой тоже было пусто. Он видел вокзальные объявления насчет того, что плевать воспрещается, но нигде не было сказано, чтобы запрещалось человеку без билета сидеть в зале. Ничего, выяснится, и он стоял, невзрачный человечек, отощавший, без еды, без сна вот уже скоро сутки, с виду беспомощный и беззащитный, как подросток, как мальчик, в линялом латаном комбинезоне и рубахе, в тяжелых изношенных, жестких, как железо, башмаках на босу ногу, в пропотевшей, просаленной черной фетровой шляпе, заглядывая в пустую голую комнату, освещенную единственной незатемненной лампочкой. За окошком кассы он слышал прерывистое щелканье телеграфа и два голоса — это ночной дежурный изредка переговаривался с кем-то, а потом голоса умолкли, и телеграфист в зеленом козырьке выглянул из окошечка.

— Вам чего? — спросил он.

— Ничего, премного благодарен,— ответил Минк.— Когда следующий поезд?

— В четыре двадцать две,— сказал телеграфист.— Вам на него?

— Вот именно,— ответил он.

— Еще шесть часов ждать. Ступайте домой, выспитесь, а потом придете.

— Я из поселка, с Французовой Балки,— сказал он.

— Ага,— сказал телеграфист. Он скрылся в окошечке, и Минк снова сел. Стало тихо, и он даже разобрал, расслышал, как в темных деревьях за путями шуршат и стрекочут кузнечики, в бесконечном мирном шорохе, словно сами секунды и минуты мирно тикают в мирной тьме летней ночи, отщелкивая время, одна за другой. Вдруг весь вокзал затрясся, задрожал, наполнился громом, уже проходил товарный поезд, а он все еще никак не мог заставить себя проснуться, чтобы успеть выйти на перрон. Он все еще сидел на жесткой скамье, скорчившись от холода, когда алые огни последнего вагона прочертились в окнах, потом — в распахнутой двери, уводя грохот за собой; четыре гудка у перекрестка отдались в ушах и замерли. На этот раз телеграфист оказался в зале рядом с ним, а верхний свет был уже потушен.

— Проспали,— сказал он.

— Верно,— отозвался Минк.— Почти что и не слыхал его.

— Почему не сядете на скамейку поудобнее?

— А это не запрещается?

— Нет,— сказал телеграфист.— Я вас разбужу, когда объявят восьмой.

— Премного благодарен,— сказал он и прилег. Телеграфист ушел к себе, где уже снова стрекотал аппарат. «Да,— мирно подумал Минк,— если бы Флем был дома, он все бы это прекратил в первый же день, еще до того, как оно началось. Зря, что ли, он работал на Уорнера, и к Хьюстону был вхож, и к Квику, и ко всем другим. Он бы и сейчас все уладил, если бы я мог выждать. Только тут не во мне дело, не я ждать не могу. Это Хьюстон не дает мне ждать». Но он тотчас понял, что это неверно, что, даже если бы он ждал сколько угодно, *Они* сами помешали бы Флему возвратиться вовремя. И эту чашу ему придется осушить до дна: придется ему все вынести, пойти на этот последний, бесполезный и бессмысленный риск, на опасность только ради того, чтобы показать, сколько он может вынести до тех пор, пока *Они* не вернут его родича, чтобы спасти его. В той же чаше лежала и жизнь Хьюстона, но о Хью-

стоне он не думал. Он как-то перестал думать о нем с той минуты, когда Уорнер сказал, что придется заплатить штраф.

— Ладно уж,— сказал он мирно и на этот раз вслух,— ежели *Им* так хочется, пожалуй я и это выдержу.

В половине восьмого он стоял в узком дворике за почтой, где казенные пролетки ждали, когда почтари выйдут из боковой двери с мешками почтовых отправлений. Он уже узнал пролетку с Французовой Балки и спокойно встал рядом, не слишком близко, однако так, что почтарь непременно должен был его увидеть, и, наконец, малый, который вчера сбил его с ног, вышел, увидел его, узнал с одного взгляда, потом подошел и уложил мешок с почтой в пролетку, а Минк не пошевельнулся, просто стоял, ждал — возьмет он его или нет, и почтальон сел в пролетку и распутал вожжи с кнутовища и сказал:

— Ну ладно. Как-никак, тебе надо вернуться на работу. Полезай,— и Минк подошел и сел в пролетку.

Был уже двенадцатый час, когда он слез у лавки Уорнера, сказал: «Премного благодарен»,— и пошел домой, пять миль. Он поспел к обеду и ел медленно и спокойно, пока его жена скулила и грызла его (хотя, очевидно, она не заметила вынутый кирпич), допытываясь, где да зачем он пропадал всю ночь, потом кончил есть, допил свой кофе и, непристойно, злобно выругавшись, выгнал всех троих — жену и обеих девчонок — окапывать ранний хлопок, а сам улегся на земляной пол в галерейке под сквознячок и проспал до вечера.

Потом наступило завтрашнее утро. Он взял из угла тяжелое, принадлежавшее еще его деду, десятикалиберное двуствольное ружье, у которого курки стояли над казенной частью высоко, как уши кролика.

— Это еще что? — закричала жена.— Ты что затеял?

— Зайцев бить,— сказал он.— Меня от сала уже мутит,— и, захватив патроны с самой крупной дробью из своего жалкого запаса — там были дробовые патроны и со вторым, и с пятым, и с восьмым номером,—он стал пробираться даже не боковыми тропками и дорожками, а канавами, пролесками и оврагами, где его никто не приметит, не увидит, до самого тайника, который он себе подготовил, пока ждал возвращения Уорнера два дня назад; там, где дорога от дома Хьюстона к лавке Уорнера шла по мосту через ручей, в зарослях у дороги лежало бревно, на которое можно было сесть; на кустах, где он проделал что-то вроде прорези, откуда можно было целиться, еще не засохли обломанные ветки, а деревянные доски моста в пятидесяти ярдах от дороги, загремев под копытами жеребца, должны были предупредить его, если он задремлет.

Возможно, что и целая неделя пройдет, прежде чем Хьюстон поедет в лавку. Но рано или поздно он поедет. А если ему, Минку, для того чтобы победить *Их*, надо выжидать, так *Они* могли бы сдаться уже три месяца назад и зря не тратить свои и чужие силы. Словом, не только в первый, но и на второй день он вернулся домой без добычи и ел ужин в упорном, неизменном молчании, пока жена ныла и грызла его за то, что он ничего не принес, а потом, отодвинув пустую тарелку, холодной, ровной, злобной и монотонной руганью заставлял ее замолчать.

И, может быть, это случилось не на третий день. По правде сказать, он и не помнил, сколько дней прошло, когда он наконец услышал внезапный грохот копыт по мосту и потом увидел их: жеребец, играя, грыз удила и мундштук, которыми сдерживал его Хьюстон, а огромный поджарый пес бежал рядом. Он взвел оба курка, вдвинул ружье в просвет меж кустами и ждал; в тот миг, когда он целил в грудь Хьюстону, чуть поводя стволами, когда его палец уже лег на передний спуск и первый

патрон, глухо щелкнув, дал осечку, он подумал: «Даже сейчас *Им* все мало»,— а его палец уже лег на второй спуск, и он опять подумал, даже тут, когда вдруг грохнуло и загремело, подумал: «Если бы только было время, если б успеть между грохотом выстрела и попаданием сказать Хьюстону, если б Хьюстон мог услыхать: «Не за то я в тебя стреляю, что отработал тридцать семь с половиной дней по полдоллара за день. Это пустое, это я давно забыл и простил. Видно, Уорнер иначе никак не мог, он и сам богач, а вам, богатым, надо стоять друг за дружку, иначе другим, бедным, вдруг втемяшится в башку взять да и отнять у вас все. Нет, не за то я в тебя стрелял. Убил я тебя за тот самый лишний доллар, за штрафной».

2

Итак, присяжные сказали: «Виновен»,— а судья сказал: «Пожизненно»,— но он даже не слушал. Потому что с ним что-то произошло. Когда шериф вез его в город, в тот первый день, он, зная, что его родич еще в Техасе, все же верил, что у любого придорожного столба Флем или его посланец догонит их, выйдет на дорогу и остановит их, что-то скажет или вынет деньги, словом, сделает так, что все развеется, исчезнет, как сон.

И все те долгие недели, когда он в тюрьме ждал суда, он стоял у оконца камеры, сжимая грязными руками прутья решетки и вытянув шею, прижимался к ним лицом, глядя на угол улицы перед тюрьмой, на угол площади, который придется срезать его родичу, когда тот пойдет к тюрьме, чтобы развеять наваждение, освободить его, увести отсюда: *Больше мне ничего и не надо,*— думал он,— *только бы выбраться отсюда, вернуться домой, хозяйничать на земле. Я многого и не прошу.*

И по вечерам он все стоял у окна, и лица его не было видно, а исхудалые руки казались почти белыми, почти чистыми в темноте камеры, меж закопченными прутьями решетки, и он смотрел на свободных людей, на мужчин, на женщин, на молодежь, у всех у них были свои мирные дела, свои удовольствия, и шли они прохладным вечером к площади смотреть кино или есть мороженое в кондитерской, а может быть, просто спокойно погулять на свободе, потому что они-то были свободны, и он стал окликать их, сначала робко, потом все громче и громче, все настойчивее и настойчивее, и они останавливались, словно с перепугу, и смотрели на окошко, а потом пускались почти бегом, как будто хотели поскорее уйти туда, где он их не увидит; и в конце концов он стал предлагать им деньги, обещать им: «Эй, мистер! Миссис! Кто-нибудь! Кто передаст поручение в лавку Уорнера, Флему Сноупсу? Он заплатит! Он десять долларов даст! Двадцать!»

И когда наконец настал день и его в наручниках повели в зал, где надо было встать лицом к лицу с судьбой, он ни разу даже не взглянул на судей, на возвышение, которое легко могло стать его Голгофой, а вместо того не отрываясь, пристально смотрел на бледную, безымянную, безразличную толпу, ища в ней своего родича или хотя бы его посланца, смотрел до той минуты, когда самому судье пришлось перегнуться через высокий пюпитр и крикнуть: «Вы, Сноупс! Смотрите мне в глаза! Вы убили Джека Хьюстона или не вы?» — и он ему ответил: «Не трогайте меня! Видите — я занят!»

Да и на следующий день, когда все эти судейские кричали и препирались и склочничали, он ничего не слыхал, даже если бы мог их понять, потому что все время смотрел на ту дальнюю дверь, через которую должен был войти его родич или посланный им человек, а по дороге

в камеру, куда его вели в наручниках, его упорный взгляд, в котором сначала было только беспокойство и нетерпение, а теперь стала появляться озабоченность, какое-то изумление и вместе с тем полная трезвость, этот взгляд быстро перебегал по лицам, всматриваясь в каждого, кто попадался навстречу; а потом он снова стоял у окошка камеры, стиснув немытыми руками закопченную решетку, вжимаясь в прутья так, чтобы видеть как можно лучше улицу и площадь внизу, где должен был пройти его родич или посланный им человек.

И потому, когда на третий день, прикованный наручниками к конвойному, он заметил, что прошел площадь, ни разу не взглянув в уставившиеся на него лица, и, войдя в зал суда, сел на скамью подсудимых, тоже ни разу не взглянув через море лиц на дальнюю дверь, он все же не посмел признаться самому себе, почему так случилось. Он так и просидел, маленький, щуплый, безобидный с виду, как любой заморыш-мальчишка, пока препирались и разглагольствовали судейские, до того самого вечера, когда присяжные сказали: «Виновен»,— и судья сказал: «Пожизненно»,— и его повели в наручниках в ту же камеру, и дверь захлопнулась, а он уселся на голую железную койку, притихший, молчаливый, сдержанный, и только взглянул на маленькое окошко, у которого он ежедневно простаивал по шестнадцать-восемнадцать часов в неугасимой надежде, в ожидании.

И только тут он сказал себе, подумал отчетливо и ясно: *Он не придет. Видно, он все время был в поселке. Видно, это дело до самого Техаса дошло, он все знал про мою корову и только ждал, пока ему скажут, что меня упрятали в кутузку, а уж тогда вернулся, видно, хотел убедиться, что теперь Они со мной что угодно могут сделать, что Они меня одолели, вымотали. Может, он все время прятался там, в суде, уверься хотел, что ничего не упустил, что он наконец от меня избавился, совсем, навсегда.*

И тут наконец он успокоился. Раньше он думал, что уже успокоился тогда, в тот час, когда решил, как ему надо поступить с Хьюстоном, и понял, что Хьюстон не даст ему дождаться, пока приедет Флем. Но тогда он ошибался. Какое же тут спокойствие, когда все так неясно: например, неизвестно было, сообщат ли Флему, что он попал в беду, уж не говоря о том, вовремя ли сообщат. И даже если Флему сообщили бы вовремя, мало ли что могло помешать ему приехать вовремя — разлив реки или крушение на железной дороге.

Но теперь все это кончилось. Теперь ему не надо было беспокоиться, волноваться, оставалось только ждать, а он уже доказал себе, что ждать он умеет. Просто ждать: больше ему ничего не нужно, даже не надо было просить тюремщика вызвать адвоката — тот сам сказал, что зайдет к нему после ужина.

Он съел ужин, который ему принесли — ту же свинину и непропеченные лепешки с патокой, которые он ел бы дома; впрочем, ужин был даже получше: свинина не такая жирная, какую приходилось есть дома. Разве только дома ужин был свой, и ел он его у себя, на свободе. Но он и это может выдержать, если *Они* больше с него ничего не потребуют. Потом он услыхал шаги на лестнице, двери хлопнули, впуская адвоката, и потом захлопнулись за ним; адвокат был молодой, горячий, только что из юридического института, сам судья его назначил, вернее, велел ему защищать Минка, но он, Минк, хоть ему и было не до того, все же сразу понял, что этому адвокату нет никакого дела ни до него, ни до его бед — да он и не знал, к чему все это, так как все еще был уверен, что уладить дело проще простого: для этого судья или кто угодно должен только послать во Французову Балку и найти его родича.

Слишком он был молод, слишком горяч, этот адвокат, вот почему он так все испортил. Но теперь и это было неважно. Теперь главное узнать, что будет дальше. Он не стал терять времени.

— Ладно,— сказал он.— А долго ли мне там быть?

— Это Парчменская тюрьма, каторжная,— сказал адвокат.— Как же вы не понимаете?

— Ладно,— повторил он.— А долго ли мне там быть?

— Вас приговорили пожизненно,— сказал адвокат.— Разве вы не слышали, что он сказал? На всю жизнь. Пока не умрете.

— Ладно,— сказал он в третий раз, с тем же спокойным, почти что сострадательным терпением: — А долго ли мне там быть?

И тут даже этот адвокат его понял.

— А-а... Ну, это зависит от вас и ваших друзей, если они у вас есть. Может, всю жизнь, как сказал судья Браммедж. Но лет через двадцать-двадцать пять вы по закону имеете право хлопотать об амнистии или проситься на поруки, если у вас есть влиятельные друзья и если там, в Парчмене, вы будете себя вести как надо.

— А если у кого друзей нет? — сказал он.

— У людей, которые прячутся в кустах и стреляют по человеку, даже не крикнув: «Защищайся», даже не свистнув, у таких, конечно, друзей не бывает,— сказал адвокат.— Значит, чтобы оттуда выйти, вам остается только надеяться на самого себя.

— Ладно,— сказал он с тем же непоколебимым, с тем же бесконечным терпением.— Я потому и жду не дождусь, чтоб вы перестали болтать и мне все объяснили. Что мне надо делать, чтобы выйти оттуда через двадцать или двадцать пять лет?

— Главное — не пытаться бежать, не участвовать ни в каких заговорах, чтобы помочь бежать другим. Не вступать в драку с другими заключенными или со стражей. Исполнять все, что прикажут, от работы не отлынивать, не жаловаться, не возражать, делать все, пока не прикажут прекратить работу. Другими словами, вести себя как следует, и если бы вы так себя вели все время, с того самого дня, прошлой осенью, как вы решили прокормить свою корову даром за счет мистера Хьюстона, то вы бы и сейчас не сидели в этой камере и не спрашивали бы, как вам отсюда выбраться. А главное — не делайте попыток к бегству.

— Попыток? — переспросил он.

— Не пробуйте удрать. Не пытайтесь бежать.

— Не пытаться? — повторил он.

— Ведь все равно это невозможно,— сказал адвокат, с трудом сдерживая подступающую злость.— Все равно уйти нельзя. Не удастся. Никогда не удается. Нельзя задумать побег, чтобы другие не узнали, а тогда они тоже будут пытаться бежать вместе с вами, и всех вас поймают. А если даже они с вами не убегут, то донесут на вас начальнику тюрьмы, и вас все равно поймают. И если даже вам удастся от всех скрыть свои планы и вы убежите один, часовой подстрелит вас, когда вы будете перелезать через ограду. Так что, даже если вы не попадете в морг или в больницу, вас вернут в тюрьму и прибавят еще срок — еще двадцать пять лет. Теперь вы поняли?

— Значит, мне только одно и надо, чтобы выйти лет через двадцать-двадцать пять? Не пытаться бежать. Ни с кем не драться. Делать, что велят, слушаться, когда приказывают. А главное — не пытаться бежать. Вот все, что мне надо делать, чтобы выйти на свободу через двадцать-двадцать пять лет.

— Правильно,— сказал адвокат.

— Ладно,— сказал он.— Теперь ступайте спросите судью, так это или нет, а если он скажет, что так, пусть пришлет мне бумагу, где все будет написано.

— Значит, вы мне не верите,— сказал адвокат.

— Никому я не верю,— сказал он.— Некогда мне тратить двадцать, а то и двадцать пять лет, чтобы проверить, правильно вы сказали или же нет. У меня дело будет, когда я выйду. Так что мне надо знать. Мне бы получить бумагу от судьи.

— Значит, вы мне, как видно, никогда и не верили,— сказал адвокат.— Значит, вы, как видно, считаете, что я все ваше дело провалил? Может, вы считаете, что, если бы не я, вы бы тут не сидели? Так или не так?

И он, Минк, сказал с тем же непоколебимым, терпеливым спокойствием:

— Вы все сделали, что могли. Просто не тот вы человек для такого дела. Вы молодой, горячий, но мне не то нужно. Ловкач, деляга, чтоб умел дела делать. А вы не такой. Ступайте-ка лучше возьмите для меня бумагу от судьи.

Но тут он, адвокат, даже попытался рассмеяться.

— И не подумаю! — сказал он.— Суд отпустил меня сегодня же, как только вынесли вам приговор. Я просто зашел попрощаться, узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь. Но, очевидно, люди, у которых нет друзей, и в помощи не нуждаются.

— Но я-то вас еще не отпустил! — сказал Минк и встал не торопясь, но тут адвокат вскочил на ноги, метнулся к запертой двери, уставившись на маленького человечка, который шел на него, щуплый, невзрачный, безобидный с виду, как ребенок, но смертельно опасный, как мелкая змея — вроде молодой гадюки, кобры или медянки. И адвокат закричал, завопил, и уже по лестнице затопал тюремщик, дверь с грохотом распахнулась, и тюремщик встал на пороге с револьвером в руке.

— Что случилось? — крикнул он.— Что он вам хотел сделать?

— Ничего,— сказал адвокат.— Все в порядке. Я кончил. Выпустите меня.

Но он совсем не все кончил, ему только хотелось так думать. Он даже не стал ждать до утра. Уже через пятнадцать минут он был в гостинице, в номере, где остановился окружной судья, который председательствовал на суде и вынес приговор, и он, адвокат, все еще задыхался, не веря, что ему больше не угрожает опасность, все еще удивляясь, как это ему удалось спастись.

— Он сумасшедший, понимаете? — сказал он.— Он опасен! Нельзя просто сажать его в Парчменскую тюрьму, где через какие-нибудь двадцать-двадцать пять лет он будет иметь право выйти на поруки, если только кто-нибудь из его родственников — а их у него до черта! — или кто-нибудь со связями, или просто какой-нибудь слюнтяй-благотворитель, вхожий к губернатору, не вызволит его до тех пор! Надо его отправить в Джексон, в сумасшедший дом, пожизненно, там он будет в безопасности, вернее, мы все будем в безопасности!

А еще через десять минут прокурор, который был обвинителем по этому делу, тоже сидел у судьи и говорил адвокату:

— Значит, вы хотите опротестовать приговор и снова назначить дело к слушанию? А почему вы раньше об этом не подумали?

— Да ведь вы же сами его видели! — сказал, вернее, крикнул адвокат.— Вы же сидели с ним в суде целых три дня!

— Правильно,— сказал прокурор.— Оттого-то я и спрашиваю, почему вы только сейчас спохватились.

— Значит, вы его с тех пор не видели,— сказал адвокат.— Пойдемте в камеру, посмотрите, каким я его застал полчаса назад.

Но судья был человек старый, идти вечером не захотел, и только на следующее утро тюремщик отпер камеру, впустил всех троих, и навстречу им с койки встал маленький, хрупкий с виду, почти бесплотный человечек, в заплатанном вылинявшем комбинезоне и такой же рубахе, в жестких, как железо, башмаках на босу ногу. Утром его побрили, и волосы у него были расчесаны на пробор и плотно прилизаны.

— Входите, джентльмены,— сказал он.— Стульев у меня нет, да вы, наверно, и не собираетесь тут долго рассиживаться. Значит, вы не только принесли мне бумагу, судья, вы еще и двух свидетелей привели, чтоб при них отдать.

— Погодите,— торопливо сказал судье адвокат,— дайте мне сказать.— Он подошел к Минку: — Вам никакой бумаги не нужно. Судья и все они будут вас судить еще раз.

Тут Минк застыл на месте. Он посмотрел на адвоката.

— А зачем? — сказал он.— Меня уже раз судили, а толку все равно никакого.

— Тот суд был неправильный,— сказал адвокат.— Об этом мы и пришли вам сообщить.

— Если тот неправильный, так чего же терять время, деньги тратить на второй? Велите этому малому принести мою шляпу, отворить двери, и я пойду себе домой хлопок собирать, ежели только там еще что-нибудь осталось.

— Нет, погодите,— сказал адвокат.— Тот суд был неправильный, потому что вас приговорили отбывать срок в Парчмене. А теперь вам не надо будет сидеть в тюрьме, где придется целыми днями работать в жару на чужом поле на чужого дядю.— И тут под немигающим взглядом выцветших сероватых глаз, которые уставились на него так, будто они не только не умели мигать, но с самого рождения им ни разу и не понадобилось мигнуть, адвокат вдруг помимо воли забормотал, не в силах остановиться: — Не в Парчмен вас отправят, а в Джексон, там у вас и комната будет отдельная, там и работать не надо, отдыхай весь день, там доктора...— И сразу оборвал себя, вернее, не сам оборвал свое бормотанье, оборвал его немигающий взгляд выцветших серых глаз.

— Доктора,— сказал Минк.— Джексон.— Он уставился на адвоката.— Да ведь туда сумасшедших сажают.

— А там вам было бы лучше...— начал прокурор. Но больше ничего сказать не успел. В университете он занимался спортом и до сих пор сохранил форму. И то он едва успел схватить эту маленькую бешеную тварь, когда она кинулась на адвоката, и оба покатились по полу. И то понадобилась помощь тюремщика, чтобы вдвоем оттащить Минка, и они еле-еле удержали его, как бешеную кошку, а он бормотал, задыхаясь от злости:

— Так я сумасшедший? Сумасшедший? Ах ты сукин сын, я тебе покажу, как меня обзывать сумасшедшим, я никому не спущу, будь он хоть самый главный, будь их хоть десяток...

— Правильно, мерзавец ты этакий! — задыхаясь, крикнул прокурор.— В Парчмен тебя, в Парчмен! Там для тебя найдутся доктора, там тебя вылечат!

И его отправили в Парчмен, приковав наручниками к помощнику шерифа, и они пересаживались из вагона в вагон, ехали на пригородных поездах, и последний поезд наконец вышел из предгорья, знакомого ему с самого детства, к дельте реки, которую он никогда в жизни не видел,— на огромную плоскую болотистую низину, поросшую кипарисами

и эвкалиптами, где в зарослях и чащобах водились медведи, олени, пантеры и кишмя-кишели змеи, а человек до сих пор злобно и упорно корчевал деревья и на жирной кочковатой земле выращивал высокий тощий хлопок, подымавшийся выше головы всадника, и он, Минк, сидел, прильнув к оконному стеклу, как ребенок.

— Да тут одни болота,— сказал он.— Вредные места, как видно.

— Еще какие вредные,— сказал помощник шерифа.— А это так и задумано. Тут каторжная тюрьма. По-моему, ничего вреднее нет, чем сидеть взаперти, за колючей проволокой, двадцать, а то и двадцать пять лет. А вам-то от вредного места больше пользы будет — по крайней мере недолго проживете.

Теперь он понял, что такое Парчмен, каторжная тюрьма, его судьба, рок, вся его жизнь, как сказал судья; тут ему быть пожизненно, до самой смерти. Но адвокат говорил не так, хоть ему и нельзя было верить: он сказал — только двадцать пять, а то и двадцать лет, а всякий адвокат, даже такой, которому верить нельзя, все же свое дело знает, не зря он в специальном заведении учился, там его натаскали, чтоб знал свое дело,— а что судья, ему только надо было голоса заполучить, победить на выборах. Ну, пусть судья не подписал бумагу, где было бы сказано про эти двадцать пять, а то и двадцать лет, это неважно, судья-то против него, он, конечно, соврет человеку, которого судит, а вот адвокат, твой собственный адвокат, тот тебе не соврет. Больше того: твой адвокат тебе врать не может, есть, говорят, какое-то правило, ежели клиент своему адвокату не врет, то и он ему врать не станет.

Пусть даже это и неверно, не все ли равно, раз он никак не может всю жизнь сидеть в Парчмене, на это у него времени нет, ему непременно надо выйти оттуда. И, глядя на высокую ограду с колючей проволокой, на единственные ворота, где день и ночь стояли часовые с ружьями, на низкие мрачные каменные строения с зарешеченными окнами, он с удивлением подумал, попытался вспомнить, как еще недавно он хотел освободиться только затем, чтобы вернуться домой и хозяйничать на участке, но вспомнил об этом только мимоходом, потому что теперь он знал — ему необходимо отсюда выйти.

Да, выйти было необходимо. Привычную одежду — линялый латаный комбинезон с рубахой — ему сменили на комбинезон и фуфайку из грубой белой ткани, исчерченной поперек черными полосами, и, если верить судье, это был его рок, его судьба до самой смерти, когда бы адвокат не сказал другое. Теперь он работал вместе с другими каторжниками на жирных черных хлопковых полях, и часовые, верхом, с ружьями через седло, караулили их, и он делал то единственное, что он умел, что делал всю свою жизнь, и уж до конца жизни ему не суждено было бы работать на своем участке, если бы судья оказался прав, и при этом думал: *Пусть так и будет. Так даже лучше. Ежели человек по своей охоте работает, он может и работать, и не работать. А ежели человеку работать НУЖНО, так тут его ничем не остановишь.*

И ночью, лежа на деревянной койке, без простыни, под грубым одеялом, подложив под голову одежу вместо подушки, он в мыслях твердил себе одно и то же, потому что ему надо было из ночи в ночь, двадцать-двадцать пять лет подряд переделывать всего себя, свой характер, всю свою сущность: *Надо делать то, что велят. Никому не перечить. Ни с кем не драться. Вот все, что мне надо делать двадцать пять, а то и всего двадцать лет. А главное — не пытаться бежать.*

Он даже не считал проходившие годы. Он просто предавал их забвению, затаптывал тяжелыми башмаками в землю на хлопковом поле, когда шел сначала за впряженным в плуг мулом, потом — за бороной, по-

том — с тяпкой и мотыгой и, наконец, с тяжелым мешком, куда он собирал, складывал хлопок. Ему и не надо было считать годы, теперь он был в руках Закона, и, пока он выполнял четыре условия, которые ему поставил Закон, этот Закон должен был выполнить одно-единственное условие — насчет тех двадцати пяти, а то и всего лишь двадцати лет.

Он не знал, сколько лет протекло, два года или три, когда пришло письмо, и, стоя в кабинете начальника тюрьмы, он вертел в руках конверт с маркой и карандашным адресом под пристальным взглядом начальника.

— Читать умеете? — спросил начальник.

— По-печатному могу, а по-писаному не разбираю.

— Может быть, мне распечатать? — спросил начальник.

— Ладно,— сказал он, и начальник распечатал письмо.

— От вашей жены. Спрашивает, когда ей можно приехать на свидание и хотите ли вы повидать дочек.

Он снова взял в руки письмо, листок, вырванный из школьной тетради, исписанный карандашом, тонкими, как паутинки, закорючками, понятными ему ничуть не больше, чем арабский или санскритский текст.

— Этти даже читать не может, не то что писать по-писаному,— сказал он.— Наверно, за нее мисс Талл писала.

— Так как же? — сказал начальник.— Что ей написать?

— Напишите, что нечего ей сюда тащиться, потому что я скоро вернусь домой.

— Вот как,— сказал начальник.— Значит, собираетесь скоро выйти отсюда, так? — Он посмотрел на тощее маленькое существо ростом с пятнадцатилетнего мальчишку; он был в его ведении уже три года и ничем не выделялся из общей массы заключенных. Нет, он не был загадкой, тайной, он просто был ничем — никаких штрафов, никаких замечаний или жалоб от тюремщиков, старост или начальства, никаких стычек с другими заключенными. А начальник по опыту знал, что убийцы, осужденные пожизненно, обычно делятся на две категории: либо это неисправимые, которым терять нечего, от них одни неприятности и хлопоты и страже и другим заключенным; либо это подлизы, которые пресмыкаются перед всеми, от кого зависит облегчить им жизнь. Но этот не такой: каждое утро выходит на работу, весь день работает упорно и добросовестно, как будто выращивает хлопок себе на потребу. Больше того, он лучше обрабатывает этот хлопок, за который не получит ни цента, чем люди его склада и характера обрабатывают собственные участки,— начальник это знал по опыту.— Каким же образом? — спросил начальник.

И Минк ему сказал то, что сейчас, через три года, он уже твердо заучил наизусть; стоило ему только открыть рот, и слова выходили, как дыхание:

— Надо делать то, что велят. Не перечить, не драться, не пытаться бежать. Это главное — не пытаться бежать.

— И тогда через семнадцать лет или через двадцать два года вы попадете домой,— сказал начальник.— Три года вы уже отбыли.

— Вот как? — сказал он.— А я и не считал... Нет,— добавил он,— не сразу домой. Мне сначала надо одно дело обделать.

— Какое? — спросил начальник.

— Да одно личное дело. Закончу его, тогда вернусь домой. Вы ей так и напишите.

Да, да,— подумал он.— *Похоже, что я только затем и попал сюда, в Парчмен, в этакую даль, чтобы потом выйти, добраться напрямик до дому и убить Флема.*

3

В. К. Рэтлиф

Чего Монтгомери Уорд никак не мог взять в толк ни в первый день, ни в следующие два-три дня, так это — почему Флему непременно надо было засадить его именно в Парчменскую тюрьму. Почему не в какое-нибудь другое, тоже безопасное, тоже уединенное место, скажем, в Атланту или в Левенуорс, а то и в Алькатраз*, за две тысячи миль, куда старый судья Лонг отправил бы его первым же поездом из Джефферсона (сам он все еще разглядывал исподтишка эти французские открытки), почему это Флему непременно понадобилось заслать Монтгомери Уорда именно в Парчмен, Миссисипи?

Вообще-то с самого начала во всей этой суматохе Монтгомери Уорд ни на минуту не задумывался над тем, что с ним стряслось. Как только Юрист и Хэб вошли к нему, он в ту же секунду понял — наконец случилось то, чего он ждал с той самой минуты, как Флем пронюхал или заподозрил, что можно извлечь прибыль из делишек, которые творились в этом переулочке. Одно только было непонятно: зачем Флему понадобились такие фокусы и сложности, чтоб отхватить у него эту самую торговлю голыми открытками. Похоже было на анекдот про того негра на дереве, который все добивался от парня с ружьем, угрожавшего ему снизу, как его зовут, а когда тот наконец ответил, негр и говорит: «Ох, нечистая сила! Так вот ты кто! Чего ж тебе время тратить, порох зря изводить, отойди-ка, я и так слезу!»

В общем, ему было плевать. То, что Флем Сноупс отнял у него это дельце, было в порядке вещей. Он этого ждал: раньше или позже и его очередь должна была прийти, он рисковал ничуть не меньше, чем любой житель округа Йокнапатофа, чем всякий, кто занимался делом настолько выгодным, чтобы Флему захотелось его присвоить. Но напустить на него самого прокурора штата и самого шерифа, чтоб эти открытки попали в руки именно к ним двоим из всех жителей округи, именно к тем двум людям, про которых даже Гровер Уинбуш, простая душа, не подумал бы, что они это дело так оставят, потому что юрист Стивенс до того старался поднять гражданскую совесть, до того пекся насчет нравственности, что из чистого чувства долга, никак не иначе, силком заставлял двенадцатилетних мальчишек бегать в пятимильной эстафете, тогда как им только и хотелось сидеть спокойненько дома и поджигать отцовские сараи, а шериф — Хэб Хемптон, силач, крепколобый баптист, ради чистого удовольствия, всегда мысленно подсчитывал, кто из его знакомых обязательно попадет в ад.

И вообще не известно, почему это Монтгомери Уорда надо было куда-то сажать, если его родичу — дядя ли он ему или двоюродный брат — приспичило отнять у него это дельце; ну, подержали бы его недельку-другую, а то и месяц-другой где-нибудь подальше, чтобы люди подзабыли про эти самые голые открытки или хотя бы забыли, что кто-то, по фамилии Сноупс, был замешан в это дело: ведь Флем теперь стал банкиром, он не только сколачивал себе капитал ростовщичеством, он еще должен был сколотить себе приличную репутацию.

Нет, чему Монтгомери Уорду действительно надо было удивляться (и от чего он действительно приходил в радостное удивление) — это тому, как же он до сих пор сумел держаться. Да вовсе и не нужен был ни закон, ни Флем Сноупс, чтобы закрыть его «студию», опустить

---

* Тюрьма в США.

(или, вернее, поднять) шторы и навсегда ликвидировать продажу французских открыток в городе Джефферсоне, штат Миссисипи. В сущности, виноват был Гровер Уинбуш, это он оплошал: кто-то подсмотрел, как он тихонько крадется из этого переулочка в два часа ночи. Нет, в сущности, Гровер Уинбуш погубил и подорвал это дело в Джефферсоне еще с того часа, как обнаружил в одном из джефферсонских переулков черный ход в учрежденьице, которое можно бы назвать бордельчиком всухую. Нет, пожалуй, дело погибло в Джефферсоне уже с того часа, как его, Гровера Кливленда Уинбуша, назначили ночным полисменом, потому что у Гровера только и хватало смекалки, чтобы служить ночным полисменом, да и то в городишке не больше Джефферсона, и чтобы спать там ложились не позже, чем в Джефферсоне, потому что из всех трудов на свете, за которые полагалось жалованье, один этот труд — стоять всю ночь, прислонясь к фонарному столбу, и глазеть на пустую площадь — только и был ему по плечу, и он мог бы заниматься такой работой до самой своей смерти (если, конечно, тот, кто достал ему эту работенку, продержался бы до тех пор), и он никогда и ничем не повредил бы себе, или своей работе, или случайному прохожему, или всему вместе; но, разумеется, такого, как он, любой дурак застукал бы на второй или третий раз, когда он прокрадывался из переулочка.

Впрочем, это был просто неизбежный производственный риск, если заниматься таким делом в городишке, где ночью стоит на посту Гровер Уинбуш, и Монтгомери Уорд знал это не хуже всех, кто был знаком с Гровером. Поэтому, когда целый год дела шли гладко, без всякого постороннего вмешательства, Монтгомери решил, что если кто и видел, как Гровер раз в месяц, за последние полгода с лишком, крадется по переулочку, так, наверно, это были деловые знакомые Гровера, те, кого он накрыл в игорном притоне во время облавы или поймал с бутылкой самогона в заднем кармане. И вообще, кто знает? Может, сам Флем вовремя обезвреживал этих свидетелей, защищая не столько свои будущие интересы и предстоящие капиталовложения, потому что он, может быть, в то время еще не решил отобрать это самое ателье (так оно и называлось, Монтгомери Уорд даже на стекле у себя написал: «АТЕЛЬЕ МОНТИ»), а просто потому, что он всегда оберегал и защищал всякие коммерческие предприятия, дававшие хоть небольшую прибыль, и не только из чувства семейственности по отношению к другому Сноупсу, но из чистого принципа, хоть сам он уже был банкиром и, естественно, должен был до какой-то степени сочетать выгоду с респектабельностью, так как всякая платежеспособность идет на пользу обществу, ежели только тебя не поймают за руку, а респектабельность ничуть не мешает процветанию выгодных предприятий, ежели только они процветают под шумок, темным вечерком.

И когда прокурор округа и шериф округа в одно прекрасное утро явились к нему, Монтгомери Уорд конечно подумал, что это просто-напросто судьба, самая обыкновенная судьба, и удивился он только тому, как неосмотрительно, нет, даже опрометчиво Флем Сноупс понадеялся использовать эту судьбу. Понимаете, он замешал в это дело прокурора Стивенса и шерифа Хемптона, подстроив так, что они случайно, краем глаза, увидели эти голые открытки. Вообще-то Монтгомери Уорд никогда не вылезал из дому раньше полудня, работенка у него шла, так сказать, в ночную смену. Так что, пока прокурор и шериф ему не рассказали, он и не знал, что какие-то два типа очистили шкафчик в аптеке-кондитерской дядюшки Вилли Кристиана и что все люди, видевшие грабеж сквозь витрину, не могли найти и следа этого самого Гровера Уинбуша и сообщить ему, что грабят, а когда Гровер наконец вылез от

Монтгомери Уорда, то и грабители, и те, кто видел их, давным-давно убрались восвояси.

Я не говорю, что Монтгомери Уорд удивился, почему это прокурор Стивенс и шериф явились к нему первыми. Кому, как не им, приходить, как только это его ателье лопнуло, неважно, по какой причине. Даже если бы в округе Йокнапатофа никто не слышал про Флема Сноупса, эти двое пришли бы первыми — этот наш говорун, наш правдолюб Юрист, обученный в Гарварде, а потом в Европе, во всяких заграничных университетах, он-то всегда, не оправдываясь тем, что, мол, получает жалованье и несет службу, вмешивался во все, особенно в те дела, которые его не касались и никак ему не мешали, а с ним — этот старый раззява Хемптон, которого можно было потащить смотреть что угодно, даже убийство, если только кто-нибудь вспоминал, что он — шериф и говорил ему, куда идти. Чего Монтгомери Уорд никак не мог взять в толк, так это какого черта на Флема Сноупса нашло такое затмение, что он поверил, будто можно подстроить так, чтобы эти голые картинки сначала оказались в руках у Стивенса и Хемптона, а уж потом он, Флем, их отберет,— как он мог даже думать об этом?

Потому-то вера Монтгомери, его надежда на Флема Сноупса заколебалась, была, так сказать, на минуту подорвана. И в эту страшную минуту он поверил, будто сам Флем Сноупс мог стать жертвой чистейшей случайности и попал в этот переплет нечаянно из-за Гровера Уинбуша, как мог попасть кто угодно. Но думал он так недолго. Конечно, тот проклятый мальчишка, который видел двух грабителей в кондитерской дяди Вилли, случайно пошел в кино на поздний сеанс именно в тот единственный вечер в неделю, когда Гровер Уинбуш еще разочек забежал в «Ателье» к Монтгомери Уорду. Но уж если сам Флем Сноупс был подвержен таким же гнусным незадачам и случайностям, как все мы, простые смертные, так тут хоть ложись и помирай.

Вот почему, даже когда Юрист и Хэб рассказали Монтгомери про грабителей и про мальчишку, с которого отец должен был бы спустить три шкуры за то, что он лег спать на два часа позже, Монтгомери все же ни на секунду не усомнился, что все это дело заварил Флем — сам Флем, у которого просто-напросто был такой же нюх на деньги, как у проповедника — на грешников и жареных цыплят; видно, Флем быстро и точно узнал, что где-то, в переулочке по ночам за закрытой дверью кто-то, как-то зарабатывает деньги, да к тому же таким манером, что люди издалека. из трех окрестных городов пробираются по этому переулку и в два и в три часа ночи.

Так что Флему только и оставалось досконально выяснить, что же делается в этом переулке, почему так тайно и какая тут выгода, а потом натравить своих шпионов — хотя вовсе и не понадобился бы настоящий шпион, мало-мальски уважающий свою профессию, чтобы поймать Гровера Уинбуша, это сделал бы любой мальчишка за порцию мороженого,— чтобы те поразведали, кто ходит в переулок, пока, раньше или позже, пожалуй, скорее раньше, чем позже, им не попадется кто-нибудь такой, кого Флем мог бы обработать. Скорее всего, это могло случиться раньше, чем позже, потому что по всем четырем округам, где распространилась эта торговлишка, не было почти ни одного человека из клиентуры Монтгомери Уорда, чья подпись не стояла бы под каким-нибудь денежным обязательством на имя Флема, хоть на три-четыре доллара, под сорок-пятьдесят процентов, так что Флем почти каждому мог сказать: «Да, насчет этого вашего векселька. Я бы, конечно, не дал банку с вас взыскивать, но я-то ведь только вице-президент, и мне с Манфредом де Спейном никак не сладить».

А может быть, Флем накрыл Гровера сам, поймал его, так сказать, тепленьким на месте, а не поймать этого Гровера, когда он украдкой пробирался по переулку во второй или третий раз, было уже просто невозможно; наверно, он его накрыл задолго до того, как его подвели те два типа, которые ограбили кондитерскую дяди Вилли Кристиана, взламывая шкафчик на виду у всего Джефферсона, потому что половина жителей в это время шла домой с последнего сеанса, а найти Гровера, чтобы заявить о грабеже, никто не смог. Словом, Флем, очевидно, накрыл кого-то такого, кого можно было поприжать, и выпытал у него, чем именно торгует Монтгомери Уорд за закрытыми дверьми. И теперь Флему оставалось только зацапать всю эту торговлишку, цапнуть ее у Монтгомери Уорда или его от нее отшить так же, как он, Флем, зацапал все, что можно было зацапать в Джефферсоне, начав с того, что высадил меня с Гровером Уинбушем из кафе, которое мы считали своим еще в те времена, когда я сдуру думал, что можно тягаться с Флемом.

Но теперь, когда он стал банкиром, вице-президентом банка (уже не говоря о том, что он третьим появлялся в баптистской церкви каждое воскресное утро, сразу после негра, топившего печь, и самого проповедника) и вся его карьера в Джефферсоне заставляла его быть респектабельным, а это все равно, как если бы человеку в воскресном костюме пришлось пробираться сквозь репьи и колючки,— теперь Флему, естественно, никак нельзя было показывать, что он имеет к этому делу отношение, даже что оно имеет отношение к фамилии Сноупс. Так что для Джефферсона «Ателье Монти» было закрыто, уничтожено, вычеркнуто из списка торговых предприятий навсегда, и все дело перевели в другой переулок, где о нем никогда раньше не слышали, и вел его кто-то, кто даже не знал, как пишется фамилия Сноупс. А может быть, если у Флема хватило смекалки, все дело перевели совсем в другой город, из тех, что обслуживал Монтгомери Уорд, туда, куда было не добраться Гроверу, по крайней мере до будущего лета, когда он пойдет в свой очередной двухнедельный отпуск.

Короче говоря, Монтгомери Уорду пришлось ждать — да, в сущности, ему ничего другого и не оставалось, как только ждать,— пока Флем решит, что пришло время вытянуть его из этого «Ателье» или оттягать это ателье у него, словом, как Флему покажется лучше. Возможно, что перед этим Монтгомери разик-другой пожалел, что не такое у него дельце, чтоб можно было спешно все распродать, прежде чем Флем о нем пронюхает. Но товар у него был настолько неуловимый, что и существовал-то он лишь в минуту, когда его покупал и, так сказать, потреблял клиент, и Монти мог бы продать только свой, так сказать, основной капиталец, а это противоречило бы всем законам экономики, у него тогда не осталось бы никакого, даже самого неуловимого, товара, нечем было бы торговать, дожидаясь, пока Флем прикроет его лавочку, а ждать надо было, может, неделю, а может, и несколько месяцев. Так что ему тем временем оставалось только любым способом и средствами гнать, увеличивать товарооборот, дожидаясь, пока Флем начнет действовать, ну и, конечно, ломать себе голову насчет того, каким способом Флем его прищучит — то ли он нашел в его, Монтгомери Уорда, прошлом какую-то зацепку, загвоздку и собирается поддеть его с помощью этой зацепки, то ли он будет действовать грубо, без всякой выдумки и просто предложит ему деньги.

В общем, все это время он ждал Флема. Но кого он не ждал — так это юриста Стивенса и Хэба Хемптона. Так что в какой-то, как говорится, молниеносный миг, когда Юрист и Хэб ворвались к нему рано утром, Монтгомери Уорд подумал, что всему причиной эта самая рес-

пектабельность, которую теперь обязан напускать на себя Флем, и положение у него теперь настолько щекотливое, настолько деликатное, что ему никак нельзя иначе — надо, чтобы все выглядело так, будто сам Закон очистил Джефферсон от сноупсовского «Ателье», и Флем, в сущности, использовал юриста Стивенса и Хэба Хемптона только в качестве толкачей. Конечно, если бы он поразмыслил, он бы догадался, что если уж эти голые картинки попали в руки к человеку, который так печется насчет воспитания гражданственности и укрепления моральных устоев юношества, как юрист Стивенс, и к такому плотоядному, твердолобому баптисту, как шериф Хемптон, так уж Флему ни черта не достанется от этого дела, одни благие намерения. Впрочем, когда шериф, выпятив пузо, вопьется в тебя, как иголками, своими белесыми глазками, тут уж не до размышлений и догадок, тут мозгами не пораскинешь. Так что Монтгомери Уорду было не до размышлений и догадок, он даже спокойно подумать не мог, и не удивительно, ежели в этот самый молниеносный миг он обидел своего родича Флема страшным подозрением, будто Флем дал себя обставить Стивенсу и Хемптону, а сам Флем только и собирался выпереть его, Монтгомери Уорда, из этого дела и по наивности полагает, что сможет выдрать эти голые картинки из рук Хэба Хемптона, если тот их рассмотрит как следует, и что в действительности толкачом оказался сам Флем.

Впрочем, даже в самом безвыходном положении у Монтгомери Уорда настолько хватило здравого смысла и соображения, не говоря уже о фамильной гордости и преданности, чтобы не поверить, будто не то что двое, а хоть десять тысяч юристов Стивенсов и шерифов Хемптонов могут обставить Флема Сноупса. В сущности, он мог скорее поверить не этому гнусному предположению, а тому, что Флему Сноупсу не повезло, как может не повезти любому смертному,— и не в том не повезло, что он ошибся в характере Гровера Уинбуша и подумал, будто этот Гровер может безнаказанно шляться в переулочек три-четыре раза в неделю и никто ни разу за семь-восемь месяцев его не заметит,— нет, ему в том не везло, что эти два вора выбрали для ограбления кондитерской дядюшки Вилли Кристиана именно тот вечер, когда маленький Ренсивел удрал из дому по водосточной трубе на последний сеанс в кино, чего Монти, конечно, не предвидел.

И теперь Монтгомери Уорду только и оставалось сидеть в тюремной камере, куда его отвел Хэб, и следить с каким-то, можно сказать, профессиональным спокойствием и любопытством, как же Флему удастся заполучить те голые картинки у Хэба. Конечно, тут понадобится время: при всем его уважении к Флему, при всей фамильной гордости, он знал, что даже для Флема это не так просто, как взять, например, шляпу или зонтик. Но день кончился, а ничего такого, как он и ожидал, не случилось. Конечно, у него мелькала мыслишка — а вдруг и Флема застали врасплох и он зайдет к нему, к Монтгомери Уорду, надеясь, что тот ему хоть что-нибудь разъяснит, не зная, что Уорд сам ничего не знает. Но когда Флем не пришел и даже ничего не передал, Монтгомери стал еще гораздо больше уважать Флема и оправдывать его: все это неопровержимо доказывало, что Флему ничего от него не нужно, даже той, так сказать, моральной поддержки, какую тот только и мог ему дать.

Ждал он всю ночь, совместно со всеми, как говорят, объединенными клопами Йокнапатофского округа до самого утра. Можете себе представить, как он удивился и заинтересовался — вот именно, он не испугался, не изумился, а его просто удивило и заинтересовало,— когда один его заботливый знакомец (это был Юфус Тэбз — тюремщик, он тоже был заинтересован в этом деле, не говоря уже о том, что он всю жизнь чему-

нибудь удивлялся) зашел вечерком в камеру и рассказал, как Хэб Хемптон вернулся утром в «Ателье» — проверить на всякий случай, не проглядели ли они вчера со Стивенсом какое-нибудь вещественное доказательство,— и тут же обнаружил пять галлонов самогонного виски, стоявших на полке в бутылях, в которых раньше, Монтгомери Уорд готов был поклясться, никогда ничего, кроме проявителя, не было.

— Теперь тебя отправят не в Атланту, а в Парчмен,— сказал Юфус,— а это уж не такая даль. Не говорю уж о том, что тюрьма эта в штате Миссисипи, значит, и тюремщик там свой, коренной уроженец Миссисипи, пусть хоть он попользуется деньгами, что выдадут на твой прокорм, а то эти проклятые судьи то и дело отправляют наших коренных миссисипских жуликов куда-то вон из штата. А там чужаки, бог весть кто, на них зарабатывают.

Он не испугался, не изумился, просто его все это удивило и заинтересовало, даже главным образом заинтересовало, потому что Монтгомери Уорд отлично знал, что, когда он со следователем и шерифом в то утро уходил из «Ателье», на полке в бутылках ничего, кроме проявителя, не было, знал, что и Хэбу Хемптону и юристу Стивенсу тоже известно, что там ничего другого нет, потому что, если человек распространяет картинки в Джефферсоне, в штате Миссисипи, то осложнять дело торговлей самогонным виски значит нарываться на неприятности, все равно как если бы владелец игорного притона или рулетки вздумал в том же помещении еще поставить станок для печатания фальшивых денег.

А главное, Монтгомери ни на минуту не усомнился, что виски туда подкинул Флем, именно туда, где шериф должен был наткнуться на эти бутылки, и тут его восхищение Флемом, его уважение подскочило до высшей точки, потому что он знал, что теперь, когда Флем стал банкиром и о своей репутации ему надо заботиться не меньше, чем невинной девице, которая вдруг очутилась ночью одна, без гувернантки, среди пьяных коммивояжеров, ему, Флему, нипочем нельзя было самому иметь дело с местными бутлеггерами и, наверно, пришлось ездить за самогоном во Французову Балку, а то и на Девятый участок, к Нэбу Гаури, да еще платить двадцать или двадцать пять долларов своих кровных денежек. А может быть, на какую-то долю секунды, у Монгомери мелькнула мыслишка, что раз Флем мог заплатить двадцать, а то и двадцать пять долларов, значит, в нем, где-то внутри, еще живы самые обыкновенные родственные чувства. Но, конечно, мыслишка эта только мелькнула на какую-то долю секунды, а то и меньше, потому что, даже если за Флемом водились какие-нибудь слабости и недостатки, все равно он никогда не дойдет до того, чтобы выкинуть двадцать долларов ради кого-нибудь из Сноупсов.

Нет, раз он потратил двадцать пять или тридцать долларов, значит, все оказалось не так-то просто, как Флем ждал и рассчитывал. Но тот факт, что он, и дня не промешкав, сразу выложил деньги, показывал, что в окончательном результате Флем никогда не сомневался. Естественно, что и Монтгомери Уорду тоже сомневаться не приходилось и даже гадать, что будет, не стоило, а надо было просто ждать, потому что теперь за него весь город гадал, что будет, ждал развязки, а не просто следил за тем, что делается. И выследил: все видели, как на следующий день Флем пересек площадь, свернул к тюрьме, вошел туда и через полчаса оттуда вышел. И назавтра Монтгомери тоже вышел оттуда — Флем внес за него залог. А еще через день в город приехал некто Кларенс Сноупс — сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс,— теперь он сидел в сенате штата, а раньше служил констеблем во Французовой Балке, пока во имя закона он рукояткой пистолета не избил человека, который оказался на-

столько злопамятным и мстительным, что возмутился — как это его смеет бить пистолетом какой-то тип только потому, что носит бляху констебля и ростом выше него. Пришлось дядюшке Биллу Уорнеру как-то вызволять Кларенса, и он заручился поддержкой Флема, а того поддержал Манфред де Спейн, банкир, и все они трое заручились поддержкой еще всяких людей, так что удалось пристроить Кларенса в законодательные органы в Джексоне, где он даже не знал, что ему делать, так что кто-то, кому и дядя Билл и Манфред доверяли, подсказывал ему, когда ставить подпись и когда подымать руку.

Но, как говорил юрист Стивенс, он еще раньше нашел свое истинное призвание в жизни: в один прекрасный день он поехал из Французовой Балки в город и увидел, что злачные места разрослись далеко за Джефферсон, к северо-западу, захватив даже окраины Мемфиса, штат Тенесси,—там, где улицы Мальбери, Гейозо и Понтоток*,— так что, когда он через три дня вернулся в поселок, у него все еще волосы стояли дыбом и глаза окончательно вылезли на лоб, как будто он все время повторял про себя: «Сто чертей! Сто чертей! Почему мне раньше не сказали? И давно это так?» Но он быстро наверстал все, что упустил. Можно сказать, он даже перекрыл упущенное, потому что теперь, каждый раз, как он ездил из Французовой Балки в Джексон и обратно, через Джефферсон, он заезжал и в Мемфис, так что он стал, как говорил юрист Стивенс, почетным потомственным венерическим посланником от улицы Гейозо на весь северный округ штата Миссисипи.

И когда через три дня Монтгомери Уорд вместе с Кларенсом сели на поезд номер шесть — он шел на север,— мы только и знали, что Кларенс едет через Мемфис в Джексон или во Французову Балку. Но нас главным образом интересовало, что прятал Монтгомери в своем «Ателье» такое, чего даже Хэб не нашел и за что Флему Сноупсу не жалко было выдать две тысячи залогу, а потом отправить этого Монтгомери в Мексику или куда он там собирался. Так что нам не только было любопытно и странно — любопытно-то оно было, но мы просто рты разинули от удивления и мозги у нас заработали, как машины, когда два дня спустя Кларенс и Монтгомери вылезли из поезда номер пять — он шел на юг — и Кларенс отвез Монтгомери Уорда к Флему, а сам уехал в Джексон или во Французову Балку, словом, туда, откуда ему в следующий раз сподручней будет заехать на улицу Гейозо, в Мемфис. А Флем поручил Монтгомери Уорда тюремщику Юфусу Тэбзу, и тот отвел его в тюремную камеру, а залог в две тысячи вернули, а может, только отдали на время, как вешают на вешалку парадную шляпу до следующей свадьбы или похорон, словом, пока не понадобится.

А тот — я говорю про Юфуса,— очевидно, поручил Монтгомери Уорда своей жене, миссис Тэбз. Мы даже слыхали, что она повесила старую занавеску на окошко камеры, чтоб солнце не будило Монтгомери слишком рано. И каждый раз, как юрист Стивенс, или Хэб Хемптон, или еще кто из представителей закона хотели переговорить с Монтгомери Уордом, его скорей всего находили в кухне у миссис Тэбз, где он, подвязавшись ее фартуком, лущил горох или чистил кукурузу. И мы — ну, скажем, и я — вроде как бы случайно проходили мимо тюремной ограды, и конечно там оказывался Монтгомери — он и миссис Тэбз, на огороде,— Монтгомери рыхлил грядки, не очень-то ловко, но все-таки тыкал тяпкой, куда показывала миссис Тэбз.

— Может, она хочет выведать про те открытки,— сказал мне как-то Гомер Букрайт.

---

* Район «веселых домов».

— Что-о? — говорю.— Миссис Тэбз?

— Ну конечно ей любопытно,— говорит Гомер.— Не человек она, что ли, даром что женщина!

А три недели спустя Монтгомери Уорда судил судья Лонг, и судья Лонг засадил его на два года в каторжную тюрьму, в Парчмен, за незаконное владение одной бутылью для проявителя, содержавшей один галлон самогонного виски, каковое вещественное доказательство было представлено суду.

Так что все ошиблись. И вовсе Флем не затем внес две тысячи залогу, чтобы вычистить Монтгомери Уорда из Соединенных Штатов Америки, и вовсе он не затем истратил двадцать пять или тридцать долларов на самогон «белый мул», чтобы в Атланту, тюрьму штата Джорджия, не послали человека по фамилии Сноупс. А истратил он эти самые двадцать пять или тридцать долларов для того, чтобы суд послал Монтгомери Уорда именно в тюрьму Парчмен, тогда как иначе его без всяких затрат отправили бы в тюрьму в штат Джорджия. А это было уже не только удивительно, но и здорово любопытно, больше того — здорово интересно. И вот на следующее утро я случайно оказался на станционной платформе, как раз к приходу поезда номер одиннадцать, шедшего на юг, и, разумеется, там стоял Монтгомери Уорд и Хантер Килгрю, помощник шерифа, и я сказал Хантеру:

— Может, тебе надо пройтись в умывалку, а то скоро поезд подойдет, ехать-то ведь долго. Я посторожу Монтгомери Уорда за тебя. И вообще, ежели человек не сбежал, когда за него внесли залог в две тысячи, так неужто он сейчас станет удирать, когда его только наручники и держат?

Тут Хантер отдал мне свою половину наручников и отошел в сторону, а я и говорю Монтгомери Уорду:

— Значит, все-таки отправляетесь в Парчмен? Это куда лучше. Мало того, что вы не отнимаете у ростовщика законный и естественный приработок с коренной миссисипской пищи, которую коренной миссисипский тюремщик будет скармливать коренному миссисипскому заключенному, вам и скучно там не будет, ведь там у вас сидит коренной миссисипский дядюшка или двоюродный брат, с ним можно провести время, свободное от полевых работ или еще каких дел. Как же его звать? Да, да, Минк Сноупс, он ведь ваш дядюшка или двоюродный брат, у него еще были мелкие неприятности за то, что он убил Джека Хьюстона. Он все ждал, что Флем успеет вернуться из Техаса и вызволит его, только Флем был другим занят, и видно было, что Минк здорово расстроился. Кем же он вам приходился, дядюшкой или братом двоюродным?

— Чего? — говорит Монтгомери Уорд.

— Кем же, говорю?

— Что кем же? — говорит Монтгомери Уорд.

— Дядя он вам или двоюродный? — говорю.

— Чего? — говорит Монтгомери Уорд.

4

Монтгомери Уорд Сноупс

— Значит, этот сукин сын вас обдурил,— сказал я.— Вы думали, что его повесят, а его только засадили пожизненно.

Он ничего не ответил. Сидел молча на кухонной табуретке, которую сам принес из кухни Тэбзов. Для меня в камере стояла только койка — для меня и, конечно, для клопов. Сидел молча, а тень от решетки поло-

совала его белую рубаху и этот гнусный десятицентовый галстук-бабочку—говорили, что этот же галстук на нем был шестнадцать лет назад во Французовой Балке. А другие говорили — нет, это не тот самый галстук, который он взял в лавке Уорнера и надел в тот день, когда ушел с фермы и поступил приказчиком к Уорнеру, не тот, в котором он венчался с этой потаскушкой, Уорнеровой дочкой, а потом носил в Техасе, дожидаясь, пока она выродит своего ублюдка, и в этом же галстуке приехал домой— в то время он еще носил маленькую суконную кепку, как у четырнадцатилетнего мальчишки. А потом — черную фетровую шляпу, ему сказали, что банкиры носят такие, но кепку он не выбросил: он ее продал негритенку за цент, вернее, заставил того отработать, а шляпу эту он в первый раз надел три года назад и, как говорят, с тех пор не снимал ее никогда, даже дома, ну, разве что в церкви, и она была как новая. Да, с виду она была совсем неношеная, даже не пропотела, хоть носил он ее денно и нощно три года, может, и с женой ложился при шляпе, ей-то, наверно, это было не в диковину, наверно, она и не к тому привыкла, те, что с ней ложились, наверно, и перчаток не снимали, не говоря уж о шляпах, башмаках и пальто.

Сидел передо мной и жевал. Говорят, когда он поступил приказчиком к Уорнеру, он жевал табак. А потом дознался про деньги. Нет, он про них и раньше слыхал, ему они даже попадались изредка. Но тут он в первый раз дознался, что деньги могут прибывать с каждым днем и сразу их не съешь, хоть бы ты жрал двойные порции жареной свинины с белой подливкой. И понял он не только это: оказывается, деньги — штука прочная, крепче кости и тяжелее камня, и если зажать их в кулак, то уж больше, чем ты сам захочешь отдать, у тебя никакой силой не вырвешь, и тут он понял, что не может себе позволить каждую неделю сжевывать целых десять центов, да к тому же он открыл, что десятицентовой жевательной резинки хватит недель на пять, если начинать новую пластинку только по воскресеньям. Потом он переехал в Джефферсон и тут увидел настоящие деньги. Понимаете — много, сразу, и еще увидел, что нет предела, сколько денег можно заграбастать и не выпускать из рук, главное, лишь бы денег было побольше и лишь бы у тебя нашлось верное, надежное место, куда их высыпать из горсти, чтобы освободить руки и снова загребать. Тут-то он и сообразил, что даже один цент в неделю сжевывать нельзя. Когда у него ничего не было, он мог себе позволить жевать табак, когда у него денег было мало, он мог себе позволить жевать резинку; но когда он сообразил, до чего можно разбогатеть, если только раньше не помрешь, он себе позволял жевать одну лишь пустоту, и сейчас он сидел на кухонной табуретке, тень решетки полосовала его поперек, и он жевал пустоту, не глядя на меня, вернее, вдруг перестал глядеть на меня.

— Пожизненно,— говорю.— То есть, как теперь считается, двадцать лет, если только за это время ничего не случится. Сколько же лет прошло? Кажется, это было в девятьсот восьмом, он еще тогда целыми днями торчал в окне тюрьмы, может, даже вот в этом самом, ждал, пока вы вернетесь из Техаса и вызволите его, ведь из всех Сноупсов только у вас хватало и денег и дружков, так он по крайней мере считал, и он каждого прохожего окликал, просил передать вам в лавку Уорнера, чтоб вы пришли и спасли его, а потом на суде весь последний день ждал вас, надеялся, а вы не пришли. С девятьсот восьмого, сейчас девятьсот двадцать третий — а всего ему сидеть двадцать лет, значит, скоро он выйдет. Черт меня дери, значит, вам и жить-то осталось всего пять лет, верно? Ну хорошо. Чего же вы от меня хотите?

Он мне сказал чего.

— Ну хорошо,— сказал я.— А что я за это получу?

Он мне и это сказал. Я стоял, прислонясь к стене, и смеялся над ним. Потом я ему все выложил.

Он и не пошевельнулся. Он только перестал жевать и повторил:

— Десять тысяч долларов?

— Значит, это вам слишком дорого,— говорю,— значит, вы свою жизнь цените в пятьдесят долларов, да и то товарами и в рассрочку? — Он сидел, исполосованный тенью решетки, жевал пустоту и смотрел на меня, а может, просто в мою сторону.— Даже если дело выгорит, вы в лучшем случае добьетесь, что ему удвоят срок, добавят еще двадцать лет. Значит, в девятьсот сорок третьем году вам опять все начинать сначала, опять беспокоиться, что жить осталось всего пять лет. Лучше уж перестаньте вынюхивать и выпытывать, как бы подешевле сторговаться. Покупайте все первым сортом: вам это по карману. Выкладывайте десять косых наличными, и пусть его прикончат. Насколько мне известно, за такие денежки весь Чикаго будет рвать из рук эту работку. Впрочем, черт с ними, с десятью тысячами, и черт с ним, с Чикаго. И за одну тысчонку можете здесь же, в штате Миссисипи, в самом Парчмене, заставить десять верных парней тянуть жребий, кому первому прикончить его выстрелом в спину.

Но он все жует, никак не перестанет.

— Вот оно как,— говорю,— значит, бывает такое, чего даже Сноупс сделать не решится. Впрочем, что это я: не постеснялся же наш дядя Минк помириться с Джеком Хьюстоном при помощи ружья, когда сыр слишком круто забродил. Вернее, я хотел сказать, с каждым Сноупсом может разок и так случиться, что он тебе ничего не сделает — главное, заранее узнать, пока он тебя не разорил и не сгубил, чего он делать не станет. Ладно, пусть будет пять,— говорю,— торговаться я не буду. Черт с ним, мы же родственники, верно?

Тут он на миг перестал жевать и повторил:

— Пять тысяч долларов.

— Ну ладно, я же знаю, что у вас наличных при себе нету,— говорю.— Да они вам сейчас и не нужны. Адвокат сказал, что времени у вас два года, успеете их набрать, закладывайте, продавайте, крадите, что там надо закладывать, продавать или красть.

Это до него дошло — по крайней мере я так подумал. До меня самого не все сразу доходит, и так бывает, и не так, главным образом, не так. И тут он вдруг сказал:

— Тебе не придется сидеть два года. Я тебя освобожу.

— Когда? — говорю.— Когда вы будете спокойны, что ли? Когда я ему испорчу остаток жизни, засажу еще на двадцать лет? Нет, не пойдет. Не выйду я оттуда. И даже те пять тысяч не возьму — это я вас дразнил. Мы вот как сделаем. Я туда отправлюсь, все устрою, засажу его на столько лет, на сколько удастся. Но сам я оттуда не выйду. Сначала отсижу там свои два годика, дам вам время, понятно? Потом уж выйду, вернусь домой. Все как полагается, сами знаете: начну новую жизнь, заглажу свое позорное прошлое. Конечно, работы у меня не будет, дела никакого, но в конце концов не зря же существует собственный двоюродный брат собственного моего папаши, который растет не по дням, а по часам, подымается все выше и в банке, и в церкви, и в общественном мнении, и в материальном положении, и черт его знает, в чем еще, а родная кровь — не водица, хоть ваш кровный родственник и вернется из тюрьмы, где сидел за незаконную торговлю виски, уж не говорю о том, что в нем вдруг может заговорить самолюбие и он не захочет принимать подачки от своего вполне почтенного кровного родственни-

ка — банкира, и может, ему взбредет в голову опять открыть свое старое, малопочтенное, но до черта выгодное дельце. Потому что такого товару я могу достать сколько влезет, а уж охотники найдутся, им только скажи, куда приходить, и к тому же на этот раз, может быть, бутылки с проявителем не будут стоять где попало. А если и будут — хрен с ним. Два годика отсидеть — и я опять тут как тут, опять готов перевернуть эту самую новую страницу жизни...

Он сунул руку во внутренний карман и сказал: «М-да»,—еще не тем манером, как он потом научился, но если бы уже научился, наверно, так бы и сказал. А он просто сказал: «М-да, так я и думал»,— и вытащил конверт. Ну конечно, я сразу узнал его. Конверт был мой, в левом углу напечатано «Ателье Монти», Джефферсон, Миссисипи. Сбоку — погашенная марка, почтовая печать, как выгравированная, и адрес: М-ру Г. К. Уинбушу, городское управление, так что я сразу понял, что там, внутри, прежде, чем Флем вытащил ее, ту фотографию, которую Уинбуш выклянчил у меня за пять монет для своей, как говорится, личной коллекции, хоть я и отказывался, потому что связываться с ним было рискованно. Но, черт его дери, все же он был блюстителем порядка, так по крайней мере считалось в нашем переулке часа в два-три ночи. Да, забыл: письмо явно побывало на почте, хоть я его никогда не опускал в ящик, но пошло оно не дальше этой самой штемпелевальной машины в джефферсоновском почтовом отделении. А так как у Г. К. Уинбуша уже были неприятности из-за того, что он сидел у меня в задней комнате и не дал, как он говорил, вышибить себе мозги тем грабителям, которые обворовывали старого занюханного Вилли Кристиана, то не понадобился Саймон Легри*, чтобы выпытать у него про фотографию и отобрать ее, и уж конечно можно было запросто заставить его свидетельствовать как угодно и против кого угодно. Дело в том, что у него имелась супруга и достаточно было только намекнуть Уинбушу, что ей покажут эту фотографию: она была из тех жен, которых никакая сила не могла бы разубедить, что дамочка на фото — в этот раз ее сфотографировали одну, и она ничего такого не делала, просто стояла, в чем мать родила,— что эта дамочка не только закадычная подружка Уинбуша, но и что он сам едва успел отскочить, чтоб не попасть на фото без брюк. И не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, какой приговор вынесет в федеральном суде этот старый ханжа с лошадиной челюстью, когда увидит конверт с почтовым штемпелем.

— Да, видно, козыри у вас на руках,— говорю.— Пожалуй, я и объявлять игру не стану. Видно, только и остается спасовать. Значит, после того, как я туда попаду и его прищучу, вы меня вызволите. А что потом?

— Билет куда угодно и сто долларов.

— Хоть бы пятьсот,— говорю.— Ладно, не стоит торговаться. Пусть будет двести пятьдесят.

А он и не стал торговаться.

— Сто долларов,— говорит.

— Только сначала мне надо хотя бы взять из общего котла свою долю,— говорю.— Если мне целый год сидеть взаперти на этой распроклятой казенной хлопководческой ферме...

Тут он торговаться не стал, нет, надо ему отдать справедливость.

— Я об этом подумал, — говорит. — Все устроено. Завтра тебя выпустят под залог. Кларенс тебя захватит по дороге в Мемфис. Два дня в твоем распоряжении.— Ей-богу, он и об этом подумал.— Деньги будут у Кларенса. Вполне достаточно.

---

* Жестокий рабовладелец в романе Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

По-его достаточно или по-моему — неизвестно. Но в общем, теперь уже никто больше ни над кем не издевался. Я стоял и смотрел на него— сидит на кухонной табуретке, жует, ни на что не смотрит, и жует-то он пустоту, а те, кто его знал, говорили, что он ни разу в жизни глотка спиртного не выпил, а вот решился же накупить на тридцать или сорок долларов виски, засадить меня в Парчмен, чтоб я навредил Минку, и, как видно, готов был еще сотню истратить (а может, и две, если он собирался и за Кларенса платить) мне в утешение за то, что просижу в Парчмене столько, сколько надо, чтобы как следует навредить Минку, не дать ему выйти через пять лет; и вдруг я понял, что́ меня в нем сбивало с толку с тех самых пор, как я стал настолько взрослым, чтоб в таких делах разбираться.

— Так вы, значит, импотент? — говорю.— Значит, вы никогда в жизни с женщиной и не спали? Вы и женились только тогда, когда нашлась такая, которую уже до вас испортили, такая, что вам и дотронуться до себя не позволит. А жить-то вам все равно охота, черт меня дери! Только зачем? — А он сидит молчит. Сидит жует пустоту.— Кстати, к чему вам тратиться и на Кларенса? Даже если он предпочитает негритянские бордели, где высшая цена — доллар, вам все равно придется выложить порядочно, если Кларенс возьмется за работу. Отдайте деньги и отпустите меня одного! — Но не успел я сказать, как тут же понял, что он ответит. Не мог он рисковать, отпустить меня хоть за милю от Джефферсона одного, без надзора, без уверенности, что я вернусь, даже когда у него в кармане лежал тот проштемпелеванный конверт с карточкой. Он-то знал, что этого достаточно, и все же не решался рискнуть. Не посмел. Да, не посмел, даже в его годы, поверить, что самый простой способ заставить девять человек из десяти делать по-вашему—это доверять им.

Тэбз знал, что меня выпустят под залог, потому и хотел меня выставить в тот же вечер, чтоб прикарманить деньги за мой ужин, надеялся, в суматохе никто не заметит, но я ему сказал: «Нет, благодарю. Вы, говорю, зря петушитесь. Я служил (или, во всяком случае, прислуживал) в американской армии. И если вам кажется, что тут у вас для такого, как я, место подходящее, так посмотрели бы вы, где мне приходилось спать»,— а Тэбз все стоит в дверях камеры, в одной руке у него ключи, а другой затылок чешет. «Но одно вы можете сделать. Пойдите-ка и принесите мне пристойный ужин, мистер Сноупс за него заплатит, мои богатые родичи меня уже простили! И, кстати, захватите мемфисскую газетку». Он повернулся и пошел, а я ему ору вдогонку: «Эй, вернитесь! Заприте дверь. Не желаю, чтоб весь Джефферсон сюда набился, хватит и одного сукина сына в этой собачьей конуре!»

А на следующее утро явился Кларенс, Флем выдал ему деньги, и в тот же вечер мы, вернее, я оказался в Мемфисе, в гостинице Тиберри.

Кларенс знал один притон, где он был постоянным посетителем, там можно было остановиться всего лишь за доллар в день, хотя деньги чужие. А всякий, наверно, решил бы, что раз это деньги Флема, значит, любой из Сноупсов согласится спать даже на голой земле, лишь бы с Флема за этот ночлег содрали вдвое больше.

— Ну, что дальше? — спросил Кларенс. Вопрос, как говорится, был чисто риторический. Он-то знал, что дальше, вернее, считал, что знает. Он все заранее рассчитал. У Кларенса была одна хорошая черта — он никогда никого не подводил. Не выходило: каждому, кто с ним сталкивался, заранее было известно, что он сукин сын, недаром он мне приходился единоутробным братом.

А в прошлом году Вирджил (правильно Вирджил Сноупс, вы угадали, младший сын дядюшки Уэсли — того самого регента хора, кото-

рого поймали после церковной службы в пустом складе с четырнадцатилетней девчонкой, его тогда вываляли в перьях и смоле и выкинули в Техас или еще куда-то, словом — вон из округа Йокнапатофа; Вирджил унаследовал его способности) вместе с Фонзо Уинбушем — он, кажется, племянник моего клиента — отправились в Мемфис поступать в парикмахерское училище. Кто-то, наверно миссис Уинбуш — она была не из Сноупсов,— очевидно, учила их снимать комнату, только когда по хозяйке видно, что она — человек зрелый, верующая христианка, а главное — что в ней есть что-то материнское.

Наверно, они так и кружили вокруг вокзала со своими чемоданчиками, пока не прошли мимо дома Рэбы Риверс, как раз в то послеобеденное время, когда она выводила погулять двух своих злющих грязно-белых собачонок, которых она назвала мисс Рэба и мистер Бинфорд в честь Люциуса Бинфорда — он был ее сутенером, а потом они оба постарели, зажили мирной жизнью, и все соседи — и полисмен, и мальчишка, что носил молоко и получал за газету, и шофер грузовика из прачечной — величали Люциуса хозяином до самой его смерти.

Вид у нее, конечно, был достаточно зрелый, особенно в халате, в котором она выходила после обеда, и по ее разговору тоже можно было догадаться, что хотя она, может быть, и недостаточно верующая, но про бога и душу знает, особенно если подойти поближе и послушать, как она разговаривает со своими собачонками, когда выпьет лишку; и вообще, по-моему, во всякой женщине весом около двухсот фунтов да еще в халате, кое-как заколотом английскими булавками, даже когда она вышибает пьяного, есть что-то материнское — особенно для двух восемнадцатилетних мальчишек из Джефферсона, штат Миссисипи.

Может, в ней и на самом деле было что-то материнское, и Вирджил с Фонзо в своей детской невинности увидали в ней то, чего мы, ее старинные, давнишние клиенты и приятели, никак не могли заметить. А может, они по этой своей простой, сельской йокнапатофской малолетней неискушенности беспрепятственно зашли туда, где даже ангел предварительно сдал бы на хранение свой бумажник. Словом, они зашли, спросили, есть ли свободная комната, и она им отвела одну из комнат. Наверно, они уже успели распаковать свои картонные чемоданишки, когда она сообразила, что они и не подозревают, куда попали.

А ведь ей надо было платить аренду, подкупать полицейских и поставщика пива, оплачивать стирку и по субботам что-то подбрасывать Минни, служанке, уж не говоря о том, что надо было подновлять свои громадные желтые бриллианты, чтоб они не так напоминали осколки пивных бутылок, а тут эти невинные йокнапатофские младенцы, и вокруг то девчонки бегают в умывалку в одних ночных рубашках, в халатиках или вовсе так, то клиенты шныряют без конца, то Минни носится с полотенцами, с кружками джина по лестнице, то девки орут и дерутся, волосы друг у дружки выдирают из-за гостей, из-за своих котов, из-за денег, то сама мадам Рэба ругает какого-нибудь пьяного на чем свет стоит, старается его выставить, пока не нагрянула полиция. Но не прошло и недели, как она навела в доме порядок, и там бывало тихо, как в пансионе для благородных девиц, до той минуты, когда Вирджил и Фонзо закрывались у себя в комнате и, как она надеялась, крепко засыпали.

Конечно, долго так продолжаться не могло. Во-первых, они ходили в это парикмахерское училище и там слушали парикмахерские разговорчики целыми днями, а, как известно, даже за те тридцать минут, что тебя стригут, и то можно услышать достаточно всякой жеребятины. А потом они возвращались в этот дом и то мельком видели чью-то ногу, то в

дверях показывался хвостик рубашки или голая женская спина, так что у них, конечно, через некоторое время что-то в мыслях зашевелилось, хотя они по-прежнему считали, что все барышни — племянницы или воспитанницы мадам Рэбы и, может быть, тоже приехали в город учиться в парикмахерском училище, только конечно в дамском. Уж я не упоминаю о том чистейшем нюхе, который Вирджил и Фонзо (я вам говорил, что Фонзо — племянник Гровера Уинбуша?) унаследовали из чистейших первоисточников.

Словом, на втором месяце все переменилось. А так как мемфисский район красных фонарей не столь уж велик, то с течением времени они оба встретились с Кларенсом в том же заведении, в тот же час, потому что Вирджил и Фонзо все еще учились и не зарабатывали, и им приходилось бывать где подешевле. А тут у Вирджила открылся совершенно исключительный мужской талант, и в своем юношеском энтузиазме и невинности он проявлял его не только ради удовольствия, а еще платил деньги, пока Кларенс не открыл в нем этот талант и не стал его эксплуатировать.

Он, Кларенс, обычно шатался по биллиардным и по холлам тех гостиниц, где останавливался, пока не находил простачка, который отказывался верить его похвальбам насчет — как бы это сказать?— мощи его подшефного, и тогда Кларенс держал с ним пари: в первый раз жертва даже давала ему фору. Конечно, случалось, что Вирджил и подводил...

— И платил половину пари,— сказал я как-то.

— За что? — удивился Кларенс.— За то, что мальчик так старается? Да и подводит он меня куда как редко, день ото дня совершенствуется. Какую карьеру этот мальчишка может сделать, лишь бы хватило двухдолларовых девиц.

Словом, он и мне предложил вечером заняться этим делом.

— Нет,— говорю,— большое спасибо, вы идите, а я навещу по-семейному одну старую приятельницу, а потом лягу спать. Дайте мне двадцать пять, нет, пожалуй, тридцать долларов из тех денег.

— Флем мне выдал сотню.

— С меня и тридцати хватит,— говорю.

— Какого черта?— говорит.— Половина ваша — и все. Не желаю, чтобы в Джефферсоне вы наврали про меня Флему бог знает что. Берите!

Я взял деньги.

— Завтра встретимся на вокзале перед отходом поезда.

— Что?— говорит.

— Я завтра еду домой. А вы можете и не ехать.

— Но я же дал слово Флему, что пробуду тут с вами и привезу вас обратно.

— Плюньте!— говорю.— Деньги-то уже у вас, пятьдесят долларов!

— В том-то и штука! — говорит.— Презираю того подлеца, который деньги берет, а потом наплюет на свое честное слово!

Среда — день спокойный, если только в городе нет никаких съездов, может быть, еще и потому, что многие из девиц (и из клиентов тоже) родом из маленьких городишек в штатах Тенесси, Миссисипи и Арканзас и росли в баптистских и методистских семьях, и потому во всех притонах, заведеньях и домах завели — как это?— аналогичное расписание, как для молитвенных собраний, и среди недели выкраивали спокойный денек.

На звонок мне открыла Минни. На ней была шляпа вроде футбольного шлема, такая, что всю голову закрывала.

— Добрый вечер, Минни,— говорю.— Гулять собралась?

— Нет, сэр,— говорит.— А вы уезжали? Что-то вас давно не видно.

— Много дела,— говорю.

И Рэба тоже спросила, где я был. В доме стояла тишина, в столовой — только Рэба, какая-то новенькая и один гость, пиво пьет. На Рэбе все ее огромные желтые бриллианты, но при этом она в халате, а не в вечернем платье, в каком она ходила по субботам. Халат был новый, но все равно держался на английских булавках. Я и ей ответил то же самое.

— Много дела,— говорю.

— Мне бы так,— говорит,— а то у меня стало как в воскресной школе. Знакомьтесь — капитан Страттербек.

Капитан был высокий, грузноватый, с лицом как у ломовика, знаете, из тех, что стараются держать себя нагло, но не знают, какое впечатление это произведет; глаза у него были светлые, взгляд злой, только смотреть обоими глазами сразу в одну точку он никак не мог. Лет ему было под пятьдесят.

— Капитан Страттербек участвовал в двух войнах,— объяснила Рэба.— В той, испанской, двадцать пят лет назад, и в этой, последней. Он как раз нам про нее рассказывал. А это Тельма. Поступила к нам на прошлой неделе.

— Привет,— сказал Страттербек.— Вы тоже из наших ребят?

— Более или менее,— говорю.

— Какой части?

— Лафайетовской эскадрильи.

— Лафа... как вы сказали? А-а, эскадрилья — летчик, значит. Сам я в авиации не служил. Был кавалеристом на Кубе, в девяносто восьмом, а в шестнадцатом находился на границе, не призвали, понимаете, не попал в регулярную армию: был вроде как гражданский помощник Черного Джека, я всю округу вот как знаю. А когда Джека решили послать во Францию, там командовать, он мне говорит — если попаду туда, чтоб непременно отыскал его, он мне найдет работу. И когда я услыхал, что Рик, то есть Эдди Рикенбекер, ас,— объяснил он Рэбе и новенькой,— он был шофером у генерала, так когда я услыхал, что Рик ушел от генерала в авиацию, я решил — вот наконец мне повезло, но хоть я и попал за море, но у генерала уже был другой шофер, сержант, забыл, как его звали. А я оказался без должности. Но кое-что я повидал из кузова машины, так сказать, видел и Аргонну, и Шомон, эту, как ее, Шато-Теорию *, да вы, наверно, тоже побывали в самом пекле. Где вы были расквартированы?

— В АМХе **,— говорю.

— Что?— говорит. И встает, совсем медленно. Высокий такой, довольно грузный, а сам все никак не может смотреть обоими глазами разом в одну точку. Может, хочет меня напугать. Но тут Рэба тоже встала. А он говорит:— Вы что, смеетесь надо мной?

— Почему?— спрашиваю.— Разве так не бывает?

— Ладно, ладно,— говорит Рэба. — Можете вы пойти наверх с Тельмой или нет? Если нет, а у вас по большей части так и бывает, вы ей скажите.

— Не знаю, пойду или нет,— говорит.— А сейчас я думаю, что...

— Сюда люди не думать ходят,— говорит Рэба,— сюда идут для другого. Пойдете вы с ней или нет?

— О'кей, о'кей,— говорит.— Пойдем,— это он Тельме.— Мы еще с вами увидимся,— это мне.

— После следующей войны,— говорю. Он с Тельмой вышел.— Зачем вы его пускаете? — спрашиваю.

---

* Искаженное Шато-Тьерри.

** Ассоциация молодых христиан.

— А он получает пенсию за ту испанскую войну,— говорит Рэба,— сегодня ему прислали. Сама видела, он еще расписался на обороте, чтоб я могла за него получить деньги.

— Сколько? — спрашиваю.

— Да я не посмотрела, что́ там на другой стороне. Проверила, чтоб он расписался, где указано. Денежное извещение из казначейства, от правительства США. Какие же могут быть сомнения, раз это почтовое извещение от правительства США?

— Почтовое извещение может быть и на один цент,— говорю,— если можешь оплатить почтовые расходы.— Она смотрела на меня.— Он просто расписался на клочке синей бумаги и сунул его обратно в карман. Наверно, и ручку у вас одолжил. Правильно?

— Ну, будет вам,— говорит.— Что же теперь делать? Пойти наверх и сказать: «Эй, любезный, убирайся отсюда!»?

Минни принесла еще бутылку пива. Для меня.

— А я пива не заказывал,— говорю.— Может, надо было вам сразу сказать? Сегодня я денег тратить не собираюсь.

— Я угощаю,— говорит.— А зачем вы пришли? Ссору с кем-нибудь затеять, что ли?

— Только не с ним,— говорю.— Он даже фамилию себе взял из книжки. Не помню, из какой, но та книга получше другой, той, откуда он начитался про войну.

— Ну, будет, будет,— говорит.— А какого черта вы ему сказали, где вы живете? Кстати, зачем вы там остановились?

— Где это? — спрашиваю.

— В АМХе. Ходят тут ко мне всякие малолетние субчики, которым и взаправду место в АМХе, не знаю, там они останавливаются или нет. Но уж хвастать этим никто не хвастает.

— Нет, я живу в Тиберри,—говорю.— Это я во время войны пристроился в АМХе.

— В АМХе? Во время войны? Да они не воюют. Вы и надо мной вздумали потешаться, что ли?

— Знаю, что не воюют. Потому-то я к ним и записался. Гэвин Стивенс, юрист из Джефферсона, может подтвердить. Вы его спросите в следующий раз, если только он к вам придет.

Вошла Минни с подносом, на нем — два стакана джина. Она ничего не сказала, только остановилась в дверях, где Рэба ее могла видеть. Шляпы она так и не сняла.

— Ладно, неси,—говорит Рэба.— Но больше ни капли. Он даже за пиво не расплатился. Но мисс Тельма — новый человек у нас в Мемфисе, надо, чтоб она почувствовала себя как дома.— Минни ушла.— Значит, сегодня вы карман не вывернете,— говорит Рэба.

— Я ведь пришел просить вас об одолжении,— говорю. А она и не слушает.

— Вы и раньше немного тратили. Да, конечно, на пиво вы не скупились, угощали всех. Но баловаться не баловались. Во всяком случае, не с моими девчонками.— Она смотрела на меня.— Мне это тоже ни к чему. Дело прошлое. Мы бы с вами сладились.— Она все смотрела на меня.— Слыхала я про то дельце, что вы там открыли у себя. Многим, у кого здесь заведения, это не понравилось. Считают, что вы подрываете коммерцию, что это не... не... как же это называется? Доктора и адвокаты вечно бросаются этим словом.

— Неэтично,— говорю.— Это значит — всухую.

— Всухую?— говорит.

— Вот именно,— говорю.— Мою, так сказать, отрасль вашей про-

фессии можно назвать безводной или бесплодной отраслью. Так сказать, форпостом в пустыне.

— Ага, понимаю, я вас поняла. Это точно. Я им так и говорила: смотреть эти карточки, конечно, можно, временно там, в глуши, где для человека нет никакой подходящей отдушины, но раньше или позже кто-нибудь так распалится, что захочет побежать к ближнему колодцу за ведром настоящей воды. Так, может, он к моему колодцу и прибежит.— Она все смотрела на меня.— Распродавайте все и переезжайте сюда.

— Это предложение, что ли? — говорю.

— Погодите. Переезжайте сюда, будете хозяином в доме. Пиво и всякая выпивка все равно на мой счет, а много ли вам еще надо — сигареты, одежа, ну и чтоб можно было звякнуть мелочишкой в кармане, а это мне по средствам, да и за девочками мне не придется следить, вам можно доверять, как я доверяла мистеру Бинфорду, потому что ему я всегда могла доверять, всегда.— Она все смотрела на меня. Что-то у нее в глазах или в лице было такое, чего я никогда не видел, да, по правде говоря, и не ожидал.— А мне надо... Мужчине-то по силам, что женщине трудно. Сами знаете: подкупать кого следует, с пьяным справляться, проверять этих сукиных детей, торговцев виски и пивом, чтобы не вздували цены и не утаивали бутылок, надо кружить над ними день и ночь, как ястребу какому, лопни мои глаза.— Сидит, смотрит на меня, держит стакан пива, рука жирная, да еще этот бриллиант с кирпичину: — Мне нужно... Мне... Разве мне баловство нужно? Это давным-давно прошло, я и думать забыла... Тут не то... Три года как он умер, а мне до сих пор не верится.— Не к месту все это было: это обрюзгшее, морщинистое лицо, это тело, истасканное от тяжелой, черной физической работы — работы проститутки, которой она кормилась, а теперь, как старый боксер или футболист, вернее, как старая лошадь, она и лицом и телом стала ни на что не похожа, ни на мужчину, ни на женщину, хоть на ней и румяна, слишком густые, дешевые, и огромные бриллианты, вроде настоящих, только, конечно, не того цвета, а тут еще эти глаза, и что-то в них прячется, мелькает что-то, чему там совсем не место, чего, как говорится, и собаке не пожелаешь... Минни прошла мимо двери в прихожую. Поднос был пустой.— Четырнадцать лет мы жили как два голубка.— Она все смотрела на меня. Да, и собаке не пожелаешь... — Как два голубка! — заорала она, подняла стакан с пивом, со стуком поставила его на стол и крикнула:— Минни! — Минни остановилась в дверях.— Принеси джину.

— Нельзя, мисс Рэба, и не думайте!— сказала Минни.— Вспомните, как вы в прошлый раз затосковали по мистеру Бинфорду, так от нас полиция до четырех утра не выходила. Пейте-ка пиво, а про джин забудьте!

— Ладно, — сказала Рэба. Она даже отхлебнула пива. Потом поставила стакан.— Вы говорили о каком-то одолжении. Денег вы просить не станете, я не о том, что это было бы нахальство, просто у вас соображения хватает. Интересно, насчет чего же...

— Как раз насчет денег,— говорю. Я достал те пятьдесят долларов, отслюнил десятку и сунул ей.— Я уезжаю годика на два. Это вам, чтоб не забывали меня.— Она денег не взяла. Она даже на них не взглянула, не то что Минни, а все смотрела на меня. — Может быть, Минни поможет, — говорю.— Хочу подарить сорок долларов самому несчастному сукину сыну, какого найду. Не знаете ли вы или Минни, кто тут сейчас самый разнесчастный сукин сын?

Теперь они обе смотрели на меня. Минни тоже смотрела из-под своей шляпы.

— В каком смысле несчастный?— спросила Рэба.

— Ну, попал в беду или сидит в тюрьме ни за что ни про что.

— У Минни муж, конечно, и сукин сын, и в тюрьме сидит,— говорит Рэба,— но я бы не сказала, что он несчастный. Как, по-твоему, Минни?

— Не-ее,— говорит Минни.

— Но по крайней мере он пока что хоть с бабами не треплется,— говорит Рэба, — так что можешь хоть немного успокоиться.

— Не знаете вы Людеса,— говорит Минни.— Нет такого места на свете, хоть на каторге, хоть где, чтобы Людес не обошел какую-нибудь дуру.

— А за что его взяли? — спрашиваю.

— Бросил работу еще прошлой зимой, околачивался тут все время, жрал в моей кухне, таскал у Минни деньги, чуть она заснет, а потом она его застукала — он ее деньгами платил другой женщине, а когда она попробовала его усовестить, он как схватит у нее из рук утюг, как двинет, чуть ей ухо не оторвал. Оттого-то она и ходит в шляпе, даже дома. Так что я бы сказала — уж если кто заслужил ваши сорок долларов, так это Минни.

Но тут наверху в холле завизжала женщина. Минни и Рэба побежали туда. Я взял деньги и пошел за ними. Визжала и ругалась новенькая, Тельма, она выскочила на площадку в чем-то вроде халатика. хоть он ничего не прикрывал. Капитан Страттербек уже спускался по лестнице, в шляпе, в одной руке держа пиджак, а другой старался привести себя в порядок. Минни остановилась под лестницей. Она и не пыталась перекричать Тельму, тем более — заставить ее замолчать; просто у Минни голос был громче, а может, и практики больше.

— Ясно, у него сроду денег не было, куда ему! Как стал сюда ходить — больше двух долларов ни разу не видели. И чего ты пустила его, не понимаю, сначала надо было деньги зажать в кулак. Клянусь богом, он и шляпы не снял! А уж если гость шляпы не снимает, лучше его и близко не подпускай! Значит, норовит сбежать, и не верь, чего он тебе натреплет.

— Помолчи,— говорит Рэба Минни.— Хватит!

Минни отступила, даже Тельма замолчала, то ли она меня увидела, то ли просто так, но она даже этот свой халатик запахнула. Страттербек сошел с лестницы, он все еще пытался привести в порядок свою одежду, наверно, сейчас он меньше всего старался обоими глазами глядеть в одну точку. Впрочем, не знаю, судя по словам Минни, когда он спускался вниз, ему уже и пугаться и удивляться было поздно, как, скажем, какому-нибудь канатоходцу на канате. Главное идти надо осмотрительно, осторожно, но пугаться особенно нечего, а уж удивляться и вовсе не стоит. Наконец он дошел до самого низу. Но это было не все. До выходной двери оставалось еще восемь-десять шагов.

Но Рэба была настоящая леди. Она только протянула руку и ждала, а он наконец бросил возиться, вынул из какого-то кармана почтовый перевод и отдал ей. Настоящая леди. Она его и пальцем не тронула. Даже не обругала. Просто подошла к входной двери, взялась за ручку, повернула ее и говорит:

— Застегнитесь. Не допущу, чтоб человек выходил из моего дома чуть ли не в одиннадцать часов ночи бог знает в каком виде.— Потом закрыла за ним двери и заперла на ключ. А потом развернула почтовый перевод. Минни была права. Перевод оказался на два доллара, послан из Лонока, штат Арканзас. Отправитель подписался К.-Милла Страттербек.— Дочка или сестра? — сказала Рэба.— Как, по-вашему?

Минни тоже рассматривала повестку.

— Нет, это жена,— говорит.— Сестра, или мамаша, или бабка — те послали бы пятерку. Любовница — все пятьдесят долларов, если б только они у нее были и если на нее настроение нашло. Дочка послала бы центов пятьдесят. Нет, никто, кроме жены, ему два доллара не пошлет.

Она принесла в столовую еще две бутылки пива.

— Ну ладно,— сказала Рэба.— Вы просили об одолжении. Какое вам нужно одолжение?

Я опять достал деньги и опять пододвинул к ней десятку, а сорок придержал.

— Это вам с Минни, чтоб помнили меня, пока я не вернусь через два года. А остальные пошлите, пожалуйста, моему дяде, в миссисипскую каторжную тюрьму, в Парчмен.

— А вы через два года вернетесь?

— Да,— говорю.— Можете меня ждать. Через два года. Правда, человек, на которого я подрядился работать, сказал, что я вернусь через год, но я ему не верю.

— Ладно. Так что же мне делать с этими сорока долларами?

— Пошлите их моему дяде, Минку Сноупсу, в Парчмен.

— А за что он сидит?

— Убил человека, Джека Хьюстона, давно, в 1908 году.

— А Хьюстона стоило убивать?

— Не знаю. Но, судя по тому, что я слыхал, он сам напросился, чтоб его прикончили.

— Вот несчастный сукин сын! А надолго вашего дядю запрятали?

— Пожизненно,— говорю.

— Ну ладно,— говорит,— я и в этом знаю толк. Когда он выйдет?

— Примерно в тысяча девятьсот сорок восьмом году, если выживет и ничего с ним не стрясется.

— Ладно,— говорит.— А как мне послать деньги?

Я дал ей адрес, все объяснил.

— Можете написать — от товарища по заключению.

— Зачем это? — говорит.— Я в тюрьме никогда не сидела и не собираюсь.

— Тогда напишите от друга.

— Ладно,— сказала она.

Она взяла деньги, сложила их.

— Эх, несчастный он сукин сын.

— Да вы о ком?

— О них обоих,— говорит,— да и о нас. Все мы такие. Несчастные мы сукины дети.

Я никак не ожидал, что увижу Кларенса еще до утра. Но он был в номере, на комоде лежала куча мятых долларов, будто тут играли в железку, а сам Кларенс в одних брюках стоял, смотрел на них и зевал, почесывая шерсть на груди. На этот раз им, вернее, Кларенсу попался оптовый покупатель, азартный малый, причем он повысил ставку, и Кларенс покрыл ее той полсотней, которую ему дал Флем.

— А теперь меня совесть мучит,— сказал Кларенс и опять зевнул.— Деньги-то флемовы. Совесть мне подсказывает не говорить ему ни черта, пусть думает, что его деньги истрачены, и все. Да как-то нехорошо, столько заграбастать, человек все-таки не свинья!

Приехали мы домой.

— Зачем тебе сразу возвращаться в тюрьму? — говорит мне Флем.— Еще три недели можешь побыть дома.

— Считайте, что мне привыкать надо,— говорю.— Считайте, что я хочу свою совесть утихомирить.

Так что я опять отгородился стальной решеткой, опять я был защищен от свободного мира — был защищен, был пока что в безопасности от свободного мира Сноупсов, где Флем пытался променять жену на место президента банка, а Кларенс даже получал жалованье, как сенатор штата, курсируя между Джексоном и Гейозо-стрит и зарабатывая на талантах Вирджила, как только ему попадался еще один гуляка из Арканзаса, который не желал верить своим глазам, а Байрон сидел в Мексике или, может, еще где-то, тратя остатки банковских денег, защищен от мира, где существовал наш с Кларенсом папаша, А. О., а общий наш дядюшка Уэсли одной рукой дирижировал церковным хором, а другой лез под юбку одиннадцатилетним девчонкам; я уж не считаю Уоллстрит-Паника и Адмирала Дьюи и их отца, Эка, потому что они не нашего семейства, они наш позор.

О дяде-убийце, о Минке, и говорить нечего, я его увидел шесть-семь недель спустя (пришлось немного выждать, чтоб не спугнуть его, сами понимаете).

— Флем? — говорит.— Вот уж не думал, что Флем хочет меня вызволить. Мне казалось, что ему-то именно и нужно, чтобы я тут сидел как можно дольше.

— Наверно, у него характер исправился,— говорю. Он стоял передо мной в полосатой арестантской одежде, моргал глазами — такой жалкий, тощенький человечек, ростом с четырнадцатилетнего мальчишку. Даже странно было, каким чудом в таком маленьком тщедушном существе скопилось столько злобы и как он мог удержать в руках тяжелую двустволку да еще кого-то из нее прикончить.

— Очень ему благодарен,— говорит он.— Но только, ежели я завтра отсюда выйду, может оказаться, что я-то ничуть не исправился. Я ведь здесь давным-давно. А за все это время мне только и дел было, что работать в поле и думать. Может, он зря рискует? Хочется все сделать по-честному.

— Он это знает,— говорю.— Он и не ждет, чтобы вы тут исправились, он понимает, что этого не будет. Он ждет, что вы исправитесь, как только выйдете отсюда. Он понимает, что как только на вас повеет вольным ветерком, как только солнышко вас пригреет, так вы сразу волей-неволей станете другим человеком.

— А что, если я не...— он не прибавил: «Не сразу исправлюсь», сам себя остановил.

— Он и тут готов рискнуть,— говорю.— Иначе ему нельзя. Понимаете, теперь нельзя. Тогда он не мог ничего сделать, чтоб вас не посадили. Но он знает, что вы считаете, будто он и не пытался. И теперь он хочет помочь вам отсюда выйти, во-первых, чтоб доказать, что не по его вине вы тут сидели, а во-вторых, чтобы не думать и не вспоминать, что вы считаете его виноватым. Понятно?

Он стоял неподвижно, только моргал глазами, и руки у него висели без дела, ладони согнутые будто по рукоятке плуга, и шея напряжена, словно на нее все еще лямка надета.

— Мне и всего-то пять лет осталось, тогда я сам по себе освобожусь. Тогда никто ничего от меня ждать не станет, никому я не буду обязан за помощь.

— Правильно,— говорю,— всего каких-нибудь пять лет. А что такое пять лет для человека, который уже пятнадцать лет привык, чтоб

над ним стоял часовой с винтовкой, когда он пашет землю не под свой хлопок, хочется ему пахать в этот день или не хочется, и чтоб другой часовой стоял над ним с винтовкой, когда он жрет свою баланду, охота ему или неохота, а третий запирал его на ночь, пусть спит или не спит, это уж как ему вздумается. Еще каких-нибудь пять лет — а там выйдете на волю, и будет вас солнце греть, ветер обдувать, и никаких часовых, тень от винтовки вам свет не будет застить, потому что там свобода.

— Свобода,— сказал он совсем тихо, просто одно слово — «свобода».

И все. А дальше было легче легкого. Конечно, надзиратель, которому я заранее накапал, ругал меня на чем свет стоит, но я этого ждал: мы живем в свободной стране, каждый заключенный имеет право на попытку к бегству, а каждый надзиратель и часовой имеет право выстрелить ему в спину, если он не остановится по первому окрику. Но ни один такой-растакой стукач не имеет права предупреждать надзирателя заранее.

Мне своими глазами пришлось все видеть. За это тоже было плачено: за это я, так сказать, и получил расписку, что мне разрешают дышать в мире, где водятся Сноупсы. Мне хотелось отвернуться или хотя бы закрыть глаза. Но ничего другого не оставалось, даже нельзя было зажать этот последний, жалкий, нестоящий грош и отказаться смотреть на эту мелкую тварь, похожую на девчонку в материном ситцевом платье и шляпке — он считал, что это придумал Флем (вот что оказалось труднее всего — он все еще хотел верить, что человеку, идущему наперекор судьбе, даже если эта судьба — погибель, надо бы сохранить собственное достоинство и остаться в мужской одежде; мне пришлось немало постараться, пока я его не убедил, что Флем не мог ничего достать, кроме женского платья и шляпы). Он шел шагом, я ему внушил: нельзя бежать, надо идти, и он шел такой жалкий, растерянный, неприкаянный, один в пустом тюремном дворе, похожий на бумажную куклу, которую вот-вот сдует в мельничный водоворот, шел, даже поняв, что назад уже повернуть нельзя, шел даже тогда, когда понял, что его продали и что ему давно надо было понять, что его продают, но он никого не виноватил, хоть его и продал тот, кому он ничего не сделал, ведь и он тоже поставил свою подпись — читать он не умел, но расписаться мог на расписке, что мне еще немножко дадут подышать,— и он тоже был одним из Сноупсов.

А потом он побежал, раньше, чем нужно. Он побежал прямо на них, я их еще не видел, побежал прежде, чем они выскочили из засады. И я гордился не только тем, что мы с ним родственники, но тем, что все мы были из одной породы несчастных сукиных детей, как говорила Рэба. Потому что они еле-еле справились с ним впятером, хоть колотили его рукоятками пистолетов, пока наконец не удалось его свалить ударом дубинки по голове.

Начальник послал за мной.

— Ничего не говори,— сказал он.— Лучше бы я и того не знал, что я подозреваю. По правде говоря, будь моя воля, я бы запер тебя с ним в одной камере и оставил наедине, только на тебя я надел бы наручники. Но у меня свои обязанности, и я тебя просто запру в одиночку на неделю-другую, чтобы тебя не тронули. А не от него.

— А вы не расстраивайтесь и не храбритесь,— говорю.— Вам ведь тоже пришлось расписаться.

— Что? — говорит.— Не понимаю!..

— Я сказал — не беспокойтесь. Он против меня ничего не имеет. Не верите — пошлите за ним.

И он вошел. Синяки и ушибы от рукояток уже начали заживать. Ну, а дубинка следов не оставляет.

— Здрасьте,— говорит. А потом мне: — Теперь ты, наверно, увидишь Флема раньше, чем я.

— Да,— говорю.

— Скажи, не надо было ему посылать это платье. Хотя это пустяк. Если бы я свое досидел, я, может, и исправился бы. А уж теперь вряд ли. Так что теперь я уж просто подожду.

Видно, Флему надо было послушаться меня насчет тех десяти косых. И сейчас было не поздно. Я мог бы ему даже письмо написать: *Вам ничуть не трудно раздобыть десять тысяч. Вы только подпустите Манфреда де Спейна к вашей жене. Нет, это глупо: пытаться подсунуть Юлу Уорнер Манфреду де Спейну это все равно что стараться продать человеку лошадь, на которой он уже лет десять-двенадцать ездит. Но у вас есть эта девчонка, эта Линда. Правда, ей, кажется, всего лет одиннадцать-двенадцать, но это мелочь, нацепите ей темные очки и туфли на каблучках и подсуньте ему побыстрее. Может, де Спейн ничего не заметит.*

Но письмо я писать не собирался. Да меня и не это беспокоило. Мучило меня то, что я знал: никакого письма я писать не стану, знал, что я от них откажусь — я говорю про комиссионные с тех десяти тысяч, за то, что я свел бы его с «синдикатом Чи». Не помню, когда это было, наверно, я был еще совсем молодым, когда понял, что происхожу, можно сказать, из семейства, из клана, из рода, а может быть, из расы чистокровных сукиных сынов. И я себе сказал: *Ладно, если дело так обстоит, мы им покажем. Лучшего адвоката называют «адвокат из адвокатов», лучшего актера — «актер из актеров», а лучшего спортсмена — «футболист из футболистов». Отлично, так мы и сделаем: каждый Сноупс поставит себе свою собственную личную цель: чтобы весь мир признал его самым рассукиным сыном из всех сукиных сынов.*

Но никогда мы ничего не делаем. Нас на это не хватает. Самое большее, чего мы можем добиться, это просто быть обыкновенным Сноупсом, обыкновенным сукиным сыном. Все мы такие, все до одного — и Флем, и старый Эйб, я даже толком не знаю, кем он мне приходится, и дядя Уэс, и наш с Кларенсом папаша, А. О., а потом, по нисходящей линии: Кларенс и я, плоды, так сказать, одновременного двоеженства, и Вирджил, и Уордамен, и Бильбо, и Байрон, и Минк. Я уж не говорю об Эке и Уоллстрите и Адмирале Дьюи, потому что они не наши. Я всегда подозревал, что они не наши. Я всегда подозревал, что мамаша Эка занималась сверхурочной ночной работенкой за девять месяцев до его рождения. Вот и вышло, что единственная настоящая сука из нашей семьи оказалась вовсе не сукой, а святой и мученицей, а единственный чистокровный, неподдельный, истинный, непревзойденный сукин сын в нашей семье даже не был настоящим Сноупсом.

5

Когда племянник вышел, начальник тюрьмы сказал:

— Сядьте.— Он сел.— О вас в газете написано,— сказал начальник. Газета лежала перед ним на столе:

НЕУДАЧНЫЙ ПОБЕГ
БЕГЛЕЦ В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ

Парчмен. Миссисипи. 8 сент., 1923 года. М. С. («Минк») Сноупс, осужденный пожизненно за убийство в Йокнапатофском округе...

— А как ваше второе имя? Тут инициалы М. С.,— спросил начальник. Голос его звучал очень мягко.— Мы считали, что вас зовут просто Минк. Так вы нам говорили, верно?

— Верно,— сказал он.— Минк Сноупс.

— А второй инициал «С», он что означает? Тут написано «М. С. Сноупс».

— О-о,— сказал он.— Это просто так. Просто М. С. Сноупс, как, например, Б. С. железная дорога*. Ко мне в лазарет приходили эти молодые ребята из газеты. Все спрашивали, как меня зовут, я говорю — Минк Сноупс, а они говорят — Минк не имя, это какая-то собачья кличка. Как, говорят, ваше настоящее имя? Я им и сказал — М. С. Сноупс.

— Вот оно что,— сказал начальник.— Значит, другого имени, кроме Минка, у вас нет?

— Да, Минк Сноупс — и все.

— А как вас называла мать?

— Не знаю. Она померла. Меня все звали Минк, с самого рождения.— Он встал.— Я пойду. Меня там, наверно, дожидаются.

— Погодите,— сказал начальник.— Неужели вы не знали, что ничего из этого не выйдет? Неужели не понимали, что вам не уйти?

— Да, мне и раньше говорили,— сказал он.— Предупреждали.— Он стоял, не двигаясь, затихнув, такой маленький и тщедушный, немного опустив голову, словно задумавшись, и лицо спокойное, будто он даже улыбался.— Зря он меня облапошил, вот я и попался в этой одеже, в шляпке в этой,— сказал он,— я бы с ним такой штуки не сыграл.

— Вы о ком? — спросил начальник.— Про этого... он ваш племянник, что ли?

— Про Монтгомери Уорда? — сказал он.— Он моего дяди внук. Нет. Я не о нем.— Он помолчал. Потом опять начал: — Лучше я уж пойду...

— Через пять лет вы бы вышли,— сказал начальник.— Вы понимаете, что теперь вам могут добавить еще двадцать.

— Меня и об этом предупреждали,— сказал он.

— Ну хорошо,— сказал начальник.— Можете идти.

Но тут он сам остановился, помолчал.

— Наверно, вы так и не узнали, кто мне послал те сорок долларов?

— Откуда же мне знать? — сказал начальник.— Я и тогда вам объяснял. Написано — от друга. Из Мемфиса.

— Это Флем,— сказал он.

— Кто? — переспросил начальник.— Тот родич, про которого вы говорили, что он вам не хотел помочь, когда вы человека убили? Вы еще сказали, что он мог бы вас спасти, если б захотел, так что ли? Зачем же он теперь, через пятнадцать лет, стал бы посылать вам сорок долларов?

— Это Флем,— сказал он.— Он может, он богатый. А потом, у нас никогда не бывало ссор из-за денег. В то время он только-только зацепился у Билла Уорнера, может, он решил, что все-таки тут убийство, не стоит зря ввязываться, даже если замешан твой кровный родственник. Только лучше б он не присылал одежду, шляпку эту. Не стоило бы ему так поступать.

Уже убирали хлопок, уже каждый хлопководческий район в Миссисипи готовил самых своих лучших, самых быстрых своих сборщиков, чтобы в состязании с лучшими сборщиками Арканзаса и Миссури они

* Большая Северная ж. д.

вышли победителями по всей долине Миссисипи. Но тут их искать не станут. Тут вообще никаких победителей нет, сюда попадают только неудачники: те, кто неудачно убил, украл или смошенничал. Он вспомнил, как он сначала проклинал свою неудачу, невезение — разве иначе его поймали бы,— но теперь-то он понял: нет никакого везения или невезения, просто одни родятся победителями, а другие неудачниками, и, если бы он родился победителем, Хьюстон не только не смог бы, он и не посмел бы издеваться над ним из-за какой-то коровы и не довел бы его до убийства; некоторые люди с самого рождения неудачники, они всегда попадаются, некоторых людей с самого рождения все обманывают — и он, Минк, тоже был одним из таких людей.

Урожай выдался богатый, он и не запомнил такого, словно все шло на пользу хлопку, все поспевало ко времени: ветер и солнце помогли подняться посевам, на долгой злой летней жаре хлопок вытянулся и вызрел. Как будто еще весной земля сказала — что ж, давайте будем заодно, не стоит ссориться,— то болото, та почва, та земля, что каждому арендатору, каждому издольщику была заклятым врагом, смертельным недругом, жестокая, неумолимая земля, что износила его молодость, его орудия, а потом и его тело. И не только его собственное тело, но и то, нежное и таинственное, которого он с таким изумлением и бережностью, с таким недоверчивым восторгом коснулся в первую брачную ночь, и оно теперь износилось, стало таким жестким и жилистым, что часто — а ему казалось, почти всегда — он сам, измотанный и усталый, забывал, что рядом женщина. И это сталось не только с ними обоими, но станется и с их детьми, он видел, как растут две его девочки, и знал, что ждет впереди эту нежную и хрупкую юность. Чего же удивляться, если человек смотрел на этот враждебный, непримиримый клочок скверной земли, к которому он был прикован до конца жизни, и говорил ей: *Твоя взяла, ты меня измотаешь до конца, потому что ты сильнее, а я — только мясо да кости. Бросить тебя нельзя, жить не на что, и ты это знаешь. И я сам, и то, что было моей молодостью и моей страстью, пока ты не иссушила мою молодость, а я не забыл свою страсть, все это будет повторяться из года в год, в детях нашей страсти, и ты их тоже будешь изнурять, толкать к могиле, и ты знаешь это, и так будет год за годом, год за годом, и ты это тоже знаешь. И не я один — все такие, как я: безземельные арендаторы, издольщики, те, что зарыли свою молодость, все надежды в тридцать, в сорок, в пятьдесят акров болота, на котором никто, кроме нашего брата, не стал бы работать, потому что у нашего брата нет ничего на свете, кроме тебя. Одно мы можем — выжечь тебя. Поздним февралем или в начале марта мы можем поджечь все, что на тебе есть, пока лицо твое не станет опаленным и черным, и тут ты с нами ни черта не сделаешь. Ты можешь износить наше тело и притупить наши мечты, можешь скрутить нам кишки салом, кукурузной мукой и патокой — на другое ты нам не дашь заработать,— но каждую весну мы можем выжечь тебя дотла, и ты это тоже знаешь.*

А теперь все было по-другому. Земля была не его, то есть даже доли арендатора или издольщика он с нее не получал. Теперь все, что с нее получали (или не получали) в урожай или в недород, в дожди или в засуху, десять центов за фунт хлопка или доллар за кипу — все это ни на йоту не меняло его теперешнюю жизнь. И теперь: прошли годы, и тот год, когда он вышел бы на свободу, если бы не дал племяннику подговорить себя на эту глупость — а всякий, даже тот дурак-мальчишка, адвокат, которого ему навязали тогда на суде, хотя он, Минк, куда лучше сумел бы вести дело,— даже этот пустомеля и то предвидел, и то ему все объяснил и даже предсказал, какие будут последствия, вся-

кий понимал, что не только ничего не выйдет, но и заведомо выйти не может,— теперь все это уже было позади, и вдруг он понял одну вещь. Такие люди, как он, даже временно никогда не владели землей, хотя бы они брали ее в аренду у хозяина с первого января на целый год. Земля владела ими, и не только от посева до жатвы, но и навеки; не собственник земли, не помещик гнал их в ноябре с одного негодного участка на большую дорогу — искать в отчаянии другой такой же никуда не годный участок в двух милях или в десяти милях, за два штата или за десять штатов, чтобы успеть в марте засеять участок, их гнала сама пашня, сама земля гоняла их, обреченных на нужду, на нищету, в новое рабство, с угодья на угодье, как семья и клан гонят какого-нибудь дальнего родича, безнадежно разорившегося неудачника.

А теперь все это отошло. Он больше не принадлежал земле, даже на таких бесчеловечных условиях. Он принадлежал правительству, штату Миссисипи. Он мог из года в год подымать пыль в междурядьях хлопкового поля, и, если на поле ничего не вызревало, ему было все равно. Больше не надо было ходить в хозяйскую лавчонку и препираться с хозяином из-за каждого грамма дешевого скверного мяса, муки, патоки, из-за стаканчика нюхательного табаку — единственной роскоши, на которую они с женой тратились. Больше не надо было препираться с хозяином из-за каждого жалкого мешка удобрений, а потом собирать жалкий урожай, пострадавший оттого, что этого удобрения не хватило, и опять препираться с хозяином из-за своей жалкой нищенской доли в этом урожае. Теперь от него требовалось только одно: работать не останавливаясь; даже часовому с винтовкой, охранявшему его, было неважно и безразлично, так же, как и ему, вырастет что-нибудь там, где они работали, или нет, лишь бы работали без остановки. Сначала Минк стыдился, ему было и стыдно и страшно, что все узнают, насколько ему все безразлично, но однажды он понял (он сам не мог бы объяснить, каким образом), что и всем остальным тоже все равно, что с течением времени Парчмен всех доводит до этого состояния, и он думал, недоумевая и удивляясь: *Да, брат, человек ко всему может привыкнуть, даже к Парчменской тюрьме, лишь бы время прошло.*

Но в Парчмене человек иначе воспринимал только то, что увидел после ареста. Парчмен не влиял на то, что человек принес сюда с собой. Просто вспоминать стало легче, потому что Парчмен учил человека ждать. Он вспоминал тот день, когда судья сказал: «Пожизненно», а он все еще верил, что Флем явится и спасет его, а потом наконец понял, что Флем не придет, что он и не собирался прийти, вспоминал, как он тогда же сказал, почти что крикнул вслух: *Вы только отпустите меня ненадолго, мне бы только попасть во Французову Балку или где он там будет, минут на десять, а потом я вернусь сюда, и можете меня повесить, ежели вам это нужно.* И как даже тогда, три, пять или восемь лет назад, когда Флем подослал этого племянника — как его звали? — да, Монтгомери Уорд, и тот подговорил его на побег в женском платье и шляпе, а ему за это добавили еще двадцать лет, точь-в-точь как с самого начала предсказал этот дурак-мальчишка, этот адвокат,— как даже тогда, отбиваясь от пяти надзирателей, он все еще кричал то же самое: *Только отпустите меня в Джефферсон на десять минут, потом я сам вернусь, потом можете меня повесить!*

Теперь он об этом уже не думал, потому что научился ждать. И он понял, что в ожидании он ко всему прислушивается, многое слышит; и, слушая, прислушиваясь, он даже лучше знал о том, что делается, чем если бы сам был в Джефферсоне, потому что тут ему надо было только следить за всем, а беспокоиться не надо. Значит, жена уехала к своим

родным и, как говорили, умерла там, а дочки тоже уехали, выросли, может, во Французовой Балке, кто знает, куда они девались. А Флем стал богачом, президентом банка, живет в доме, сам его перестроил, и дом, как рассказывали, был громадный, больше мемфисского вокзала, и с ним жила дочка, ублюдок, от покойной дочери старого Билла Уорнера; дочка эта, когда выросла, уехала из дому, вышла замуж, а потом она с мужем была на войне, где-то в Испании, и там не то бомбой, не то снарядом убило ее мужа, а ее совсем оглушило. Теперь она вернулась, вдовая, живет с Флемом вдвоем в огромном этом доме и, говорят, даже грома не слышит, но в Джефферсоне народ ее не очень жалеет, потому что она связалась с какой-то негритянской воскресной школой, а еще говорили, что она связалась с какими-то «коммонистами», муж ее тоже был из них, будто они в той войне и дрались на стороне этих самых «коммонистов».

Флем, наверно, постарел. Оба они постарели. Когда он выйдет, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, они с Флемом оба будут совсем стариками. А может, Флем и не доживет, и ему незачем будет выходить, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, а может, он и сам не доживет, не выйдет в тысяча девятьсот сорок восьмом году, и он вспоминал, как вначале одна эта мысль приводила его в бешенство: вдруг Флем умрет своей смертью, а может, найдется другой человек, удачливей его, такой, что не обречен судьбой на неудачу, такой, которого не поймают, и тогда ему казалось, что этого не вынести: ведь он не справедливости требовал, справедливость только для счастливцев, только для победителей, но может же человек хотя бы надеяться на удачу, имеет же каждый право на удачу. Но и это все уже отошло, расплылось, распылилось в монотонном ожидании; в тысяча девятьсот сорок восьмом году оба они с Флемом уже будут стариками, и он даже бормотал вслух: «Жаль, что нельзя нам, старикам, просто выйти вместе, посидеть спокойно на солнышке или в холодке, дождаться, пока смерть нас обоих заберет, и ни о чем не думать, ни о каком-то там зле или обиде, ни о счетах, даже не помнить, что было зло, была обида, и беда, и расплата». Двое стариков, они не только никому уже не способны сделать зло, они даже не способны вспомнить про зло, про обиду; но разве какими-нибудь деньгами, которые Флему уже не нужны, а скоро и совсем будут ни к чему, разве можно стереть, зачеркнуть, изничтожить те сорок лет, которые ему, Минку, тоже теперь ни к чему, а скоро он о них и совсем жалеть не станет. *Нет, как видно, теперь уж мы ничего поделать не можем,* — думал он.— *Теперь уж мы оба ничего вспять не повернем.*

И снова осталось только пять лет — и он выйдет на свободу. Но на этот раз он твердо помнил урок, который ему преподал дурак-адвокатишка тридцать пять лет назад. Их было одиннадцать. Они работали, и ели, и спали вместе — одна кандальная команда, они жили в отдельном бараке из досок, парусины и проволоки. Стояло лето; скованные одной цепью, они шли в столовую есть, потом — в поле работать, потом, опять-таки скованные цепью, спать в свой барак. И когда был задуман побег, все десять должны были втянуть его в заговор, чтоб он их случайно не выдал. Они не хотели его втягивать: двое так и не согласились на это. Потому что с той неудавшейся попытки бежать не то восемнадцать, не то двадцать лет назад всем было известно, что он по собственному почину стал горячим проповедником доктрины воздержания от побегов.

И когда они наконец сказали ему просто потому, что он должен был знать их тайну, чтобы по неведению ее не выдать, хотел он или не хотел участвовать в побеге, то в ту самую минуту, как он сказал, крик-

нул: «Нет! Стойте, погодите! Погодите! Не понимаете вы, что ли, если хоть один из нас попробует бежать, они всех обвинят, схватят, тогда уж никому не выйти, даже если отсидишь свои сорок лет»,— он тут же понял, что наговорил лишнего. И когда он себе сказал: «Теперь мне надо освободиться от этой команды, уйти от них», он не думал: *Если я окажусь с ними в темноте, один, без часовых, мне никогда больше свету не видать,*— а просто подумал: *Надо вовремя поспеть к начальнику, пока они не удрали, может, уже сегодня ночью они всех нас погубят.*

Но все равно ему пришлось ждать наступления той самой темноты, которой он так боялся, ждать, когда потушат свет, и притворяться спящим, ждать, чтобы убийцы на него напали, потому что только во время переполоха, который подымется при нападении на него, он мог надеяться привлечь внимание часового, предупредить его, заставить его поверить. А это значило, что он должен был хитростью перекрыть хитрость: он застыл на своей койке, пока они не начали притворно храпеть, чтобы заглушить его подозрения, прислушивался напряженно, неподвижно, затаив дыхание, чтобы вовремя, сквозь храп, разобрать тот звук, который предвещал удар ножа (или палки, или еще чего-нибудь) и успеть скатиться, слететь с койки, еще одним судорожным движением перекатиться под койку, пока они — он не мог разобрать, сколько их, потому что громкий притворный храп стал еще громче,— пока они не набросились на пустоту, где еще какую-то долю секунды назад лежал он сам.

— Держи его! — задохнулся, зашипел кто-то.— У кого нож?

И другой голос:

— У меня. Да где ж он, сволочь?— А он, Минк, даже не остановился: еще одно судорожное движение, и он выкатился из-под койки и на четвереньках, меж топочущими ногами, прорвался, отполз как можно дальше от койки. Весь барак сдавленно шумел.

— Света давай! — бормотал кто-то.— Хоть на минуту свет.

Вдруг он очутился в пустоте, на свободе, и смог вскочить. И тут он завизжал, заорал без слов — только крик, резкий человеческий голос, и сразу кто-то зашептал, задыхаясь:

— Вон он. Держи...

Но он уже отбежал, отпрыгнул, отскакивая от одного невидимого тела к другому, как биллиардный шар, крича, вопя неумолчно, даже когда понял, что сквозь парусиновые стены видно, как весь воздух пронизан не только прожекторами, но и воем сирены, а сам он окружен зверскими молчаливыми людьми, они, словно рыбы, то выскакивали, то пропадали в беглом низком свете, который проникал через проволочную сетку над невысокой дощатой перегородкой, он даже увидел, как над ним сверкнул нож, и он нырнул, бросился в гущу, в водоворот ног, пытаясь пролезть под койку, под любую койку, чтоб уйти от ножа. Но было поздно, они уже увидали его. Он исчез под ними. Но и для них было поздно: казалось, что буравящие лучи прожекторов, даже самый вой сирены — все нацелено, направлено, сосредоточено на шатком, непрочном загончике, набитом ругающимися людьми. Ворвалась стража. Стражники били их по головам пистолетами, прикладами винтовок, оттаскивая их от него, пока он не оказался на виду у всех, избитый, окровавленный, но все еще в сознании. Он даже ухитрился в последнем судорожном усилии так вывернуться, что нож, который должен был пригвоздить его к полу, воткнулся в доски у самого его горла.

— Чуть не пришили,— сказал он стражнику.— Но, выходит, наша взяла.

Взяла, да не совсем. Он опять попал в больницу и только потом узнал, как на следующую же ночь двое — Стилвелл, шулер, который за-

резал проститутку в Виксбурге (нож принадлежал ему), и второй, один из тех, кто настаивал, чтобы его, Минка, не посвящали в заговор, а просто заранее прикончили,— все равно пытались бежать, хотя убежал только Стилвелл, а второму выстрелом часового снесло полголовы.

И опять он очутился в кабинете начальника. На этот раз перевязок было мало, а швов и совсем не накладывали: били его недолго, и никакого оружия, кроме кулаков и ног, у них не было, нож Стилвелла в счет не шел.

— Ведь нож был у Стилвелла, верно? — сказал начальник.

Он сам не мог бы объяснить, почему он это скрыл.

— Не знаю, у кого был нож,— сказал он.— Очень уж все быстро кончилось.

— Стилвелл, кажется, тоже так считает,— сказал начальник. Он взял со стола разрезанный конверт и вынул сложенный вдвое листок дешевой линованой бумаги.— Получил сегодня утром. Впрочем, ведь вы не умеете читать по-писаному, правда?

— Нет,— сказал он. Начальник развернул листок.

— Отправлено вчера, из Тексарканы. Тут написано: «Он еще ответит за Джейка Баррона (так звали второго заключенного, убитого часовым), с него еще когда-нибудь спросится, так что вы его постерегите. И времени терять не надо, кое-кто из наших еще за решеткой».— Начальник сунул письмо в конверт, положил в ящик и запер на ключ.— Вот видите. Тут вам ходить на свободе опасно, тут любой из них может вас прикончить. Вам осталось сидеть всего пять лет, и хотя вы не всех помогли задержать, но, вероятно, по моей просьбе губернатор дал бы вам амнистию хоть завтра. Но я не могу этого сделать, потому что Стилвелл вас все равно убьет.

— Значит, если б капитан Джеббо (надзиратель, который стрелял), если б он убил Стилвелла, я бы завтра мог уйти домой? — спросил он.— А вы не могли бы узнать по письму, где он сейчас есть, и послать туда капитана Джеббо?

— Вы хотите, чтобы тот самый человек, который не дал Стилвеллу убить вас, теперь убил Стилвелла?

— Ну, другого кого пошлите. Несправедливо выходит: он ушел, а мне тут еще пять лет сидеть.— И вдруг добавил: — Ну да уж ладно. В конце концов, может, и среди нас тут затесался один победитель.

— Победитель? — переспросил начальник.— Как вы сказали?

Но он ничего не ответил. И впервые за все время он стал считать дни и месяцы. Никогда раньше он этого не делал, ни в те первые двадцать лет, что ему дали тогда, в Джефферсоне, ни в те двадцать, что ему добавили после того, как он послушался Монтгомери Уорда и надел это старушечье платье и шляпу. Ведь никто, кроме него, виноват не был; и когда он, в связи с этим, думал о Флеме, он словно нехотя гордился им, изумляясь, что они с ним одной крови. Он думал, а то и говорил вслух, без всякой зависти: «Да, уж этот Флем Сноупс, его не одолеешь. Во всем штате Миссисипи, даже во всех Соединенных Штатах Америки вместе взятых не найти человека, чтоб одолел Флема Сноупса».

Но тогда было дело другое. Он сам пытался бежать, хотя и неудачно, и безропотно принял добавочные двадцать лет заключения; пятнадцать из них он отсидел, не только не делая попыток к побегу, но даже рисковал жизнью, чтобы сорвать планы десятка других заключенных: в награду за это его могли бы освободить на другой же день, если бы один из надзирателей, меткий стрелок с винтовкой в руках, все-таки не прозевал одного из этих десяти заговорщиков. Выходило, что пять последних лет он должен сидеть не из-за себя. Он был готов добросовестно

отсидеть свои сорок лет, и не его вина, что они превратились в тридцать пять и что остальные пять он сидел по милости злобной, даже ехидной благодетельницы-судьбы.

С этого рождества (впервые) кто-то стал отмечать за него медленно проходивший срок заключения. Пришла поздравительная открытка с мексиканским штемпелем, адресованная начальнику, для передачи ему. Начальник прочел открытку вслух, оба знали, от кого она: «Четыре года осталось. Не так много, как ты думаешь». На Валентинин день открытка была самодельная: на грубой, линованой бумаге красным карандашом, какие употребляют плотники и дровосеки, было грубо нарисовано сердце и стреляющий в него револьвер.

— Видите? — сказал начальник.— Даже если б ваши пять лет уже кончились...

— Мне не пять осталось,— сказал он.— Четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней. Так вы считаете, что и тогда меня нельзя выпустить?

— Чтоб вас прикончили прежде, чем доберетесь домой, да?

— Пошлите людей, пусть его поймают.

— Куда послать? — сказал начальник.— А если бы вы сами оказались на воле и не хотели возвращаться и знали бы, что я хочу вас вернуть, где бы я вас ловил, куда бы посылал людей?

— Да,— сказал он.— Значит, нет никаких человеческих возможностей, ничего не сделаешь.

— Нет, есть,— сказал начальник.— Надо выждать, ведь он непременно что-нибудь натворит, и полиция схватит его — не тут, так в другом месте.

— Выждать,— повторил он.— А вдруг человеку времени нет выжидать?

— Да ведь у вас есть еще четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней, так что можно не беспокоиться.

— Да,— сказал он,— у него еще есть время чего-нибудь натворить.

И снова рождество, снова — открытка с мексиканским штемпелем: «Три года осталось. Далеко не так много, как ты думаешь».

Он стоял перед начальником, тщедушный, маленький, неистребимый, чуть опустив голову, в полосатой арестантской одежде, со спокойным лицом.

— Опять из Мексики, как видно,— сказал он.— Может быть, *Он* там его убьет.

— Что? — переспросил начальник.— Что вы сказали?

Он не ответил. Он стоял, спокойный, сосредоточенный, невозмутимый. Потом заговорил:

— Пока у меня не началась эта коровья склока с Джеком Хьюстоном, и раньше, когда я еще мальцом был, я каждое воскресенье ходил в церковь, а по средам — на молитвенные собрания, с той женщиной, что меня вырастила.

— А кто они были, эти люди? — спросил начальник.— Вы говорили, мать у вас умерла?

— Он-то был просто сукин сын. А она мне и вовсе не родня, просто его жена... Каждое воскресенье, пока я...

— А его фамилия тоже была Сноупс? — спросил начальник.

— Он был мой отец... Пока я не подрос и не откололся от бога; бывает так, что думаешь — я уже вырос, мне ни от кого ничего не надо. А потом вы сказали, что раз я помешал девяти парням из десяти убежать, так мне можно пять лет скостить, а вышло так, что вы меня вовсе выпускать не собираетесь, и тут я *Его* опять признал.

— Как признали? — спросил начальник.— Кого признали?

— Бога признал.

— Вы хотите сказать, что вернулись в лоно церкви с той ночи, два года назад? Да ведь это неправда. Вы ни разу даже в церкви не были, с тех пор как попали сюда, с тысяча девятьсот восьмого года.

И это было верно. Впрочем, ни прежнего начальника, ни его преемника это ничуть не удивляло. Они скорее могли предположить, что он примкнет к одной из тех небольших бунтарских, непримиримых, ни с кем и ни с чем не согласных сект — секты эти существовали наряду с официальными церковными тюремными организациями почти во всех провинциальных тюрьмах на Юге — к какой-нибудь небольшой фанатической секте или группе (в этой тюрьме она называлась «Свидетели Иеговы»), которой руководили самозванные вожаки, попавшие в тюрьму по удивительно однообразной схеме: все они были осуждены за преступления, характерные для средней прослойки, для людей респектабельных и связанных с семейной жизнью или, во всяком случае, с супружескими отношениями: было и двоеженство, и присвоение денег секты ради женщины, ради своей или чужой жены, и только в редких случаях, да и то самые отпетые, попадали из-за профессиональных проституток.

— А мне церковь не нужна,— сказал он,— я все больше наедине, втихомолку.

— Втихомолку? — переспросил начальник.

— Ну да,— сказал он с каким-то даже нетерпением.— Богу писем писать не нужно. Он-то давно вас насквозь видит, ему и беспокоиться не стоит читать, что вы там напишете. Ведь человек и на свободе начинает кое-что соображать, с годами, конечно. А тут начинаешь соображать куда быстрее. Раз есть такой высший Судья, у которого силы хватит тебе помочь, он тебе и помогает, а твое дело только верить и принимать помощь, дурак ты будешь, ежели не примешь.

— Значит, *Он* избавит вас от Стилвелла? — сказал начальник.

— А то как же! Чем я перед ним провинился?

— Не убий! — сказал начальник.

— А что же *Он* Хьюстону это не сказал? Разве я стал бы ездить в Джефферсон, спать на вокзальной скамейке, лишь бы достать патроны, если б Хьюстон меня не заставил?

— Ну и чертовщина! — сказал начальник.— Ну и чертовщина, будь я проклят! Тебя отсюда через три года выпустят, но, будь моя воля, я бы тебя сейчас же выставил, сегодня же, пока тебе в голову или чем ты там еще думаешь не взбрело и на меня косо посмотреть. Не хочу сидеть и всю жизнь представлять себе, что про меня так думают, как ты думаешь про тех, кто тебе мешает, чтобы мне желали того, чего ты им желаешь... Ну, ступайте. Работать надо.

Но когда настал октябрь — месяц, насколько он знал, не праздничный, без поздравительных открыток — и начальник за ним послал, он даже не удивился. Начальник сперва только молча посмотрел на него — не то что растерянно, но как будто даже уважительно, потом сказал:

— Да, чертовщина.— Перед ним лежала телеграмма.— От начальника полиции, из Сан-Диего, Калифорния. Там в мексиканском квартале стояла церковь. Она давно была заброшена, кажется, новую выстроили. Словом, служб там не было, а что в ней делалось, даже полиция толком не знала. А на прошлой неделе церковь обрушилась. Причин никто не знает, рухнула вдруг, и все. Там нашли человека, вернее, то, что от него осталось. Вот что пишут в телеграмме: «Отпечаткам пальцев ФБР установило ваш заключенный номер 08213 Шафорд Стилвелл».— Начальник вложил телеграмму в конверт, сунул конверт в ящик.— Рас-

скажите, в какую это церковь вы ходили до того, как Хьюстон заставил вас убить его.

Но он ничего не ответил. Он только глубоко вздохнул.

— Теперь меня выпустят,— сказал он,— теперь я свободен.

— Не сию минуту,— сказал начальник.— Пройдет месяц-другой. Надо написать прошение, послать губернатору. Потом он запросит рекомендацию. А потом подпишет помилование.

— Прошение? — сказал он.

— Вы сюда попали по закону,— сказал начальник.— Вас и выпустить должны по закону.

— Прошение,— повторил он.

— Надо, чтобы ваши родные поручили юристу составить прошение о помиловании на имя губернатора. Жена... впрочем, она умерла. Ну, одна из дочерей.

— Наверно, они теперь уже замужем, уехали.

— Так,— сказал начальник. Потом сказал:— Черт побери, да вы уже фактически свободны, ведь у вас в сенате штата есть кузен или кем он вам приходится этот Эгглстоун Сноупс, которого два года назад провалили на выборах в конгресс?

Он стоял не двигаясь, слегка наклонив голову.

— Что ж, как видно, я тут останусь.

Как он мог сказать чужому человеку: «Кларенс, внук моего старшего брата, занимается политикой, ему голоса собирать надо. А когда я отсюда выйду, у меня избирательного права не будет. Чем же мне купить подпись Кларенса Сноупса на прошении?» Значит, оставался только сын Эка, Уоллстрит, а тот никогда никого не слушался.

— Видно, я тут у вас и эти три года отбуду,— сказал он.

— Напишите сами своему шерифу,— сказал начальник.— Я могу за вас написать.

— Хэб Хемптон, тот, что меня засадил, он уже помер.

— Но какой-нибудь шериф там у вас есть? Что это с вами? Может, вы за эти сорок лет стали бояться солнца, воздуха?

— Тридцать восемь будет нынешним летом,— сказал он.

— Хорошо, тридцать восемь. Сколько вам лет?

— Родился я в восемьдесят третьем,— сказал он.

— Значит, вы тут сидите с двадцати пяти лет?

— Не знаю, не считал.

— Ну, ладно,— сказал начальник.— Ступайте! Когда захотите, я напишу письмо вашему шерифу.

— Пожалуй, я досижу,— сказал он. Но он ошибся. Через пять месяцев прошение уже лежало на столе у начальника.

— Кто это Линда Сноупс Коль? — спросил начальник.

Он долго стоял, не двигаясь:

— Ее папаша богатый банкир в Джефферсоне. У его деда и у моего все дети погодки.

— Она, как член вашей семьи, подписала прошение губернатору о вашем освобождении.

— Это как же понимать, шериф за ней послал, что ли, он заставил ее подписать?

— Как он мог? Ведь вы не дали мне написать шерифу.

— Верно,— сказал он. Он смотрел на бумагу, прочесть ее он не мог. Она лежала перед ним вверх ногами, впрочем, это тоже было все равно.— Вы мне покажите, где тут подписались те, что не хотят меня выпускать.

— Что? — спросил начальник.

— Те, кто не хотят, чтоб я вышел.

— А-а, вы про семью Хьюстонов. Нет, тут на прошении стоят только подписи прокурора, который вас засудил, вашего шерифа Хэба Хемптона-младшего и еще В. К. Рэтлифа. Он не из Хьюстонов?

— Нет,— сказал он. Потом опять медленно, глубоко вздохнул.— Значит, я свободен?

— Мало того,— сказал начальник.— Вам не просто везет, вам вдвойне везет.

Но объяснил он ему, в чем дело, только назавтра, после того, как ему выдали пару башмаков, рубашку, рабочий комбинезон, фуфайку и даже шляпу, все новехонькое, и еще бумажку в десять долларов и те три доллара восемьдесят пять центов, что оставались от сорока долларов, которые Флем послал ему восемнадцать лет назад, и тогда начальник сказал:

— Тут приехал помощник шерифа, привез заключенного из Гринвилля. Сегодня он едет обратно. За доллар он вас довезет прямо до арканзасского моста, ведь вам как будто туда?

— Премного благодарен,—сказал Минк.—Я сначала поеду в Мемфис. У меня там дело есть.

Наверно, все тринадцать долларов и восемьдесят пять центов уйдут на покупку пистолета, даже в какой-нибудь мемфисской ссудной лавчонке. Он собирался пробраться в Мемфис на товарном поезде под вагонами или на буферах — так он ездил раза два, когда был мальчишкой и подростком. Но, едва выйдя за ворота, он понял, что боится. Слишком долго он сидел взаперти, забыл, как это делается; его мускулы, наверно, потеряли ловкость и упругость, он разучился действовать просто, быстро, не раздумывая, идти на риск. Потом он подумал — не попробовать ли осторожно забраться в пустой вагон, но понял, что и это он сделать не посмеет, что за тридцать восемь лет он, возможно, даже позабыл все неписаные правила братства мелких бродяжек и может спохватиться слишком поздно.

Он стоял на обочине шоссейной дороги, которая тридцать восемь лет назад, когда он на нее ступил, даже не была вымощена камнем, и на грязи отпечатывались подковы мулов и железные ободья колес, теперь и с виду и на ощупь она стала гладкой, как пол, он это видел, а мог и потрогать, если вблизи не было мчащихся машин и грузовиков. В прежние времена любая повозка остановилась бы, чуть завидев поднятую руку. Но тут мчались не повозки, и он не знал, каким новым правилам они подчиняются. Конечно, если б он знал, как это теперь делается, он так бы и поступил, а не стоял тут, такой безобидный, тщедушный, ростом не больше ребенка, в новом комбинезоне и фуфайке, еще хранивших складки от лежания на полке, в новых башмаках и шляпе, как вдруг грузовик, проезжавший мимо, затормозил, остановился около него, и шофер спросил:

— Тебе далеко, папаша?

— В Мемфис,— сказал он.

— Я еду до Кларксдейла. Оттуда тебя другой подкинет. Не все ли равно — отсюда ли, оттуда.

Стояла осень, подходил октябрь, и он понял, что забыл еще одну вещь за тридцать восемь лет тюрьмы — времена года. Они и в тюрьме приходили и уходили, но в эти тридцать восемь лет единственное его право на них было терпеть из-за них мучения: от жары и солнцепека летом, хотел он работать в самое пекло или нет, от дождей и ледяной слякоти зимой, хотелось ему выходить или нет. Но теперь времена года снова принадлежали ему: через неделю наступит октябрь, тут, в плоской приречной долине, особенно глядеть не на что, он и тридцать восемь лет

назад смотрел на нее из окна вагона с неодобрением: одни голые стебли хлопка да иглы кипарисов. Но там, дома, в горах, вся земля будет золотой и алой от орешника и от дубов, а сжатые поля затеплеют от шалфея и пятен пунцового чертополоха — за тридцать восемь лет он и это забыл.

И вдруг откуда-то из глубины памяти возникло дерево, одинокое дерево. Мать умерла, он не помнил ее, не помнил, сколько ему было лет, когда отец снова женился. Так что эта женщина не была ему родней, и она вечно об этом напоминала: воспитывает она его не из родственных чувств, не по обязанности и не потому, что он слабый и беспомощный, а только потому, что она христианка. Но было в ней и что-то другое. Он сразу это почувствовал — в этой изможденной, измученной, неряшливой женщине, которую он всегда помнил либо с синяком под глазом, либо с грязной тряпкой, прижатой к тому месту, куда ее только что ударил муж. Но он всегда мог на нее надеяться, не на то, что она что-нибудь для него сделает, тут она была беспомощна, но на ее постоянство, на то, что она всегда тут, всегда помнит о нем, прикрывает каким-то щитом, правда никак его не защищавшим, а, наоборот, словно притягивавшим к нему и боль и горе. И все же она всегда была тут, слезливая, умученная, но постоянная.

Она все еще лежала в постели, утро уже прошло, и ей давным-давно пора было приняться за бесконечную возню, наполнявшую ее дни. Она никогда не болела, значит, муж избил ее на этот раз еще сильнее, чем обычно, и она лежала в кровати и говорила про еду — про требуху, про черную муку и патоку, он считал, что все люди только это и едят, разве что поймают или подстрелят какую-нибудь дичь; как видно, удар на этот раз пришелся прямо ей по животу.

— Не могу я это есть,— стонала она,— мне бы чего-нибудь повкуснее, мяса беличьего кусочек.

Он понял: вот почему вспомнилось дерево. Тогда ему пришлось украсть ружье — отец избил бы его до полусмерти, если бы узнал,— потом тащить тяжелую двустволку, больше его самого, до леса, к тому дереву, к ореху, прятаться за ним, скорчившись, и ждать в сонном великолепии октябрьского дня, пока не появится маленький зверек. И тут он стал дрожать: у него был один-единственный патрон — и это он тоже вспомнил, невероятное усилие, с которым он старался поднять тяжелую двустволку, задыхаясь, бормоча в приклад: «Господи, дай, господи, дай!», толчок отдачи, запах черного пороха — и вот уже можно было бросить двустволку и побежать и поднять еще теплое пушистое тельце, а руки у него так дрожали и тряслись, что он еле-еле удержал его. И у нее руки тоже тряслись, когда она гладила тушку.

— Сейчас мы ее обдерем, поджарим,— говорила она,— сейчас мы ее вместе скушаем!

Тот огромный орех, конечно, давно погиб, его раскололи на дрова, на обручи или на доски много лет назад; может, и места того нет, где он стоял — все выкорчевали,— может, так они думали, те, что срубили, уничтожили дерево. Но он-то видел его иначе: непорушенным в памяти и нерушимым, неприкасаемым в золоте и пышности октября. *Да, вот так оно и есть,*— думал он,— *не к месту какому тянет человека, может, этого места уже и нет, и не надо. А тянет человека тоска к тому, про что он вспоминает.*

Вдруг он вытянул шею, выглянул в окошко:

— Как похоже на...— и сразу замолчал. Нет, он теперь на свободе, пусть хоть весь свет узнает, где он провел тридцать восемь лет.— ...на Парчмен,— договорил он.

— Ага,— сказал шофер,— тут лагерь.

— Что? — спросил он.

— Лагерь военнопленных, которые с войны.

— С какой войны?

— Да где же ты был последние пять лет, папаша? — сказал шофер.— Проспал?

— Я далеко был,— сказал он.— Помню, была какая-то война с испанцами. Я тогда был мальчишкой, потом с немцами. А с кем они сейчас дрались?

— Со всеми.— Шофер крепко выругался.— С немцами, с японцами, даже с конгрессом дрались. А потом струсили. Дали бы они нам побить русских, и все было бы в порядке. А они только фрицев и япошек побили, а потом решили всех задушить до смерти деньгами.

Он подумал: *Да, деньги.* Потом сказал:

— Если бы у тебя было двадцать пять долларов, а ты нашел бы еще тридцать восемь, сколько же это выходит?

— Чего? — спросил шофер.— Да я бы и не остановил машину, чтоб подобрать тридцать восемь долларов. На черта ты меня спрашиваешь? Может, у тебя есть эти шестьдесят три доллара, а ты не знаешь, куда их девать?

Шестьдесят три,— подумал он.— *Вот, значит, сколько мне лет.* Он подумал спокойно, мирно: *Какая уж справедливость, я об этом никогда не просил, только чтоб было по-честному, и все.*

Вот и все: пусть ничто ему не помогает, только бы ничто не шло против него. Вот все, чего он хотел, и теперь так оно и выходило.

(Конец первой части)

Молодые поэты Латинской Америки

Хуан Хельман

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ КУБЫ

Из недр измены,
мрака,
из одиночества глуби,
Из каменных клеток смертников,
где жизни мучителен бег,
Вдруг на волне прибоя
к нам имя пришло твое, Куба,—
И словно сама надежда
явила свой лик для всех!
Ты — ветер, что к нам доносит
голос народа трубный,
Пьянящий запах свободы
врывается в душу с ним!
Сплотились мы воедино,
чтоб слушать тебя, о Куба,
И распрямляются спины
под свежим ветром морским!
Еще мы увидим, увидим,
Куба, твои свершенья,
Остров, от солнца сладкий,
идущий путем побед.
Ты утвердил справедливость.
Надежда и ярость — в венах!
Пепел твоих героев
вовек не забудем, нет!
Куба пребудет Кубой!
Куба! Какая песня!
В ней — карабин свободы.
Пули — в его стволе:
Без промаха бьешь — в измену,
в голод, мрака завесу,
В то, что мешает людям
счастливо жить на земле.
Еще мы увидим, увидим
подвигов твоих пламя,

Голубка очей моих, Куба!
Корабль нового дня!
Сбросив одежды муки,
счастья взметая знамя,
Ты мрак развеешь навеки,
к солнцу любовь храня!
Мне жить бы и жить на свете,
чтобы тебя увидеть
Свободной, счастливой, шумной,
как этот морской прибой...
Ордам врагов заклятых
тебя я не дам в обиду,
В смертельном бою с врагами
буду, Куба, с тобой!

Сердцем, руками, грудью
прильну к земле твоей сладкой
Самозабвенно и нежно,
словно к последней любви!

Перевод с испанского Леонида Рогачевского

Хулио Сесар Сильвайн

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Этот сегодняшний день такой же, как все остальные.
Обыкновенный день, живущий во мне сейчас.
У него есть двери, деревья и мостовые,
прохожие, нежность, и молодость, и переулки кривые.
У него есть шахты с шахтерами,
заводы с рабочими,
машины с моторами,
небо с ватными клочьями,
кинозвезды с глазами небесными,
студенты с мечтами,
поэты с песнями
и господа с угрожающими животами
(надутая важность, завернутая в пиджаки);
у него есть отели, особняки,
форды и кадиллаки,
пронырливые газетчики,
желанья голодные и желанья отрыгивающие,
пропахшие свалкой бараки
и хрупкие детские плечики.

Этот день — он сияет, и все в нем сияет:
небо, листья, красивой девушки взгляд,
окна контор и банков,
сметы,
личные кабинеты
и даже штаны у служащих
на месте, которым сидят.

У него есть площади, парки, влюбленные,
пташки, перроны, где машут платочками,
поцелуи, тюрьмы, газоны с цветочками.

Этот день такой же, как все остальные.
Отчего же он кажется чудом?
Он — сегодня для множества слов и дел,
до сих пор лежавших под спудом.
Он настал, чтобы можно было сказать:
— Распахните все окна в городе,—
и устроить побег бродячих собак
из муниципальной живодерни.
Запретить заводскому дыму
заволакивать синее серым.
Петь, шагая по скверам.
Играть с детьми. Подмигивать влюбленным.
И плевать на «Запрещено
ходить по газонам».

Он настал, чтобы можно было сказать:
— Хочу дружить с Раулем Туньоном *,—
и сидеть в кабачке с моряками,
верить их небылицам, пить с ними вместе.
Моряки почему-то всегда печальны,
и в каждом порту у них по невесте.

Сегодняшний день,
он настал, чтобы можно было сказать:
— Нет, жизнь совсем не грустна,—
и подобрать на панели раненого щенка,
и с девушкой поцеловаться в парадном.

Он настал, чтобы можно было сказать:
— Завтра сажусь на корабль и не вернусь обратно,—
и слушать на улице джаз, такт отбивая ногой,
или с присвистом втягивать мате **, откровенничая
с друзьями,
или на площади философствовать с воробьями.

Сегодняшний день, он пришел,
чтобы можно было сказать:
— Юность ищет свою надежду,—
и слушать свой голос, и ему изумляться,
и вывесить по стиху на каждом балконе.
Он для того, чтобы мог я шагать и курить,
руку засунув в карман,
и насвистывать что-то, и снова влюбляться.

Он пришел, чтобы можно было сказать:
— Нужно надеяться и бороться.
Конечно, весна. Но разве трудно себя убедить,
что бороться весной особенно просто.

---

* Рауль Гонсалес Гуньоч — известный современный аргентинский поэт.
** Напиток, распространенный в некоторых странах Южной Америки; его пьют, всасывая через трубочку.

БЛЮЗ О МОЕЙ СОБАКЕ

У меня есть собака,
верней,
у меня есть кусок души,
а не просто собака.

Я люблю ее и порой
очень сочувствую ей.

Нет собаки у бедной собаки
моей.

И вот, когда мне бывает
грустно...

А знаешь ли ты, что значит
собака,
когда тебе грустно?

И вот, когда мне бывает
грустно,
я обнимаю ее за шею
и говорю ей:
— Собака,
хочешь, буду твоей собакой?

Перевод с испанского М. Самаева

Хулио Уаси

СЫН НАРОДА

Я род свой веду от глициний,
В чью синюю дымку все окна
Под солнцем январским оденутся,
И — от фабричного дыма...
Ох, моя мама,
Ну и происхожденьице!
Отец не имел богатой библиотеки,
Усадьбы, и шляпы, и даже конфет для меня.
Я родился в величественном бараке
Возле Патрицианского парка
На склоне последнего летнего дня.
Вам хотелось бы знать,
Что досталось мне с жизнью вместе?
Воробьи за окошком, герань в горшке,
Ежедневные драки, рукомойник из жести
И — отверстия в потолке.
Ну, конечно, и двор в покареженных плитах,
По которым мальчишки гоняли до темноты.
О моя бабушка итальянка,
О мой дед андалусец, чинивший зонты!
Отец был поляк. Он работал в пекарне.

А до этого плавал и объездил немало стран.
Был беден, но виден собою
Этот молодой эмигрант.
Воскресными вечерами мы ходили с ним на Ла-Плату,
И я наблюдал, как прутиком он рисовал на песке.
Три года мы были рядом, и я умолкал от счастья,
Если моя ручонка тонула в его руке.

ПОЭТ СНОВА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

С алым цветиком гвоздики
Я спешил к природе дикой.
Жизни жаждал я иной.
Но, придя, увидел ложку,
Мусор, сгнившую картошку,
Ров увидел земляной.
Ну и чертова дорожка!

Что ж! Избрал маршрут я новый.
Индианки... Лес кедровый...
Речка... пастбище... Мираж!
Вновь увидел я все то же —
Стекла, рваные галоши,
Тряпку... Мерзостный пейзаж!

Где же ты, о муза, муза?
Надрываю кашлем грудь.
В тягость городские узы,
Дай природой мне вздохнуть.

Предложи похлебку, рыбку,
Молодого чесночку,
Рюмку, девичью улыбку.
Впредь пейзажей не хочу!

...Город мне открылся вскоре,
Тень — навстречу: эй, держись.
Лезу сквозь дыру в заборе,
Где вы, розы, луг и зори?
Как здесь безотрадна жизнь!

Перевод с испанского Леонида Рогачевского

Сауль Перес

ЧЕЛОВЕК — ГОРОД

(Отрывки)

Когда над голодным морем кружится осенний ветер
и в пасти волн бросает пламя последних листьев,
а лиры деревьев возносят к тучам раскаты симфоний,
с последним хрипом заката сливающихся в вышине,

когда ипохондрия неба не в силах в дождях излиться,
тогда, точно спрут, недавно рожденный туманом мглистым,
всплывает город; мел улиц в фосфорическом полусне,
серые переулки, пропахшие недрами моря,
витрины в призрачном свете — зеленый рай манекенов...
И бездна улицы кажется геометрическим адом,
по которому шествует Данте под зонтиком и в пенсне.
. . . . . .
Среди лесов кабаре и похожих на школы борделей,
среди ресторанов, купален и теннисных кортов кружатся
фантастические трамваи с металлическими позвонками,
ветер, сухие листья, стрелки часов, недели,
двери-вертушки, панели
под ногами пьяных; кружатся колеса с маховиками,
конвейеры, блоки и люди со скованными руками.
А в вечерней газете, просмотренной наспех в трамвае,
пикантные преступленья, футболисты с ногами козлов
и хилый юмор, состряпанный стареющими холостяками.
. . . . . .
Вот певец квартальных масштабов в плаще из дыма, незримого
для профанов, душою грубых.
Он вызывает тени, живущие в канализационных трубах.
Вот рабочего каменные запястья,
погруженные в злое картежное счастье.
Слепой, забывший о времени и отбрасывающий на стены
вечную ночь своей жизни.
Мария из кабаре
с телом, как хрупкое деревце, осыпавшееся на жаре.
Дно городское с мачтами, рыдающими в аккордеоне
звуками танго. Мир закоренелых счастливцев.
Таверна, забывшаяся над романом и поглощающая страницы.
Огромные сети порта, вылавливающие моряков.

Там, за пределами города, лиловые тучи-громадины
взрывают в бороздах зерна и делают зелень упругой.
А здесь — любовь на губах раздавленной виноградиной
и головы, обессиленно упавшие друг на друга.
Здесь метановые цветы, синеющие на конфорках,
в крошечных клетках лампочек бессильные желтые птицы,
здесь без прикрас риторических послание самоубийцы
и ржавые пятна крови на бритвенном лезвии.
Все мне кажется здесь фотокамерой, отражающей вверх ногами
образ моей жизни.
. . . . . .
Думаю о каждодневной войне на рынке под вывеской «РАЙ»,
о тех, кто с довольной ухмылкой живет, мозг и душу в кишечник
упрятав,
о прачках, стирающих день за днем интимности светских дамочек,
о бедняках с негнущейся шеей и манерами аристократов,
о матерях, проливающих слезы над луковицей жизни,
о мальчишках, чирикающих на углу: «Свежий номер! Последние
новости»,
об узниках за решетками города с движеньями автоматов;
думаю о буржуазных матронах, распустивших павлиньи хвосты
в театре,

о мечтах молоденькой продавщицы перед витринами магазина,
о людях, умеющих цифры растягивать, как резину,
о призраке радости, грустно бредущей по стадиону средь гулкого
говора,
о городе этом, чьи кости хрустят, оплетенные символом доллара.
. . . . . .
А Ла-Плата будет греметь и греметь в древний свой барабан
и выволакивать из океана обломки кораблекрушений.
Ночами будут ее берега вырисовываться на ней,
леса корабельных рей
и кранов жирафьи шеи.
Чайки будут над нею лететь, как причудливые телеграммы,
и телеграфные вести, рассекающие меридианы
словами «Китай», «мировая война»...
И в ритме афрокубинской румбы будет плясать волна,
о бок корабля отбивая стремительные синкопы.
Будут слышаться крики негров,
их прихлопыванья, их притопы,
и саксофон, изливающий мед с самого дна души,
и танго: «Когда мою веру солнце,
как в поле траву, иссушило...»
Пляши, чернокожий, пляши...
. . . . . .
Расскажи мне, песня, о времени, бредущем неслышной поступью
и грызущем дверные петли.
О времени, чье дыханье раздувает пожары осени
и чьи шаги отпечатываются на пепле.
Расскажи о процессиях монахов, несущих
распятие по закоулкам порока,
расскажи мне о щеточках, отмывающих грязь
на руках игроков и дельцов вездесущих;
о дырах на простынях, вывешенных у барака,
расскажи мне. И двери передо мной распахни —
ту, за которой туберкулезный
в склянку отхаркивает прогорклые дни,
и ту, за которой уставший желать
перед сном принимает снотворного дозу.
Среди свалок, лачужек и крысиной возни,
среди дочиста вылизанных тарелок
я иду и несу на спине своей кладь —
вздохи, взгляды, слова, вопли боли и срама,
и город с пикассианским лицом
держит передо мной свою
страшную рентгенограмму.

Америко Абад

ХОЗЯЙКА ДОМА

Женщина, замытаренная детьми
с вечно грязными носами и подбородками,
замученная кастрюлями и сковородками,

мытьем полов,
по которым неслышно проходят годы.
Женщина, чье сердце подернуто слезами
из какого-нибудь радиоэпизода.
Кто знает о ней, о твоей печали,
похожей на комнатушку,
в праздничный день покинутую жильцами
и совсем одинокую среди пустых этажей.
Кто знает о ней, о твоей печали,
погруженной в стирку, штопку, утюжку,
в пересчитыванье грошей.
О том, как глядишь, вздыхая,
с подурневшим от слез лицом,
на влюбленных, которые расстаются навеки
в кинокартине с благополучным концом.
Иные смеются,
когда ты с соседками,
своими советчицами неизменными,
откровенничаешь, стоя с покупками
или развешивая белье.
Иные смеются,
когда возмущаешься вслух
высокими ценами,
тем, что опять вздорожало жилье.
Но слова твои, на ветер брошенные
и, как простыни, бьющиеся на ветру,
слова твои, добрые и недобрые,
кем-то пойманы, кем-то подобраны,
кому-то пришлись по нутру.
А иные подсмеиваются над тобой.
Ведь эта возня твоя с бедами
и обедами,
эти слезы твои
и чужая красивая кинолюбовь,
обсужденье с соседями
последних домашних известий,
дни, теряющиеся в незаметной ходьбе,
совсем заслонили женщину,
которая скрыта в тебе
и едва ли себя узнает
в модной прическе,
в цветастом халате, в кокетстве,
в любовной историйке из журнала мод.
И всегда кто-нибудь смеется
над тобой, погруженной в бездну забот,
точно на дно колодца.

Перевод с испанского М. Самаева

Монго Бети
(КАМЕРУН)

Заблудшая миссия

РОМАН

Перевод с французского М. Амаровой

Мысли опасные, а иногда и высоконравственные, высказанные персонажами этой книги, исходят только от них самих. Автор ограничился тем, что приблизительно изложил их.

ПРОЛОГ

Почему и в минуты печали, и в минуты радости снова и снова, подобно волнам прилива, поднимаются в моей душе воспоминания о той истории? Почему так хорошо уживаются во мне и романтический энтузиазм, и тоска по родине, и обыденность житейских будней?

Почему?

Я ничего не могу поделать с собой. Все другие воспоминания в годы зрелости распадаются, тают и в конце концов испаряются, как глыба льда под лучами солнца, и только один лишь этот эпизод моей юности сопротивляется с героическим упорством среди всеобщего отступления, прикрывает собой все бреши, оставленные покидающим меня прошлым, и заполняет все мое существо.

Почему?

Но вы прошли тот же путь, что и я, с такой же безрассудной смелостью вы пускались в странствия по тем же неизведанным тропам, ваши босые ноги ведь тоже топтали красноватую пыль родной земли? Неужели страничка нашей с вами молодости, эта изъеденная и источенная временем веха на нашем общем пути, не пробудит отклика в вашем сердце, не вызовет в нем знакомых картин, как это бывает, когда вдруг услышишь через много лет после смерти матери ее любимую песню или голос давно забытого друга детства?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

в которой читатель узнает о беспокойном и сумбурном путешествии героя, полном приключений и послужившем началом не менее беспокойных каникул. Читателю также будет рассказано о превратностях супружеской жизни, побудивших некоего Ниама, личность малопочтенную, без всякого зазрения совести отправить мальчика, почти ребенка, в опасную экспедицию в незнакомый, можно даже сказать враждебный край.

Всякий раз, когда я вспоминаю, что случилось со мной в те дни, злое чувство зависти и сожаления об ушедшей молодости охватывает меня с новой силой: хочется вновь пережить все сначала.

Помните июль? Я и еще кто-то из наших товарищей по лицею, забыл уже, как их звали, только что провалились на устном экзамене

на степень бакалавра. Помните, конечно, как после провала я тут же придумал себе отговорку. Вас это очень забавляло. Я пользовался ею всякий раз, когда заходил разговор о моем экзамене: «Провалился, как и следовало ожидать»,— говорил я. «Как и следовало ожидать» без всяких объяснений служило мне в некотором роде алиби и избавляло моего собеседника от необходимости выслушивать, а меня лишний раз переживать все то, что привело к провалу на экзаменах. Провал этот, как мне теперь кажется, сделал из меня законченного неудачника, но... это уже другая история.

Прощаясь с Туземным интернатом после торжественной церемонии раздачи дипломов, мы были в прекрасном настроении. Не правда ли? Я, кажется, не пытался скрыть от вас своего огорчения, но просто среди нас были ребята вроде Даниэля — непревзойденного мастера по части всяких шуточек,— они-то и не давали мне сосредоточиться и погрузиться в размышления о своей горестной судьбе, как говорит поэт. Помните, Даниэль повторял: «Возьмите меня. Ни одного галла, все предки — банту. Между прочим, они так и остались банту, с тех самых пор. И ничего — не жалуются, даже сейчас как будто не выражают желания стать французами». Или еще: «Стоит где-нибудь появиться хотя бы одному негру — готово! — колонизатор тут как тут! Так и бродит!»

Рано утром мои товарищи разъехались кто куда, и я оказался один в автобусе. Обычно шестьдесят километров, отделяющих нашу деревню от Онголы, можно покрыть на машине часа за три. Помню, что в этот раз на поездку ушло куда больше времени.

Я примостился на деревянной скамейке, твердо решив, что дорогой не буду предаваться горьким размышлениям о постигшей меня неудаче — я был склонен все рассматривать в мрачном свете,— а спокойно обдумаю, как бы получше распределить три месяца каникул для подготовки к письменным экзаменам.

К несчастью, моему злому гению почему-то не хотелось оставлять меня в покое. Он решил еще раз доказать мне свое всемогущество. От шума мотора вдруг словно прорвался наполненный водой гигантский мех — наше африканское небо. Хлынул дождь, угрожающий, яростный, нескончаемый. Казалось, под его хлещущими струями хижины еще глубже уходят в землю. Наш автобус — громыхающий фургон на колесах — застревал в грязи везде, где только мог. Шофер-грек, он же владелец машины, вылезал из кабины под дождь и в сопровождении помощников-негров, двух нерасторопных парней, исчезал в лесной чаще. Они возвращались оттуда с охапками веток и сухих листьев и подкладывали их под колеса буксующей машины.

Такая операция прошла удачно первый, второй, третий и даже четвертый раз. На пятый дело приняло трагический оборот. Тщетно автобус пытался одолеть крутой подъем. Дождь все лил и лил, и операция «ветки — сухие листья» не только не помогла, но чуть было не привела к катастрофе. Вместо того чтобы двигаться вперед, автобус наш, как вконец загнанный конь, встал поперек дороги, уткнувшись носом в глубокий кювет. Еще немного — и нам вряд ли удалось бы выбраться целыми и невредимыми.

К счастью, старая кляча только фыркала и топталась на месте. Шофер-грек заглушил мотор и разразился потоком брани:

— Дерьмо!.. Ей-богу!.. Стерва!.. Ей-богу!.. Дерьмо!..

Он ругался на каком-то немыслимом наречии — смесь французского, итальянского, греческого и английского,— которое невозможно передать даже при помощи фонетической транскрипции.

«Вот услышал бы тебя Сократ»,— думал я при каждом новом руга-

тельстве Критикоса и, не в силах сдержаться, прыскал со смеху. Вдруг грек, повернувшись ко мне, сказал на чистейшем французском языке:

— Зря смеешься, парнишка. Тебе бы плакать надо. Я, видишь ли, прожил в Бельгийском Конго несколько лет. Да, несколько лет в Конго... Можешь мне поверить, там дороги как дороги... Гудронированные, с бензоколонками и всем прочим... А у вас тут французы, э-э... только и умеют, что языком трепать.

Критикос скорчил презрительную гримасу, пожал плечами и смолк. Пассажиры автобуса, сплошь негры все как на подбор, тотчас повернулись в мою сторону и с тревогой уставились на меня, словно опасаясь, что я уклонюсь и не подам своей реплики доблестному Атриду*. Они ждали, эти страстные любители всяких стычек и потасовок, пусть словесных, пусть даже на непонятном или малопонятном для них языке.

— Чего же ты не остался в своем Конго? — наконец отважился я спросить грека.

Я спросил так не потому, что в ту минуту мне захотелось встать на защиту французской колониальной администрации: уже тогда я знал, что дубинка сродни любым колонизаторам, кем бы они ни были. Вопрос сам по себе казался мне уместным с точки зрения простой логики.

Теперь лица пассажиров повернулись в сторону Критикоса. Тот, явно озадаченный моими словами, излил на мою тщедушную фигуру всю средиземноморскую голубизну своих больших глаз. Потом он опять пожал плечами и отвернулся, вызвав победную улыбку пассажиров.

— Тебе не понять, молод еще,— пробормотал грек, навалившись грудью на руль.

Видя, что их петушок — то есть я — вышел победителем в этом поединке, пассажиры одарили меня взглядом, в котором отразились радость и тревога, как при объявлении патриотической войны.

Но на этом дело не кончилось. Машина наша, уткнувшись носом в кювет, загородила шоссе, спереди и сзади нас (если вообще еще можно было определить, где зад, а где перед) постепенно выстроились вереницы грузовиков и легковых машин. Водители ревом сигналов, криками и руганью совершенно недвусмысленно требовали, чтобы мы освободили шоссе. Вот тогда Критикос не выдержал. С силой хлопнув дверцей кабины, он вылез под дождь и жестами, криками, бранью и другими вспомогательными средствами попытался объяснить своим коллегам, что он лично не несет никакой ответственности за все происходящее.

Они долго стояли на шоссе: негры и один белый. Дождь струился по их плащам цвета хаки. Наконец было решено для начала освободить терпящую бедствие машину от балласта — пассажиров.

Мы поплелись по красной грязи и укрылись в хижинах у самого шоссе, так что я даже не могу сказать, что, собственно, они предприняли, чтобы вывести старую клячу на дорогу. Во всяком случае, после часа ожидания мы увидели, как наша машина покорно тронулась с места и, кряхтя от старости, двинулась по жидкой красноватой грязи.

В результате всех этих сложных действий моя одежда, заляпанная грязью, приобрела кроваво-красный цвет. Тут я дал себе слово, что, собираясь в дорогу, никогда больше не выряжусь в белый костюм и не надену белых туфель, пусть даже в конце пути меня будет поджидать моя подружка. Кстати, мне казалось, что так оно и должно случиться, ведь я все думал о подружке моего детства, жившей неподалеку от нашей деревни. Обычно она бывала первой, кого я встречал по возвра-

---

* Здесь имя нарицательное для греков, в греческой мифологии — потомки Атрея, царя древних Микен.

щении домой, но на этот раз я ее не встретил... Впрочем, это уже другая история.

Наш автобус кое-как дотянул до Вимили, небольшого города нашей округи. Говоря «город нашей округи», я слегка прихвастнул, конечно. В Вимили только всего и было что базар да несколько бедных лавчонок, куда крестьяне окрестных деревень изредка заходили за покупками. Ах да, забыл упомянуть о конторе колониальной администрации, полицейском участке и тюрьме — обязательных атрибутах цивилизации, без которых ни один населенный пункт не мог у нас называться городом.

Мне оставалось преодолеть еще десять километров, чтобы предстать перед своим отцом. Но в Вимили нам сказали, что на шоссе, при выезде из города, ведутся ремонтные работы и поэтому дорога закрыта.

Я сошел с автобуса. Дождь как будто прекратился. Честно говоря, чемодан мой не был тяжелым, но нести его в руке или на голове все десять километров, отделяющих меня от деревни, я не собирался.

Добрые полчаса я торчал на веранде какой-то лавчонки, ломая голову над тем, каким образом разрешить проблему дальнейшего передвижения. И вдруг я увидел Аму́, самую молодую из моих теток. Она катила на велосипеде, сидя на нем довольно криво. Аму так и не смогла научиться ездить на велосипеде с достоинством.

Муж тетки умер очень молодым, и она теперь жила у нас. Я резво помчался за ней, подстегиваемый мыслью о неожиданно подоспевшем спасении. Пренебрегая правилами хорошего тона, что еще в лицее создало мне плохую репутацию, я довольно бесцеремонно окликнул тетку.

— Боже! — удивилась тетка Аму.— Ты ли это? Матери дома нет и отца дома нет, а брат куда-то пропал, о нем уже и не вспоминают. Отец сердился, а потом перестал, что тут поделаешь... Тебе повезло — хоть я дома. Все время говорю себе: хороши они были бы, не будь меня. Скажи-ка, неужто ты провалился на... этого... ба... ба... ну... на экзамене?

Я утвердительно кивнул головой.

— Видишь, как нехорошо. Да еще в первый раз. Ну, ладно. Отец сам разберется. Впрочем, ты не бойся, его дома нет. Смотри, ты весь испачкался в красной глине! Похоже, что валялся в грязи. Может, с кем подрался?

— Автобус застрял на подъеме, пришлось пешком идти,— сказал я.

— Вот оно что!

— Приехала меня встретить? — неуверенно спросил я.

— Да ты что?! Бог меня, что ли, надоумил? Откуда мне было знать, что ты приезжаешь сегодня? В деревне о тебе известно, что ты провалился, а больше ничего!

С присущей ей живостью она выхватила у меня чемодан.

— Кажется, дорога закрыта?

— Да, закрыта, тебе придется добираться пешочком, мой птенчик. (Не знаю, почему она наделила меня именно таким прозвищем?) Я привяжу твой чемодан к багажнику и скоро тоже приеду. Вот только управлюсь со своими делами. Торопись, сынок, сейчас дождь пойдет.

Я не стал спрашивать, что за дела удерживают ее в городе, но сердце мое сжалось при мысли о ее покойном муже, с которым у меня были приятельские отношения, если только можно называть отношения ребенка со взрослым приятельскими. И всю дорогу, пока я шлепал по глине под глухие раскаты грома, мне было как-то не по себе и от неприятного ощущения грязной одежды, затвердевшей, как панцирь, и стеснявшей мои движения, и от горьких мыслей, навеянных бог знает где и когда прочитанными детективными и приключенческими романами. «Все женщины одинаковы,— думал я.— Почему моя подружка

должна быть лучше моей тетки? Разве стоит она того, чтобы столько думали о ней!» Впрочем, к чему упоминать о моей подружке: она не играет никакой роли во всей этой истории... А пока все шло более или менее нормально, если не считать бурного объяснения с отцом в перспективе.

* * *

Этого парня, Ниáма, я знал не лучше других своих двоюродных братьев, то есть совсем не знал: мне редко приходилось жить дома более трех месяцев подряд. Я всегда полагал, что Ниам довольно безразлично относится к своей жене, по крайней мере в ее присутствии, и вздумай она уйти, то он, Ниам, не стал бы горевать.

Но тетка Аму объяснила мне, что с уходом жены в доме Ниама все пошло вверх дном. Ведь Ниам был порядочным бездельником.

— Подумать только,— возмущалась тетка Аму,— ничтожество вроде этого Ниама обращается со своей женой, работягой, труженицей, точно она сука какая-то! Да и то сказать, сука может принести щенят, а она, оттого что бездетна, должна сносить ругань и всякие издевки. До чего же много воображают о себе эти мужчины!

Теперь я понимаю, что тетка Аму была сердита на мужчин не только потому, что ее муж умер, но и потому, что у нее самой не было детей, ни малейшей надежды иметь их в будущем.

У моей матери было свое мнение о причине раздора между супругами. Она потом рассказывала, что супруга Ниама вступила в скандальную связь с каким-то бродягой из города, разносчиком по профессии. Он дарил ей ситцы и другие красивые вещи — соблазн, перед которым трудно устоять молодой женщине. Вам может показаться странным, что моя мать говорила об этом резко, явно неодобрительно. У нас если и переспят с кем-нибудь (в Европе существует особый термин — адюльтер, какое громкое слово!), как правило, подобное происшествие не вызывает бурных страстей, хотя, конечно, нельзя сказать, чтобы к этому относились так уж спокойно. Во всяком случае, супружеская измена совершается чаще всего как бы в одной семье: ну, кто-нибудь переспит с человеком своего племени. Поэтому серьезность проступка, так сказать, прямо пропорциональна расстоянию или степени родства, отделяющего племя обманутого мужа от племени любовника. Изменить с мужчиной другого племени значит совершить серьезный проступок. Вступить в связь с каким-нибудь пришельцем грозит проклятием.

Нерасположение моей матери к жене Ниама объяснялось прежде всего тем, что супруга моего двоюродного брата после нескольких лет замужества не имела детей, и совершенно непонятно, по каким причинам. А бездетных женщин у нас предают своего рода анафеме, корни такого обычая следует искать в метафизических взглядах отцов племени банту. Жене, родившей ребенка, все прощается — и капризы, и измены мужу. Впрочем, вам это известно...

Короче говоря, жена Ниама ушла. Не знаю, что послужило причиной, какое незначительное происшествие явилось каплей, переполнившей чашу, кому из супругов вменить это в вину?.. Но однажды утром, восстав ото сна, мсье с великим изумлением заметил, что его половина исчезла, прихватив с собой свои вещички. Что ж, так уж повелось: жены всегда уходят ночью, поэтому-то их и называют ночными бабочками...

Через несколько дней все узнали, что жена Ниама переехала к своему отцу. Никто, конечно, не удивился — так всегда поступали в подобных случаях. Одно только всех поразило: женщина поклялась, что не переступит больше порога дома Ниама.

Прошло несколько месяцев. Сначала Ниам храбрился, уверяя всех, что он и не такое видывал. Этим он хотел сказать, что жена и раньше бывала в бегах, но каждый раз возвращалась.

С большим сомнением он твердил:

— Я — что земля! Она — сухой листок, оторвавшийся от дерева. Сколько ни кружись, все напрасно: лист всегда упадет на землю...

На сей раз Ниам совсем не был уверен, что сухой листок все-таки упадет на землю. С каждым днем надежда, что это случится само собой, постепенно угасала в его душе.

По истечении шести месяцев холостяцкой жизни Ниам не выдержал. Однажды, поздним вечером, он отправился к Бикòколо, старейшему деревни, местному мудрецу, и признался, не без труда конечно (ибо был горд), что желает получить обратно свою жену, так как дом остался без хозяйки. На самом деле заинтересованность Ниама была куда серьезней: он уже упустил один урожай арахиса, ведь после ухода жены некому было работать на поле. Старый Бикоколо, понимавший все с полуслова, сейчас же определил новую линию поведения для Ниама, а в заключение беседы настоятельно рекомендовал смирить хотя бы на время свою гордость, явно бесполезную в таком важном вопросе, как подавление бунтарских настроений жены. «Ему легко говорить»,— подумал Ниам, покидая Бикоколо.

Окрепнув духом после наставлений Бикоколо, а также выработав свой собственный взгляд на решение этой проблемы, заключавшийся в том, что не следует принимать непосредственного участия в торгах или иных сделках, дабы не уронить достоинство в глазах своей жены, Ниам попытался вскоре договориться с тестем через посредников. Вся деревня узнала, что Ниам начал переговоры с родственниками жены, предварительно послав им подарки. И все были поражены, когда тесть, приняв дары, сказал так: «Моя дочь уже не девочка, сама знает, что ей надо, а что не надо — и подавно!..»

Услышать такие слова от тестя — какой скандал! «Но чего же он тогда добивается?» — удивлялась вся деревня.

Наконец Ниам понял, что он, благодаря советам Бикоколо, оказался перед грозной альтернативой: либо продолжать посылать подарки семье жены (в этом случае, как видно, не будет конца расходам), либо самому выступить на арену, что означало подвергнуть себя страшному унижению, такому унижению, после которого, вне всякого сомнения, жена не сможет оказать должного уважения супругу, который по праву называется господином.

Несколько недель Ниам бился в поисках выхода из затруднительного положения. Все это время он, словно призрак, бродил по полям, подсматривая, как чужие жены небольшими мотыгами осторожно перекапывают землю. Неужели и на этот раз он упустит время и опять пропадет урожай арахиса?

При его приближении женщины разгибали спины и спрашивали:

— Ну, а ты, Ниам, раскорчевал участок?

— Раскорчевать-то раскорчевал, да толку что?

— Участок большой?

— Большой.

— Хорошо выжег?

— Еще бы!..

— Смотри, как бы он не зарос.

— Не могу же я браться за мотыгу!

— А разве не бывает мужчин, которые работают на поле, Ниам?

— Бывают, но я не из их числа!

— Смотри, гордость тебя погубит, Ниам! Приходи к нам сегодня обедать...

Сколько Ниам ни думал, он так и не нашел выхода. И тут как раз подоспел мой приезд. Ниам моментально сообразил, что я ему послан самим провидением. Он сразу же задумал дьявольский план. Подобно отчаявшемуся полководцу, Ниам был готов теперь на любую авантюру. На следующий день он ввалился к нам в дом. Это был первый день моих каникул, которые и так не обещали быть веселыми: предстоящие экзамены сулили мало хорошего. Ниам довольно цинично изложил мне свой план: я являюсь туда, строго говорю с ними, если надо — стучу кулаком по столу, они пугаются и выдают мне женщину, которую я и привожу домой.

Вся эта подозрительная махинация мне сразу же не понравилась, тем более, как я понял, предстояла довольно долгая поездка. А я еще не успел ни как следует поразмыслить над постигшей меня неудачей, ни насладиться сном, на который, кроме праведников, могут рассчитывать только провалившиеся на экзаменах на степень бакалавра. Конечно я отказался. Тетка Аму поддержала меня.

— Ну что ты к нему привязался? — сказала она резко.— Оставь его в покое хоть на минуту!

Но Ниам, предусмотрев заранее все, и прежде всего возможность отказа с моей стороны, поспешил заручиться поддержкой Бикоколо, нашего всесильного патриарха, который распоряжался буквально жизнью и смертью каждого обитателя нашей деревни.

— Жаль, дорогой брат, что нет твоего отца,— начал Ниам.— Но поскольку Бикоколо здесь и придерживается по этому вопросу того же мнения, что и я... Видишь ли, дело касается не только меня лично, оно касается всего нашего племени. Эта женщина принадлежит не только мне. Она принадлежит нам всем. При подобных обстоятельствах, следовательно, задета честь каждого из нас. Будь тут отец, он первым бы приказал тебе отправиться к этим людям...

Я попросил на размышление два дня. Ниам согласился на один. Без дальнейших разговоров я пригрозил прекратить спор. Тогда Ниам вышел из дома, встал в самом центре деревни и принялся громким голосом излагать доводы, обязывающие меня во имя всеобщего блага согласиться принять на себя эту миссию. Как видно, он призывал всех моих дядьев и двоюродных братьев быть свидетелями моего отказа.

Я попал в затруднительное положение. Тетка Аму бранилась все тише и тише. Совершенно ясно, что против нас был организован заговор, направляемый опытной рукой. На стороне Ниама стояло все мужское население деревни. До сих пор не понимаю, каким образом он этого добился. Все выражали единодушное желание, чтобы я отправился в поход устрашения родственников жены Ниама. Но после неудач на экзаменах я потерял всякую веру в себя.

Выступая адвокатом, особенно по делам, затрагивающим его собственные интересы, Ниам мог сойти за местного Демосфена. Он вышел на середину деревни и произнес защитительную речь. Он болтал без умолку: повторял целые фразы, настаивал на отдельных положениях, прикидывался оскорбленным, излагал аргументы против и тут же опровергал их, делал вид, что склоняется в пользу отдельных доводов, а минуту спустя обрушивался на них же, перемежал свою речь смехом, восклицаниями, вопрошал своих сторонников, которые, разумеется, были одного мнения с ним... Ну и спектакль!.. Люди выходили из хижин, чтобы послушать его. У тетки Аму иссякло терпение, она выбежала во двор и принялась честить Ниама:

— Стыда у тебя нет, право. Как ты смеешь впутывать мальчишку в свои грязные дела? Ведь он еще ребенок, совсем дитя, родился у тебя на глазах! Если бы отец был дома, он бы тебе показал, скотина паршивая!..

Нападение было столь яростным и неожиданным, что Ниам в первую минуту остолбенел.

Но все было продумано великолепно. Бикоколо собственной персоной явился на выручку несчастного Ниама. Сперва я подумал, что Ниам неосторожно воспользовался именем старца, и вот патриарх сам решил вмешаться. Он шел неторопливо, выпятив круглый голый живот, похлопывая мухобойкой то по ногам, то по спине.

Сначала он обратился к тетке Аму:

— Дочь моя, о чем ты беспокоишься? Да, отца этого мальчика, этого дитяти, как ты говоришь, нет дома. Но где бы он сейчас ни был, он спокоен, занимается своими делами, не зная забот, ибо уверен, что мальчик обрел во мне отца. Он мне дороже, чем родному отцу! О, если бы этот человек услышал те кощунственные слова, что ты только что произнесла... Он молод, наш малыш Мѐдза, никто не отрицает. Ты верно сказала, он почти еще дитя! Мы помним его рождение, это было совсем недавно. Чего мы ждем от него? Чтобы он сделал ребенка жене Ниама? Нет как будто бы...

В толпе раздался взрыв смеха.

— А почему бы и нет? — обиженно возопил один из моих братьев, мой ровесник. — Думаете, не справится?

Смех усилился. Бикоколо тоже рассмеялся.

— Не сомневаюсь,— продолжал он,— думаю, Медза справится. Но в данном случае от него требуется нечто другое: поехать туда, показать себя, припугнуть эту деревенщину — вот и все.

Пока патриарх говорил, мой мозг лихорадочно работал, и вдруг меня осенило: в арсенале моих сведений по картезианской * диалектике я отыскал такой аргумент, который, пожалуй, не преминет оказать свое действие, свирепый враг будет повержен, аргумент сразит его, убьет наповал, подобно разрывной пуле охотника, настигающей дикого зверя в последнем прыжке.

Я вышел во двор с твердым намерением, прежде чем бросить бомбу, испытать все известные мне приемы ораторского искусства: напускную нерешительность, недоумение, иронию — и под конец преподнести неожиданный сюрприз.

— Люди, выслушайте меня внимательно,— начал я.— Только что я держал экзамены. Знаете ли вы, что такое подготовка к экзаменам и сам экзамен? Нет, не знаете! Представьте себе, люди, работу, которая тяжелее, изнурительнее, чем раскорчевка леса с мачете в руках...

Перед тем как продолжать речь, я сделал паузу, воодушевленный тем почтительным вниманием, с которым аудитория отнеслась к моему удачному сравнению.

— После такой утомительной работы я приехал к вам отдохнуть. А вы набрасываетесь на меня и требуете, чтобы я тут же отправлялся в путь выполнять какую-то миссию. Заметьте, я не отказываюсь. Вы достаточно долго внушали мне, и я понял, что эта женщина принадлежит нам всем, хотя на этот счет мнения могут разойтись. Я понял, что это дело затрагивает интересы всего племени. Одно только непонятно мне до сих пор: почему я, а не кто-нибудь другой?! Почему именно

---

* Картезианство — учение французского философа XVII века Рене Декарта.

меня должны испугаться те, кто не дрогнули перед угрозами людей гораздо старше меня? Что за особая власть у меня?

Эффект был плачевный. Ропот неодобрения пронесся по верандам. Затем мой дядя, человек рассудительный, сказал так:

— Может, мальчик ровным счетом ничего не понял. Конечно же — он ничего не понял! Удивляться и возмущаться тут нечего, лучше попросту объяснить ему, в чем дело. Самому ему не понять. Разве это не ясно? Сами посудите, у нас он бывает наездами, с тех пор как в школу пошел. Откуда ему еще помнить наши обычаи и чувствовать себя здесь как дома? Не удивляться надо, а растолковать ему как следует...

Таково примерно было мнение этого рассудительного человека.

Патриарх медленно повернулся ко мне. Я был сконфужен жалким результатом своего выступления в роли оратора.

— Сын мой,— начал Бикоколо, на его губах расцвела снисходительная и одновременно удовлетворенная улыбка, так улыбается преподаватель латыни в старших классах, когда ученик совершает грубую ошибку.— Сын мой, в самом деле ты ничего не понял?

И Бикоколо, все время уклоняясь от основной темы, пересыпая свою речь восклицаниями и монологическими диалогами (искусство, завоевавшее ему заслуженную славу среди любителей поговорить), принялся излагать мне длиннейшую историю, заимствованную из нашей мифологии. При этом он странным образом смешивал реалистические наблюдения с вымыслом, практические замечания, почерпнутые из собственного житейского опыта и потому такие трогательные, с примитивными афоризмами.

Вот эта легенда, изложенная, так сказать, в общих чертах.

Один человек, сам того не ведая, говорил громовым голосом. Однажды ему было доверено дело, сходное с тем, что в настоящий момент поручалось мне. Удивленный столь неожиданным поручением, человек спросил, какая же сверхъестественная сила поможет ему добиться успеха там, где другие терпят неудачу...

— Сын мой, — сказал патриарх, — когда после моей смерти станут рассказывать эту легенду, ты будешь ее героем. Ты страшный человек! Ты тоже говоришь громовым голосом, но не подозреваешь о своем могуществе. Знаешь, в чем сила твоего голоса? В твоих дипломах, в твоем образовании, в твоем знании жизни белых. Да будет тебе известно, что люди, к которым мы тебя посылаем, уверены, что стоит тебе поговорить по-французски с начальством из местной администрации или послать письмо, написанное по-французски, — и ты можешь кого угодно засадить в тюрьму или же, наоборот, добиться для кого хочешь любой милости. Ведь вот какого они о тебе мнения, эти простофили.

Мы были побиты: и тетка Аму, и я окончательно убедились в этом, когда патриарх, считая, очевидно, что мое согласие бесспорно и не подлежит обсуждению, перешел к практическим советам:

— Как только доберешься до Кала́ (откуда родом жена Ниама), спросишь дом человека по имени Мама́ — он твой дядя, брат отца. Ты-то его не знаешь, но он тебя хорошо помнит. Жить будешь у него. Гостеприимство его ни с чем не сравнимо. Увидишь, сын мой, какой тебе будет оказан прием, не говоря уже о прочем... Не пожалеешь, что поехал, тебя там обласкают, как принца, хи-хи-хи... И с братом еще встретишься, сыном этого Мама. За́мбо его зовут, здоровый парень, вылитый отец...

Я слушал патриарха со все возрастающим интересом, сомневаясь, однако, в справедливости его суждений о бушменах деревни Кала. И именно потому, что мне хотелось верить словам патриарха, в душе моей смутно пробуждалось нечто новое, тревожное, зовущее — жажда

приключений. Приключения без риска и опасностей, в краю доверчивых, наивных жителей — разве не это мечта всех авантюристов? Ибо существование авантюристов объясняется только тем, что на свете еще живут простаки. Исчезнут простаки — исчезнут и авантюристы, подобно тому как вымирают те представители животного мира, которые существуют за счет своих жертв.

Мое воображение работало вовсю: лицеист, провалившийся на экзаменах, превращается... в кондотьера, потом... в карбонария, наконец...— в конкистадора... О, конкистадоры! Я окончательно остановил свой выбор на этом воинстве доблестных представителей рода человеческого, принимавших меня в свои ряды. Какая головокружительная карьера!

Мне не стоило особого труда уверить себя в том, что усталость моя уже прошла. С легким сердцем я согласился возложить на себя столь ответственную миссию.

Лихорадочно готовил я свои доспехи к походу, отобрал лучшие вещи из моего небогатого гардероба, освободив предварительно чемодан от бесполезного груза, прежде всего книг. Тетка Аму больше не протестовала.

Однако возникла новая проблема: способ передвижения. Я требовал, чтобы ее решили без промедления, ведь я собирался отправиться в путь на другой же день рано утром.

— Нет ничего проще, братец,— сказал Ниам,— поедешь автобусом...

— А тебе не кажется, что ты спятил? — ответил я грубым басом, с тем металлическим оттенком в голосе, который появляется только при сознании собственной незаменимости в важных делах.— Поедешь автобусом, поедешь автобусом... а дальше что? Уж не думаешь ли ты, что я потащусь пешком все пятнадцать километров с чемоданом в руке или, может быть, на голове? Или, может быть, на мизинце левой руки — так, по-твоему?

— Верно, — посмеиваясь, сказал Бикоколо. — Малыш прав. Давайте подсчитаем: двадцать километров по шоссе и еще пятнадцать лесной тропой, не так ли?

— Да, так,— ответили ему. — Что и говорить. Не рядом живем.

— Разве автобус или какая другая машина может пройти по этой тропе? — спросил Бикоколо, наперед зная, что ему ответят.

— Куда уж там,— отвечали в тон ему присутствующие,— и спрашивать нечего, ни одна машина не пройдет по этой тропе.

— Вот то-то и оно,— продолжал патриарх.— Если бы бушмены из Кала или из других мест каждый день видели автомобиль, чем бы они отличались от нас в таком случае, не знаю. Дайте мальчику транспорт, он заслуживает этого.

Ободренный его поддержкой, я потребовал:

— Меня устроит только велосипед, и ничего больше.

В глубине души я мечтал о коне, снаряженном подобающим образом.

— Очень хорошая идея! — воскликнул Ниам.— Велосипед тетки Аму...

— Какая муха укусила эту скотину! — раздался очень низкий, угрожающий голос тетки Аму.— Мой велосипед... У всех мужчин твоего возраста давно уже есть велосипед в доме. Разве торговцы не хотят брать твоих денег? Мой велосипед... А завтра, когда надо будет ехать в город, ты дашь мне другой, а? И послезавтра? Ты мне дашь другой велосипед?..

Я ликовал. Разве мог я появиться в Кала на велосипеде тетки Аму, низеньком дамском велосипеде, таком несуразном, когда на нем сидит мужчина.

— Кстати, может быть, ты все-таки расскажешь, что это у тебя за дела в городе? — вдруг спросил Ниам, чтобы досадить тетке Аму.

Они ненавидели друг друга, и не только из-за миссии Ниама. Это была старая распря, происхождения которой я уже не помнил, так как слишком давно жил в городе и был поглощен своими занятиями. Но.., это уже другая история.

После долгих и бесполезных разговоров мы сошлись в своих мнениях, а именно: в нашей округе есть только один мужской велосипед, это известно всем и уже давно,— у старосты кантона, живущего неподалеку от нас, и все можно решить очень просто, надо только добиться, чтобы он одолжил мне своего «верхового коня».

У старосты нашего кантона, порочного старикашки, несмотря на преклонный возраст, было шесть жен, шесть самых красивых женщин края, и старый сластолюбец был не прочь еще пополнить свой гарем. Он жил в роскошной вилле. В его руках, впрочем, как и других кантональных вождей, была сосредоточена большая власть. Его считали богачом по сравнению с другими, ведь общий уровень жизни у нас очень низок.

Получив этот пост от колониальной администрации, обласканный ею, послушный, как идеальный робот, староста был уверен, что его никогда не сместят. Он умел держать население в страхе, ибо всем еще было памятно, как предавал он нас во времена принудительных работ. Он не считался с традиционной иерархией нашего племени, когда она мешала ему совершать свои темные делишки. Человек этот мог одним мановением руки осыпать милостями меня, восходящую звезду, coming man * нашего племени, но я казался ему слишком подозрительным.

Если этот государственный муж, этот деревенский диктатор и оказывал моей милости честь, причисляя меня к оппозиции, то отнюдь не потому, что опасался моих подрывных идей или подозревал меня в сношениях с внутренним или внешним врагом, и уж конечно не потому, что мои действия представляли собой угрозу общественному порядку, а попросту потому, что я частенько — как он сам утверждал и чему, несомненно, верил — поглядывал на его жен.

Вероятно, я и в самом деле пялил на них глаза, но делал это, конечно, не тогда, когда старик мог уличить меня в этом. К тому же его жены, безусловно очень красивые женщины, сами откровенно заигрывали со мной. И вообще, если бы не моя строгая мать, я, даже вопреки своему сдержанному характеру, безусловно не смог бы долго сопротивляться...

После длительных переговоров, на которых я не присутствовал не без основания и подробности коих не были мне переданы, староста снизошел к нашей просьбе и согласился вложить и свою лепту в дело, затрагивающее интересы нации,— возвращение супруги Ниама. Он одолжил мне велосипед, не преминув поставить единственное условие: все племя должно заботливо следить, чтобы я, пока длятся мои каникулы, держался поодаль от его гинекея **.

Договор был заключен при обоюдном согласии сторон.

Других спорных вопросов не было.

Подлец! Я и раньше не питал к нему любви, но в этот день я его возненавидел. Ненависть, испытываемая мной по отношению к старосте кантона, была инстинктивной. Со временем эта ненависть выросла и окрепла и теперь распространяется не только на многоженцев, но и на

---

* Человек грядущего (*англ.*).

** Женские покои.

людей, которые строят свое благополучие бесчестным путем: разных спекулянтов, эксплуататоров, ростовщиков, в общем всех, кто любит поживиться за чужой счет.

Ранним утром на другой день я уже был на седле великолепного Raleigh aristocratic bicycle*! Я сильно пришпорил своего коня, как подобает конкистадору, даже если у него такие маленькие ноги, как у меня. С хорошо смазанными педалями, на высоких колесах, велосипед несся бешеным аллюром. Преодолев половину пути, я замедлил ход, чтобы полюбоваться дорогой — бесконечной красной лентой, которую заботливо стелила передо мной моя добрая фея. Цепь звенела на ходу, словно металлические четки, и эти звуки напомнили мне бег коня Писарро**, чьи подкованные железом копыта выбивали звонкую дробь на дорогах необозримого царства инков. Цок!.. Цок!.. Цок!.. Иногда я останавливался, упираясь в землю одной ногой, не снимая другой со стремени, чтобы гордым взглядом окинуть бескрайнюю панораму, арену моих будущих подвигов, но панорама эта все сужалась и сужалась, пока не становилась скромной перспективой уходящих вдаль деревьев, окаймлявших дорогу, буквально теснивших ее со всех сторон.

Медза! Все-таки странное имя у меня. Вот прибавить бы еще один короткий слог, совсем коротенький, и получится имя конкистадора. Например, Медзаро! Медзаро — почти Писарро.

Скоро я съехал с шоссе и углубился в джунгли. Тропа была уж не так плоха, она лишь слегка замедлила бег моего скакуна. Однако несколько раз я вынужден был, переправляясь вброд через речки, сходить с коня и перетаскивать его на другой берег на себе. Писарро в роли собственного конюшего! Вот какие сюрпризы таит в себе иногда доля конкистадора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

в которой читатель, если он терпелив, познакомится с жителями деревни Кала, с их обычаями и даже с их помыслами и стремлениями, в какой-то мере современными, но тем не менее весьма миролюбивыми — доказательство того, что прогресс происходит в мирной обстановке. Читатель также узнает о приключениях, скорее сентиментальных, нежели забавных, выпавших на долю героя среди жителей этого удивительного края.

После полудня, примерно часа в три, я добрался до деревни Кала. Мое появление никак нельзя было назвать торжественным (сырой воздух в лесу, через который лежал мой путь, не преминул значительно охладить мой пыл). Оно просто не было никем замечено — впрочем, по вполне понятным причинам. С первого взгляда я убедился, что кличка «деревенщина», которой утром патриарх Бикоколо наградил жителей Кала, удивительно подходит к этим людям.

Картина, открывшаяся моему взору, поразила меня не столько своим внешним оформлением, сколько той суровой дикостью, которой веяло от участников сцены, происходившей на спортивной площадке, довольно хорошо оборудованной для затерянной в джунглях деревни. Спортивная арена была окружена редкими хижинами, на верандах которых зрители укрывались от солнца. Два десятка здоровенных парней, обнаженных по пояс и босых, занимались спортом, воинственный характер которого не могла бы не признать даже Спарта. Я соскочил с велосипеда и, ведя его за руль, подошел поближе. Никто из зрителей и спортсменов даже не соблаговолил обратить внимание на мою персону.

---

* Марка известной английской фирмы велосипедов.

** Писарро (1475—1541) — испанский конкистадор, завоеватель Перу.

Нещадно палило солнце.

Две команды, каждая из десяти молодых парней,. выстроенных в затылок друг другу, с капитанами во главе стояли на расстоянии двух-трех метров одна от другой. Все участники, вооруженные длинными заостренными копьями, тонкими, гибкими и прочными с угрожающим видом без конца потрясали своим оружием. Последним, то есть дальше всех от капитана, стоял самый сильный игрок в команде. Это был нападающий, он брал лежащие на земле шары, тяжелые пористые плоды величиной с футбольный мяч, и, повернувшись несколько раз вокруг собственной оси, изо всех сил запускал шар. Завывая и подпрыгивая на кочках площадки, шар мчался со смертоносной скоростью навстречу команде противника, проносясь вдоль плотного ряда игроков, как выпущенный из пушки снаряд. Длинные острые копья, пущенные вдогонку мячу, сталкивались с такой неистовой силой и стремительностью, что можно было только удивляться, как чуду, что все обходится без человеческих жертв. Иногда мяч, пронзенный копьем, внезапно обрывал свой полет, и восторженные крики зрителей оглашали воздух, партнеры кидались душить в своих объятиях героя, а судья, сидящий на корточках на краю спортивной площадки, быстро чертил пять длинных черточек по числу брошенных шаров — очки в пользу счастливой команды, из которых складывался окончательный счет игры. При переходе подачи все игроки поворачивались на сто восемьдесят градусов в сторону кидающего — парня могучего телосложения, который метал мяч, точнее, пять мячей один за другим.

Моему удивлению не было конца, правда, я вспомнил, что, когда мне было лет шесть, в наших деревнях у шоссе занимались этим видом спорта, но без особого энтузиазма, считая его пережитком. Здесь же, в Кала, этот спорт процветал, если судить по матчу, на котором я присутствовал.

По одобрительным возгласам и подзадориваниям зрителей я понял, что деревня Кала оспаривала первенство у своих соседей и эта партия была решающей.

Обозрев картину в общих чертах, я принялся знакомиться с ее деталями. Мое внимание сразу привлек здоровенный детина в команде деревни Кала, обладатель таких мускулов, что трудно было даже представить, где можно раздобыть такие, ну разве только в рассрочку.

Громадного роста, с плоскими ступнями ног, со слишком длинным и к тому же сутулым торсом, с невероятно узкими бедрами и слегка вздутым животом крестьянина, питающегося обычно растительной пищей, этот парень, словно баобаб, возвышался среди всех остальных игроков. Это он бросал мяч, когда подача переходила на сторону его команды. Я без труда узнал, что его зовут Замбо, так как при каждом броске зрители скандировали только его имя, как выкрикивали имя бога-покровителя во время осады Трои.

— Замбо, сын Мама!.. Замбо, сын Мама!.. Замбо!.. Замбо!..

Мне стоило большого труда убедить себя, что этот молодой человек — не кто иной, как мой брат, радушная встреча со стороны которого мне была обещана сегодня утром патриархом Бикоколо. «Ну и чудеса,— говорил я себе,— неужели этот парень действительно мой родственник?»

Когда наступала очередь Замбо, сына Мама, кидать шар, он старался запустить его с такой силой, чтобы ни один из участников не успел изловчиться и метнуть копье. Впрочем, редко кто пытался остановить мяч, брошенный с чудовищной силой орангутанга, и если все-таки и находился такой смельчак, то его копье, как правило, вонза-

лось в землю, не задев мяча: тот всегда успевал проскочить на одну-две секунды раньше.

Все старались держаться подальше от опасной траектории полета снаряда. Игроки предпочитали держаться на почтительном расстоянии от мяча — этого божества, слепого и неумолимого,— когда, катапультируемое мощными руками-рычагами Замбо, оно устремлялось вперед и исчезало из виду.

Но как бы ни была сильна подача со стороны противника, Замбо никогда не уклонялся от брошенного мяча. Он подстерегал его, хитрил с ним, жонглируя копьем, и если уж бросал копье, то почти всегда попадал в цель. Тогда, желая отметить удачный бросок, он кричал, скрестив руки над головой:

— Замбо, сын Мама!

Мне запомнился инцидент, вызвавший испуганные крики зрителей. Мяч, пущенный силачом из команды противника, завывая, несся с чудовищной скоростью навстречу команде Кала. Парни бросились врассыпную от зеленого снаряда, словно к ним приближался разъяренный носорог, только Замбо прыгал на месте, как гигантская антилопа, и с поразительным хладнокровием прицеливался в него копьем. Но в ту секунду, когда мяч должен был пролететь мимо Замбо, он ударился о камень или о какую-то кочку и изменил свое направление. Мяч подпрыгнул и, наверно, снес бы голову Замбо, если бы тот не пригнулся вовремя, успев все же метнуть копье. Не знаю, что было дальше, ибо в решающий момент я зажмурился, к тому же все произошло очень быстро, но, когда я вновь открыл глаза, стадион стонал от восхищения, а мяч, пронзенный копьем, покорно лежал у ног Замбо. Наш герой не спускал с него пристального, гипнотизирующего взгляда.

Выигранная партия была триумфом Замбо. Победа принадлежала по существу не команде деревни Кала, а просто-напросто Замбо. Я гордился таким братом, хотя он внушал мне какое-то чувство страха и даже отвращения, наверно потому, что сила угнетает слабых. Новоиспеченный конкистадор внезапно пришел к убеждению, что все-таки лучше вновь стать обыкновенным лицеистом, провалившимся на экзамене, сменить наряд и сдать доспехи на склад, где хранится бутафория.

Состязания кончились, когда солнце, словно тонущий корабль, погрузилось на дно леса. Игра в жмурки с бешеным мячом в этой адской карусели вымотала все силы у парней.

Замбо гордо выступал в окружении своих почитателей, горланивших песни далеко не патриотического содержания, и девушек, пронзительными голосами выкрикивавших: «Ю-ю!..» Он, как молодой бог, прошествовал мимо меня, и я в остолбенении провожал его глазами. Через несколько шагов Замбо по совершенно необъяснимой причине внезапно повернулся в мою сторону, и наши глаза встретились. Он задержал на мне свой взгляд, брови его нахмурились, потом он отвернулся и снова зашагал, сопровождаемый своей свитой, но тотчас же опять оглянулся и после некоторого колебания подошел ко мне. И тут только все заметили меня, обратив наконец внимание на мою городскую одежду и мой великолепный Raleigh. Атлет, оказавшийся моим братом, заговорил первым. Он был, видимо, так же смущен, как и я.

— Мсье,— сказал он,— похоже, что я тебя знаю.

— Не нахожу в том ничего удивительного,— ответил я с достоинством: единственное, что оставалось мне сделать в таком положении.

— Ты-то не знаешь меня. Это уж наверняка. Встречались мы при таких обстоятельствах, что тебе действительно трудно вспомнить о нашем знакомстве.

— Вот как! Где же?

— Долго рассказывать. Вы, горожане, своих быстро забываете, не то что мы...

— Постой, не ты ли сын Мама? Давида Мама?

— Он самый к твоим услугам!

— К моим услугам?

— Дорогой братец! Ты не представляешь себе, как я счастлив, что сегодня мне выпала честь говорить с тобой! Ты себе представить не можешь!..

— Выпала честь говорить со мной? — Я ровным счетом ничего не понимал.— Выпала честь говорить со мной...

Мне... мне сказать такое?.. Похоже, что мой атлетически сложенный братец не шутит. На какой-то момент я подумал: «В самом деле, не схожу ли я с ума?» Замбо дружелюбно, по-братски и даже немного подобострастно смотрел на меня, обнажая в широкой улыбке великолепные зубы.

Теперь, наверно, я мог быть спокоен, но я не был спокоен. Представьте себе ничтожное, тщедушное человеческое существо, жалкого конкистадора, получившего отставку после нескольких часов службы. Короче говоря, представьте себе несостоявшегося бакалавра, провалившегося на экзамене лицеиста, у ног которого с безмерным уважением и преданностью распростерся молодой бог.

В эту минуту я ненавидел своего брата, я был сердит на него за неожиданный обмен ролями, за то, что в этот день мне трижды пришлось заниматься переоценкой своих личных качеств.

Теперь уж не один Замбо готов был преклоняться перед моей личностью — занятие явно неблагодарное. Парни и девушки, минуту назад боготворившие Замбо, моментально окружили меня и принялись разглядывать мою персону с таким восхищением и с такой беззастенчивостью и бесцеремонностью, какие присущи, вероятно, только жителям глухой деревни.

— Смотри, как он одет! Говорю тебе, паренек из города...

— Я и сам вижу, что городской... А какой у него велосипед! Ну и богач!..

— Красивый парень, правда?

— Молоденький какой...

Я был в замешательстве, мне хотелось сказать, что я совсем не богат, что я только немного моложе брата — их чемпиона Замбо. Но нелепое преклонение, с которым я столкнулся впервые в жизни, парализовало меня: ведь шесть лет я был воплощением скромности и самоуничижения. Я даже разозлился. Продолжавший все еще заискивающе улыбаться Замбо, должно быть, понял причину моего замешательства. Он взялся за руль моего велосипеда и сказал:

— Пошли! Отдохнешь у нас.

Наши общие поклонники последовали за нами, как стая собак, почуявших неожиданную добычу. По дороге Замбо спросил о цели моего приезда к ним. Я объяснил дело в двух словах, подчеркнув, что должен остановиться у его отца, если только это удобно. При этой оговорке на лице Замбо выразилось такое изумление, словно перед ним неожиданно предстала и смиренно попросила напиться воды его давно умершая бабушка.

— Ну что ты, братец, ты окажешь нам большую честь, если остановишься у нас...

Опять я слышу «оказать честь»!.. Затем Замбо пустился в пространные разглагольствования, из которых я понял, что благодаря моим дип

ломам все должны уважать меня. Я же подумал, что у нас дома придерживаются другого мнения на этот счет.

Мои родственники жили как раз посредине деревни. Когда мы подошли к дому, Замбо довольно неучтиво разогнал зевак, пытавшихся войти вслед за нами.

— Убирайтесь-ка вы отсюда... Не понимаете, что гостю отдохнуть надо?

Те, понурив головы, разошлись.

Дядя Мама и его жена были еще в поле.

Хижина была довольно просторной, а может быть, это мне показалось из-за количества мебели, находящейся в ней: ведь дядя Мама был столяром по профессии, что, впрочем, не мешало ему работать и в поле.

Мебель была топорная, сделанная наспех из тяжелого дерева. Удивительное дело, когда позднее Замбо показал мне мастерскую своего отца, я мог оценить элегантность и тонкость исполнения, легкость и красоту линий нескольких уже готовых образцов. Странный человек этот дядя Мама: реклама ничего не значила для него, он оставлял себе самую неудачную мебель, а лучшую продавал.

Из всех помещений в доме дяди — их было великое множество — меня больше всего заинтересовала громадная столовая, она же гостиная. Стены комнаты были увешаны семейными фотографиями, покрывающими их сплошным ковром. Это было бесконечное повторение изображений семьи нескладных крепышей, очень похожих на Замбо: нескладный отец, нескладная мать, еще трое нескладных детей, из них двое мальчиков (младших братьев Замбо, довольно неугомонных существ, как мне потом рассказывали. Их не было дома на протяжении всего моего пребывания в Кала).

Рассматривая карточки, я терялся в догадках, какая степень кровного родства соединяла меня с людьми, изображенными в самых различных позах и видах на бесчисленных фотографиях. Впрочем, я уже давно отказался размотать слишком запутанный клубок моих родственных связей. Достаточно было сказать: «Такой-то твой брат» или «Такой-то твой дядя», как я безоговорочно признавал нового родственника. К тому же до сих пор я сталкивался только с лицевой стороной медали, не подозревая, что впоследствии претензии всех моих родственников, вполне обоснованные с точки зрения их обычаев, нанесут немалый урон моему бюджету, но... это уже другая история.

Когда я поставил в известность Замбо о цели моего приезда, на лице его появилось ироническое выражение, смысл которого в тот момент был мне непонятен, однако он безоговорочно пообещал помочь в осуществлении моей миссии. Итак, внутри цитадели Кала у меня появился союзник. Это было очень важно. Я так предполагал: мои родственники, принадлежавшие к тому же племени, что и жена Ниама, при всех обстоятельствах должны принять ее сторону, и я буду вынужден бороться один против всех, как Менелай, если бы спартанскому царю пришла в голову неосторожная мысль одному отправиться в Трою на выручку Елены, впрочем, как известно, Менелай, человек предусмотрительный, не забыл прихватить с собой большой эскорт.

Девушка, довольно миловидная, подала нам на стол легкую закуску. Мой брат даже не счел нужным представить ее. Когда девушка вышла в кухню, я спросил у Замбо, кем она доводится ему — родной сестрой или дальней родственницей.

Каким же глупцом я оказался! Замбо с ухмылкой бросил:

— Подружка.

— Твоя подружка?
— Да, подружка, а что?
— А отец? — с дрожью в голосе спросил я.
— Что отец?
— Он... ничего?
— Ничего, конечно. Ему-то что? Подружка моя! Ха-ха-ха!
— И он не возражает? В самом деле?
— Что ты. Ясное дело, не возражает, братец, а радуется. Ведь моя подружка помогает матери в поле.

Я подумал с горечью: «Вот если бы я привел домой подружку, сомневаюсь, чтобы отец обрадовался!» Я был ошеломлен, и мой брат-атлет, помнится, долго смотрел на меня с любопытством, смешанным с жалостью. Очевидно, у меня был ужасно глупый вид, удививший даже Замбо, а ведь он сам был довольно туповат, в чем я убедился позднее.

— Она тебе не жена? — пробормотал я.

— Я еще как будто не дорос, чтобы жениться,— шутливо ответил Замбо.

— И отец в самом деле ничего не говорит?

— А что он должен сказать? Как-никак я все-таки мужчина!

Я с трудом верил своим ушам. «Ну и дела!» — подумал я и, проглотив слюну, перестал расспрашивать Замбо.

Уже стемнело, а родители Замбо все еще не возвращались. Потом я узнал, что в том краю работают на полях до поздней ночи, в особенности женщины.

Замбо сказал:

— Может, ты отдохнешь до прихода стариков? А если не устал, то давай пройдемся по деревне.

Не знаю почему, но я сказал, что предпочел бы выйти из дому. В наступающих сумерках мы пошли вдоль улицы Кала. Это была большая деревня, растянувшаяся километра на два. Дома выстроились, как и у нас, по обе стороны очень широкой дороги. Впрочем, никакой дороги не было, просто лесная тропа, по которой я ехал сюда, становилась все шире и шире, образуя просеку. И редкие, далеко отстоящие друг от друга кокетливые хижины, и широкая улица, и сама деревня, зажатая величественным лесом, отчего она казалась ложем ручья с высокими берегами,— все вокруг производило на меня впечатление хотя и дикого, но безопасного уголка. Такое чувство безопасности испытываешь на острове, непрерывно со всех сторон атакуемом волнами, которые, однако, не могут затопить его.

С наступлением вечера деревня заметно оживилась, теперь она напомнила мне городские окраины. населенные туземцами.

Замбо привел меня к хижине, откуда слышались пьяные крики и гомон. Мы ввалились в дверь и были встречены овацией, достойной Цезаря, возвратившегося из похода в Галлию. Здесь праздновали сегодняшнюю победу команды Кала над командой соседней деревни и чествовали победителей. Постепенно я узнавал одного за другим всех членов команды Замбо, сидевших на почетных местах. Нас тоже усадили и угостили пальмовым вином. Какой-то молодой человек с поразительным усердием, не переставая, пел песни, аккомпанируя себе на гитаре. Однако, как я успел заметить, его слушали одни только девушки, присутствовавшие на празднике, ибо гитарист пел песни любовного содержания. В каждой новой песне он повторял слова старой, совершенно не заботясь о разнообразии, без малейшего намека на импровизацию: играл он прилично, но ему чертовски не хватало воображения.

— Слушайте все! — крикнул Замбо, хлопнув в ладоши.

— Кто смеет требовать тишины? — возмутился кто-то.
— Замбо, сын Мама,— ответили ему.
— Он самый! — загремел мой брат.
Стало тихо. Замбо начал:
— Дорогие братья, молодые сеньоры Кала!
— Да здравствует Кала, деревня избранных! Да здравствует Кала, деревня избранных! — как по команде, завопил хор голосов с такой слаженностью и четкостью, что невольно можно было подумать о заранее проведенной многодневной репетиции.
— Слушайте меня внимательно, дорогие братья! Слушайте, я расскажу вам, какое счастье мне привалило. Молодой человек, сидящий рядом со мной, не кто иной, как мой брат из города, мой чудесный брат, о котором я вам так часто говорил. Тогда вы считали меня хвастуном. Ну вот, он перед вами! Смотрите на него сколько влезет. Он родился у большого шоссе. Зовут его Медза. По-вашему — странное имя? Ну и пусть! Вот он — мой дорогой брат Медза. Держу пари на любых условиях, что вам не сыскать в округе на сто, двести, триста, четыреста, пятьсот километров ни одного такого человека, белого или черного, кто имел бы столько дипломов...
Я пытался возразить, но Замбо уже нельзя было остановить:
— Не зря я говорил, что в моих жилах течет благородная кровь.
— Замбо, сын Мама! — вопил опять хор.
— Он самый, что ни на есть! — отвечал брат по-французски.— Хорошенько смотрите на парнишку,— продолжал он на нашем языке,— это мой брат, мой дорогой братец. Совсем еще мальчонкой отправился он в школу и с тех пор учится. У него уже есть все дипломы, о которых ваши тупые головы и понятия даже не имеют, а о других вам и говорить нечего. И он сидит сегодня за партой вместе с детьми белых — понимаете ли вы: с детьми белых! — и вот белые с отчаянием спрашивают себя, какой диплом вручить ему завтра. У них уже не хватает дипломов для него! Вот в чем дело! А ведь он — смотрите на него хорошенько! — он еще совсем ребенок! Ну, друзья, что вы о нем скажете, а?..
— Конечно, это не простой человек! Да, это не простой человек! — залпом прогремел ответ.
— Думаю, мне не придется напоминать вам, что к нему надо относиться с почтением, которого он заслуживает.
— Разве кто-нибудь может поступить иначе? — ответил кто-то.
Я обливался потом.
— Вот все, что я хотел вам сказать,— закончил Замбо.
Он был взволнован и сиял от радости. Как бы я хотел, чтобы вся эта сцена была бы только очередной комедией, сыгранной с таким блеском, но брат мой вовсе не притворялся, все это было вполне серьезно. Какая нелепость!
Снова поднялся шум. Парни один за другим подходили и почтительно пожимали мне руку, словно я был их королем, а они — мои верные вассалы, присягавшие мне в своих верноподданнических чувствах.
Меня окружала молодежь, и настроение, царившее в этот вечер, было таким приподнятым и радостным, атмосфера веселья такой ободряющей и живительной — кажется, никогда больше в жизни мне не приходилось испытывать такого веселья. Представьте себе компанию молодых негров, собравшихся на вечеринку, молодых людей, беззаботных и беспечных: им безразлично, как они одеты, они не следят за каждым своим словом, и к тому же они немножко под хмельком.
И вот уже молодежь по знаку, неизвестно кем поданному, закружилась в танце ассико. Он сохранился только в деревнях, затерянных

в джунглях, там его до сих пор считают модным танцем. Танцевали вкруговую, под гитару, вращая бедрами и тряся плечами. Один из танцоров, стоявший посредине круга, смешно выкрикивал слова команды на несуществующем языке, нелепой тарабарщине, сходившей здесь за английский язык. Танец исполнялся в особой, присущей только этой местности манере: как-то очень разнузданно, с непристойными жестами. Казалось, что, кривляясь и паясничая, они пародируют кого-то, надсмехаются над кем-то. Впрочем, такое впечатление было ложным, ибо непринужденность и естественность танца были несомненны.

Я чувствовал себя очень неловко, и с каждой минутой это ощущение нарастало. Подле меня на скамью сел парень в лохмотьях, одетый хуже других. Позже я узнал, что зовут его Иоганес Гусиные Лапы. Это прозвище ему дали из-за того, что его ступни напоминали лапы гуся: такие же плоские и вывернутые наружу. От него разило вином. Часто икая, он доверительно сообщил мне:

— Мсье, вот я, например, хочу тебе сказать чистосердечно, чистосердечней не бывает. Вот что я хочу тебе чистосердечно сказать от моего имени и лично от меня. Ты мне здорово нравишься. Я так полагаю: если тебя сравнить со мной, то ты, как говорят,— бог... Да, прав был мой отец. Он, бывало, говорил: «Сынок, школа не для таких, как ты. Помогика мне лучше поставить капканы в лесу, у нас тогда будет много вкусного мяса». Знаешь, сколько времени я ходил в школу? Два года. Хи-хи-хи... Только два года... Ты мне скажешь, что это не так уж много, я тоже так думаю. И все-таки я узнал кое-что за эти два года. Например, я знаю, как написать мое имя. Сначала я пишу заглавную букву «Б» с такой завитушкой, вот так (он веточкой чертил на земляном полу), потому что мое имя — Бидзо́, Альберт Бидзо. Ну, а малыши, смеха ради, зовут меня Иоганес Гусиные Лапы. Пусть их! Когда малыши хотят позабавиться, не надо мешать им. Но на самом деле мое имя Альберт Бидзо. Только я не знаю, как пишется имя Альберт. Хи-хи-хи... Был один учитель, который сказал, что оно кончается на «т», другой говорил, что на «д». Теперь я и вовсе не знаю, как быть. Ты, такой ученый, помоги разобраться, а то у меня душа не на месте.

— С удовольствием. Оно кончается на букву «т».

— На букву «т»? Я тоже так думал, хи-хи-хи...

Вдруг Иоганес Гусиные Лапы заметил, что мой стакан пуст.

— Сын Бога! — заревел он.— Иди сюда, Сын Бога! Хочу сейчас же видеть тебя перед собой!

Из глубины комнаты появился вертлявый человек в полосатой полотняной рубашке и модных коротких штанах цвета хаки — настоящий образец деревенского сердцеда. В глазах его, как в хрустальном бокале, полном выдержанного вина, светилось лукавство, на губах цвела улыбка. Видно, парень ложился спать далеко за полночь. Это и был Сын Бога. Я узнал, что отец его обычно в часы досуга читал своим односельчанам катехизис, и попытался в этом найти корни странного прозвища Петруса. Но я ошибся. На самом деле, как мне потом сказали, это прозвище было дано ему за его плохое поведение. Называя Петруса Сыном Бога, односельчане, видимо, надеялись на божественное родство. Так они хотели спасти его от адских мук, ибо, как известно, снисходительность отцов к своим приемным сыновьям безгранична. Я думаю, что это была чья-то остроумная выдумка.

— Сын Бога, Петрус!..— кричал Иоганес Гусиные Лапы.

— Я здесь,— улыбаясь, отвечал местный донжуан.

— Наконец-то! Скажи-ка, Петрус Сын Бога, старше я тебя или нет?

— Что? Я не понял.
— Кто из нас старше, я или ты?
— Ты конечно...
— Разве не родился я на много лет раньше тебя?
— И даже на много лет раньше большинства из нас, если не всех.
— Очень хорошо. Должен ты мне подчиняться? Да или нет?
— Конечно должен. Но в чем дело? Я опять в чем-нибудь провинился?
— Повторяй за мной: святой Иоганес из Кала, что мне исполнить для тебя, чтоб попасть в рай? Говори!
— Святой Иоганес из Кала,— как эхо, повторил сердцеед,— что мне исполнить для тебя, чтобы попасть в рай? Приказывай, и я исполню.
— Очень хорошо, Петрус Сын Бога, очень хорошо! Я дам тебе два наказа, ты должен их старательно выполнять, если хочешь быть достойным неба. Повторяй: во-первых...
— Во-первых!..
— Прибегать каждый раз, как ты позовешь... И побыстрее... Быстрее, чем та проклятая антилопа, что в прошлом году потоптала всходы на арахисовых полях. Во-вторых... Наполнять каждый раз вином стакан нашего гостя. Аминь!
Как на уроках катехизиса, Сын Бога послушно повторял за ним каждую фразу.
— Благословляю тебя во имя отца и сына,— торжественно закончил Иоганес Гусиные Лапы, с важным видом благословляя Сына Бога.
Трудно было не засмеяться, видя эту пародию на миссионера.
— Если понадобится крестить кого-нибудь,— вмешался один из парней,— не забудьте позвать меня.
Этого парня звали Бескостный. Авраам Бескостный. Разумеется, это тоже было прозвище, не знаю только, почему Авраам, а не Моисей или Навуходоносор. Вот Бескостный — было понятно почему: что бы он ни делал, ходил ли, стоял или сидел, молодой человек демонстрировал чудеса гибкости, удивительной для позвоночных вообще, а для человека в особенности. Казалось, он был совершенно лишен костей.
— А, Бескостный! Это ты, дорогой брат,— сказал Иоганес Гусиные Лапы,— кстати, о крещении. Разве ты не запомнил, чему учит катехизис? Только священнику предоставляется право крестить ребенка, но в крайнем случае всякий может...
— Чего мне запоминать? Когда я был учителем — самое печальное время моей жизни,— то несколько лет подряд обучал этому детишек. Разве нужна моя помощь?
— Да еще как! Стакан гостя пуст.
— А... Ну тогда я тебе прощаю,— сказал Бескостный очень серьезно.
Бессвязно бормоча, они обхватили друг друга и чуть не повалились на глинобитный пол хижины: оба едва держались на ногах. Наконец, устав от взаимных объятий, они уселись: Гусиные Лапы на скамье, Бескостный на земле, у ног приятеля, положив руки ему на колени.
— Ты не знаешь, как я тебя люблю,— вздыхал Бескостный.
— Авраам, брат мой,— отвечал Гусиные Лапы,— как же ты можешь не любить меня? Сколько наших уже умерло, кто знает, чей теперь черед? Кто будет первым? Может быть, и ждать недолго осталось? Помнишь Меси, Элиаса Меси? Мы видели, как он собирал свои сети и удочки, как отправился к реке ловить рыбу на весь месяц. Мы даже проводили его до конца деревни. Два дня спустя все было кончено! Он

утонул. Бедняга... Меси... Дорогой Авраам, не будь тебя, до чего же грустно было бы мне жить на свете.

— А мне? Трудно представить, что тебя вдруг нет. Ну, там, на несколько дней еще куда ни шло, а то на всю жизнь... Прошу тебя, не говори о несчастье. И вообще, знаешь, не стоит задумываться о таких грустных вещах.

— Ты прав, ты совершенно прав, Авраам, брат мой...

Друзья говорили очень серьезно, без тени улыбки. И пока происходил этот странный диалог, я напрасно искал выражение юмора на их лицах.

— Знаешь,— обратился ко мне Гусиные Лапы,— все наши ребята — братья, потому что все мы — внуки одного человека, нашего деда. У него было пятьдесят жен, а точного числа детей он и сам не знал. Страшный человек был наш дед. Хи-хи-хи... Я-то его не застал, но он был страшный человек, хи-хи-хи. Когда он бранился, баобабы раскалывались сверху донизу, небо лизали огненные языки, будто наступал последний день мира, гром стихал — так умолкает горилла в страхе перед могучим рыком, покрывающим ее рев,— все живое зарывалось в землю, съеживалось, словно перед потопом. Он умер оттого, что убил ребенка, одного из своих внуков. У него это получилось нечаянно, дед не был человеком, который может умышленно убить своего внука. Он только замахнулся на одну из невесток, оскорбившую его, а та держала ребенка на руках, и он задел ребенка ненароком. Дед умер в тот же вечер.

— Он не был болен? — удивился я.

— Был конечно, оттого и убил собственного внука.

— Но это не болезнь.

— Нет болезнь, он же умер.

Инстинктивно я понял бесполезность спора и замолчал.

У Петруса Сына Бога в этот вечер была только одна обязанность: следить за моим стаканом, что он и делал, проявляя при этом чрезмерное усердие. Даже если я забывал выпить, молодой человек наклонялся ко мне и говорил на ухо:

— Выпей, старина, я тебе еще налью, ты же не хочешь помешать мне попасть в рай.

Он говорил с таким смешным видом, что я невольно поддавался на его уговоры и тоже постепенно пьянел, но не теряя своего достоинства. Гитарист — иногда мне удавалось взглянуть на него — был настоящим артистом. Неутомимо пощипывал он струны своего инструмента, беспрерывно меняя темп, легко и непринужденно, с таким лукавым видом, что трудно было усидеть на месте. Не переставая петь, он нанизывал одну мелодию на другую. И танец все длился, все в том же прерывистом ритме, сопровождаемый таким хлопаньем в ладоши, что казалось, трещат залпы автоматов на учебном плацу. Гусиные Лапы, сидевший около меня, продолжал свои излияния. Я искал глазами Замбо, но не находил его. Иоганес, видя мое беспокойство, сказал мне:

— Тебя интересует, куда делся твой брат, не так ли? Не беспокойся, он в прекрасной компании и скоро вернется. Такой уж он парень, не может спокойно уснуть, если знает, что где-нибудь еще водятся девочки, за кем можно приволокнуться. Двое у нас таких: Сын Бога и Замбо. Уж такой у них характер! Как раз сейчас одна девушка причиняет много хлопот, потому что никак с ней не получается... Чудная какая-то! Если хочешь знать мое мнение, она ненормальная. Я тоже пытался подъехать к ней. Все пытались, да ничего не вышло. Никогда не видел такой: задается, воображает. Хотелось бы знать, чего ей надо? Я-то в

ней быстро разобрался и сразу отстал, ну а наши парни — ребята упрямые.

Помолчав, он добавил:

— Видишь этих девочек, что танцуют? Хорошенькие, не правда ли? Все девушки нашего племени здесь. А жаль! Иногда хочется быть чужаком, чтобы поволочиться за ними. Тебе — все карты в руки. Говорят, в городе девушки очень красивы?

— Всякие есть: красивые и некрасивые, как везде.

— Дорогой гость...

— Меня зовут Медза, Жан-Мари Медза.

— Так вот, дорогой Жан-Мари, хочешь девушку? Могу привести одну, хоть сейчас. Хочешь?

— Нет, только не сейчас, я очень устал. Ведь мне пришлось добираться до Кала на тяжелом велосипеде, да еще по холмам... И потом, не знаю, известно ли тебе, ехать пришлось долго.

— Ну, хорошо, пусть будет по-твоему, отложим... на завтра.

— На завтра? Пожалуй... отложим на завтра...

Должно быть, вид у меня был, как у затравленного животного.

— Скажи-ка, дорогой Жан-Мари,— начал снова Гусиные Лапы,— ты мне друг, да?

— Друг, ясное дело...

— Спасибо, старина. Тебе нравятся хорошенькие девочки, а?

— Конечно, как и всем.

— Признайся, скольких ты ласкал в городе?

— Да приходилось не раз. То одна подвернется, смотришь — там другая, ничего особенного, поверь...

Наверно, несколько лишних стаканов выпитого вина позволили мне легко солгать. Замбо появился как раз вовремя, чтобы спасти мою душу из чистилища, куда меня загнал своим допросом Иоганес Гусиные Лапы. Попрощавшись, мы покинули пиршество. Я еле держался на ногах.

Родители Замбо давно вернулись с поля и уже легли спать. Замбо проводил меня в комнату, которая как будто только и ждала гостя — по-видимому, она была всегда готова для приема случайных посетителей.

Пока я раздевался, Замбо говорил:

— Послушай, братец, пусть старики спят спокойно, и ты ложись спать. Увидишься с ними завтра. К чему спешить? Все равно тебе с ними неинтересно. Что касается родственников той женщины, за которой ты приехал, то это не к спеху. Шлюха отправилась на гастроли к своим дружкам, значит, завтра она еще не вернется в Кала (так вот почему на лице Замбо было ироническое выражение). Во всяком случае, утром побеседуем с ее отцом, ломать голову не стоит, о чем с ним говорить. Я буду с тобой, уж я-то знаю, что надо сказать. Может быть, ты хочешь есть? Ну, сегодня уже поздно, зато утром мы с тобой позавтракаем по-королевски.

Когда он закрыл за собой дверь, я подумал, что Замбо превосходный парень и, несмотря на различие во внешности, у нас есть что-то общее.

Разобравшись в обстановке, я понял, что мое пребывание в Кала будет более продолжительным, чем мне казалось раньше. Но я нисколько не жалел.

Оказывается, в этом краю даже при непредвиденном и нежелательном путешествии можно пережить самые необыкновенные приключения. Ведь Иоганес Гусиные Лапы уже обещал мне девушку!

* * *

В первый день моего приезда в Кала ничего особенного не произошло.

Рано утром меня разбудил Замбо — его отец хотел увидеться со мной.

Дядя был высок ростом, почти такой же высокий, как и его сын, это я уже успел заметить на фотографиях, развешанных по стенам столовой. Но сложением он отличался от Замбо: от пояса туловище книзу было словно заострено, узкие бедра, худые жилистые ноги, очень маленькие, особенно для крестьянина, ступни, зато верхняя половина развалась вширь — мощный торс, широкие сильные плечи. Дядя постоянно хмурил лоб, челюсти были упрямо сжаты, создавалось впечатление, что им владела какая-то неотступная мысль, не дающая ему ни минуты покоя. Кажется, за все время пребывания у них я ни разу не видел дядю, чтобы он не был занят хоть каким-нибудь делом: то был погружен в думы, то слушал своего собеседника или же трудился — точил топор на камне, чинил замок, подстригал мандариновое дерево, растущее позади хижины,— словом, зря время не тратил.

Говорил дядя редко, так редко, что можно было подумать, будто он и вовсе немой. Впрочем, он иногда говорил, пусть и редко, но уж зато почти никогда не смеялся. Дядя представлял собой явление столь необычное, что я невольно задавал себе вопрос: а не был ли он чужеземцем, случайно поселившимся в этих местах, так он не походил на своих односельчан.

В то утро, насколько я сейчас помню, он сказал только одну фразу:

— Чувствуешь себя хорошо, племянничек?

Вот и все.

Жена дяди Мама была такая же рослая, как и он. В молодости она, наверно, была удивительно красива. Но со временем красота отцвела: частые роды, работа в поле и на плантациях какао сделали свое дело. Тихая и приветливая, услужливая и незаметная, эта женщина напоминала святую. Она тоже почти не говорила — вероятно, в силу миметизма, явления, которое, как известно, можно наблюдать у супругов, проживших вместе длительное время.

Я не мог определить их возраста. Тетя была еще сравнительно молода. Так же, как все ровесницы наших матерей, она вышла замуж еще девочкой, лет шестнадцати, может быть даже раньше. Старшему сыну было лет двадцать, значит, ей около тридцати пяти, тридцати шести лет. Вот дяде было много больше. Он, очевидно, порядком побродил по свету; наверно, исколесил немало стран на своем веку, он мог даже довольно сносно произнести несколько немецких слов. Лет ему было около пятидесяти, но выглядел он моложе, по правде сказать, трудно было на вид определить его возраст. Впрочем, годы не имели для него никакого значения, ибо, как он считал, самое главное — сохранить способность трудиться, и дядя, безусловно, был еще работоспособен, мог проработать не один десяток лет.

Мы — мой дядя, брат и я — позавтракали очень рано. Женщины ели в кухне. После завтрака старики ушли в поле. Замбо не пошел с ними, ему полагалось работать на принадлежащей семье плантации какао, которая, как и все остальные семейные участки, была расположена недалеко от деревни. Банановые рощи, поля арахиса, иньяма, маниоки — так сказать, продовольственные культуры — находились в лесу, а близлежащие участки отводились под плантации какао.

Утром я наблюдал все, что происходит в деревне: как крестьяне, проснувшись, совершают, сидя на корточках на верандах своих хижин,

обряд омовения, как съедают они нехитрый завтрак, собираются и уходят в лес на работу, как пустеет деревня и остаются только маленькие детишки под присмотром своих сестер и братьев — таких же малышей, чуть, может быть, постарше...

Перед тем как отправиться в поле, мои вчерашние друзья пришли поздороваться со мной и спросили, хорошо ли я спал. Они были трезвы и вновь с любопытством таращили на меня глаза. Можно было подумать, что мы впервые встретились. Отпустив несколько шуточек и почти не сказав никаких непристойностей, они удалились по своим делам.

Солнце уже стояло высоко, когда Замбо повел меня к тестю Нама. Несмотря на живость, ясную память, остроумие и отсутствие каких-либо заметных недугов, это был совсем глубокий старик. Он сидел на бамбуковой кровати в дымной хижине и, казалось, был весьма доволен своей судьбой. Как меня зовут и зачем я приехал в их деревню, ему сказал Замбо. Старик всего лишь один раз удостоил меня беглым взглядом, потом спросил, не прислал ли зять подарков. Я ответил, что ничего не передавали — по всей вероятности, по забывчивости зятя. Старик был заметно удивлен, но больше не возвращался к этому вопросу, как бы подчеркивая его второстепенное значение. Затем он долго сидел молча, сложив руки на коленях и глядя сквозь узкую створку двери на далекое солнце. Наконец изрек:

— По существу, сынок, история эта касается не меня, а моей дочери. Сейчас ее нет дома. На днях она, видимо, вернется. Тогда ты с ней и поговоришь. Уж много лет прошло с тех пор, как я без всяких задних мыслей выдал ее замуж. Дело в ней. Пускай решает сама, возвращаться ей к мужу или не возвращаться.

— Но,— заметил Замбо, в голосе которого звучало притворное возмущение,— выбирать ей теперь не придется...

Старик улыбнулся.

— Сынок, это ты так думаешь. Ты же из молодых и в школу ходил, разве не знаешь, что белые недавно ввели развод и у нас?

— Таким образом,— произнес Замбо сурово,— ты готов поддержать свою дочь, если она захочет развестись? А ты в состоянии возместить приданое, полученное от жениха?

Старик, не теряя спокойствия, снова улыбнулся:

— Сын мой, я, может быть, не очень богат, а по правде говоря, просто бедняк, но если моя дочь действительно не хочет жить с мужем, я помогу ей, насколько сил хватит.

— Так-так...— заключил Замбо, сделав вид, что встает.

Мне часто приходилось слышать о срыве переговоров, но теперь, по-видимому, мне представился случай увидеть это воочию. Однако, к моему великому огорчению, старик тут же добавил:

— Пойми меня правильно, сын мой, я не утверждал, что моя дочь хочет разводиться, и, честно говоря, мне неизвестны ее намерения, поэтому я предлагаю поступить по совести — надо подождать ее.

— Ну-ну! — снова многозначительно пробурчал Замбо.

Когда, сохраняя собственное достоинство, мы выходили из хижины, подобно представителям великой державы, только что получившей сообщение об объявлении войны со стороны маленькой страны, опрометчиво совершившей подобный, безусловно исторический, акт, на наших лицах явственно отражалось сознание важности происходящих событий.

Очутившись на улице, Замбо пробормотал:

— Ну и хитрая бестия.

Все утро мы бездельничали. Я рассеянно отвечал брату на его вопросы, а мысли мои были заняты предстоящим вечером: я лихорадоч-

но придумывал подходящий предлог, чтобы с достоинством отклонить греховные предложения Иоганеса Гусиные Лапы.

После полудня парни, видимо не очень-то утруждавшие себя работой, вернулись с охапками сахарного тростника и с большим удовольствием, как они выразились, преподнесли их гостю из города.

Потом они предложили отправиться на речку купаться, что было одобрено единодушно, воздержался только я, потому что плавать не умел. Все же я пошел вместе с ними.

Речка оказалась большой и полноводной. В мгновение ока все разделись и кинулись в воду. Я попытался сделать вид, что купаться мне не хочется, но все единогласно требовали, чтобы я лез в воду. Они шутливо грозились поймать меня и окунуть силой. Я завидовал их умению плавать. Мы купались бы до самого вечера, если бы часов в пять, когда солнце начало явно склоняться к западу, из ближайшей рощицы не раздался голос, нарушивший блаженные часы.

— Мужчины,— сказал тонкий и нежный голосок,— вы и так купаетесь целый день, подумайте о ваших сестрах. Вам пора уходить. Теперь наша очередь купаться, очередь женщин. Уходите!

Парни заупрямились.

— Идите купаться в другое место,— ответил им кто-то басом.— Идите в другую бухточку, купайтесь там!

— Где?

— Не знаю где, но уверен, что мест здесь хватает, вот там и купайтесь себе сколько хотите, а эта бухта наша, мужская.

Ребята посовещались между собой, и тот же низкий мужской голос закричал:

— Если Элиза тут, скажите, чтобы шла купаться с нами. Пусть не боится, зла ей не сделаем.

С обеих сторон раздался смех. Потом женский голос заявил:

— Ну ладно, раз вы такие упрямые и не хотите уступить место вашим сестрам, мы пойдем поищем другую бухту. Выше по течению есть подходящее местечко, вот туда мы и отправимся.

— Куда?

— Разве не слышали? Выше по течению. Ясно?

Слово «выше» произвело магическое действие. Парни поспешно вылезли из воды, на лицах их было написано отвращение.

— Подумать только,— ругался Гусиные Лапы.— Женщины будут купаться выше, а мы здесь. Ну нет!..

Мы быстро оделись. Девушки, увидев, что мы вышли из воды, подошли поближе.

— Ну, уходите, чего вы ждете? Хотите увидеть ваших сестер голыми?..

— Мы ждем Элизу. Где эта девица?

— Что вам от нее надо?

— Ничего плохого.

Девушки засмеялись с притворным возмущением.

— Вы же видите, что Элизы с нами нет.

— Куда она делась?

— В лесу спряталась. Ну уходите же!

В конце концов одна девушка сделала вид, что собирается раздеваться, и тотчас же парни обратились в бегство. Я последовал за ними.

Как только мы скрылись в кустарнике, девушки принялись кричать:

— Оставьте нам молодого человека, что приехал из города, оставьте его с нами!

— Наберитесь терпения, — кричали ребята,— вы найдете его в деревне... Он в вашем распоряжении. Договоритесь сначала между собой, а потом дайте нам знать о вашем решении...

Не знаю, как мне это удалось, но я избежал предложения Иоганеса Гусиные Лапы. Может, он забыл о своем обещании, данном накануне, или была какая-то другая причина, но он не возобновил этого разговора.

* * *

На второй день моего пребывания в Кала, как раз на следующий день после памятного купания, было воскресенье. Дядя не пошел на полевые работы, да, впрочем, никто в тот день в деревне не работал. Поэтому к нам, я хочу сказать, к дяде пришло много народу. Они пришли не все сразу, а по очереди. Каждому хотелось посмотреть на меня, пожать мне руку, что они и делали, не встречая возражения с моей стороны, хотя я и не понимал причину столь живого интереса к моей особе. Любопытство посетителей — я не посмел считать его нескромным — крайне возмущало моего брата Замбо. Как я теперь понимаю, у него были свои планы относительно меня, а любопытные односельчане сорвали эти планы. Они буквально завладели мной, оттеснив Замбо на задний план.

Нетрудно было заметить, что я был в центре внимания. Все ухаживали за мной, а дядя Мама — особенно, стараясь всячески угодить мне. Он проявлял столько заботы, сколько никак не пристало проявлять ему, человеку пожилому, к такому юнцу, как я. И его поведение, как ни странно, не вызывало осуждения у собравшихся (представляю, сколько всяких неприятных разговоров было бы у нас в деревне). Как я только что сказал, все считали почему-то за честь поговорить со мной. Заметив это, я насторожился.

По-видимому, в деревне Кала из меня сделали своего рода героя дня: я был не просто диковинным зверем, но зверем, на которого хотели посмотреть поближе, послушать, как он ревет, или кудахчет, или кричит, уж не знаю, что еще... Толпами являлись женщины и пожирали меня глазами с тем жадным любопытством, которое отличает эту половину человечества в любой точке земного шара. Никогда в жизни меня так не разглядывали, подолгу и без всякого стеснения.

Только к вечеру одна из посетительниц, особенно старательно рассматривающая меня со всех сторон, не пытаясь скрыть обуревавшего ее любопытства, выложила, так сказать, карты на стол.

— Сыночек,— сказала она,— ты уж нас прости, что мы тебя так разглядываем. Не каждый день нам случается видеть такого образованного паренька, да еще городского.

Так вот оно что, а я и забыл об этом: образованный, да еще городской. Черт возьми! Она права, сообразил я, совершенно сбитый с толку. А я-то, образованный, да еще городской, только и думал о том, как глупо провалился на экзаменах... Что и говорить, бакалавр, пусть даже кандидат в бакалавры, редкий товар на базаре Кала! Как это раньше мне не пришло в голову — мне, образованному, да еще городскому?

Тут эта женщина, она была почти одного возраста с моей матерью, только состарилась преждевременно от изнурительной и непосильной работы, которая еще до сих пор выпадает на долю женщин-крестьянок в отсталых деревнях наших джунглей, принялась расспрашивать меня:

— Чему же они вас там учат, в школе?

— Кто?

— Ну, разумеется, белые, сынок. Чему они вас учат?

Я чуть было не прыснул со смеху, но комната была битком набита народом, и я сдержался.

— Чему нас учат? Многому, — отвечал я уклончиво, — многому нас учат.

Я был в большом затруднении. Мне хотелось угодить этой женщине, назвавшей меня сынком. Но как изложить ей основные понятия о космографии, социологии или тригонометрии? Я все же попытался что-то объяснить при помощи жестов, маловразумительных слов и путаных пояснений.

Вероятно, она поняла только одно — что я действительно искренне пытался ответить на ее вопрос. Может быть, мое личное расположение к ней тронуло ее, поэтому она сделала очень странный вывод из нашей беседы.

— Заходи к нам как-нибудь вечерком, — предложила она. — Мой муж и я будем рады тебя видеть. Знаешь, мой муж так восхищается тобой, что вот уже два дня клянется только твоим именем. Заходи к нам как-нибудь вечерком и дядю с собой прихвати.

Дядя Мама (он все время торчал около меня) слушал нашу беседу, и лицо его расплывалось в самодовольной улыбке. Странно, чему он радовался? Я, конечно, не принял всерьез приглашение, искренне полагая, что наша почтенная гостья просто с придурью. Прошло всего несколько дней, и мне пришлось пересмотреть свою точку зрения.

* * *

Постепенно я пришел к убеждению, что все эти незначительные события будут играть в дальнейшем куда более важную роль, чем могло показаться на первый взгляд, что они предвещают новый поворот в моей жизни. Я говорю не только о тех событиях, которые произошли со времени моего приезда, но и о тех, что ожидали меня в будущем, ибо я был твердо уверен в том, что они обязательно последуют.

Может быть, это было совсем не так и я теперь сам себя обманываю, но как приятно думать уже после всего, что произошло, что ты все заранее предвидел, даже знал, что то или иное событие оставит особый след в твоей жизни, направит ее по другому руслу. Бывало, мне и раньше не раз приходилось испытывать что-то вроде предчувствия, и каждый раз оно сбывалось. Помню, еще в детстве я как-то вместе с другими мальчишками отправился в город Вимили. Веселой гурьбой, пересмеиваясь, мы проходили мимо здания местной больницы. Как раз напротив, на другой стороне улицы, арестанты под надзором полицейских сносили ветхие глинобитные строения, слишком высокие для того строительного материала, из которого они были сложены. Это было довольно опасное занятие, особенно для людей, не имеющих опыта. Арестанты — вчерашние крестьяне, быть может только накануне попавшие в тюрьму, — орудовали толстыми бревнами, как тараном, — единственное орудие, которое им дали. Лестниц не было, и поэтому они начинали ломать стену снизу, проделывая бреши у самого фундамента. При каждом ударе бревна сверху падали куски глины...

Когда мы подошли, заключенные суетились как раз вокруг самой высокой постройки. Я смотрел на молодых крестьянских парней, яростно бивших тараном стену, и чувствовал, как мои ноги вдруг прирастают к земле. Словно оглушенный, застыл я на месте, и, хотя вокруг высились груды глины и щебня — доказательство того, что было уже разрушено несколько домов и все обошлось благополучно, — страшное предчувствие овладело мной: сейчас должно произойти что-то очень важ-

ное, настолько важное и страшное, что если я буду очевидцем этого события, то никогда уже не смогу его забыть. Мои товарищи тщетно пытались уговорить меня идти дальше, но потом остались и решили тоже подождать.

Работа продвигалась медленно, и во мне все нарастало чувство смутного страха и тревоги, похожее на те ощущения, что возникают при чтении детективных романов, написанных бесстрастным и жестоким автором, который с нечеловеческим хладнокровием вселяет ужас в сердце читателя, чтобы оставить его в неведении и тревоге за судьбу героев.

Верхняя часть стены еще держалась, а внизу глина отваливалась огромными кусками, обнажая арматуру; теперь здание напоминало гиганта, у которого содрали с ног плоть, оставив лишь костяк. Внезапно раздались истошные вопли полицейских:

— Эй! Берегись! Берегись!

Здание дрогнуло. Прыгая, как лягушки, заключенные отскочили от стены и бросились врассыпную. Дальше все произошло молниеносно: с глухим и угрожающим гулом стены обрушились, и тотчас же мы услышали слабый стон, жалобный, как крик раздавленного животного. Один из арестантов не успел отбежать от стены.

Конечно, я видел труп, который извлекли из-под огромных глыб окаменевшей глины. Вид раздавленного человека, обезображенного до неузнаваемости, был ужасен, стоит ли об этом говорить...

Но не зрелище раздавленного человека так отчетливо и ясно сохранила память. Другое воспоминание преследует меня всю жизнь, оно всплывает всякий раз, когда я становлюсь очевидцем несчастного случая... Это воспоминание о том, как стонал тот человек, как он кричал, вернее, пытался кричать... Нет, это был не зов о помощи, а протест против несправедливости жизни... Крик возмущения, смертельной тоски... вот что звучит у меня в ушах постоянно и по сей день.

И другой случай... Во время каникул я поехал к дяде, брату моей матери. Вместе со своими сверстниками мы пошли в лес и там услышали пение птицы, что издает странный звук, всегда такой неожиданный. Вы знаете эту птицу, у нас ее называют «дочерью привидений» или как-то в этом роде. Я и раньше слыхал ее пение, но на этот раз голос птицы раздался внезапно где-то совсем поблизости от нас, в кустарнике... И полилась, нарастая, все громче и громче, печальная песнь, полная безысходной смертельной тоски, горькая песнь изгнания. Казалось, она предназначалась именно нам, исполнялась только для нас. Она лилась ровно, без рулад и переходов, она ширилась и росла, как река в половодье, в мрачных и в то же время спокойных и роковых тонах, проникая до самых глубин существа. Концовки музыкальных фраз, протяжные и грустные, настойчиво повторяли мотив. Птица словно вещала чью-то судьбу... И судьба этого человека вовсе не трогала ее, она была безразлична для безымянного вестника, так равнодушно и отчужденно звучал ее голос. Знаете, песнь эта напомнила мне соло на тромбоне в сюите «Im in another world» *, что исполняет джаз Джони Ходжеса, будто соло ведет не Лоуренс Браун, а вот эта птица — «дочь привидений»...

Затаив дыхание, мы слушали птицу, а когда она умолкла, братья как ни в чем не бывало принялись разговаривать и смеяться.

И опять мной овладело предчувствие беды. Я понял, что никогда не забуду встречу с «дочерью привидений»... В тот же вечер я узнал, что одна из моих младших сестер умерла...

---

* Я в другом мире (*англ.*)

Вот и на этот раз таким же непостижимым образом я понял, что пребывание в Кала, уж не знаю, по какой причине (пока я только предчувствовал, ничего не ведая), запомнится мне на всю жизнь...

Запомнится так же, как запоминается закат, когда солнце скрывается и небо заботливо опускает гигантское ночное покрывало изумрудного цвета, чуть темнее зелени экваториальной листвы, и окутывает им деревню и лес, слившиеся воедино в сладострастной истоме. И каждый раз я смотрю и говорю себе: «Смотри хорошенько! Многое скрыто в ночи, но ты смотри, потому что тебе суждено никогда не забывать этого. Пройдут годы, и ты все вспомнишь. И велика будет радость твоя, когда в памяти, словно наяву, возникнут и вечернее небо, и переливы зари, и голос птицы, что, как подросток, оплакивающий свою мать, пронзительно и горестно изливает в дальнем лесу тоску по уходящему дню, и стена банановых деревьев, чьи неясные контуры тают, постепенно растворяясь с наступлением ночи, и кажутся лишь черными призраками, и луна, которая крадется за лесом, пробиваясь робким лучом сквозь чащу деревьев, как вестник далекого счастья, чтобы незаметно вдруг вынырнуть и появиться величавой богиней радости, сияющей и лучезарной, словно праздничный день...»

* * *

Вся история по-настоящему началась только на четвертый день моего пребывания в Кала.

Жена Ниама все еще не вернулась. Замбо и я были у ее отца накануне. Старикан вел те же речи, что и в первый наш визит. Прошло, дескать, много времени, с тех пор как он без всяких задних мыслей отдал свою дочь замуж, и, как говорят, удачно, а что произошло затем, его мало касается... Дочь, конечно, никак не ожидала моего приезда, и, если она отправилась немного прогуляться, разве можно упрекать ее в этом?

Я и сам понимал, что упрекать ее не в чем, но почему старик оправдывается, словно перед судом старейшин?

— Прогуляться, говоришь? Хорошо, если так. Значит, она просто решила проветриться немного? — вторил ему Замбо.

Старик притворялся, что не слышит иронических замечаний Замбо: так неверная жена делает вид, что не слышит неожиданного вопроса мужа о том, с кем она изменяет ему...

* * *

Итак, утром, на четвертый день моего пребывания в Кала, у меня было два интересных разговора: сначала с братом, затем с дядей.

Чуть свет Замбо вошел в мою комнату. Я еще не вставал. Когда мы беседовали с Замбо, я всегда с интересом следил за сменой выражений на его лице. Удивительный это был тип. Никогда не видел человека, у которого контраст между внутренним содержанием и физическим обликом был столь разительным. С одной стороны — сила, совершенно дикая, с другой — мягкость характера, поразительная даже для индийского мудреца, который во имя полной святости выдержал все испытания и умертвил в себе земные порывы и страсти.

В комнате было еще темно, и, к своей досаде, я не мог разглядеть лицо Замбо. Открыв окно, он сел спиной к свету. Теперь я думаю, что много потерял из-за того, что не видел физиономии моего дорогого бра-

та, обладателя мускулатуры греческого полубога, и не проследил за сменой выражений на его лице в тот момент, когда он делал странное предложение.

— Ты еще спишь? Ну ладно... Тогда... — сказал он, усаживаясь на стул.

Да, я еще спал. Разве у меня не каникулы? Сам этот край располагал к лени. Я ничего не ответил брату, потянулся и добродушно проворчал что-то, давая понять, что его присутствие нисколько не стесняет меня. Чего доброго, он еще начнет извиняться, что разбудил.

У него был усталый голос. Я подумал с завистью: наверно, провел ночь в любовных утехах со своей подружкой или с какой-нибудь другой девушкой: накануне вечером он вдруг куда-то исчез. Замбо долго колебался и, не зная, с чего начать разговор, откашливался, прочищая горло.

— Гм, — произнес он наконец. — Ну и везет же тебе, мне бы оказаться на твоем месте...

Любопытная вещь! Минуту назад мне хотелось быть на его месте. Я таращил глаза, пытаясь разглядеть в полутьме лицо юноши, но смутно видел лишь силуэт. Какой Замбо большой! Он выделялся своим гигантским ростом, даже когда сидел. Красивый малый, по-моему! К чему он клонит? Не издевается ли он надо мной? Я недоверчиво смотрел на него: уж эти мне недалекие люди, они вовсе не так просты, как принято думать. Однако голос его звучал так искренне.

— Ты что хочешь этим сказать, верзила этакий? — добродушно спросил я.

— Многое...

Он замолчал. Его поведение удивило меня.

— Многое? А что именно? Объясни, пожалуйста, хотелось бы знать.

Но он так и не сказал что и этим выдал себя. По правде говоря, он уже не раз пытался завести разговор на эту тему, но я всегда выслушивал его с некоторым холодком. Не потому, что его предложения оставляли меня равнодушным, а по той простой причине, что я был очень неопытен в таких вещах. А Замбо понимал мое молчание как презрение к нему. Мысль о моей чистоте или застенчивости не могла прийти ему в голову лишь потому, что я приехал из города. Городской парень, подумать только! Ну а я? Не мог же я, в самом деле, сказать ему, что он ошибается во мне. Я решил, что сумею выкрутиться из столь неловкого положения так же, как отделался от Иоганеса Гусиные Лапы в день приезда, то есть при помощи всяческих увертoк и отговорок, стараясь сохранить при этом свою репутацию. Я спасал славу городских парней! Ну и дураком же я был! Ах, почему я не решился просить помощи у моего дорогого брата? И потом смело шагнуть навстречу той самой опасности, страстную тягу к которой даже долгие годы учения не могли погасить в горячей крови, струившейся в моих жилах...

— Есть тут одна девушка...

Замбо замолк.

— Она так и сохнет по тебе...

Ну вот мы и добрались до сути дела!

— Шутишь, наверно, — неуверенно вставил я свое слово.

— Ладно уж, сам прекрасно знаешь, что нравишься всем женщинам. К чему притворяться? Тебе ведь это приятно знать.

— Я нравлюсь женщинам? Ну а ты? Держу пари, что они трепещут от радости, когда украдкой поглядывают на тебя.

Я высказал все это небрежным тоном, не без желания слегка преувеличить успех, которым Замбо должен был пользоваться. Я действительно думал, что мимо такого гиганта, как мой брат, женщины не мо-

гут пройти равнодушно. Но оказался плохим психологом! Брат воспринял это как насмешку и обиделся.

— Ну что ж, и на том спасибо,— сказал он.

В жизни мне уже приходилось сталкиваться с двумя или тремя подобными характерами. В глубине души я стал больше уважать Замбо — не такой уж он наивный. Разве сложный характер не является признаком богатой внутренней жизни? Понемногу мне становилась ясна сущность его индивидуальности.

— Ну ладно,— сказал я примирительно,— начнем по порядку. Итак, девушка прехорошенькая?

— Конечно хорошенькая. Хотел бы я знать, много ли таких найдется у вас в городе?

— Очко в ее пользу! Пойдем дальше. Говоришь, сохнет по мне. Бедняжка, где ж она успела меня разглядеть, чтобы так влюбиться?

— Чудак, ей-богу! Неужели думаешь, что с тех пор как ты приехал, тебя никто не видел?..

Опять Замбо молчал.

— Скажи, пожалуйста, разве тебя не радует, что такая девушка желает тебя? Если бы ты знал, как она красива. Она нездешняя, приехала издалека. С тех пор как она появилась в нашей деревне, парни так и кружатся вокруг, все готовы отдать, только бы заполучить ее. Но ничего не поделаешь, она и смотреть на нас не хочет. Слышишь, братец, даже смотреть не хочет! Только ты один ей понравился, а тебе неприятно...

Нет, конечно. Это было очень приятно. Меня даже пугала подобная перспектива. И уж конечно я не останусь к ней равнодушным, такой красивой и надменной, по общему признанию...

Однако настойчивость Замбо становилась подозрительной. Не то он хотел убедиться в том, что я мечтаю о женщине (в действительности оно так и было), не то хотел доказать, что оказывает мне бесценную услугу, выступая в роли посредника (что тоже было верно). А может быть, ему особенно хотелось внушить мне, что он оказывает великую честь, сближая меня именно с этой женщиной, а не с другой. Последнее предположение встревожило меня. Будь я посмелее, то попросил бы его свести меня с одной из его сестер, девушек из Кала. Ведь эта девушка была из другого племени и поэтому по праву принадлежала, так сказать, молодым людям из Кала. А я бы скорее подошел для здешних девушек. «Тебе все карты в руки»,— уговаривал меня накануне Иоганес Гусиные Лапы.

— Когда она тебе сказала, что я ей нравлюсь? — стараясь отвлечь его от практической стороны дела, спросил я.

Замбо, оказывается, встретил ее вчера вечером на танцах. Она очень ловко выведала у него, как зовут приезжего брата и еще многое, имеющее к нему отношение. Замбо сразу догадался, что девушка интересуется мной.

— Никогда девушка не станет зря расспрашивать о парне,— сказал Замбо.

Тогда он спросил напрямик: нравится ли ей его брат. Она не сказала «нет», промолчала. Но, если уж не было сказано «нет» — значит, «да». Ни одна девушка не признается сразу, да и вообще редко в таком случае отвечают определенно. Просто дают понять, что свободны и не возражают против ухаживаний. К тому же она почти выдала себя, заявив минуту спустя, что хотела бы познакомиться с его братом поближе, а это само по себе говорит о многом. Она придет вечером между семью и восемью, после ужина.

— Нам остается только ждать. Отец ничего не скажет. Она уже не раз приходила к нам послушать свою любимую пластинку, под этим предлогом она придет сегодня вечером. Пока патефон будет орать, мы поболтаем.

Я не возражал.

То, что девушка, всегда такая надменная, сама искала встречи со мной, тешило мое самолюбие. Я уже мечтал о ней, она уже нравилась мне. И все-таки я робел, не зная, как вести себя, чтобы она еще сильней влюбилась в меня. О чем говорить с ней? Впрочем, если девушка сама вешается на шею, значит, она искушена в таких делах. Наверно, и опыта у нее гораздо больше, чем у меня.

Вдруг я вспомнил, как мой старший брат, постоянно поддразнивая меня, повторял: «Конечно, такой перезрелый девственник, как ты, предпочел бы, чтобы его просветила какая-нибудь опытная в любовных делах особа. Хочется все познать досконально в один присест, не правда ли?.. Однако,— тотчас добавлял он,— надо, чтобы ты здорово ей нравился и чтобы у нее было доброе сердце, а не то она будет издеваться над тобой, да так, что ты, с твоим характером, никогда в жизни не посмеешь взглянуть в лицо женщине...»

— Какая она? — с волнением спросил я у Замбо.

— Я же тебе сказал, она красивая, очень красивая. Подожди до вечера, увидишь собственными глазами...

Мне даже жаль его стало за такую несообразительность. Я подумал: «Ты бы мог по крайней мере хоть попытаться понять, о чем я спрашиваю!» Не теряя надежды, я подошел к этому вопросу с другой стороны:

— А она молодая?

— О да, совсем молоденькая. У нее нет детей.

— Ну, друг мой, можно не иметь детей и быть не очень молодой.

— Я же говорю тебе, что она очень молодая, незамужняя.

Я немного успокоился: эта девушка красива, и родители еще не выдали ее замуж — значит, не подошло время для замужества. Если бы Замбо разгадал мои сомнения, сумел бы он дать мне исчерпывающий ответ? Ведь ему ничего не стоило познакомиться с ней поближе и узнать все...

— Ну так что же? Пойдем мы куда-нибудь вечером или подождем?

— Конечно подождем, Замбо, ты же знаешь, что я согласен.

Я рассчитывал найти какую-нибудь лазейку, если только Замбо сам не захочет тянуть для меня каштаны из огня. К несчастью, это подозрение ни на чем не основывалось: брат вел себя слишком лояльно по отношению ко мне.

Нас позвали в большой зал к завтраку. В этих местах очень плотно ели по утрам. Так как женщины уходили работать на рассвете, а возвращались поздно вечером, то садились за стол только два раза в день. Оставшиеся в деревне дети и немногие из мужчин довольствовались днем бананами, яйцами, иньямом, жареным арахисом. Ни одному мужчине не пришло бы в голову заняться стряпней.

Стол был заставлен блюдами. Дядя Мама ел без всяких церемоний. Он набивал рот до отказа так, что за каждой щекой вздувалось по здоровому желваку. Было страшно смотреть: а вдруг лопнет!.. Я отводил взгляд, стараясь не смотреть на него, чтобы не выдать своего удивления таким странным способом поглощения пищи. Замбо, видимо, стеснялся меня и бросал на отца неодобрительные взгляды. Заметив это, дядя в свою очередь уставился на сына.

— Что с тобой? Где это видано, чтобы так смотрели на людей, когда они едят? — сердито сказал он, пожал плечами и вновь привел в движе-

ние свои челюсти. Потом дядя положил куриную ножку в мою тарелку и сказал: — Сын мой, ты мало ешь. Разве белые приучали тебя к посту?

Я счел такой вопрос за шутку, но дядя, оказывается, ждал ответа. Как все люди, мало склонные к разговорам, он полагал, что если уж он открыл рот, то присутствующие должны быть внимательны к его словам.

— Скажи-ка, сын, разве белые приучают тебя к посту?

— Нет, просто я не привык много есть.

— Оттого ты и не поправляешься и не растешь. Тебе надо много есть, сынок.

Замбо, сидевший напротив, едва сдерживал смех.

— А ты,— строго заметил ему отец,— дураком был, дураком и помрешь. Посмотри на своего брата, Медза: он моложе тебя, а видишь, кем стал?

— Все не могут стать такими,— иронически возразил мой брат,— если я стану учиться на степень бакалавра, то кто же будет работать на нашей плантации какао?

— Если судить по твоей работе, то тебе лучше стать бакалавром.

— Ну что ж, согласен. С этого дня больше не работаю.

— Ну-ну, думаешь, коль я помру сегодня вечером, то завтра с утра ты можешь делать, что тебе вздумается?

— Ничего я не думаю,— засмеялся Замбо.— Ты ведь сказал, что я ничего не делаю на плантации, так чего же ходить на работу.

— Посмотрите на него! — только и сказал его отец.

В сущности, они были хорошими друзьями. Если бы я вот так ответил моему отцу, не знаю, что бы случилось, во всяком случае мне запомнился бы этот разговор надолго.

Господи, когда люди наконец будут видеть во мне не только образованного лицеиста? Всю свою ученость я отдал бы только за то, чтобы научиться плавать, как Иоганес Гусиные Лапы, танцевать, как Авраам Бескостный, обладать опытом местного донжуана Петруса Сына Бога, кидать копье, как Замбо, беззаботно пить, есть, смеяться вволю, не думая ни о следующей сессии, ни о контрольных, ни об устных экзаменах. По крайней мере я бы не боялся женщин, даже самых разбитных, я бы знал, как ответить на их заигрывания, я бы сумел поцеловать девушку, которая сохнет по мне. Впрочем, тут я уж перегнул, ведь у девушек не было бы причин сохнуть по мне...

Дядя Мама, как страус, вытянув шею, отчаянно старался проглотить огромный кусок. Он долго моргал глазами, потом схватил стакан воды и выпил. Прочистив горло, он не без труда проговорил:

— Сын мой, сегодня вечером мы пойдем к той женщине, что пригласила нас в гости. По всей вероятности, у нее и поужинаем. Отправимся к ней часов в шесть.

— Отец,— забеспокоился Замбо,— а нельзя ли отложить визит?

— Почему? — удивился отец.— Почему тебе вдруг взбрело в голову откладывать визит?

— Да просто так. Мне кажется, что брат еще не отдохнул как следует, у него еще хватит времени для визитов.

— Твоего мнения не спрашивают,— отрезал дядя Мама и, повернувшись ко мне, твердо сказал: — Сын мой, сегодня вечером мы пойдем к женщине, которая тебя пригласила в гости. Надо пойти обязательно, не то она обидится...

Как видите, разговор с дядей Мама не носил характера развернутой дискуссии, а скорее свелся к диктаторству в миниатюре. Я оправдывал дядю тем, что у людей, которые не умеют и не любят говорить, всегда наблюдается ярко выраженная наклонность к диктаторству.

Впрочем, дядя был очень внимателен и относился ко мне с большим радушием: каждый день меня кормили курятиной. Несмотря на все эти смягчающие обстоятельства, я предпочел бы, чтобы меня попросили самому назначить день посещения, а не принимали одностороннее решение, как принято говорить на дипломатическом языке. К тому же он очень неудачно выбрал день, мой дядя Мама, я был сердит на него, он лишил меня надежды полюбоваться красотой девушки. Удивительное дело, теперь, зная, что я не встречусь с ней вечером, что и перспектива нового свидания отодвинулась на неопределенное время (девушка работала в поле, возвращалась домой после полудня, и условиться с ней было невозможно), страх, который внушала мне эта встреча, исчез, оставив лишь неясное чувство желания и любопытства, столь свойственное целомудренному юноше.

— Может, мы не задержимся в гостях,— предположил Замбо, как только мы остались вдвоем.— Может, еще успеем с ней встретиться?

Это были пустые надежды. Думаю, он и сам понимал — как ему было не знать обычаи своей деревни. Подобные визиты длятся так долго, что им и конца не видно.

* * *

— Много ли детей белых в вашей школе? — спросила хозяйка дома.
— Да,— ответил я,— много.
— Больше, чем вас, сынок?
— Нет, меньше, гораздо меньше, чем нас.
— Какие же они, сынок? Расскажи нам, какие они, дети белых?
— Да такие же, как все дети на свете...
— Не может быть! Неужели точь-в-точь, как все дети?
— Точь-в-точь, как все дети: дерутся, ссорятся, шумят, озорничают.
— А на уроках? — спросил грубый мужской голос.— Они умнее вас на уроках?
— Нет, не умнее и не глупее, такие же, как и мы.
— Неужели то, что объясняет учитель,— удивленно спросил все тот же голос,— то, что учитель объясняет, они, значит, понимают не быстрее, чем вы?
— Нет, они понимают так же быстро, как мы.
— Смотри-ка,— раздался тот же голос,— смотри-ка, вот чудно! Они должны понимать быстрее!
— Почему? — запротестовал другой мужской голос.— Почему тебе кажется, что они должны понимать быстрее наших ребят? Наши дети не такие уж дураки, как ты думаешь.
— Что ты там говоришь? — раздался первый голос.— Так уж заведено, что дети белых понимают быстрее, чем дети черных. Ведь речь идет о секретах белых предков, а не о секретах наших предков, понимаешь? Разве не белые изобрели самолеты, поезда, автомобили и пароходы? Вот если бы в этой школе учили мудрости черных, то, конечно, дети негров понимали бы быстрее, чем дети белых!

Этот вопрос вызвал спор, в котором женщины приняли не менее горячее участие, нежели мужчины. Дискуссия, разделившая присутствующих на два лагеря, продолжалась до тех пор, пока не вмешался противник резонера, стоявшего на позициях умаления способностей негритянских детей. Его внезапно осенила мысль, ясная и неопровержимая, судя по тому, с какой решимостью он потребовал тишины у аудитории, чтобы изложить все в тоне, не допускающем возражений.

— Слушайте же! Со своей стороны и своей точки зрения, вот что я думаю: еще неизвестно, белые ли изобрели самолеты, автомобили и дру-

гие вещи. Говоря о неграх, ты думаешь о нас, ведь мы даже неграмотны. Но что ты скажешь о других неграх, живущих на земле? Как же ты можешь думать, что те, другие негры, не изобретают самолетов, поездов, автомобилей и так далее?

Судя по одобрительному шуму собравшихся, этот довод вызвал безграничный энтузиазм. В конце концов резонер вынужден был признать:

— Думаю, что ты прав. Да, мне кажется, что ты прав...

Я сразу же выбыл из спора, потому что раньше никогда не задавал себе подобных вопросов. Однако у меня было желание сказать им, что все это не так, что нигде, ни в какой стране черные не изобретают самолетов. Но я воздержался: мне пришлось бы попутно объяснить еще много разных вещей, а я очень сомневался в силе моего педагогического воздействия. Все равно они не поняли бы меня; слишком противоречивые чувства вызвали бы мои объяснения у этих людей. А я хотел видеть их такими непосредственными, какими они были. Думаю, что колониализм и без того достаточно осложнил им жизнь, и незачем было давать пищу новым переживаниям из-за моих неуклюжих попыток объяснить действительность. Я не жалею о том, что смолчал тогда...

Казалось, они и не собирались расставаться со мной. Уйти я не мог. Это было бы непростительным поступком с моей стороны. Меня угощали по-царски, стол просто ломился от яств. Я только и ждал, что мне скажут: «Ну вот теперь ты можешь уйти. Мы тебя для того и приглашали, чтобы ты поужинал с нами». Так по крайней мере было заведено у нас, в нашей деревне. Здесь все было по-другому.

Как только кончили ужинать, хозяйка дома подсела ко мне и стала безжалостно терзать меня вопросами, требуя исчерпывающего ответа, возвращаясь к неясным для нее местам с такой прозорливостью и с таким знанием моих слабых мест, что у меня создалось впечатление, будто я сдавал самый трудный устный экзамен, на котором смог наконец почувствовать всю ничтожность моих познаний. Есть же такие люди, вроде меня, с самого рождения предназначенные специально для сдачи экзаменов! Потом вопросы стали задавать все. Так как гостей было много и иногда все говорили разом, я был в большом затруднении, не зная, на какой вопрос следует отвечать в первую очередь,— все вопросы были интересными и разнообразными. В общем, я окончательно запутался. Особенно смущало меня внимание женщин и девушек. Они пожирали меня глазами, в их взглядах, как в письме влюбленной девушки из простонародья, чувства были столь ясно выражены, что, несмотря на мою неопытность, нельзя было не определить их характера.

Иногда мои глаза замечали Замбо, сидящего в углу, приунывшего, грустного и равнодушного к восторгу, потрясающему зал. Казалось даже, что этот энтузиазм был неприятен Замбо, настолько у него был раздосадованный вид. Иногда я встречался взглядом с дядей Мама, лицо его светилось — видимо, он испытывал чувство полного удовлетворения. Он напоминал старого французского крестьянина, выдавшего замуж свою дочь за самого богатого в департаменте жениха. Дядя был весел, доволен и настроен благодушно.

Я сидел и думал: «Наверно, так и не увижу Элизу (таково ее имя), я не увижу вечером Элизу...» Теперь мне думается, что Элиза в тот момент была для меня олицетворением полной свободы молодых деревенских парней — Иоганеса Гусиные Лапы, Бескостного, Сына Бога и других,— той свободы, о которой я мечтал, как о самом дорогом, что дается в жизни, и чем я никогда не буду владеть. Добровольно я приносил себя в жертву на алтарь прогресса и цивилизации... Прощай, молодость... Я расплачивался ужасной ценой. За что? За то, что по воле моего все-

могущего отца ходил в школу. Расплачивался за то, что я учился, когда другие дети предавались играм, свойственным их возрасту и обычаям нашей страны...

Чувство, которое я испытывал к Элизе, еще не было любовью, это было скорее вожделение, в котором стыдно признаться даже самому себе, а стыд этот — не что иное, как признак неопытности. Я думал о непоправимо испорченном вечере, об упущенном свидании с Элизой и все яснее, все отчетливей понимал, что путь, на который я встал помимо своей воли, приведет меня к катастрофе. Я никогда не буду самим собой, потеряю свою собственную индивидуальность, превращусь в бесплотное видение, миф, в абстракцию, стану забавой людей, братьев моих, которые будут поступать со мной так, как им заблагорассудится, не заботясь обо мне, не спрашивая моего мнения.

А тут еще Замбо поднялся и вышел из комнаты, предоставив меня моей печальной участи,— так бросают утопающего, которого неудержимо уносит течением, когда уже не остается никакой надежды на спасение. Я был самым несчастным человеком на свете.

Я задыхался в душной комнате, слишком тесной для такого количества людей, меня мутило от запаха пальмового вина, смешанного с запахом табака и колы. Мужчины и несколько женщин жевали колу, чтобы разогнать одолевавшую их дремоту. Я сделал сверхчеловеческое усилие над собой, чтобы не свалиться со стула. Как я был, наверно, похож на мешок, набитый пальмовой капустой. У меня был вид человека обреченного, который уже отрешился от земной юдоли, словно великомученик, и теперь покорно, с благоговением ждет своей участи. Как я был далек от всякой мысли о непослушании или об эгоистическом бесполезном бунте.

Машинально я тоже принялся жевать колу. Этот поступок, несомненно, еще больше возвысил меня в глазах окружающих.

— Смотрите! Смотрите! — раздались громкие возгласы.— Он совсем не гордый! Хоть и образованный, а тоже не прочь, как и мы, отведать колы.

От сознания, что все взгляды, словно пучок лучей, как в фокусе, сходились на мне, я не мог пошевельнуть даже рукой. Я чувствовал, что тело мое наливается тяжестью, по крайней мере в два раза превосходящей мой собственный вес.

Комнату освещала стоящая на столе лампа-молния с выпуклым, вздутым, как живот старика, стеклом. Свет, не очень сильный, казался мне безжалостным прожектором, наведенным прямо в лицо. Собравшиеся видели меня прекрасно, а я различал их с трудом. «До чего нелепое положение,— думал я.— Если бы друзья видели, с каким идиотским видом разглагольствуешь ты здесь! Какое счастье, что они тебя не видят! Впрочем, имеет ли значение все это! Разве ты не испытываешь чувства любви к этим людям? Почему тебе кажется нелепым твое положение? Подумай лучше, как важны для них твои слова...»

— Чему же вас обучают белые? — неутомимо допытывалась хозяйка дома.

— Многому...

— Так расскажи нам, сынок!

— Что вы поймете, если я начну рассказывать об этом?

Неодобрительный ропот встретил мой ответ: «Боже мой, какую оплошность я совершил,— подумал я.— Надо уходить или оставаться, и в таком случае, хватит глупостей! А так как я остаюсь, то...»

Какой-то старик поднялся и, жестами успокоив аудиторию, обратился ко мне:

— Послушай, сынок, если мы даже и не поймем ничего, все равно ты нам расскажи. Для тебя, видишь ли, белые — обыкновенные люди, потому что ты понимаешь их язык. А мы не понимаем, мы-то не учились в школе. Для нас белый человек — это ты сам, потому что ты один можешь объяснить нам все, чего мы не понимаем. И если ты любишь нас, то расскажи, сынок. Если ты откажешься, то мы уже никогда не сумеем разобраться. Когда еще подвернется нам такой случай. Рассказывай, сынок...

Я подумал: «Логично, ничего не скажешь. У этих людей очень развита способность уговаривать».

— Хорошо,— произнес я наконец.— Нам преподают... например... географию.

— География! География! — подхватили голоса, почти верно выговаривая это слово. — А что это — география?

Я попытался как-то изложить сущность географической науки. Наверно, никогда и никем не давалось более спорное определение, нежели мое. Я ведь учился не на родном языке, поэтому мне было довольно трудно быстро формулировать свои мысли перед аудиторией, следившей за каждым движением моих губ. Потом, чтобы было понятнее, я решил проиллюстрировать свой рассказ примерами. Таким образом, к своему собственному удивлению, я стал знакомить своих слушателей с Нью-Йорком, поразительным городом, в котором проживает семь миллионов жителей, где дома достигают трехсотметровой высоты и имеют семьдесят пять этажей. Мне было легко говорить о Нью-Йорке, наверно, оттого, что я видел этот город только в кино. Моему рассказу не было конца. Воодушевившись, я уже расписывал достопримечательности города. Опьяненный собственным красноречием, я думал, что и мои слушатели наэлектризованы и упиваются моим рассказом. Но старался я зря.

До сих пор не могу забыть, как меня поразило равнодушие этих людей к описанию Америки. Впрочем, я не сказал им, чтобы не вызывать в них чувства горечи, как американцы линчуют негров на улице только за то, что у них другой цвет кожи.

Я решил переменить тему. И так же ловко, как молодой гитарист, с которым я познакомился в первый вечер в Кала, я перешел на русские мотивы (не знаю, что меня на это толкнуло — должно быть, инстинктивное предчувствие). Я сразу понял, что может их расшевелить или во всяком случае отозваться в их душе, и не ошибся.

— Россия? Это где?

— Там, где встает солнце. Жители этой страны называются русскими.

У меня был уже немалый педагогический опыт, пусть приобретенный всего лишь за один вечер, поэтому я постарался не касаться индустриальных тем, считая эту область слишком сложной. Зато я красноречиво, как можно подробнее принялся рассказывать о колхозах.

— В колхозах,— начал я торжественно,— все поля общие, каждый гражданин работает на них несколько дней в неделю, остальное время он трудится на своем собственном небольшом участке земли. После жатвы весь урожай распределяется по потребности между семьями...

Я уже устал от объяснений, и вдруг при этих словах зал словно взорвался петардой.

— Там живут мудрые люди! — восклицал один.

— Как, должно быть, они любят друг друга! — перебил его другой.

— Вот страна, где хотелось бы жить,— спешил сказать свое слово третий, и так далее, и так далее...

Я был поражен произведенным эффектом. «Браво, Медза, очко в твою пользу!» — сказал я себе.

Теперь я решительно настроился исчерпать до дна столь чудесный кладезь. И я развернул перед моей затаившей дыхание аудиторией удивительную картину: совхозы, тракторы, самоуправляющиеся сельские кооперативы, удивительные урожаи, увеличенные в десять раз по сравнению с тем временем, когда каждый владел маленьким наделом земли. Я устал говорить и остановился, чтобы перевести дыхание. Да что и говорить, преподавание — дело нелегкое. В этот момент мужчина, еще не старый, начал неторопливо:

— По сути дела, эти люди похожи на нас. Они любят друг друга, их связывает дружба. В точности, как у нас. Посмотрите на наших женщин, что они делают, когда приходит время убирать урожай? День они все вместе работают на поле одной соседки, следующий день идут к другой — и так ко всем по очереди. На самом деле эти люди, э...— как ты их называешь, сынок? — ах да, русские, очень похожи на нас. Если бы у нас был один трактор на всех, только один трактор, я уверен, что мы бы тоже хорошо работали; может, тогда и урожай был бы в десять раз больше... Только вот загвоздка: разве нам когда-нибудь дадут трактор?

— Сын мой,— спросил с заметным беспокойством другой,— ты сказал, там мужчины водят трактора в поле, да?

— Да, в основном на полях работают мужчины.

— А что же делают женщины в это время?

— Они остаются дома,— сказал я, решив дать исчерпывающий ответ на такой вопрос.— Женщины остаются дома нянчить детей, занимаются домашним хозяйством. Иногда они помогают в поле, выполняя несложную работу.

Заметив, что спрашивающего не удовлетворило такое объяснение, я добавил, что в той стране считают мужчин сильнее женщин, потому они и работают больше. По-моему, они правы. К тому же их женщины красивы и оттого, что мало работают, очень моложавы.

Я хорошо понимал, что у меня нет достаточных сведений о русской действительности, слишком мало я знал. Только и оставалось, что сочинить целый роман. Просто с ума можно сойти, как подумаешь, до чего же поверхностны и легковесны знания, приобретенные в лицее, мне это стало ясно именно в тот самый день. А я-то ходил и гордился, что меня здорово всему обучили! При первой же настоящей проверке, на экзамене у самой жизни, а не на наших липовых экзаменах сразу стало видно, что у меня кругом прорехи и латать их бесполезно, все равно моего воображения не хватает придумывать всякое. А ведь попадись мне на устном экзамене на бакалавра билетик о России, я бы с ним сразу справился — вот именно с устным экзаменом, а не с Россией! Существует что-то вроде негласного соглашения, своего рода сговора между самым придирчивым экзаменатором и экзаменующимся. Мне кажется, что скрытое соучастие основано на сознании, по крайней мере со стороны учителя, что знания как одного, так и другого — иллюзорны, разумеется в разной степени. С грустью думал я: «А сколько преподавателей географии Западной Европы и подчиненных ей территорий — к примеру, Черной Африки — действительно знают, что происходит в России? Стоит ли тратить молодые годы только на то, чтобы забивать себе голову какими-то крупицами знаний?»

О лицей!.. Злоба, которую возбуждал во мне лицей, настоящий людоед, глотающий мальчиков, чтобы затем, медленно переварив их, изрыгнуть уже опустошенных, лишенных юности, одни скелеты,— злоба эта к лицею-людоеду, можно сказать, накипала во мне с каждым днем...

Но всему на свете есть конец, и заседание решено было закрыть.

Хозяйка дома поблагодарила за вечер, а ее муж пообещал наутро принести небольшой подарок для меня.

По пути домой дядя Мама сказал:

— Сын мой, долго еще будут говорить о тебе в нашей деревне!

Ну вот, а я-то считал его молчальником. Он не в состоянии был понять, насколько мне безразличен и даже неприятен такой разговор: будут или не будут в этой деревне или еще где-нибудь говорить обо мне.

Долго я не мог заснуть, все вспоминал, как рассказ о России и ее колхозах вызвал столь удивительную симпатию, почти восторг у здешних крестьян. А вот Америка оставила их совершенно равнодушными. Чему приписать столь различную реакцию? Быть может, в экономическом, промышленном, вообще в материальном развитии Америки есть что-то чудовищное и бесчеловечное, и крестьяне не могли не почувствовать этого? А Россия была близка им во всех отношениях (в моем описании, конечно, как кто-то изволил здраво заметить).

* * *

— Братец, ну проснись же, Медза, потом поспишь, если захочешь... Проснись же, наконец, дорогой брат мой...

Но я не могу проснуться... Река с остервенением уносит меня, хочу под водой открыть глаза, чтобы увидеть, где я, но вода, обжигая глаза, проникает между век. Тело все истерзано. О, как трудно дышать! Безуспешно пытаюсь плыть, но руки не слушаются. Едва вынырнув, снова иду ко дну. Какая радость! Медленно тело всплывает... Нос вдруг оказывается над водой, и я с жадностью глотаю воздух... Я спасен!..

— Брат, дорогой брат, Медза... Брат, а брат! Ну, проснулся наконец?

— Что случилось? — пробормотал я спросонья.

— Проснись скорей!

— Я уже проснулся, Замбо.

— Да нет, ты еще не проснулся как следует. Открой глаза!

— Если я сказал, что...

На меня с пристальным любопытством смотрела девушка, с удовольствием наблюдая эту сцену. Так, наверно, смотрят на новорожденных, стараясь угадать, будет ли младенец высоким или маленьким, красивым или некрасивым, проказником или послушным. Должно быть, я глупо таращил глаза, потому что Замбо поспешил добавить:

— Думаю, теперь ты проснулся. Ну и крепко же ты спишь!

— Не придирайся,— запротестовал я.— Если бы ты знал, как поздно я лег.

Легкая улыбка мелькнула на ее лице, в глазах светилась скорее материнская доброжелательность, чем пылкая любовь.

— Я вас покидаю,— сказал Замбо,— отца дома нет, так что можете говорить громко, не стесняясь. Впрочем, на старика можно не обращать внимания. Когда захочешь, завтрак тебе разогреют. Если постучат в дверь, скажи, что еще не встал.

Девушка продолжала смотреть на меня с настойчивым любопытством, все с тем же выражением доброжелательности, словно происходящее крайне ее занимало. Так смотрят взрослые на пробуждающегося ребенка. Вид у меня, наверно, был смущенный: я не знал, что предпринять, о чем говорить. Она сидела боком ко мне, и я мог рассматривать ее сколько хотел.

Бог ты мой, до чего она была хороша! Тонко очерченное личико, задорный носик, чувственный и в то же время надменный рот. Во всей осанке видно было спокойное и в то же время немного безразличное достоинство, присущее девушкам, которые знают, чего они хотят, и помнят все пройденные уроки, по крайней мере мне так казалось. Это была не деревенская простушка, от нее за сто лье несло городским духом — современная городская девушка. Покорность и наивность — черты, отличающие деревенскую девушку, живущую в лесу,— были ей не свойственны. Она сидела и чего-то ждала. Присмотревшись лучше, я начал сомневаться в своем выводе. «Девушки и женщины всегда чего-то ждут,— подумал я, вспомнив прочитанную где-то фразу.— Если их и отличает что-либо друг от друга, так это то, чего они ждут: одни, невинные девушки, ждут, сами не зная чего, а другие — прекрасно осознают заветную цель своих ожиданий».

Как она была хороша! Ее непринужденные манеры, смелый и ободряющий взгляд, недвусмысленная улыбка, фамильярность словно говорили: «Мне кажется, я тебя где-то видела, если не ошибаюсь!..» Я любовался ею, но это чувство восхищения было, так сказать, чем-то абстрактным: просто я видел перед собой красивую девушку. И в этом по крайней мере мы были схожи, в глазах друг друга мы были отвлеченными понятиями: я был героем дня, а она красавицей — с той лишь разницей, что ей нравились образованные молодые люди, а мне не столько красотки, сколько неискушенные девушки моего возраста, и потом...

— Ну, как дела, Элиза? — потягиваясь, спросил я, делая довольно жалкую попытку казаться развязным.

— Хорошо. Откуда ты знаешь, что меня зовут Элиза?

— Мне брат сказал.

— Вот смешно-то...

Меня уже раздражала ее дразнящая полуулыбка. Ее выжидательная позиция мне тоже не нравилась. Она ждала... Господи, чего ей надо от меня? В действительности же я слишком хорошо знал, чего именно она ждет. В какой-то момент я думал, что решусь. Я хотел взять ее за руку, но решимость моя вдруг иссякла, и рука, протянувшаяся к ней, тяжело упала на одеяло. Она повернулась ко мне с удивленным видом: казалось, она была очень раздосадована и смотрела на меня осуждающе. «Сейчас поцелую ее в щеку,— сказал я себе, но и на этот раз не пошевелился, словно пригвожденный к кровати.— Черт возьми,— думал я,— надо что-то предпринимать!» Вдруг я услышал ее насмешливый голос:

— Боже мой, какой же ты еще младенец! Трудно поверить!

Мне снова пришли на память слова брата, говорившего с сатанинской издевкой: «Братец, желательно, чтобы ты нравился ей, к тому же она должна быть доброй, иначе...»

А разве я по-настоящему нравился этой девушке, или, говоря другими словами, любила ли она меня по-настоящему? Была ли она добра? А если у нее доброе сердце, то может статься, что я вызывал в ней только жалость? Ведь она уже успела сказать мне: «Боже мой, какой ты еще младенец». И, может быть, она не остановится на этом и скажет мне что-нибудь вроде: «Ты бы мог по крайней мере не утруждать меня этим свиданием». Если верить словам брата, которые никак не выходили у меня из головы, некоторые женщины так злы, что могут сказать и похуже, например: «И это все, на что ты способен? Такой взрослый парень, как тебе не стыдно...»

Приглядываясь к ней, я заметил, что она ростом выше меня. И пока наши взгляды то и дело задерживались друг на друге, меня, как вол-

ной, захватило чувство холодного безразличия, беспомощности и отчужденности. Мышцы вдруг ослабли, тело стало вялым. Но я не только не огорчился, а даже обрадовался. Возбуждение прошло, теперь можно не бояться необдуманного поступка. Я уже испытывал щемящее чувство сожаления, понимая, что упустил решающий момент. И все же я поздравил себя с тем, что и так было достаточно ясно: отныне я не подступлюсь к ней. Девушке, наверно, тоже надоело улыбаться, и она отвернулась. Мое поведение встревожило и обескуражило ее. Я подумал: «Она выше меня не только на целую голову, я ей едва по плечо».

— Как твое имя? — спросила она.

— Медза, Жан-Мари Медза. Впрочем, держу пари, что ты знала его раньше.

— Мне говорили, но я забыла.

Эту фразу она прошептала мне на ухо. Странный запах исходил от нее, во всяком случае это не был естественный запах тела — от нее веяло слабым ароматом духов. В те времена не только в джунглях, но и у нас, живущих близ шоссе, все думали: если женщина употребляет духи, то лишь для того, чтобы скрыть дурной запах — признак серьезной болезни (конечно, венерической, ибо венерические болезни считались у нас самыми серьезными). Такое открытие совсем расхолодило меня — впрочем, в этом уже не было необходимости.

Мы долго сидели молча. Ужасно неловко чувствуешь себя, когда не знаешь, о чем говорить. Мы были по отношению друг к другу все равно что два стула, или два плетеных кресла, или вообще два предмета. Ничто не связывало нас, хотя мы и были рядом, никакого влечения к Элизе я не испытывал. С большим трудом мне удалось произнести:

— Как ты пришла сюда?

— Очень просто, меня привел твой брат.

— А меня вчера надолго задержали.

— Я знаю.

«Какую чушь мы говорим»,— подумал я.

Через полуоткрытое окно в комнату широким потоком ворвался рассвет. Стало ясно, что могут пройти годы, а мы останемся все в том же положении: она — в ожидании, а я — в нерешительности. Наконец она поднялась, собираясь уходить. На ее лице застыло непроницаемое выражение.

— Ты вернешься? — спросил я ради приличия.

— Не знаю,— ответила она, не оборачиваясь.

Я снова подумал, что она слишком высока ростом...

* * *

Как только она ушла, я встал и торопливо позавтракал. Потом в поисках брата зашел в мастерскую, где встретил дядю Мама, работавшего в одиночестве.

— А, это ты,— проговорил он.— А я как раз ждал тебя.

С равнодушным видом, с каким обычно муж говорит жене, в котором часу он хотел бы позавтракать на следующий день перед отъездом, заранее не предвидя никаких возражений, он объяснил мне в нескольких словах, что мы отправимся сегодня вечером в гости к одному уважаемому человеку, который пригласил нас к себе.

— Ты видел, что тебе прислали сегодня утром? — спросил он затем.

Он подвел меня к окну. Я посмотрел в том направлении, куда указывал его палец. Два молодых барана, самые красивые из всех, каких я когда-либо видел, были привязаны к мандариновому дереву. Они мир-

но пощипывали травку, цвет шерсти у обоих был одинаковый — белый с черными пятнами: наверно, близнецы. Дядя объяснил, что бараны — подарок, обещанный вчерашним хозяином. Хотя я был растроган этим, тем не менее с тревогой задавал себе вопрос: «Что же мне делать с этими злосчастными животными?»

Я нашел Замбо на плантации какао. Он для видимости размахивал мачете: шуму было много, а пользы мало. Заметив меня, юноша выпрямился и, насмешливо улыбаясь, спросил нетерпеливо:

— Ну?

— Что ну?

— Дорогой братец, ты ведь мне расскажешь, не правда ли? Ну, не будь же таким вредным! Расскажи.

— Что тебе рассказать, верзила ты этакий?

— Ну, как она?

— Красивая, ты был прав...

— Да нет, я спрашиваю, как она в обнаженном виде? Ласкова, наверно? Ну, рассказывай!

— Ах это! Об этом я не могу тебе рассказать...

— Почему? Не будь же таким вредным!

— Вредным? Нет, не в том дело, я не могу тебе ответить по той простой причине, что не видел ее обнаженной.

— Вам помешали?

— Нет.

— А что случилось?

— Да как тебе сказать...

— Послушай, братец, объясни толком, что случилось.

— Ничего не случилось.

— Как это ничего? Она тебе не нравится?

— Нет.

— Что? Не может быть.

— Представь себе.

— Она некрасива?

— Красива, только понимаешь, мне кажется, что она успела уже повидать всякое такое на своем веку.

Замбо уставился на меня, словно я сошел с ума. Необходимо было объясниться.

— Понимаешь, с такими, как она, надо держать ухо востро! Никогда не знаешь, что тебя ожидает... Это очень опасно...

Вот когда пригодились внушения матери об опасностях городской жизни, которыми она напутствовала меня каждый раз в конце каникул, перед отъездом.

— Почему опасно? — спросил Замбо, все еще не уразумев сути дела. Очевидно, его мать не очень-то пеклась об его здоровье.

Я замялся, не зная, как подойти к столь щепетильному вопросу, как преподнести ту малую дозу клеветы и в то же время избежать заведомой лжи, как подчеркнуть серьезность моих подозрений. Пусть Замбо думает, что я тяну с ответом главным образом из-за серьезных причин разоблачительного свойства. Наконец я решился и начал:

— Ты когда-нибудь слышал о таких болезнях, как сифилис и гонорея?

— А почему это пришло тебе в голову? Объясни, почему?

— Не знаю, но у меня такое впечатление... знаешь, от нее пахнет духами.

Замбо, задумавшись, пристально смотрел в землю, потом улыбнулся и успокаивающе сказал:

— Видишь ли, если бы твои опасения подтвердились, я был бы очень рад. Эта гордячка презирает нас. Но, увы. Это не так!

— Не так?

— Да, не так. Мы живем в деревне, а не в городе. У нас женщины ходят купаться на реку, ты знаешь это место, купаются они голые, все вместе. Любой мужчина при желании может укрыться где-нибудь поблизости, в чаще, и посмотреть. Они не прячутся. Элиза купается вместе со всеми. Если бы она избегала людей, тогда еще можно было бы ее подозревать, но она не старается уединяться, никто не заметил у нее ничего такого, что отличало бы ее от других. Ну, что скажешь?

— Тогда не понимаю, почему она пренебрегает вами.

— Некоторые считают так же, как и ты, что она больна дурной болезнью, но это не так. Если бы Элиза была больна, все знали бы об этом. Просто-напросто мы ей не нравимся, не в ее вкусе, вот и все.

— Послушай, друг мой, почему тебе так хочется, чтобы я связался именно с ней?

— Мне? При чем тут я? Она сама попросила. Я же тебе рассказывал.

Замбо ловко увильнул от ответа. Что касается меня, то я был уверен, что он задумал отомстить Элизе, избрав меня орудием своей мести. Чем иначе объяснить ту поспешность, с какой он меня спрашивал, как я нашел, хороша ли она в голом виде, ласкова ли и все прочее.

— Вот что,— сказал я ободряющим голосом.— Успех у женщин надо завоевать. Не отступайся от Элизы, и ты добьешься своего, это я тебе говорю.

— Ты так думаешь? — скептически и в то же время с надеждой в голосе спросил Замбо.

— Уверен в этом. А насчет меня вопрос исчерпан. Конечно, Элиза красивая девушка, я впервые вижу такую красотку. Но сам не знаю почему, когда она со мной, у меня пропадает всякое желание.

— Хочешь, я тебе подыщу другую, а?

— Да я уже подумывал об этом,— солгал я.— Только мне нужна совсем молоденькая, которая еще не знает азбуки, понимаешь? За красотой я не гонюсь, мне все равно, лишь бы была молоденькая и ласковая. С меня довольно этих старых девок!

Я вспомнил своего старшего брата и по этому образцу строил из себя разбитного малого, хвастаясь перед восхищенным Замбо.

— Понимаешь, надоели мне эти шлюхи, с их выученными ухватками, слишком уж хорошо знают они мужчин. Я только с такими и знался. Хватит! Меня тошнит от всего этого.

Кажется, Замбо действительно поверил. Мне повезло, природа, наделив его упрямством и склонностью к самоуничижению, отказала ему в воображении и совершенно лишила способности к критике. Теперь-то я понимал, что, находясь около такого вот человека, я мог бы всю жизнь чураться женщин, так как он все равно ничего не понял бы и не додумался до истинной причины.

После объяснения с Замбо я вздохнул с облегчением: и на этот раз мне удалось выйти сухим из воды. «Однако,— подумал я,— надо же когда-нибудь познать женщину, не оставаться же мне девственником на всю жизнь. Кто знает — может быть, в то утро Элиза и не сказала бы мне ничего неприятного». Я уже начинал сожалеть. Когда еще представится такая блестящая возможность! Сначала я боялся Элизы, подобно тому как путешественник боится кораблекрушения, подстерегающего его в пути. Теперь же я с тоской мечтал о ней. А если Замбо не сумеет подыскать для меня молоденькую девушку? Тогда, поклялся я себе, при-

звав на помощь всю свою храбрость, я брошусь в атаку на Элизу, предварительно почерпнув необходимые сведения из опыта Замбо, даже если мне придется открыть ему глаза на истинное положение вещей. Не мог же я уехать отсюда таким же невеждой, каким приехал...

Мы расстались, договорившись встретиться только поздно ночью. Замбо отправился на охоту за «дичью» для меня. Он надеялся высмотреть кое-кого в доме главы племени, старика многоженца, отца многочисленных дочерей, среди которых было несколько довольно молоденьких девушек. Замбо слышал, что вечером правитель в сопровождении своей свиты придет послушать меня. Это облегчило осуществление его замысла, таким образом Замбо мог без помехи проникнуть в дом, выбрать девушку по своему усмотрению и договориться с ней. Объяснив мне все это, Замбо ушел.

Хозяин, пригласивший меня на вечер, один из старейшин деревни, человек уже пожилой, возлежал на бамбуковой кровати у очага, в котором тлели раскаленные угли. На сей раз публика была более многочисленна и разнородна: пришли не только мужчины средних лет, как это было на последнем собрании, но и молодежь, женщины и дети. Я чувствовал себя уверенней, чем накануне, так как заранее приготовил ответы на те вопросы, которые, как я ошибочно полагал, обязательно будут мне заданы.

В сопровождении толпы прихлебателей и нескольких жен, словно на большое празднество, соизволил явиться даже сам правитель деревни. Таким образом, предположения Замбо подтвердились. На какой-то миг я с теплым чувством подумал о нем, представив, как он, словно призрак, неутомимо бродит во владениях правителя и, пользуясь различными предлогами, под покровом ночи отводит в сторону то одну, то другую девушку, чтобы со свойственной ему в этом деле легкостью и непринужденностью убедить их согласиться на его предложение.

Словно ожидая чуда, народ стекался со всей деревни. В хижине уже не хватало места, и люди теснились у входа. Короткая дискуссия предшествовала открытию собрания: поскольку около дверей хижины и во дворе собралось куда больше народу, чем внутри дома, то почему бы не устроиться на свежем воздухе?

Все скамейки и стулья были вынесены из комнаты во двор. Хозяин дома вынужден был расстаться с очагом не без сожаления, судя по тому взгляду, который он бросил на этот предмет домашнего обихода, столь необходимый, видимо, ему для полноты комфорта. У нас индивидуум повинуется коллективу с такой готовностью, которая могла бы привести в изумление самого Леви-Брюля *.

Я находился в центре двора, люди разместились вокруг в самых разнообразных позах. Иные сидели на стульях или в старых плетеных креслах. Многие устраивались на чем попало, приспосабливая для сиденья все, что подвернулось под руку, другие уселись на циновках, а некоторые стояли вдоль стены, чтобы лучше видеть меня. На стол, за которым я сидел, поставили газолиновую лампу (последнее слово техники), однако поскольку ее гудение покрывало мой голос, тихий, осевший от волнения, то принесли старую, но зато молчаливую, как болезненный ребенок, скромную лампу-молнию, свет которой по сравнению с ослепительным сиянием ее конкурентки казался мутно-желтым. Наверно, таким кажется свет солнечного дня человеку, болеющему желтухой. Дядя Мама тоже сел возле стола, почти напротив меня, очевидно, чтобы дать понять соб-

---

* Леви-Брюль, Люсьен (1857—1939) — французский буржуазный социолог, известен своими попытками с позиций идеалистической философии развить теорию об особенностях мышления первобытного человека. Эта теория была использована расистами и колонизаторами.

равшимся, что эта знаменитость, то есть я, доводится племянником ему, а не кому-нибудь другому.

Передо мной на столе возвышались две горки: орехов кола и бананов. Теперь все знали, что я жевал орехи кола — видели накануне,— но почему вдруг появились бананы — мне было неизвестно. Не люблю бананов, они всегда застревают в горле, по крайней мере мне кажется, что они душат меня, когда я их ем. Тем не менее в тот вечер мне пришлось проглотить целую дюжину, к большому удовольствию присутствующих, следивших за каждым моим движением. Я уже не говорю об орехах кола, ибо, могу признаться, настолько привык к ним, что перестал ощущать их горечь. Зато ночью мне так и не удалось заснуть крепким сном, в котором я нуждался и на который имел право, несмотря на то что случай лечь спать пораньше был мне ниспослан небом, как вы скоро сами об этом узнаете...

Сейчас трудно восстановить в памяти все те вопросы, на которые по требованию собравшихся я должен был отвечать. Помню очень хорошо один из них — не знаю точно кто, кажется, чудак Эндонголо, задал мне весьма каверзный вопрос, усиленно добиваясь ответа. Я никогда не задумывался над подобной проблемой. А ведь именно она черной тенью висела не только над моим собственным будущим, но и над будущим моих товарищей лицеистов.

— Брат,— сказал этот еще не старый человек,— каким трудом ты будешь заниматься после окончания лицея? И вообще, что будут делать все эти молодые люди, которые учатся с тобой?

В самом деле, что я буду делать после лицея? И до каких пор будет продолжаться мое учение? Помнится, мы не раз говорили о профессиях врача, преподавателя, адвоката и так далее, но разве мы действительно верили в то, что можем стать ими?

Ведь я учился только потому, что отец требовал, чтобы у меня был диплом. Его совершенно не беспокоил вопрос, к какой гавани я пристану со своим дипломом. Короче говоря, раз уж меня силой принудили учиться, то я по-своему приноровился к учебному процессу, превратив его в развлечение, своего рода игру. Вот какие мысли промелькнули в моей голове.

— Все профессии нам по плечу,— ответил я без убежденности в голосе.— Мы будем преподавать в школах, ну, таких, например, где я учусь...

— Даже если в школах будут учиться дети белых?

— Да, если даже там будут учиться дети белых.

От удивления человек всплеснул руками.

— А что вы еще будете делать?— спросил он.

Я не мог видеть его — он находился в тени,— а мне так хотелось рассмотреть лицо этого мучителя, с таким садизмом донимавшего меня вопросами. Я выбился из сил и готов был молить о жалости, о пощаде...

— Что ж сказать... будем работать в суде,— в замешательстве продолжал я,— работать в суде, служить в конторах... словом, будем делать многое...

Тут вмешался в разговор правитель:

— А можете ли вы стать правителем, как я, например?

Мне казалось, что правитель с тайным умыслом задал вопрос (впоследствии подтвердилось, что я не ошибся), стараясь выяснить, прав он или нет, подозревая во мне своего будущего конкурента.

— Нет! — не задумываясь, ответил я, пытаясь изобразить полное безразличие на лице.

Услыхав такой ответ, правитель, казалось, был уязвлен, словно я не проявил подобающего уважения к столь высокой должности. Он снова спросил меня вызывающим тоном:

— Почему? Почему же?

— Правитель,— ответил я, улыбаясь,— ведь ваша должность переходит по наследству. К таким должностям в школах не готовят.

— Ах вот как!— сказал он, успокоившись.

Люди, окружавшие меня, внезапно замолчали. Дядя Мама объяснил мне потом: все ждали от меня, что я посажу в галошу их правителя, которого они порядком недолюбливали. Ему ставили в вину чрезмерную подобострастность перед колониальной администрацией. Во времена принудительных работ правитель проявлял просто бешеную энергию, выслуживаясь перед своими хозяевами. Он объявил незаконную мобилизацию населения, реквизицию скота и всякого другого имущества. Конечно, приказы о реквизиции давались свыше, но не в таких масштабах, как требовал правитель. Это был еще не очень старый, толстый, заплывший жиром человек. То, что происходило в тот вечер, мало интересовало его, тем не менее он счел долгом почтить собрание своим присутствием не ради полицейского надзора, конечно, а просто из убеждения, что ни одно событие в его округе, сколь бы незначительным оно ни было, не должно происходить без его участия. Правитель, оказывается, был человеком с характером; к моему прискорбию, я убедился в этом слишком поздно. Но не будем забегать вперед.

Помнится, вслед за ним вопросы стала задавать женщина с сосредоточенным, сердитым выражением лица.

— Сын мой,— сказала она,— когда вы займете такие должности, вы станете зарабатывать много денег? Много, правда?

Действительно, подумал я, сегодня вечер странных вопросов. Я приготовил обтекаемые ответы, представляя, что сегодняшнее собрание будет похожим на вчерашнее. Судьба снова в который раз подставила мне ножку. Конечно, задавали вопросы, захватившие меня врасплох.

— Я не знаю, сколько мы будем зарабатывать,— ответил я искренне.

Вокруг загалдели.

— Разве можно задавать такие вопросы!

— Разумеется, они будут много зарабатывать!

— Можешь не беспокоиться, проучившись в школе столько лет, они не дадут себя провести, они сумеют постоять за себя, не то что мы!

Женщина терпеливо ждала, пока все успокоятся. Ее нельзя было сбить с толку. Она знала, чего хочет. Вдруг в полосе света промелькнула чья-то тень. Это был Замбо. Он наклонился над столом и не спеша взял плод кола. Отец одернул его.

— Ты что, не мог найти в другом месте?— сердито сказал он.

— Дядя,— запротестовал я,— зачем мне столько орехов? Мне с ними не справиться за целый год.

— Неважно,— рассудительно сказал дядя,— неважно, сколько ты съешь, надо, чтобы тебе их хватило.

Я понял, что Замбо давал мне знать, что вернулся, проделав немалую работу, надо полагать, такую работу, результатом которой он мог гордиться. Эта мысль меня встревожила.

— Сынок,— заговорила опять сердитая женщина, как только водворилось молчание,— раз вы будете зарабатывать много денег, то, наверно, и жить будете, как белые.

— Как это понять?

— Будете жить в домах, окруженных заборами, курить сигареты и читать газеты по вечерам, откажетесь пить воду из нашего источника,

предпочтете красное вино нашему пальмовому вину. Будете ездить на машине. В вашем доме на столе будет скатерть! Прислуживать вам будут черные слуги, и вы перестанете говорить на нашем языке. Может быть, вам, как и белым, неприятны станут звуки наших тамтамов? Очень хорошо. Но я хочу спросить тебя: а как вы будете тогда обращаться с нами? Сможем ли мы войти в ваши дома свободно, как мы входим в дома других наших детей? У вас никто не помешает нам говорить и смеяться? Ходить, как нам нравится, босиком? Есть с вами из одной тарелки, даже если мы не умеем как следует держать вилку? Сынок, нам это разрешат?

— Еще бы,— ответил я, чтобы раз и навсегда покончить с этой темой,— конечно, вы будете чувствовать себя у нас так же, как везде, как и у других ваших сыновей.

— Ты в этом уверен?— спросила она в высшей степени скептически. Ее скепсис было легко понять.

Мне захотелось пить. Кажется, я сказал об этом дяде. По цепочке люди передали мою просьбу хозяину. Жена его вошла в дом и вынесла стакан, который она поднесла к лампе.

— Достаточно чистый?— повертев стакан перед светом, спросила она у меня.

— Конечно,— с некоторым раздражением сказал я.

Потом женщина отправилась за кувшином с водой, но она не успела налить стакан, как в толпе раздались протестующие возгласы: «Достаточно ли чиста и безвредна для него вода, не заболеет ли он от нее?» Напрасно я старался разуверить их, слушатели не сдавали своих позиций.

— Подождите!— закричал один из парней.

Он куда-то сбегал и вскоре вернулся, потрясая бутылкой, которую с торжественным видом поставил передо мной на стол. Мой дядя схватил ее, раскупорил и наполнил мой стакан. Я с удивлением почувствовал необычный запах, исходивший от напитка. Я поднес стакан к губам и тут же опустил его: зелье было настоено на крепком спирте. Меня мучила жажда, в воде было отказано, выбора не было. Я начал пить маленькими глотками и выпил бы весь стакан, если бы его содержимое было приятнее на вкус. Потом я взглянул на этикетку и увидел, что глотал американское виски. Позже я узнал, что здешний миссионер, живущий неподалеку от Кала, изредка дает виски в оплату за оказанные ему услуги.

Никто не заметил, что небо постепенно заволокли черные тучи и ночная тьма все больше и больше сгущалась вокруг нас.

С этого дня, можно сказать — с этого момента во мне твердо укоренились два убеждения, которых ничто не могло поколебать: во-первых, на свете не существует ничего более противного на вкус, нежели американское виски, и, во-вторых, на свете не существует ничего более успокоительного, нежели виски,— хлебнув его, человек чувствует себя непринужденно и уверенно в любой обстановке. Мое настроение тотчас же изменилось: окрыленный чрезмерным оптимизмом и доброжелательностью, я сразу стал оживленным и веселым. Первый же глоток виски придал мне уверенности. Прихлебывая из стакана, я становился все речистее. Тогда мне было невдомек, по какой скользкой тропинке я пустился в путь, который и сам по себе не предвещал ничего хорошего...

Я стал объяснять все в мельчайших подробностях, успокаивал своих слушателей, льстил им напропалую, рассказывал смешные анекдоты, тут же сам придумал один анекдот и вслед за ним другой. Не знаю, разобрались ли они в истинной причине моей разговорчивости, но по всему было видно, что мое воодушевление им по душе и даже радует их.

Хлынул дождь. Я, как говорится, обошел полсвета и все же полагаю, что таких свирепых, сильных, бешеных, как заградительный огонь самого

господа бога, ливней не бывает нигде, кроме как в нашем краю. Короче говоря, это был один из тех ливней, что прерывает вас на полуслове, где бы вы ни были: в доме или на улице. Началось беспорядочное бегство. Моя аудитория, словно рой мух, разлетелась в разные стороны. Дядя схватил меня за руку, как хватают вора, запустившего руку в чужой карман, или ребенка, чудом избежавшего несчастного случая на оживленной улице. Он дотащил меня до дому и только там выпустил. Когда я вошел в свою комнату, Замбо уже поджидал меня. Он успел зажечь лампу и растянулся на моей кровати. Увидев меня, он быстро вскочил. Его физиономия сияла от радости, ведь ливень вынудил стариков отпустить меня раньше, чем им хотелось. Я еще раздевался, когда дядя, приоткрыв дверь, протянул мне что-то.

— Держи, сынок, твоя бутылка...

Все-таки забыл ее... Я был благодарен дяде за то, что он принес бутылку, и живо убрал ее, не показав Замбо: я боялся, как бы он не потребовал своей доли.

— А знаешь,— сказал вполголоса Замбо,— я ведь был в доме правителя.

— Ну и?..

— Все в порядке.

— Сегодня вечером?

Я был крайне возбужден алкоголем. Мне казалось, что теперь я буду смелым и предприимчивым, как настоящий Дон Жуан, с любой девушкой, даже с Элизой.

— Я видел их,— небрежно промолвил Замбо.

— Хотелось, чтобы это были все-таки взрослые девушки, а?

— Ну, конечно, можешь не беспокоиться. Я разбираюсь в этих делах, братец. Они согласны. Конечно, они не сразу скажут «да», но я-то знаю их, девчонки просто места себе не находят от радости.

Замбо задумался. Мне очень нравилось выражение сосредоточенности на его лице.

— Самое трудное,— продолжал он,— заставить их прийти сюда.

— Почему?

— Сам знаешь! А родители, а мой отец...

— Что же делать?

— Я думаю, дорогой братец, что о сегодняшнем вечере не может быть и речи. Подождем до завтра. Надо разработать план и в точности следовать ему.

Некоторое время мы сидели молча, потом он хлопнул меня по плечу.

— Доброй ночи, братец! Не будь таким нетерпеливым. Скоро все наладится.

Он вышел. Оставшись в одиночестве, я долго не мог уснуть. Без всякой видимой причины ворочался в постели, то мне казалось, что одеяло, ощетинившись мельчайшими шипами, колет меня, то я прислушивался, нет ли кого за дверью, словно ожидал кого-то. Я мечтал об Элизе, обнаженной, лежащей подле меня, ставшей моей собственностью на эту ночь. Я мог бы делать с ней все что хотел, мог касаться ее тела. класть руку куда мне вздумается...

* * *

Приглашения и вечерние бдения следовали одно за другим. Я уже не принадлежал себе, превратившись в собственность дяди, который распоряжался моим временем как хотел: на полученные в мое отсутствие приглашения всегда следовал его утвердительный ответ. Когда же

я появлялся в поле его зрения, он спокойно сообщал мне об очередном предстоящем нам визите. Мысль об отказе мне и в голову не приходила. Вы знакомы еще по школе с моим непоседливым характером и, вероятно, удивляетесь такой необычайной пассивности с моей стороны, но это было так, а почему, я и сам не понимаю. Впрочем, предполагаю, что любой человек, столкнувшись с таким невозмутимым и уверенным в себе характером, каким обладал дядя Мама, едва ли попытался бунтовать...

Каждый раз наутро после очередного визита к дяде Мама прибывали приношения: большей частью молодые барашки. Вскоре их уже негде было привязывать, и дяде пришлось за домом построить специальный загон для них. Я частенько мог наблюдать, как дядя Мама, высунувшись из окна своей мастерской, подолгу и с видимым умилением любуется бараньим стадом.

Дядя Мама оказывал мне теперь все больше и больше знаков внимания и дружеского расположения. Он часто разговаривал со мной и даже иногда смеялся в моем обществе. Такое отношение подкупало меня — ведь мой отец никогда не говорил со мной по-дружески. Отец относился ко мне как к жалкой собачонке, в обращении с которой не скупятся на удары мухобойкой, дабы держать в постоянном послушании и покорности. С дядей Мама, напротив, я чувствовал себя мужчиной. Хотя он и распоряжался моим временем, зато возмещал это искренним дружеским расположением ко мне.

Сознание, что я — важная и незаменимая персона, все глубже и глубже укоренялось во мне. В моем характере появлялись новые опасные черты. Я взрослел.

Однажды утром, слоняясь без дела, я зашел в мастерскую дяди Мама посмотреть на его работу. Я никогда не испытывал особого интереса к столярному делу, но в движениях столяра столько ловкости и своеобразной красоты, что я мог часами любоваться работой дяди.

Как только я вошел, дядя Мама приветливо поздоровался со мной, встретил веселой шуткой, не помню уж какой. Потом он долго молчал, молчание это, отделившее обычные слова приветствия от преподнесенного мне затем урока высшей философии, приобрело, таким образом, особенное, почти жизненно важное значение.

— Сынок,— сказал он, не переставая строгать длинную доску,— сын мой, ты знаешь, что такое кровь?

— Кровь, дядя?

— Да, кровь.

— Да, я знаю, что такое кровь.

Он перестал строгать и устремил на меня взгляд, полный иронического любопытства, смешанного с доброжелательностью. Такое выражение можно подметить в глазах дотошного экзаменатора, который задает ученику трудный вопрос с тайной надеждой, что тот не сможет ответить на него.

— Да, дядя, я знаю, что такое кровь. Здесь нет ничего трудного. Кровь — это красная жидкость, которая течет в наших венах.

Дядя Мама рассмеялся, чем привел меня в немалое замешательство, и, покачав головой, снова взялся за рубанок. Его движения были плавными, замедленными и уверенными — казалось, он нарочно демонстрирует свое искусство, видя, с каким восхищением я слежу за ним. Его торс был обнажен, выпуклые мускулы, словно отдельные части какого-то удивительно слаженного механизма, участвовали в работе, передавая накопившуюся энергию и досылая ее руке, державшей рубанок.

Я смотрел на него с удивлением, любопытством и... досадой. С удивлением потому, что, спросив о крови, он засмеялся мне в лицо, когда

я попытался объяснить. С любопытством потому, что желал услышать его мнение по этому вопросу. С досадой потому, что был уверен, что мое определение крови было правильным, если бы мне дали возможность довести его до конца. Если до сих пор я был крайне невысокого мнения о своей особе, по крайней мере достаточно благоразумен, чтобы не слишком кичиться своим образованием, тем самым образованием, благодаря которому я превратился в важную персону в Кала, то теперь достаточно было слегка подшутить надо мной, и я уже впадал в амбицию. Ничего не поделаешь, такова человеческая природа!

Несколько минут дядя безмятежно строгал доску, затем выпрямился и сказал:

— Конечно, я спрашивал о крови. Но не об этой крови.— Немного помешкав, он добавил: — Если хочешь, я спрашивал о крови, но с другой точки зрения, не так, как ты объяснил. С точки зрения людей, которые не учились в школе...

Он склонился над верстаком и еще несколько раз прошелся рубанком по доске, потом опять выпрямился.

— Знаешь ли ты, что такое родство?

Но прежде чем я успел ответить, он продолжал:

— Я сейчас тебе отвечу. Родство людей означает родство крови.

— Ну конечно.

— А это означает, что если узы родства связали тебя и меня, то одна и та же кровь течет в наших венах. Или, вернее, с того времени, как одна и та же кровь потекла в наших жилах, нас связало родство...

Дядя Мама избегал моего взгляда, говорил нехотя, но по всему было видно, что тема эта ему не безразлична. И пока дядя говорил, он ходил то в один, то в другой угол мастерской, искал какие-то нужные ему инструменты, и поэтому некоторые его слова ускользали от моего слуха. Мне пришлось следовать за ним по пятам, чтобы не упустить даже крупицу этих захватывающих откровений.

— Вот что действительно важно,— продолжал он в припадке красноречия,— одна и та же кровь течет в твоих венах и в моих. Подумай об этом, сын мой!

Изложив свои взгляды подробно, как это делается в тех случаях, когда высказанная мысль задевает вас за живое, он спросил у меня:

— Белые вам об этом рассказывали?

— О чем, дядя?

— Неужели тебе непонятно? О том, какое значение имеет кровное родство.

— Нет, дядя, нам не рассказывали.

— Нет?

— Нет.

Ответ остался без комментариев. Некоторое время дядя работал молча. Потом он выпрямился, собираясь, видимо, развивать дальше новую тему: какую вину несут белые за то, что не придают значения кровному родству.

Должно быть, разрешение столь важной проблемы было жизненно необходимо моему дяде.

Он задал мне несколько вопросов, имеющих отношение к кровному родству. Например:

— Сын мой, когда ты приехал сюда, в Кала, разве ты не подумал сразу, что будешь жить у меня, а не у какого-нибудь другого человека?

— Подумал, что буду жить у вас.

— Почему?

— Потому что...

Здесь я запнулся. Я чуть было не сказал, что старик Бикоколо посоветовал мне поселиться у него, у дяди Мама. Но теперь, когда я начинал входить в игру, я почувствовал западню и вовремя остановился на краю ямы.

— Ну-ка, почему? Скажи, племянничек!

— Не знаю, не знаю...

— Не знаешь? Да просто оттого, что нас соединяет кровное родство.

Он склонился над рубанком с полупрезрительной улыбкой, словно преподаватель греческого языка в провинциальной школе, который понимает, что уровень знаний его ученика ни за что не поднимется выше среднего, и поэтому давно махнул на него рукой. Затем дядя поднял голову, посмотрел на меня, словно хотел сказать: «Ничего! Еще не все потеряно».

— Ну, а если,— начал он снова,— ты станешь важным чиновником в городе и я приеду туда, где я остановлюсь, а?

— Конечно у меня, а как же иначе?

— Почему же?

— Кровное родство обязывает...

— Ну наконец-то! Я ведь знал, что ты поймешь.

Подумать только! По его мнению, все сводилось к кровному родству. В его глазах этот вопрос был ключом к любой науке, к разгадке любой тайны, основой понимания вселенной, его эвклидовой геометрией или, лучше сказать, его четвертым измерением. Другие додумались до теории относительности, нашли положительную и отрицательную кривизну в геометрии, а он открыл свою неопровержимую, неоспоримую и единственную в своем роде космогонию — родство крови!..

Дядя перевел дух, глаза его были прикованы к стаду барашков. Потом он продолжал:

— Так. Поговорим теперь насчет этого стада, твоего неожиданного богатства. Можешь мне сказать, что ты собираешься с ним делать?

Я подумал: «Ну вот, сначала мне преподнесли теорию кровного родства, а теперь принуждают к полнейшему альтруизму или к чему-то в этом роде».

— Ну, дядя, тут все очень просто, я оставлю его тебе.

Я был доволен, что так ловко избавился от этих животных: по крайней мере, они не попадут в лапы моего отца. Уж он-то не упустит случая спекульнуть ими. Услышав мой ответ, дядя Мама рассмеялся:

— Все стадо мне оставишь, сынок?

— Все, дядя.

— Нет, так нельзя, дорогой мой племянник. С меня хватит и половины. Половину ты возьмешь с собой, ладно?

Я подумал про себя: «Так и говорил бы сразу».

Закончив работу, растроганный дядя Мама пустился в откровенные излияния. Его состояние духа настолько отличалось от обычного, что я невольно спрашивал себя: «Не свихнулся ли мой дядя?» Он доверительно сообщал мне, что в момент моего появления на свет находился в доме моего отца (теперь он не припомнит, почему именно был у нас), что родился я в ясный солнечный день: он меня видел — я был таким красивым, таким красивым ребенком! Он пришел тогда в неописуемый восторг, теперь-то он понимает, почему его охватила в тот момент такая радость...

Я слушал его краем уха. Как я ошибся в нем, какое разочарование! Удивительная ясность, с которой он помнил далекое прошлое, казалась мне подозрительной. Хотя многие черты его характера теперь напоминали мне отца, я не возражал дяде Мама и был все же благодарен ему: по

крайней мере он удостоил меня своей дружбой, пускай даже ценой эксплуатации моей персоны.

Я находился в этой деревне на положении армии, бесконечно долго ожидающей битвы, решающий день которой генералы противных сторон просто-напросто забыли назначить. Я не располагал временем даже для прогулки на велосипеде. Иногда мне удавалось выкупаться в реке с Иоганесом Гусиные Лапы, Петрусом Сыном Бога, Авраамом Бескостным — тройкой лучших друзей Замбо.

Меня осаждали с самого утра. Сначала шли в атаку дети. Вооруженные книгами и грифельными досками, они набивались в хижину дяди Мама, требовали, чтобы я научил их читать, писать, производить четыре арифметических действия, чтобы объяснял им картинки в учебниках.

Затем наступал черед взрослых. Приходили мужчины и заставляли меня писать им письма: после моего приезда каждый вбил себе в голову, что должен обязательно сделать заказ в одном из европейских магазинов. Я стал общественным писарем и строчил с утра до вечера, окруженный толпой заинтересованных лиц, которые с неустанным любопытством следили за каждым движением моей руки.

Приходил и слабый пол, настолько слабый, что я до сих пор не знаю, почему именно девушки и особенно женщины средних лет каждый раз, когда они могли себе позволить эту роскошь, приходили и принимались смотреть на меня просто так, смотрели — и все тут.

Вечерние собрания мало-помалу теряли свою притягательную силу. Старики так часто слушали меня и так много задавали мне вопросов, что в конце концов получили сведения по всем наиболее важным для них проблемам, и посему пыл любознательности у всех поубавился.

Но, несмотря на то что интерес к этим сборищам несколько охладился, они тем не менее продолжались, подобно ежедневным ритуальным церемониям. Казалось, что они не прекратятся до тех пор, пока каждый глава семьи в деревне не окажет мне честь устроить прием в своем доме. Теперь я уверен, что если бы даже я и побывал в гостях у каждой семьи, решив продлить под каким-нибудь предлогом свое пребывание в Кала, то и тогда меня не оставили бы в покое: приглашения продолжали бы поступать ежедневно.

* * *

Жена Ниама, предмет моей миссии, все еще не возвращалась в деревню. Каждые два дня мы с Замбо ходили к ее отцу. Он был, пожалуй, единственным человеком в Кала, проявлявшим умеренный восторг по отношению к моей персоне. Мне было очень трудно понять, за что именно он сердился на меня. Замбо с согласия дяди Мама взял на себя всю ответственность за ведение дела. Он сам вел переговоры с тестем Ниама. Уже не раз в порыве необъяснимого рвения Замбо пытался затеять ссору, которая, к счастью, не выходила за пределы закопченной хижины, я всячески старался избежать скандала. Помнится, Замбо даже обозвал раз жену Ниама в присутствии ее отца чуть не шлюхой или как-то в этом роде. Мне показалось, что братец выражается чересчур сильно. Вскоре, однако, я понял, что Замбо был недалек от истины.

* * *

С бутылкой виски я обращался очень бережно, как с женщиной, которую хотят любить долго и не стараются насытиться ее любовью в первую же ночь. Это объяснялось просто: я не надеялся, что мне

предложат еще одну такую же драгоценную бутылку. Я рассматривал виски, как нисполанный мне провидением источник тех качеств, которыми меня обделила природа или которые в некоторых трудных обстоятельствах могли меня подвести. Мне так не хватало веселости, непринужденной сердечности, красноречия и находчивости в разговоре и особенно смелости в обращении с женщинами. Если я и берег виски, то в надежде, что Замбо приведет какую-нибудь девушку и мне тогда придется обратиться к чудесному источнику, чтобы найти в нем силы и не потерять самообладания, не отступить и на сей раз с позором.

К несчастью, несмотря на все свое старание мне услужить, Замбо столкнулся с ранее не предвиденными трудностями.

— Девочки,— говорил он,— явно не прочь подружиться с тобой, самое трудное привести их к нам в дом.

На протяжении нескольких дней все планы Замбо, к крайнему его неудовольствию, расстраивались по самым непредвиденным причинам. Что касается меня, то перспектива встречи с особой женского пола уже не страшила меня: во-первых, это должна была быть чистая девушка моего возраста, во-вторых, чтобы с честью выйти из этого испытания, я рассчитывал на мою бутылку так же, как охотник за дикими зверями надеется на свой карабин при встрече с гориллой.

Наконец Замбо, даже не предупредив меня, состряпал одно дельце. Ночью, когда я давно спал глубоким сном, он разбудил меня и сказал шепотом:

— Братец, накинь-ка на себя что-нибудь потемнее и ступай за мной.

Сердце мое бешено забилось, меня охватило тревожное чувство, словно предстояло совершить налет на хорошо охраняемый вражеский заслон. Прежде чем последовать приказанию Замбо, я несколько раз приложился к бутылке. Виски обожгло мне глотку и желудок.

Как воры или объявленные вне закона преступники, мы ощупью осторожно пробирались позади хижин. Ночь была темная, впереди не видно ни зги. Я шел за братом, держась вплотную к нему, стараясь ступать по его следам. Минут через двадцать, показавшихся мне вечностью, мы подошли к хижине, где спали женщины.

— Стой здесь,— шепотом приказал мне Замбо.

Я спрашивал себя, что он задумал. Всю дальнейшую операцию он провел один: обогнув хижину, около которой я стоял на страже, вышел на широкую дорогу, похожую на улицу и разделявшую деревню на две части, затем направился к нашему дому, насвистывая на ходу всем известную популярную песенку. Он удалялся, вернее, делал вид, что удаляется, ибо спустя короткое время я почувствовал его дыхание совсем близко от себя. Он подошел вплотную ко мне и сказал:

— Она сейчас придет.

— Кто? — с беспокойством спросил я.

— Подожди, сейчас увидишь. Хорошенькая и совсем молоденькая, в твоем вкусе.

Было очень свежо. Набежавший ветерок едва шевелил листву банановых деревьев. На мне была тонкая накидка, и я продрог. Мерзли, правда, только ноги, ибо живот и грудь с избытком были согреты виски, действие которого, к моему удивлению, не замедлило сказаться.

Прошло немного времени, и мы услышали, как тихо скрипнула дверь. Торжествующий Замбо ущипнул меня за руку.

— Она,— прошептал Замбо.— Это она.

Я еще не был уверен, что появилась именно «она», и чувствовал себя в относительной безопасности. Маленькая фигурка возникла у угла хижины в нерешительности, словно зайчик, потопталась на месте, потом

боязливо и осторожно начала продвигаться в нашем направлении и наконец приблизилась к нам. Замбо и девушка узнали друг друга и начали совещаться, отстранив меня от участия в переговорах, которые хотя и длились недолго, но не были лишены, как мне не без основания показалось, известной живости. Между двумя договаривающимися сторонами действительно завязался спор: Замбо предлагал девушке без лишних разговоров пойти к нам, девушка отказывалась, боясь своей матери, которая будет беспокоиться, если она через некоторое время не вернется в хижину. Замбо, озадаченный и, видимо, раздосадованный, подошел ко мне и прошептал:

— Ну, брат, я подожду тебя поблизости.

Я хотел сказать: «А как же...» — но он исчез. Девушка стояла передо мной, мы остались наедине. В горле так пересохло, словно меня засунули в топку. Я судорожно глотал слюну, пытаясь смочить горло. Девушка молчала и смотрела в сторону. Я подошел к ней. Она тоже дрожала от холода, а может быть, притворялась. Я взял ее за руку, и она послушно приблизилась ко мне, будто только этого и ждала. Я опять подумал: «Девушки всегда ждут...» Теперь я чувствовал, как ее дыхание коснулось моего подбородка. Я впился в ее губы долгим поцелуем, но она высвободилась нервным, нетерпеливым движением, словно ей не понравился вкус моих губ или мое дыхание. Думаю, что ее оттолкнул непривычный запах, должно быть от меня за километр разило виски. Вдруг она оказалась так близко от меня, что инстинктивным движением я заключил ее в свои объятия и беспомощно, неловко прижал к груди, не зная, что делать дальше. Она не сопротивлялась, это придало мне смелости. На ней тоже была одна лишь накидка, и я явственно ощущал все изгибы молодого мускулистого тела деревенской девушки. Не в силах дальше сдерживаться, неловким, слишком сильным движением я отбросил с плеч накидку, обнажил ее грудь, живот и бедра. От тела девушки исходило удивительное, неистовое тепло, как от напоенной дождем земли в лесу, согретой лучами солнца. От нее пахло ароматами диких трав.

Мои руки скользили по ее груди, бедрам, животу. Она почти не сопротивлялась, ей приходилось то и дело подхватывать правой рукой накидку, которая норовила упасть на сырую землю. Боже мой! Тело девушки пылало. Как хорошо пахло от нее! Я не в состоянии описать вам этот аромат. Я не могу вызвать у вас даже слабого представления. Не могу, бессилен! Знаю только, что никогда больше я не встречал ничего подобного и, наверно, никогда уже не встречу теперь, когда начал быстро стареть. Я страстно ласкал ее и чувствовал, что мне мешает мое собственное тело, охваченное неудержимым смятением, которое мне хотелось скрыть от нее во что бы то ни стало. Не знаю почему, но я боялся, что она осудит меня. Невинный юноша! Угрызение совести мучило меня. Впервые я чувствовал женщину так близко, прижимался к ней. Задыхаясь, я тискал ее тело, только и всего. Если вы думаете, что наше свидание длилось долго, то вы заблуждаетесь. Тогда мне показалось, что пронеслась целая вечность. Но все обманчиво! Я должен в этом признаться, потому что Замбо спросил меня, почему я вернулся так скоро, не помешал ли нам кто-нибудь...

Устав бороться со мной или, что вероятнее, не желая отдаваться мне в такой неподходящей обстановке (девушки стремятся познать мужчину не сразу, не так грубо, а постепенно), она с силой вырвалась из моих объятий, оставив меня изнемогающего в предвкушении наслаждения, в котором я только начинал разбираться. Я остановил ее, схватив за руку. Вместо того чтобы прижаться ко мне, она сказала:

— Нет, нет, я боюсь... Мне нельзя задерживаться. Мать рядом,

в этой хижине. Она слышала, как я уходила, будет беспокоиться и, чего доброго, выйдет меня искать.

— Давай отойдем подальше.

— Я же тебе сказала, что мать будет беспокоиться, если я сейчас же не вернусь в дом.

Мы начали пререкаться. Она все время пыталась освободиться, а я, прижимая ее к себе, хотел только одного — вернуть то блаженное, к несчастью упущенное, состояние сладострастия, которое, я боялся, больше не повторится.

— Ты не хочешь отойти в сторонку, не хочешь?

— Нет, боюсь... Я тут ни при чем: мать рядом, вот здесь, совсем близко. Твой брат тоже хотел, чтобы я пошла с тобой. Но я не могу.

Она дала поцеловать себя в губы, чтобы доставить мне удовольствие, потом медленно отступила от меня. Я уже не пытался ее удерживать.

— Ну так как же?

— Что?

— Когда мы встретимся?

— Не знаю.

— Действительно не знаешь?

— Встретимся как-нибудь. Откуда я знаю?

— Как тебя зовут?

— Эди́ма. Меня зовут Эдима. Если будет время, предупрежу твоего брата. Ты когда уезжаешь?

— Не знаю... Откуда мне знать. Может быть, завтра. Все зависит от того, когда вернется женщина, за которой я приехал.

— И ты уже не вернешься?

— Не знаю...

Она задумалась, потом, словно решившись, так по крайней мере мне показалось, сказала:

— Надо идти. Еще увидимся. Доброй ночи.

Я присоединился к моему брату, он сердито ворчал что-то про пугливых девчонок.

— Знаешь, я все-таки сумею уговорить одну девушку, которая не побоится пойти с нами,— объявил он.

— Не надо,— взмолился я.— Не ищи никого, мне нравится эта.

До чего же мы сентиментальны в эти годы! Об этой незнакомой мне девочке, лицо которой я даже не сумел как следует разглядеть в темноте, я уже мечтал, как мечтают о той, без кого немыслимо дальнейшее существование. Меня охватила радость только потому, что несколько секунд назад я прижимал девушку к своей груди.

Долго я не мог уснуть. Меня обуревали противоречивые чувства: и восторг, словно я совершил великое открытие, и вместе с тем досада — я упрекал себя в недостатке смелости. На самом деле я переживал еще и еще раз то истинное наслаждение, которое доставило мне ощущение крепкого, налитого молодостью девичьего тела. В глубине души я корил себя за то, что не довел дело до конца. Таково было, как видно, мое тогдашнее умозаключение. В дальнейшем я стал лучше разбираться в своих ощущениях и из личного опыта почерпнул первую и главную истину: высшее наслаждение, которое может подарить женщина, кончается там, где начинается половая близость. Может статься, у вас иное мнение, но мне кажется, что прав я. По-моему, любить и быть счастливым — означает в первую очередь не тащить женщину в постель. До тех пор пока вы не познали женщину, ее можно любить, но как только вы вкусили блаженство от ее лона, все кончено, если только она не ангел, вроде Эдимы, а вы сами не святой...

На другой день я встретил Эдиму. Оказалось, я встречал ее и раньше. Эдима была совсем еще девочкой. Она часто проходила мимо дома дяди Мама и каждый раз украдкой с любопытством косилась в мою сторону. В это утро у нас собралось много детей. Девушка тоже вошла в комнату и уселась поодаль, но потом, освоившись, она постепенно придвинулась поближе ко мне, время от времени пугливо озираясь и поглядывая в сторону мастерской дяди Мама: Эдима его очень боялась. В этот день мы и стали друзьями. Но из-за множества людей, находившихся в комнате, мы не могли поговорить друг с другом, как нам хотелось. Впрочем, Эдима пользовалась любым предлогом — упал ли карандаш, отпустил ли кто-то шутку, уж не знаю еще что,— чтобы пошутить и особенно посмеяться.

Она совсем еще молоденькая девушка, подросток, почти ребенок, ей не исполнилось, наверно, и пятнадцати лет, но физически она была вполне сформировавшейся девушкой. Меня изумила простота покроя ее платья. Какая она была хорошенькая! Ее лицо, на котором жизнь не оставила еще своих следов, напоминало лицо младенца, а тело, удивительное создание природы,— округлая линия бедер, нежные руки, маленькая крепкая грудь — производило впечатление хрупкости и в то же время упругости. Эдима напоминала молоденькое деревце в лесу, такое же зеленое, свежее, полное живительных соков. Наголо остриженная головка придавала ей сходство с мальчишкой, но нежные линии подбородка и шеи, лукавый взгляд, красивый и узкий лоб были полны девичьей прелести. С ее лица не сходила улыбка, словно все происходящее вокруг неизменно радовало ее.

Вечером Эдима опять пришла к нам, ее отпустили послушать патефон. Пришла и Элиза. Ее неодобрительное, почти злобное молчание не помешало мне весело болтать с Эдимой под покровительственно-насмешливым взглядом Замбо. Эдима была для меня как сестра, вернее, как младшая сестренка. Мне становилось стыдно при мысли, что я хотел стать мужчиной, овладев этой прелестной девочкой. Она совершенно не боялась меня. Скорее я испытывал чувство робости перед ней, полуженщиной, полуребенком.

* * *

Уже вторую неделю я находился в Кала, но жена Ниама все еще не возвращалась из своей странной поездки. Вечерние сборища продолжались.

* * *

Начался новый период моего пребывания в Кала, так сказать, новая фаза.

И вот каким образом.

Когда два человека оспаривали честь принять меня в своем доме, дядя Мама всегда отдавал предпочтение более пожилому. Я не видел в этом ничего плохого, наивно думая, что уважение к избраннику находится в прямой зависимости от его возраста. Это было естественно, черт возьми! Но теперь, спустя некоторое время, я стал лучше разбираться в событиях и могу вас заверить, что мой дядя поступал не совсем бескорыстно. Сейчас я поясню вам это.

Богатство каждого жителя деревни Кала, в самом широком смысле, зависело от его возраста. У старого человека было больше возможностей владеть крупным стадом скота, нежели у молодого, в силу обычаев и экономической и юридической системы, установленных старыми

людьми — для старых людей. Следовательно, дары, преподнесенные пожилым человеком, всегда были куда более существенными, чем подношения молодого. Не забудьте, что на основании матримониальных обычаев, опять-таки установленных в пользу пожилых людей, у молодого человека было меньше шансов жениться, нежели у старика. Итак, в Кала жена являлась верным признаком благосостояния, как холодильник или автомобиль в Америке. И так же, как в Америке, недостаточно, чтобы дела у некоего Бэбита шли превосходно, а в банке лежала значительная сумма, ему еще необходимо продемонстрировать всем свой холодильник или свою машину, иначе он попадет в категорию людей необеспеченных и жалких, так и в Кала: чтобы пользоваться почетом и уважением, нужно обзавестись женой.

Даже Мама, отъявленный приспособленец, весьма последовательный в своих рассуждениях, отдавал предпочтение односельчанам пожилого возраста. Надо добавить, что в Кала их было больше, чем следует.

С другой стороны, помнится, я уже говорил об этом, Кала была громадной деревней. Ясно, что, если бы даже я жил здесь целый год, старшее поколение всегда брало бы верх над молодежью, лишая ее возможности поговорить со мной. Так и произошло. Молодежь чувствовала себя обойденной, тем более что предмет спора, то есть я сам, был их сверстником, парнем одного с ними возраста. Таким образом, они были уверены, что у них отнимают частицу их самих.

По крайней мере так объяснил мне положение Эндонголо — высокий парень, немного неотесанный и не слишком внимательно следивший за своей внешностью. Он присутствовал на всех вечерних собраниях. Вопросы, которые он задавал, были довольно дельными, потому я и заметил его. На вид он был очень симпатичен, говорил просто, искренне — может быть, даже слишком. Он готов был смеяться по всякому поводу, такой же чрезмерной была сердечность, сквозившая в каждом его поступке. Он мог быть святым, если бы не его страсть к поглощению пальмового вина, да и вообще любых напитков, способных хоть на несколько минут помочь вам предаться забвению и сгладить все невзгоды жизни. Он постоянно бывал под хмельком, иначе трудно было объяснить его всегда столь веселое настроение. Мне очень нравился этот человек, хотя ему было уже за тридцать, в отличие от Иоганеса Гусиные Лапы, Авраама Бескостного, Петруса Сына Бога и Замбо, чей возраст колебался от двадцати до двадцати пяти лет. Короче, Эндонголо относился к среднему поколению, он был где-то посередине между дряхлыми стариками и молодыми людьми.

Однажды утром, я только успел закончить завтрак, в комнату вошел Эндонголо. На веревке, перекинутой через плечо, болталась тыквенная бутылка.

— Добрый день, брат,— приветствовал он меня заговорщическим тоном, с некоторой подобострастностью улыбаясь мне.

— Добрый день, старина,— ответил я приветливо, стараясь по крайней мере поддерживать тон, к которому обязывало появление пальмового вина.

Мы подали друг другу руки, проделав этот церемониал с должной неторопливостью, как подобает людям, которые собрались решать большие и важные дела. Улыбаясь от смущения, он стоял до тех пор, пока я не пригласил его сесть, хотя в этих местах обычно не ждут приглашения, а располагаются тут же с наибольшим комфортом. Я сразу же догадался, что он пришел неспроста.

Он принялся разглядывать дом, словно пришел сюда впервые. Он трогал и тщательно рассматривал мебель, весьма лестно высказываясь

по адресу отсутствующего владельца, с явным намерением перенести частицу своих хвалебных излияний и на мою долю. Разговаривая со мной, он почесывал свои голые ноги, ногти оставляли на них длинные беловатые полосы, заметно было, что в это утро он не вымыл ног. «А сколько раз в месяц он моет ноги?» — насмешливо подумал я про себя.

— Раз ты находишься у себя дома,— сказал он,— так поищи-ка нам стаканы.

Я взял стаканы из шкафа. Мы налили вина и залпом выпили по первому стакану. Он налил еще. Казалось, он был счастлив — как человек, недавно женившийся или совершивший выгодную сделку. Ни слова не говоря, мы пили стакан за стаканом, словно приговоренные к смертной казни, наслаждающиеся последним днем жизни. Я пил, потому что поспешность, с которой он наливал мне вино, выдавала его желание заставить меня как можно быстрее проглотить мою порцию. Что касается его торопливости, то думаю, он боялся появления третьего лица, которое, несомненно, потребовало бы своей доли содержимого тыквенной бутылки.

Стайка детишек впорхнула в комнату и с невообразимым гамом окружила меня, потрясая грифельными досками. С довольным смехом, что меня несколько озадачило, Эндонголо наблюдал эту сцену. Он тут же пожалел этих бедняжек: как они будут несчастны, когда я их покину. Потом он стал превозносить мое педагогическое рвение и замечательные методы обучения, в результате которых самые способные из учеников достигли больших успехов. Он-де, конечно, неграмотен, но может все же подтвердить это. Затем, без всякого перехода, он доверительно сказал:

— Сегодня я не работаю и утром в лес не пошел.

— Почему же? — стараясь изобразить интерес, спросил я.— Ты не заболел, случайно?

— Ну нет! — ответил он, смеясь.— Заболел? Нет, нет. Видишь ли, брат, есть люди, которые болеют, и есть другие.

— Да?

— Вот так, брат, есть люди, которые никогда не болеют. Вот, например, я! Ха-ха-ха! Да, так-то вот!

— Тебе везет!

— Не правда ли, везет, брат? Ха-ха-ха! Видишь ли, когда я чувствую, что у меня что-то не в порядке, я беру бутылку, полную пальмового вина, и просто-напросто опрокидываю ее в свое горло. Через какие-нибудь полчаса я уже готов песни петь, а болезнь — тю-тю... Ха-ха-ха!

— Ничего удивительного!

— Не правда ли, брат? По мне, хорошее выдержанное пальмовое вино — все равно что твой пенициллин.

Крестьяне в то время считали пенициллин универсальным средством от всех болезней.

Мы рассмеялись, однако цель его прихода так и не стала ясней. Еще раз наполнив стаканы, он сообщил:

— Да, сегодня утром я не пошел работать и сестра моя тоже.

— Вот как?

— Да, ты знаешь мою сестру, она такая...

Он долго описывал свою сестру, и хотя утверждал, что я не раз должен был видеть ее, описание ничего мне не говорило. Впрочем, я плохо слушал его, не переставая сражаться с окружившими меня детьми, которые карабкались мне на колени, тянули за уши, за волосы.

— Так,— продолжал он,— моя сестра тоже не пошла в лес. Ха-ха-ха! Я ее очень люблю, мою сестренку, она такая забавная! А сегодня она была очень недовольна, очень.

— Недовольна?

— Да, недовольна. Ты знаешь, я решил еще вчера вечером, но не предупредил ее. И только сегодня утром, когда она вместе с другими женщинами отправилась было на поле, я сказал, что мы останемся дома. Знаешь, моя сестренка — девушка трудолюбивая, ей не нравится, когда зазря пропадает день.

— Ну и что ж? Все правильно.

— Правильно, брат, ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Я тебя так люблю, так же, как сестру. Надеюсь, ты понимаешь мои чувства? Я тебя люблю так же, как мою сестру...— Он остановился, чтобы осушить стакан, потом продолжал: — Да, моя сестра всегда говорит: «Если мы не будем работать, кто же поможет нам, бедным сиротам?»

— А вы сироты?

— Увы, наши родители умерли. Сначала отец. Сестренка была совсем ребенком...

Он долго рассказывал о том, как умерли родители. Окончив повествование, он замолчал. На лице его застыло сосредоточенное выражение. Вдруг он встрепенулся, точно проснувшись, и быстрым движением руки сделал жест, как бы прогоняя мух. Потом вновь попытался вернуться к прерванному разговору. «Сможет ли Эндонголо,— подумал я,— после столь длительных отступлений найти нить основной темы?». Каково же было мое удивление, когда он произнес после невнятных восклицаний и смеха:

— Да, моя сестра здорово рассердилась, потому что не терпит, когда пропускают рабочий день. Но, когда я объяснил ей причину, она от радости не знала, что и делать. Ха-ха-ха!

— Что же ты объяснил ей?

— Что сегодня мы не будем работать из-за тебя. Не все ли равно — днем больше, днем меньше.

— Но почему из-за меня?

Я посмотрел на него подозрительно. Лицо его омрачилось. Он стоял в униженной позе просителя, не теряющего надежды, что его просьба будет понята и удовлетворена.

— Я сейчас тебе все скажу, брат. Мы, в Кала, очень рады, что ты живешь среди нас, и мы тебя очень любим. Нам всем хотелось бы принять тебя, но мы не богаты и не можем сделать тебе много подарков. И все-таки мы с удовольствием примем тебя в нашем доме. Кто знает, увидим ли мы тебя еще когда-нибудь? В самом деле, ты ведь случайно оказался в нашей деревне и неожиданно наши дороги встретились. Только вот твой дядя, он отдает предпочтение старикам, ведь ты бываешь в гостях только у них. А у нас в деревне стариков много.

Он замолчал на время, чтобы налить и выпить вина, потом продолжал:

— Тогда, брат, я сказал себе: «Я тоже могу пропустить один денек и пригласить в гости Жана-Мари». Ха-ха-ха! Все-таки мы не в городе живем, и служу я не у белого человека. Тружусь на своем поле, сам себе хозяин, делаю все, что захочу, хи-хи-хи...— Помолчав, он добавил: — Так вот, брат. Ты можешь прийти ко мне сегодня? На несколько часов?

— Сегодня?

— Да, сегодня. Я уже потерял один день, больше терять не могу. Я уже все приготовил. Понимаешь?

Он застыл с раскрытым ртом, вытаращив глаза, трогательно сложив руки, как на молитве. Я подумал про себя: «Как они любят ставить меня перед свершившимся фактом».

— Согласен, приду,— с некоторым раздражением сказал я.

— О, я знал, что ты не откажешь. Я очень тебя люблю. Я так рад, так рад!

— В котором часу надо быть у вас?

— Когда захочешь, целый день в нашем распоряжении.

— Часам к одиннадцати, хорошо?

— Хорошо.

— Спасибо, брат...

Он вылил в стаканы остаток мутного липкого вина, мы чокнулись, и он ушел, не преминув проститься со мной самым церемонным и многословным образом.

Я слышал, как, удаляясь, он насвистывал песенку, очевидно в знак победы. Я чуть было не прыснул со смеху, но удержался: смеяться, собственно, было нечему.

* * *

Брат мой Замбо после работы на плантации какао вернулся домой раньше обычного и проводил меня к Эндонголо, который очень радушно нас принял. Его сестра, приятная и обходительная, была некрасивой девушкой.

Не часто доводилось мне так хорошо, с таким завидным аппетитом обедать в непринужденной дружеской обстановке. Я много выпил и пребывал в прекрасном настроении, что совсем не располагало меня слушать жалостливые речи дорогого Эндонголо. Он почему-то не нашел лучшей темы, чем поведать о своей жизни; несмотря на его веселый тон, эпопея отнюдь не была такой уж радостной.

Возможно, иногда на Эндонголо находила пьяная грусть, и этим все и объяснялось. Он собирался, оказывается, в отдаленном будущем жениться, но пока еще жил со своей маленькой сестренкой, которая заменяла ему жену: «Частично, хи-хи-хи, только частично». Выпитое вино притупило мои чувства, и я подумал злобно: «Ну и что же!»

Есть люди, наивно утверждающие: «Вино делает человека добряком». Это утверждение в корне неверно. Вино опьяняет — это его основное свойство или достоинство, как хотите. Опьянение оказывает на человека моральное влияние. Но оно не может сделать его добрым: единственное, что в его власти — отвлечь вас от окружающей обстановки. Именно такое отвлечение выступает как носитель добра или зла, в зависимости от обстоятельств. Если смотреть глубже, опьянение является только злым началом. Ибо равнодушие к окружающему нас реальному миру, к духовному миру человека может быть только признаком нашей извращенности и ничем иным.

Замбо не стеснялся и пил за двоих. Разговаривал он мало, изредка подавая реплики, а если и говорил, то разные пустяки, а то и просто скабрезности. Пиршество приближалось к концу, когда до нас донесся со двора тонкий требовательный голосок ребенка.

— Смотри-ка,— лукаво заметил Замбо,— Эдима пришла.

— Ты уверен, что это она? — спросил я взволнованно.

— Уверен, дорогой моему сердцу брат. Если я приведу ее, ты будешь рад до смерти, а?

Он поднялся, подошел к двери и позвал Эдиму. Она заставила себя уговаривать, но в конце концов вошла в сопровождении трех малышей.

Вероятно, она видела, как мы отправились к Эндонголо, а может быть, инстинктивно почувствовала, где я нахожусь. Кто знает, может быть, она пришла с тайным намерением присоединиться к нашей компании? С тех пор как мы познакомились с Эдимой, она перестала ходить с матерью на полевые работы, найдя удобный предлог: она стала присматривать за своими младшими братьями. До этого ребята находились под надзором соседского мальчика. Но Эдима уговорила мать оставить ее дома, чтобы приглядывать за братишками. И вот она предстала перед нами.

Эдима была вся в пыли — наверно, все утро играла на дворе со своими братьями, словно маленькая девчонка, каковой она и была на самом деле. Мы пригласили ее к столу, но она отказалась и, пока мы обедали, лишь украдкой бросала на меня взгляды. Я делал вид, что ничего не замечаю. Девушка была счастлива в моем обществе...

Когда убрали со стола, Эдима сама уселась мне на колени. Да, в недостатке смелости ее не упрекнешь. Я прижал ее к своей груди. У нее было пружинистое, крепко сбитое тело, ягодицы, упиравшиеся в мои колени, поражали своей твердостью. Воспользовавшись моментом, когда между Эндонголо и Замбо завязался горячий спор, очевидно по важному вопросу, она шепнула мне на ухо:

— Ты скоро уедешь?

— Да, думаю, что скоро,— рисуясь, ответил я.

— Когда?

— Не знаю. Тебя это интересует?

— Немножко. В городе хорошо?

— Хуже, чем здесь. А-а, понимаю, ты хочешь, чтобы я забрал тебя с собой в город, да?

Она покатилась со смеху. Я был горд от сознания, что неожиданно задел чувствительную струну в душе Эдимы. Конечно, благодаря пальмовому вину, я уже не мог трезво разбираться в том, что происходило вокруг.

А тут еще сестра Эндонголо, которая изучала меня так усердно, с такой скрытностью, что только можно было удивляться, как ловко она это проделывает: вот так, наверно, рассматривают пришельцев с другой планеты.

День уже начал клониться к закату, когда Эндонголо согласился отпустить своих бедных гостей и вернуть им свободу, по которой они затосковали сразу же после обеда. Волей-неволей мы уделили нашему дорогому Эндонголо не два, а целых пять часов. Он был совершенно прав, утверждая, что наши дороги случайно встретились. Я больше не был у него.

* * *

Весть о том, каким способом Эндонголо удалось завлечь меня к себе домой, мгновенно, как масляное пятно на воде, распространилась по всей деревне. Теперь, если старики завладевали мной вечером, прихватывая и часть ночи, то днем я становился добычей молодежи. Такое непредвиденное даже мной изменение распорядка дня пришлось не очень-то по вкусу дяде Мама. Он предпочел бы, конечно, по понятным причинам, чтобы монополия стариков распространялась на меня не только вечером, но и днем. Но, вероятно, в первый раз в жизни события опередили его, поэтому он и не пытался изменить их ход. Однако дядя сохранил за собой право на компенсацию от дневных приемов, радуясь, что половина подношений все-таки перепадет на его долю.

* * *

Начались бесконечные скитания по деревне. Можно было видеть, как я хожу то в один конец деревни, то в другой, сопровождаемый Замбо — моим братом, красавцем с мускулатурой полубога, и Эдимой, удивительным созданием, полуженщиной, полуребенком. По-прежнему я страстно желал Эдиму, но относился к ней по-братски, она постепенно прочно заполнила всю мою жизнь. В обществе Эдимы я чувствовал себя богом, снизошедшим к людям: я научился терпению, перестал нервничать. Я уже стал сомневаться, нарушится ли когда-нибудь столь злосчастное для меня стечение обстоятельств, из-за которых мы с Эдимой всегда находились на людях, лишенные свободы и возможности побыть наедине.

За время моих дневных скитаний я испил горькую чашу людских страданий до дна. Я познал и чувство отчаяния и томление скуки: вот что значит по пять часов ежедневно проводить в обществе людей, которые (как вам заранее известно), поглотив известное количество еды и питья, обязательно начнут рассказывать историю своей жизни, своей разнесчастной жизни. Удивительно, до чего все жизни похожи одна на другую! Если не считать некоторых отклонений, чисто внешнего порядка, все жизни несчастны. Наверно, нет человека на свете, который мог бы вполне серьезно сказать: «Я взял от жизни все, что желал, и больше ничего не прошу».

Когда, направляясь домой после этих визитов, я шел вдоль бесконечной деревенской улицы, всегда в сопровождении Замбо и Эдимы по бокам, женщины, к тому времени уже вернувшиеся с полевых работ, выходили на порог своих хижин и высказывали по нашему с Эдимой адресу недвусмысленные матримониальные предположения, которые и радовали и в то же время смущали меня. Указывая на Эдиму, кумушки говорили, как будто это само собой разумелось: «Дочь правителя»,— как будто я мог полюбить только дочь правителя.

Детвора, словно стая воробьев, порхала, щебеча, вокруг нас, и с каждой пройденной хижиной число детей увеличивалось. Наверно, я представлял смешное зрелище. «Что, если бы отец видел меня, мой отец?..» — думал я.

* * *

Сборища по вечерам продолжались с точностью хорошо заведенной машины, которую уже ничто не может остановить. Теперь молодежь больше не появлялась на них, и не без основания.

Стадо баранов росло с каждым днем. Это было самым главным для моего дяди, проявлявшего трогательную заботу о животных. К ним прибавился еще беспокойный курятник, ибо представители молодого поколения, кто был в состоянии подносить подарки, притаскивали кур — единственное движимое имущество, имевшееся у них в достаточном количестве. В курятнике дяди Мама уже не хватало места, и пришлось в рекордно короткие сроки построить еще один курятник. Полное благополучие!

(Окончание следует)

ТУРЕЦКАЯ НОВЕЛЛА

Орхан Кемаль

БРАТСКАЯ ДОЛЯ

Перевод с турецкого Л. Медведко

Сиверекли запыхавшись вбежал в кофейню и направился прямо к старшому, игравшему в карты.

— Ага, там на складе уже другие грузчики работают!

Он ожидал, что, услышав это, старшой немедленно бросит игру и выскочит из-за стола. Но старшой продолжал спокойно сидеть.

— Чего ты там несешь? — переспросил он Сиверекли как ни в чем не бывало.

— Клянусь, ага! Лопнут мои глаза, если соврал!

— У нас ведь есть договоренность грузить по две с половиной лиры за тонну. Кто же осмелился сунуть нос куда не следует?

— Не знаю, ага... Пойди сам посмотри, если не веришь!

Сиверекли считался одним из самых бестолковых грузчиков. Его словам можно было и не верить. Но старшой все же встал. Он не спеша пригладил свои длинные усы, надвинул на лоб кепку, набросил на плечи темно-синий пиджак и вышел из кофейни. На улице, у дверей, он остановился: трудно было поверить, что хозяин склада Рефик-бей не сдержал своего слова.

Узнав, в чем дело, грузчики быстро окружили старшого. Он обязательно должен был найти какой-то выход. Ведь именно на нем лежала обязанность искать работу, договариваться об оплате, а в случае надобности защищать интересы своих товарищей.

— Как же теперь быть, ага? — спросил Сиверекли.

Старшой нахмурил брови и строго на него посмотрел:

— Что как быть?

— Да с этими другими грузчиками?

— Можете быть спокойны... Пока я жив, им не работать на том складе! Разве мы сбивали когда-нибудь другим цену? Разве это достойно настоящих мужчин?

— Нет, ага, никогда! Побоялись бы аллаха!

— Ну вот! А сейчас я пойду и постараюсь уладить это дело...— И старшой, придерживая накинутый на плечи пиджак, удалился, шлепая по асфальту своими желтыми сандалиями.

Пройдя метров двести по набережной, он остановился у ворот склада железного лома «Истикбаль». Стояла туча пыли, и работавшие у весов грузчики словно тонули в ней. Они проворно накладывали лом в корзину, взвешивали, а потом вываливали в небольшую баржу, стоявшую тут же, у самого берега.

Толстый, с лоснящимися щеками хозяин склада, увидев остановившегося у ворот старшего грузчика, сразу догадался, в чем дело. Старшой неподвижно стоял, нахмурив брови и заложив руки назад. Кончики его усов нервно подергивались.

— Здорово, ага! — весело приветствовал его хозяин.

— Что же это такое? — с вызовом бросил ему старшой, не отвечая на приветствие.

— А что?

— Ты, кажется, нанял других грузчиков? Мы ведь с тобой договорились, и мои ребята завтра должны были начать работу, не так ли?

Рефик-бей, стараясь обернуть дело в шутку, взял старшого под руку и повел его к складу.

— Ты, конечно, прав, должны были работать вы, но...

— Что но?

— Но после вас пришли вот эти и сбили цену. Ничего не поделаешь — торговля!

— Торговля торговлей, но где же твое слово, Рефик-бей?

— Я же сказал тебе: торговля. При чем здесь какое-то слово? Они пришли и на тридцать курушей сбили цену. А ты на моем месте разве не сделал бы так же?

Возможно, старшой сделал бы так же, но сейчас он должен был нажимать на Рефик-бея и не отступать.

— Ты ведь нарушил свое слово!

Рефик-бей постарался пропустить это мимо ушей. Он сунул руку в карман и, достав оттуда скомканную бумажку, протянул ее старшому.

— Не горюй, ага, всякой рыбке — своя наживка!

Старшой посмотрел краем глаза на бумажку и подумал: «Это, пожалуй, неплохо!»

— А что же я скажу своим грузчикам? — неуверенно пробормотал он.

— Я же сказал тебе, арслан *: всякой рыбке — своя наживка!

— А если они мне не поверят?

— Велика беда! В газету они напишут, что ли?

— Голодная собака и пустую миску перевернет!

— Э, брат, волков бояться — в лес не ходить!..

* * *

Сиверекли сидел на тротуаре, сдвинув на висок свою засаленную кепку. Он был уверен, что старшому удастся уладить дело.

— Наш старшой — молодец,— обратился он к сидящему рядом Болулу.— Он своего добьется.

— Может, и молодец, только хвостом виляет иногда!

— Кто хвостом виляет? — вмешался другой грузчик.

— Да наш старшой, говорю, хвостом виляет иногда.

Послышался чей-то смех, нарушивший на какое-то время общую скуку ожидания. Все томились от безделья. Но завтра утром у них будет работа. А вдруг все же старшой не договорится с хозяином склада? Что тогда?

— Что-то он задерживается,— заметил Болулу.

— Да, что-то задерживается...

— Может, пойдем посмотрим?

---

* Лев, употребляется в разговорной речи как фамильярное обращение.

— Куда, на склад? Зачем?

— Как так зачем? — удивился Сиверекли.— Может быть, он из-за нас подрался там с хозяином и сейчас сидит где-нибудь в караколе *?

Эти слова подействовали. Все, как по команде, поднялись и молча пошли за Сиверекли в сторону склада. Каждый беспокоился за свою завтрашнюю работу.

На складе в это время все шло своим чередом. По-прежнему в той же туче пыли суетились какие-то грузчики. Корзины одна за другой наполнялись, взвешивались и быстро вываливались в баржу.

У весов стоял сам хозяин склада. Он мельком взглянул на толпившихся у ворот грузчиков и отвернулся, сделав вид, что не заметил их.

— Он, кажется, нас не узнал,— робко сказал Болулу.

Сиверекли обвел взглядом своих товарищей. Все стояли в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что предпринять.

— Чего же мы стоим? — обратился к ним Сиверекли.

— А что нам делать?

— Пойдем спросим!..

Сиверекли направился к весам. Остальные молча последовали за ним. Работа на складе приостановилась. Работавшие грузчики, вытирая на ходу грязные потные лица, тоже подошли к хозяину и с любопытством стали наблюдать, что будет дальше.

Увидев окруживших его грузчиков, Рефик-бей немного перепугался, но виду не подал.

— Что вам тут надо? Кого вы ищете? — заорал он для пущей важности.

— Нашего агу,— за всех ответил Сиверекли.

— А кто такой ваш ага?

— Как будто ты не знаешь, Рефик-бей. Может быть, ты и нас не знаешь? Мало мы у тебя работали? Мало мы тебе лома потаскали?

— Не знаю и знать не хочу! — отрубил Рефик-бей.— А ваш ага недавно был у меня, мы с ним потолковали и обо всем договорились.

— О чем же вы договорились?

— О чем — сами можете спросить у него. А пока нечего тут толкаться, сейчас рабочее время!

— А где же все-таки наш ага? — продолжал допытываться Сиверекли.

— А я откуда знаю?

— Значит, завтра нам не будет работы?

— Нет, не будет...

Возвращались в кофейню молча, еле волоча ноги. Плечи у всех опустились, руки повисли. Глядя на них, можно было подумать, что они идут на казнь. Казалось, каждый из них готов был сейчас расплакаться, как ребенок.

Сиверекли тоже приуныл, но, в конце концов, не слезами же заливать ему свое горе! Приложив одну руку к уху, он вдруг затянул свою излюбленную песню:

Не-е-е-весту, неве-е-е-сту
Домой я привел!..

У Сиверекли был густой сильный голос. Обычно, когда он пел, раздавались одобрительные голоса его товарищей: «Молодец, Сиверекли! Здорово!»

---

* Полицейский участок.

Но на этот раз никто не проронил ни слова. Все понуро сидели перед кофейней, устроившись на тротуаре кто как мог.

Сиверекли вдруг оборвал песню, поднялся, сорвал с головы свою засаленную кепку и, ударив ею о землю, в сердцах выругался:

— Эх, черт возьми!

Но и на это никто не обратил внимания. Каждый был занят своими невеселыми мыслями.

Сиверекли поднял кепку, небрежно надвинул ее на висок и не спеша побрел по улице...

* * *

Засунув руки в карманы и сдвинув кепку, как заправский гуляка, Сиверекли долго шатался по Тахтакале, толкаясь в многолюдной и шумной толпе. У входа на рынок Мысыр-чаршисы он остановился и осмотрелся по сторонам... Да, было бы неплохо, если б подвернулась какая-нибудь работенка. У магазина «Миллет» стояла очередь за кофе. У этих горожан, наверно, совсем уже мозги высохли. Толкутся за кофе, как будто без него и прожить нельзя! Да хоть сорок лет каждый день пейте его, а ума вам кофе не прибавит. Выпьешь — хорошо, а не выпьешь — тоже ведь ничего не случится!

В это время кто-то тронул его за плечо:

— Тут у меня груз небольшой есть, поднесешь?

— Посмотрим.

Груз оказался подходящий, Сиверекли взвалил его себе на плечо и двинулся за эфенди.

На обратном пути он зашел в маленькую харчевню на Тахтакале, съел там миску фасоли и немного рису. Сейчас неплохо было бы еще закурить... Он пошарил в кармане, нашел сохранившуюся каким-то чудом помятую сигарету, прикурил у одного из прохожих и уселся на землю у входа на рынок Мысыр-чаршисы. До завтрашнего вечера, кажется, заправился. А там будет видно...

* * *

Вернувшись уже вечером в кофейню, Сиверекли застал своих товарищей на том же месте. Они что-то возбужденно обсуждали. Он подошел к ним поближе и прислушался. Оказывается, кто-то видел старшого в закусочной на Балате. Он якобы и сейчас там сидит — тянет ракы *. Может быть, и врут? А впрочем, он в самом деле частенько там бывает.

— Чтоб он там подавился! — кричал Болулу.— Он должен был защищать наши интересы, а он продал их и сам продался хозяину склада!

— Выходит, завтрашняя работенка улыбнулась!

— Вот так-то он защищает нас, собака! Сам получил от хозяина хороший куш и отдал работу другим грузчикам!

Тут зашумели все сразу. Сиверекли, глядя на них, нахмурил брови. Все были возбуждены, что-то кричали, доказывали, шумели, но никто не двигался с места. Пусть он даже не самый умный из них, но ему было ясно, что шумом делу не поможешь. Он никак не мог понять, что же они тут сидят.

Мрачные, злые лица товарищей повернулись в сторону Сиверекли.

---

* Виноградная водка, настоенная на анисе.

— Что же, по-твоему, мы должны делать?

— Как что делать? Пойти всем туда, к нему, взять его за шиворот да и вытряхнуть из его поганой шкуры продажную душу!

— А чего же ты сам стоишь? — огрызнулся старик Сюрменели.

В самом деле, кто-то ведь должен быть первым. Неважно, что он не самый умный из них.

Заложив руки назад, Сиверекли зашагал в сторону Балаты. Остальные молча последовали за ним. Сиверекли впереди всех. Ему все нипочем — он ведь из бывших заключенных, десять лет уже отсидел: говорят, сгоряча кого-то ножиком поцарапал...

* * *

Старшой, уже здорово пьяный, увидев перед собой Сиверекли, сразу ощетинился. Как? Этот голодранец, заложив руки за спину и сдвинув свою грязную кепку набекрень, осмеливается еще требовать у него отчета?

— Чего тебе надо? — процедил он сквозь зубы.

— Давай выйдем на минутку. Нам потолковать надо.

— О чем еще там толковать?

— Ну давай же выйдем, дорогой, на минутку...

Старшой покосился на дверь. Там стояли остальные, грязные, мрачные и злые. Взоры всех присутствующих обратились в их сторону. Старшой сюда часто заходил, одних чаевых официантам сколько роздал. Все его здесь знают и уважают. Не станут же они помогать этим голодранцам!..

— Проваливай отсюда, скотина! — заорал старшой.

Все в закусочной притихли.

Возможно, Сиверекли был и не самый умный и сильный, но и его терпению есть предел. Он схватил старшого за ворот, вытащил его из-за стола и потянул к выходу. Этого старшой никак не ожидал. Он ударил Сиверекли по руке:

— Отпусти воротник!

Но сильные руки Сиверекли крепко держали его.

— Отпусти, тебе говорят!

— Ты скажи лучше — правда, что ты получил взятку от хозяина?

— Конечно правда! А тебе-то что, больше всех надо? Отпусти, говорю, воротник!

Старшой вырвался и, развернувшись, ударил Сиверекли по лицу. Но тот даже не шевельнулся, только кепка съехала еще больше набок. Старшой отпрыгнул назад и щелкнул перочинным ножом. Сжимая в руке нож, он медленно, шаг за шагом, пятился назад. Сиверекли надвигался на него, не отставая ни на шаг. Потом одним прыжком внезапно бросился на него, схватил за руку и, заломив ее назад, стал постепенно выкручивать. От боли лицо старшого перекосилось. Он все больше и больше пригибался к земле, как будто его сломали пополам. Нож выпал... Старшой опустился на колени, потом упал на землю и захрипел, как поваленный бык. Весь в грязи, сразу как-то обмякший, жалкий, он валялся сейчас на мостовой у ног Сиверекли и его товарищей. Сиверекли нагнулся, подобрал ножик и, отломив лезвие, протянул его старшому:

— На!

Потом, повернувшись к товарищам, сказал:

— Теперь, ребята, будем разрезать заработанный хлеб своими руками! А эта сволочь нам больше не нужна! Сами будем делить свой

заработок по-братски. Каждый — получай свою братскую долю! Согласны?

Кто же с этим не согласится?

И Сиверекли, заложив руки назад, не спеша зашагал впереди своих товарищей по освещенной электрическим светом улице...

Яшар Кемаль

КОЗА

Жена Мехмеда словно замерла посреди бескрайнего выжженного поля. Постояв немного, она нагнулась и стала разрывать рукой землю. После долгих поисков ей удалось наконец найти несколько зерен. Она положила их на свою загрубевшую ладонь, в трещины которой навсегда въелась грязь, тщательно потерла пальцами, попробовала на зуб и поморщилась.

— Горе ты наше горькое,— вздохнула она, завязывая зерна в узелок платка.— Все погибло, о аллах! О аллах!

Она опять запустила обе руки в землю и судорожно начала рыть. Руки свободно входили в мягкую землю и жадно перебирали ее до тех пор, пока пальцы не нащупывали еще одно зерно, которое извлекалось затем наружу и бережно завязывалось в платок.

— Ох, пропали наши труды, пропали,— горестно вздыхала женщина.

На поле не было видно ни одного зеленого островка. Кругом, куда ни глянь,— побуревшая на солнце земля без каких-либо признаков жизни.

— Помрем, все помрем с голоду в этом году,— еще раз вздохнула она.

Долго ползала она по полю, царапая себе колени и выковыривая одно за другим непроросшие зерна. Почувствовав острую боль в коленях, она села на землю и, поджав под себя ноги, затуманившимися глазами стала глядеть вдаль. Мертвое поле расстилалось перед ней. Кружилась голова.

Время от времени она вздыхала и, как в бреду, повторяла:

— О аллах, о аллах! Пропали все наши труды! Пропали труды!

До самого полудня сидела она так, не в силах подняться. Может быть, ей даже приятно так сидеть? Но вид ее говорил скорее о невыносимых муках. Наконец она кое-как собралась с силами и встала. Все тело ныло. Пошатываясь, она побрела по полю.

Только под вечер жена Мехмеда добралась до дома. С трудом передвигая ноги, она вошла в комнату и бессильно опустилась около печи.

Мехмед, не решаясь приблизиться, долго вертелся около жены. Потом остановился и, не глядя на нее, промолвил:

— Жена, послезавтра мы отправляемся в Чукурова *...

Жена молчала. Казалось, что она пропустила его слова мимо ушей.

— Другого выхода нет,— добавил Мехмед.

Жена сделала какой-то неопределенный жест и отвернулась.

---

* Плодородная низменность на юге Турции.

Посреди комнаты резвился маленький козленок, привязанный к колышку. Тут же, недалеко от него, была привязана коза. У дверей, прижавшись друг к другу, сидели четверо детей. Они не знали, чем заняться. Наконец самый младший из них — мальчуган в короткой заплатанной рубашонке — стал забавляться с козленком и, ковыряя в носу, счастливо заулыбался.

— Надо уходить, другого выхода нет,— говорил Мехмед.— Если аллах будет милостив, как-нибудь доберемся до Чукурова. Там я смогу много денег заработать... Но что будет с вами, пока вы дождетесь этих денег? Что вы тут будете есть?

Мехмед говорил без остановки, стараясь излить всю горечь, накопившуюся у него в душе. Ему очень хотелось вызвать жену на откровенный разговор. Он задавал ей вопросы, то и дело подходил к ней, но она упорно продолжала молчать. Словно окаменев, она неподвижно сидела возле печи.

— Ты помнишь, сколько я тебе привез из Чукурова два года назад? На заработанные деньги мы тогда двух быков купили... А то, что болтают про голод в тех краях, так это все вранье. Но если даже в Чукурова дела неважные, то у меня ведь там сестра Мелиха замужем за агой. Уж они-то сразу найдут мне работу. Таких, как моя сестра, во всей округе днем с огнем не сыщешь...

Так и не дождавшись ответа, Мехмед замолчал. Он несколько раз прошелся по комнате. Подошел к двери. Снова вернулся. Взял на руки сынишку, игравшего с козленком, и снова поставил его на пол. Сделал несколько шагов. Опять остановился около жены:

— Ничего не поделаешь, семена все погибли. Видно, на то воля аллаха... Нужно отправляться в Чукурова. Вот посмотришь потом, сколько я там денег заработаю!

— Ох! — вырвалось наконец у нее из самой глубины души, будто это был последний вздох в ее жизни.

— Да ты не горюй! Как только заработаю, я тебе сразу пришлю денег. А сейчас и горсти муки нигде не одолжишь. У всех дела не лучше, чем у нас.

Его слова вновь остались без ответа. Она по-прежнему молчала, и вид ее еще больше угнетал Мехмеда. Жена сидела, опершись подбородком на колено, и смотрела на потухшие угли.

Мехмед постоял еще немного, переминаясь с ноги на ногу. Посмотрел искоса на жену и, не выдержав, отвернулся. Вышел на улицу. У дверей лежала куча зеленых веток, наломанных для козы. Он сел на ветки. Прислонился к стене. Голова раскалывалась от боли. Немного погодя встал. Взял немного веток и понес козе. Та сразу же зарылась в них головой и, похрустывая, старательно очищая их от листьев, начала грызть. Мехмед как вкопанный стоял и смотрел на козу. В глазах его блестели слезы. Продать последнюю козу? Тогда в доме совсем будет пусто...

Впервые за все это время жена подняла голову. Посмотрела сначала на козу, потом на Мехмеда. Неожиданно глаза их встретились. Мехмед сразу же отвел взгляд в сторону. Его большие руки беспомощно болтались. Растерянный, стоял он, не зная, куда их деть. Наконец решившись, он подошел к сынишке и, потеребив его, сказал:

— Эх сынок, сынок!

Жена не сводила глаз с Мехмеда. По крайней мере, так ему теперь казалось.

Мехмед снова вышел на улицу. Его худое лицо пожелтело, морщины стали еще глубже, глаза ввалились. Он подошел к куче веток, взял

еще одну охапку и понес козе. Его взгляд опять встретился со взглядом жены. И опять Мехмед не выдержал и отвел глаза в сторону.

— Разве может быть так, чтобы в Чукурова не нашлось работы? — продолжал он начатый разговор.— Ведь это все же Чукурова! Там без работы не останешься... К тому же у меня там сестра замужем за агой. Такая сестра сотни добрых хозяев стоит... Через пару деньков тронемся в дорогу...

Жена неподвижно сидела, опершись подбородком на колено. Все, что говорил Мехмед, будто не касалось ее.

— Вот только из-за муки никак не могу успокоиться,— продолжал Мехмед.— Достать бы где-нибудь муки на месячишко, дело было бы лучше...

Говоря это, Мехмед не сводил глаз с козы. Зарывшись головой в ветки, она словно слизывала с них сочные зеленые листья.

— Посмотри, как хорошо коза ест! — само собой вырвалось у Мехмеда.

Жена подняла вдруг голову и зло на него посмотрела. Под ее взглядом он сразу сник.

— Да, достать бы где-нибудь муки на месяц,— невнятно пробормотал он.

Жена тяжело поднялась и, припадая на обе ноги, направилась к двери, не взглянув на Мехмеда.

— Достать бы муки,— словно в бреду, продолжал бормотать Мехмед, шагая по комнате из угла в угол.

Дети, притихнув, удивленными глазами следили за отцом. Мехмед остановился около козы и с грустью наблюдал, как старательно она очищает ветки.

— Не так уж и много молока ты нам давала,— словно оправдываясь перед ней, сказал Мехмед.

В это время в дверях показалась жена. Мехмеду вдруг стало неловко за свои слова. Он даже пожалел, что они у него вырвались.

— Может, что-нибудь придумаем... Ты не убивайся так! Может, все-таки удастся раздобыть где-нибудь муки на месяц...

Два следующих дня Мехмед провел в поисках муки. Со двора во двор ходил он, упрашивая соседей одолжить ему хоть совсем немного. Пожалуй, не было такого дома, в дверь которого он не стучался бы.

— Я вам потом вдвойне отдам,— умолял он соседей.— Как вернусь из Чукурова, отблагодарю вас всем, чем смогу. У меня ведь там сестра замужем за агой... Не заставляйте продавать последнюю козу. Ведь только она и кормит детей...

Но ничто не помогло. Ни у кого не было ни муки, ни ячменя, ни кукурузы. Каждый был сам не прочь взять взаймы...

* * *

Солнечное утро... Вся степь уже залита весенним солнцем — его щедрым теплом и светом. Мехмед стоит у дверей своего дома, подавшись всем телом немного вперед. Чуть поодаль его товарищи с нетерпением ждут, когда он наконец простится. Опустив глаза в землю, на пороге у двери сидит жена.

С восхода солнца стоит вот так Мехмед у двери дома и никак не решится сказать жене последнее прощальное слово. Он уже несколько раз открывал было рот, но, взглянув на жену, на ее печальное, словно в трауре, лицо и опущенные в землю глаза, отказывался от своего намерения. Наконец собравшись с духом, Мехмед выдавил из себя:

— Хранит тебя аллах!.. Через пару недель я обязательно пришлю тебе денег. Только прибуду на место, сразу одолжу у сестры и вышлю... Сама видишь — другого выхода нет...

Жена с трудом поднялась. Она постаралась изобразить на лице нечто похожее на улыбку, но от этого лицо ее стало еще более жалким.

— Счастливого тебе пути... Возвращайся живым-здоровым...

Мехмед хотел что-то еще сказать. Открыл рот, но слова как будто застряли в горле. Вздохнув, он повернулся и зашагал к товарищам.

Жена долго стояла в оцепенении, смотря им вслед, пока они совсем не скрылись где-то за краем степи.

Потом она быстро вошла в дом. Младший сын как ни в чем не бывало забавлялся с козленком. Она подбежала к нему, схватила за руку и оттолкнула в сторону. Мальчишка, не поняв, в чем он провинился, заревел.

— Вот я тебе покажу! — закричала она на него.— Теперь только он один у нас остался! А ты будешь еще его мучить!..

Коза, покончив с лежавшими перед ней ветками, спокойно лежала в углу и дремала.

Зия Ямач

В САПОГАХ

Перевод с турецкого Р. Фиша

Пароход должен был отвалить к вечеру. Но один из купцов умаслил капитана, и тот разрешил погрузить еще несколько баркасов желудей. Отправление все задерживалось.

Это мало трогало пассажиров первого класса. Поужинав, они собрались в салоне, где качка почти не чувствовалась, и сели «перекинуться по маленькой в покер». Пассажиры второго класса, истощив весь свой запас анекдотов о Ходже Насреддине, занялись игрой в лото. И только палубным пассажирам приходилось несладко.

Они забились в трюм, к погруженным в Ризе овцам. Здесь от духоты, от запаха овечьей мочи — не продохнуть. Кое-кто расположился вокруг бутылочек с ракы, но и у них испортился аппетит. Только бродячий скрипач из Офа назло осатаневшим волнам беспрерывно наигрывал плясовой черноморский мотив. Когда кому-либо делалось плохо, чертяка, словно нарочно, расходился еще пуще. Пробиться на свежий воздух, если вас укачало, было трудно.

По палубе шатались темные фигуры. Не успел оглянуться, и один уже смотрит за борт. Другой как ни в чем не бывало пробует что-то напевать себе под нос, глядь — и он уже перегнулся через перила. Третий только хотел было над ним посмеяться, как смех застрял у него в горле, и вот он уже присоединился к товарищам по несчастью.

Темно, как в туче. Время от времени над морем появляется горсточка тусклых звезд, но тут же опять погружается в мрак. Это огни Трабзона.

Человек пять-шесть уселись на палубе возле грузовой стрелы. Они ведут беседу, пытаясь перекричать море. Когда лебедка умолкает, можно расслышать слова.

— Эх, здорово в Трабзоне! — говорит один, которого остальные величают Волком.— Благодатная сторонка!.. Сидеть бы сейчас на холмах Бозтепе — вон там, где огни мерцают,— и перепелов ловить. Там их руками собирать можно, как груши... Видите огоньки? Это фонарики, что к сетям прицепляют. Сетей сто, сто пятьдесят будет! Ждешь себе, пождешь, и вдруг среди ночи: фрр, фрр, фррр. Перепела летят из-за моря. Завидев огни, понимают, милые, что земля. Ну и садятся. Понабиваются в сети. Полным-полно, держи только! Тут их и собирай, как груши. Только поспевай. Набьешь мешок — за плечи и домой. Весь квартал сбежится.

Он вдруг умолк. За его спиной послышались шаги: скрип, скрип, скрип...

Кто-то сказал, обращаясь к Волку:

— Твой идет, в сапогах!

— Да еще булгуром * их набить — язык проглотишь,— вздохнул другой, размечтавшись о перепелах.

— Нет! Булгуром — это что! — вмешался подошедший.— Можно, конечно, но разве сравнить! Рисом надо, рисом!

Волк, конечно, хорошенько отбрил бы его, но тут заработала лебедка. Тот, очевидно, сам понял, что его никто и не спрашивал, и удалился, скрипя сапогами. Лебедка снова умолкла. Сквозь шум моря донесся смех, а затем голос Волка:

— Шагай, скрипучий, начальник вонючий!

Если бы он пристроился где-нибудь в темном углу трюма или присел около одной из пьющих компаний, может, было бы лучше. Но он не нашел другого места, как у самого трапа, ведущего на палубу. Его, конечно, привел сюда свежий воздух. Тут он и остался стоять. Около трапа яблоку упасть негде было — у самых его ног лежали, укрывшись старым одеялом, две женщины в чаршафах **.

Давно миновала полночь. Пассажиры, убаюканные качкой, умолкли. Не слышно больше блеяния овец — должно быть, и они заснули. Только бесконечное бормотание любителей выпить да затихающий и вновь возвышающийся голос скрипки...

У него из головы никак не выходил этот тип, которого звали Волком. Днем, когда погода еще не испортилась, стоило ему показаться на палубе, как Волк не спускал с него глаз. Словно искал, к чему бы придраться. Подойти бы сейчас к нему, схватить его за шиворот: чего, мол, тебе от меня надо, скотина?

Неожиданно совсем рядом раздался чей-то голос:

— Да нет, дорогой. Это — голь перекатная, по одежке видать! Товар со вшивого рынка! Не гляди на его шикарные сапоги! За восемьдесят бумажек и ты можешь такие заказать у лучшего мастера!

— Не говори, капитан, по нынешним временам не так-то просто собрать восемьдесят лир!

— Не все на свете, как ты, почтальонами служат! Вольно тебе за сорок три лиры в месяц дороги ногами мерять! У меня на катере матросы и те, когда рыба идет, сто лир за деньги не считают!

— Раз в сорок лет! То ли будет, то ли нет! Не дай бог такую профессию. Что кому нравится, конечно. Удивляюсь я тебе, однако, как ты

---

* Крупномолотая пшеница.

** Головное покрывало мусульманской женщины.

не понял, кто́ этот парень. На образованного он похож, не видишь? Что одежка! Он специально в дорогу похуже надел. И эту-то замарать боится. Иначе с чего бы ему торчать на ногах в такой час?

Он не расслышал ответа. Видать, и здесь не будет покоя. Тихо поднялся по трапу, вышел на палубу и, осторожно ступая, чтобы Волк не слышал скрипа, направился на корму.

* * *

Первые лучи солнца застали его спящим на ступеньке трапа. Не выдержав предрассветного холода, он опять вернулся в трюм.

Он проснулся от смеха. Прислушался, не открывая глаза. Какой-то сиплый голос — верно, опять Волк — пробасил:

— Ей-богу, пропил. Клянусь, пропил все деньги. Вот и едет теперь на палубе.

Почтальон опять вступился за него:

— Не думаю. Похоже, парень смирный!

Капитан катера, словно позабыв, что говорил ночью, присоединился к Волку:

— Волк его раскусил, точно! Как пить дать, купецкий сынок. Или в крайнем случае приказчик. Осень настала, фундук поспел, вот он и торопится с народа шкуру спустить, сукин сын!

— Верно ведь, капитан?! Я человека по походке распознать могу. До самого вечера, словно девка, вертел задом на палубе!

Все снова расхохотались. Встать и уйти? Срам. Остаться? И того не легче. Он съежился на ступеньке, точно хотел растаять. Потом медленно приоткрыл глаза. Одна из тех женщин, что расположились у лестницы, резала хлеб, расстелив на полу полотенце. Другая, помоложе, рассматривала его, нахмурив брови. Он забыл обо всем на свете. Это ясное белое лицо, тонкие-тонкие девичьи брови и проникающий в самое сердце взгляд черных глубоких глаз заставили его забыть, где он и что с ним. Девушка, заметив, что он в упор смотрит на нее, еще больше нахмурилась, скривила алые влажные губы и презрительно отвернулась.

— А, черт побери! — снова загрохотал Волк.— Гляжу я, наш купецкий сынок прежде фундука интересуется сборщицами!

Опять раздались смешки. Но в этот раз кто-то попытался его урезонить.

— Много, брат, себе позволяешь! Бедную скромную девушку языком-то не марай!

— Что ты, милый! Кто ее трогает?! Я только хотел сказать, что они с матерью фундуком живут. Сами мне рассказывали, есть у них садик... Этот хлюст выводит меня из себя!

Будь, что будет, но сейчас он подойдет и схватит его за шиворот. Он медленно поднялся и пошел на Волка. Все уставились на него.

Но тут на ступени, освещенные солнцем, упала чья-то тень и кто-то наверху прокричал:

— Эй, Ихсан, черт возьми! Ихсан, где ты?

Он остановился.

— Я здесь, господин лейтенант. Сейчас иду!

— Постой, я спущусь сам!

Перепрыгивая через ступеньку, в трюм спустился долговязый чернявый офицер. Ихсан встал по стойке смирно.

— Вольно!.. Молодец! Вот что значит служба! Демобилизовался, оделся в цивильное, а главного не забываешь!.. Ну как? Разносились?

— Ей-богу, не знаю, господин лейтенант.
— Ты их ни разу не снимал?
— Никак нет, господин лейтенант.
— И не ложился?
— И не ложился, господин лейтенант. Всю ночь ходил, как вы приказывали.
— Тогда снимай! Наверно, разносились! Даст бог, не будут жать.

Ихсан сел на пол и принялся разуваться. К нему подошли несколько пассажиров. Один нагнулся, помог ему. Наконец удалось стянуть оба сапога.

Офицер осмотрел их, взял за ушки и направился к лестнице.
— Прощай, счастливый путь!
— Спасибо, господин лейтенант!

Ихсан стоял, пока офицер не скрылся. Потом опустился на пол. Вытащил из внутреннего кармана куртки пакет. В пакете были резиновые тапочки.

Пассажиры столпились вокруг него. Все говорили разом. Наконец раздался голос Волка:
— Обмишурились мы, капитан! Этот парень — крестьянин! Уволился со службы, возвращается на родину!
— Видишь как!.. Пусть закусит с нами!
— Он и шагу не может сделать. Все ноги стерты.
— Тогда пусть сидит.

Отрезав ломоть хлеба, капитан протиснулся сквозь толпу. Разломив его надвое, он протянул половину Волку:
— И как мы только не подкалывали парня! Давай теперь хоть раны смажем! Жуй!

Оба принялись жевать и мазать жеваным хлебом израненные ноги Ихсана. Все улыбались. Кто-то предложил сигарету. Протянув за ней руку, Ихсан снова увидел глубокие черные глаза. Красивая девушка, что ночью спала у трапа, с улыбкой глядела на него из-за спин.

Самим Коджагёз

СМЕРТЬ СТАРОГО ВОЛА

Перевод с турецкого И. Стеблевой

Дрожащими руками Юсуф раздвинул ветки кустарника. Сильно прищурившись, почти зажмурив маленькие глазки, он окинул взглядом оба берега. Перед ним почти до середины реки тянулась топкая болотистая коса. Под палящим майским солнцем влажно блестели густые заросли камыша.

Некоторое время Юсуф разглядывал воду и болото. Вдруг сердце у него замерло. На мгновение он закрыл глаза, и две слезы выкатились на его седую бороду. Он с трудом сделал несколько шагов и выбрался из кустов тамариска. Ноги у него подкашивались. Он опустился на песок

и, прижав дрожащие руки к коленям, застыл, словно каменное изваяние. Он глядел на топкую косу, врезавшуюся в мутные воды реки.

Вот уже три дня Юсуф всюду искал Старого вола. Сначала он решил, что тот потравил чье-нибудь поле, что сторожа поймали его и избили. Но топтать посевы было не в обычае у Старого вола. За долгие годы, прожитые вместе, ни Юсуф, ни Старый вол ни разу не позарились на чужое добро. Нет, Юсуф не зря верил, что Старый вол не совершил потраву.

Три дня бродил Юсуф по окрестностям, по холмам и горам, спрашивал у всех встречных, не видел ли кто вола. Но ему и в голову не приходило, что тот вдруг вздумает перебраться на другой берег реки. Наконец сегодня утром это предположение стало его беспокоить. Он послал сына на противоположный берег реки, а сам направился сюда...

Юсуф долго сидел не шевелясь. Прошло много времени. Наконец появился сын и сел рядом с ним. Тогда он пришел в себя. Парень, не сводя глаз с отца, глухо произнес:

— Не нашел...

Старик неподвижно смотрел на двух орлов, летавших над болотом.

— А я нашел,— пробормотал он.

Сын взглянул в ту сторону, куда смотрел отец, и зло проговорил:

— Вот проклятый! Что ему было нужно на болоте?

Юсуф повернулся и посмотрел сыну в лицо:

— Должно быть, решил перебраться на другой берег.

Горькая усмешка скользнула по лицу Юсуфа.

— Чудак, не любил бездельничать в эту пору. Скучно ему, должно быть, стало. Характером он не был похож на Рыжего вола.

Сын Юсуфа встал и пристально посмотрел на болото, окруженное рекой.

— Не похоже, чтобы он утонул. Его бы унесло водой,— сказал он.

— Он и не утонул... Он по брюхо завяз в грязи.

— Но ведь он издох...

Юсуф искоса неодобрительно взглянул на сына:

— Эх ты, да ведь его живым сожрали шакалы.

Юноша вздрогнул и стал растерянно озираться вокруг.

— Аллах, никогда не видел, чтобы шакалы съели вола.

— А я видел много раз. Бедняга думает перебраться на другой берег, найдет самое узкое место реки, пойдет по болоту. Идет, идет и вдруг увязнет. Пытается выбраться, но увязает все больше и больше. А шакалы следят за ним. Накидываются на бедного вола всей стаей. Он, живехонький, ревет, а они ночью в темноте рвут у несчастного брюхо. А тот и пошевелиться не может, только мычит... Пока не разорвут ему брюхо, пока он не издохнет, шакалы продолжают его терзать. Потом он падает в грязь, да там и остается. А наутро приходится работать орлам и воронам.

Юноша перевел широко открытые глаза с отца на болото, где лежал Старый вол.

— Никогда не видел, чтобы шакалы съели вола...— повторил он.

Юсуф рассердился:

— Ну так посмотри... А я видел не раз! Не видел только, как едят моего вола.

— Да что ему нужно было на том берегу?

— Скучно, видно, стало, пошел погулять — я ведь сказал...

— Да что ты, отец, бог с тобой... Разве волы гуляют?

Юсуф вздохнул. Борода его тряслась. Глаза были полны слез.

— А может быть, просто надоело ему... А мне разве не надоело?.. А ведь это вол! Ушел и отдал себя на съедение шакалам.

— Ерунда!

Они помолчали. Впереди над лежавшим в болоте Старым волом низко летали два орла. Слабый ветер донес до них запах падали. Старик как будто начал собираться.

— Что ни говори, скверная это смерть,— пробормотал он,— завязнуть в болоте! Пытаться выбраться — и увязать все больше... Не иметь возможности защищаться от врагов... Своими глазами видеть, как тебя уничтожают... Да еще кто! Такой трусливый враг, как шакал, чье сердце ломаного гроша не стоит! Тьфу! Черт бы его побрал! Сорок лет назад и я вот так же увяз. Мне тоже надоело работать на других. Вот и Старому волу... Скотина оказалась умнее меня, решительней... Сам, бедняга, расстался с жизнью.

Парень слушал отца, широко раскрыв глаза. Он был взволнован. Сжав кулаки и стиснув зубы, он прерывисто дышал. Наконец с трудом выговорил:

— Что же делать?

Юсуф в ответ пожал плечами.

— Мне-то делать уже нечего... А тебе — не знаю.

Осторожно ступая, он пошел по болоту. Сын шел следом за ним. Они подошли к трупу Старого вола. Юсуф подобрал большую палку, принесенную рекой. Некоторое время, зажав рукой нос, он смотрел на Старого вола. Брюхо у того было разорвано, ребра торчали наружу, уцелевшим глазом он смотрел в небо.

Юсуф палкой начал сталкивать Старого вола в воду. Сын помогал ему. После долгих усилий им удалось наконец свалить Старого вола в мутную реку. На мгновение он исчез под водой. Затем всплыл на поверхность. Некоторое время он кружился на месте. Потом, подхваченный течением, начал удаляться. Отец и сын долго смотрели ему вслед. Юсуф обернулся:

— Может быть, нигде не застрянет и доплывет до моря. Тогда рыбы объедят его до костей, а душа его найдет свободу в бесконечном море... От ярма-то он уж, во всяком случае, избавился.

Они зашагали по болоту к зеленым зарослям кустарника.

Анна Зегерс

О ГЛУБИНЕ И ШИРОТЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Дорогие друзья!

Мне бы хотелось поговорить на тему, которая, как мне кажется, представляет большой интерес для писателей и у нас, и не только у нас. Эта тема волнует снова и снова, даже если она зачастую скрыта под оболочкой совсем иных вопросов. Мне бы хотелось поговорить *о глубине и широте в литературе,* то есть о соотношении между качеством художественного произведения и его популярностью.

Почему вопросы, связанные с этим, обрели такое большое значение для писателей нашего времени?

Пограничная черта, в настоящее время отделяющая друг от друга два лагеря, два мира идей, разделила Германию на два государства, на два мира идей В наше время никому не удается остаться в стороне от событий. Тот, кто не становится их участником, все же оказывается их очевидцем. Целые народы, разгоняя туман, которым покрыта их история, властно требуют своей доли всех земных благ — не только хлеба, но и искусства, музыки, литературы. На общий стол, за которым найдется место всем миролюбивым гостям со всех концов земли, они кладут поразительные дары: литературное наследие, обманом отнятое у них, а следовательно, и у нас, плоды талантов, так долго лишенных возможности проявлять себя.

В странах социализма, в которых полностью изменились общественные отношения, молодому поколению еще на школьной скамье, еще тогда, когда оно учится читать, преподносят совсем другой, чем прежде, материал, подобранный и освещенный с нашей точки зрения. Уже в начальных классах дети приобщаются к новым понятиям о труде, о взаимной поддержке, о социалистических государствах, о дружбе народов. О прошлом, настоящем и будущем.

В Советском Союзе невзирая на войны — сначала гражданская, а потом вторая мировая — полная ликвидация безграмотности, декретированная Октябрьской революцией, послужила предпосылкой культурного подъема, в дальнейшем достигнутого широкими трудящимися массами. Там, в СССР, не только деятели искусства или преподаватели, но даже случайные встречные, стоит им только узнать о нашей профессии, тут же принимаются расспрашивать, о чем мы сейчас пишем и почему; они делятся с нами своими суждениями — и положительными, и отрицательными — о последних наших книгах. Все это производит тем большее впечатление, что в СССР наблюдается постоянный приток многообразной и многокрасочной культуры советских народов нерусской национальности. Как-то на съезде писателей посланец народа коми, обитающего у Северного Ледовитого океана, сказал: во времена царизма мы были жалкой кучкой нищих рыбаков Нам угрожала голодная смерть, медленное вымирание. У нас не было школ. За десятилетия советской власти мы превратились в народ У нас есть свой Союз писателей Наши произведения переводятся на русский язык, и, значит, мы тоже вошли в мировую литературу.

Доклад Анны Зегерс на Пятом съезде немецких писателей. Публикуется в сокращенном виде Перевод сделан с рукописи, просмотренной и исправленной Анной Зегерс.

Было бы нелепо сводить все связанные с этим вопросы только лишь к вопросу популярности литературы — ведь широта распространения предполагает определенные качества того, что широко распространено. В этом выступлении речь шла о духовном росте человека, вырвавшегося из нищеты и невежества, речь шла о новом качестве его жизни и его культуры.

ОТНОШЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

У нас в Германской Демократической Республике за время, которое прошло между двумя съездами писателей, за время, в течение которого были заложены основы социализма, многое изменилось в отношении читателей к литературе.

Перемена была обоюдной. В том, что сознание читателей изменилось, литература, бесспорно, сыграла известную роль, и мы не хотим ни преувеличивать, ни преуменьшать ее. К тому же не нужно забывать, что четыре года назад многие молодые граждане нашей республики были еще школьниками. Судя по сообщениям издательств, публичных и заводских библиотек, читателей теперь интересуют другие темы, чем прежде. Несомненно, имеются и такие группы населения, которые мало читают наши книги. Но, во всяком случае, те читатели, которые не хотят жить без книг, которым нужны наши книги, намного сознательней, их стремления гораздо определенней. Они требуют книг, помогающих им понять мир, в котором они живут, книги должны помочь им разрешить вопросы, годами отодвигавшиеся на задний план.

А писатели, со своей стороны, чувствуют себя обязанными обнаружить сдвиги в сознании людей, воспроизвести их, способствовать им.

Но этот процесс, который я считаю обоюдным, потому что писатель воздействует на читателей, а читатели воздействуют на писателя, бывает большей частью процессом внутренним. Он не на виду у всех, как, скажем, наши товары, как продукция наших предприятий, выставленная на лейпцигской ярмарке. О нем свидетельствуют некоторые цифры, которые вы услышите и здесь, на этом съезде. Он проявляется в дискуссиях, в разговорах, в размышлениях, а иногда и в происшествиях, которые не отнесешь ни к какой рубрике. Строительство социализма сопровождается спорами то тихими, то бурными — между литературой и людьми, которые ведь и составляют ее содержание.

При этом возникает несколько важных вопросов, касающихся нашей темы.

Прежде всего условимся, что мы понимаем под «глубиной» и «широтой». Не будем заниматься схоластическими спорами, а договоримся по существу.

Думается, что произведение литературы тогда обладает *глубиной*, когда жизнь в каком-то ее значительном проявлении воссоздана в нем так точно, так ясно и так захватывающе, что потрясает читателя, способствуя пониманию современности, побуждая к размышлениям и действиям.

Под *широтой* я понимаю влияние художественного произведения на множество людей и его популярность.

На первый взгляд может показаться, что оба понятия — глубина и широта — настолько различны, что их никто и никогда не спутает. Однако их часто путали, иной раз до такой степени, что исчезало всякое различие между ними. Нередко случалось, что широкое воздействие произведения, обусловленное его политической актуальностью, принималось за признак художественного достоинства. Или же в критических статьях и устных выступлениях мы вообще обходили молчанием художественную ценность произведения. Читателю предоставляли самому разбираться в этом вопросе.

Конечно, *глубина* и *широта* находятся во вполне определенной и даже нерушимой взаимосвязи. Объяснить сущность этой взаимосвязи не так легко, как кажется поначалу. И все же нам надо прийти к верному пониманию этой проблемы, чтобы наша культура могла развиваться и вглубь и вширь.

ДВА НЕБОЛЬШИХ ПРИМЕРА

Прошлым летом я читала о двух случаях, на примере которых можно наглядно установить, что такое верно понятая взаимосвязь между глубиной и широтой литературы.

Елена Вейгель, художественный руководитель театра «Берлинер ансамбль», находясь со своей труппой на гастролях в Париже, прислала приветствия и пожелания

успехов рабочему фестивалю в Карл-Маркс-штадте.

В этом фестивале принял участие и Фельзенштейн, директор «Комической оперы». Во время одного из спектаклей он установил, что из 900 зрителей 200 были в опере впервые в жизни.

Почему оба театральных деятеля заинтересовались рабочим фестивалем в Карл-Маркс-штадте? (Я упоминаю о них только для примера. То, что говорится об этих двух театральных деятелях и театральных коллективах нашей республики, можно сказать и о многих других.) Оба театра — об этом нет двух мнений — далеки от погони за дешевой сенсацией, от скольжения по верхам, от халтуры, но им чужд и расчет на узкий круг избранной публики; их спектакли, глубоко продуманные и мастерски поставленные, увлекают зрителей. Это, таким образом, творения, обладающие художественным достоинством и оказывающие широкое воздействие.

Но Вейгель и Фельзенштейн заинтересовались фестивалем не только потому, что это было массовое культурное мероприятие. Их привлекла не только широта воздействия этой формы художественного творчества на массы, вернее, не одна только широта. Конечно, в дни фестиваля множество людей так или иначе приобщились к искусству. Иные даже впервые в жизни. Однако для Вейгель и Фельзенштейна самым важным было твердое убеждение, что широкое участие масс в этом фестивале приведет к чему-то своеобразному, к чему-то новому. А это новое имеет прямое отношение к сдвигам, происходящим в сознании человека. В чем бы и как бы эти сдвиги ни проявлялись, они неизбежно влияют на отношение человека к другим людям, к обществу, к государству.

Многие участники фестиваля почувствовали подъем, одними сразу, другими постепенно овладевало желание активней включиться в строительство справедливой новой жизни, мирной, трудовой, счастливой. Они ощутили прилив новых сил, потому что благодаря искусству в их мыслях и чувствах совершился такой сдвиг, какой иногда вызывается первым приобщением к искусству или вообще приобщением к искусству, только им и ничем другим.

Театральное представление или телевизионная постановка, музыка, живопись или книга вызвали во многих людях неизведанные дотоле ощущения. Отныне они думают об ином, чем прежде, или по-иному, чем прежде. Многим из них кажется, что писатель заглянул в потаенный уголок их души и увидел там самое сокровенное. Именно писатель открыл им то, чего не заметили ни их товарищи по работе, ни друзья, ни домашние, ни даже они сами.

Недавно в аудитории, состоящей из сотен читателей, я задала вопрос, не случалось ли с кем-нибудь, чтобы книга оказала на него решающее влияние. Одна юная читательница назвала роман Бориса Полевого «Золото». «Там девушка помогает партизанам. До тех пор она не имела никакого отношения к партии. Вот и я тоже. Но теперь я помогаю, чем могу». Пожилая женщина сказала: «В моем возрасте, казалось мне, уже нельзя перемениться. Так я думала, пока не прочитала «Мать» Горького». Один юноша увлекался книгами о приключениях в чужих странах. «Мне хотелось самому пережить что-нибудь в этом роде. Прочитав «Поднятую целину», я понял, что и у нас много приключений, опасности, ожесточенной борьбы. Я увидел все в новом свете». Другой юноша рассказал: «В 1945 году я посмотрел «Натана Мудрого» Лессинга — и это перевернуло меня». «Я читал в газете про двухлетний план,— признался третий,— но мне не было ни тепло, ни холодно от этого. Мне даже было невдомек, что это имеет ко мне какое-то отношение. Потом я прочитал стихи Кубы. Я долго думал, прикидывал». Молодая учительница сказала: «Я твердо решила: никогда не стану педагогом. Мой первый учитель был нацистом. Второй оказался лицемером. Пока он был у нас, восхвалял все без удержу. А потом удрал отсюда. С третьим в политическом отношении все было в порядке, но он не мог ответить мне ни на один вопрос. Я думала: пусть будет какая угодно профессия, лишь бы не педагога. Потом я прочитала Макаренко и вдруг поняла: буду учителем, только учителем, настоящим учителем».

ЛИШЬ ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО ИЗМЕНЯЕТ МИР

Могут ли оказать такое воздействие любая книга, любой спектакль, даже плоские, даже пошлые?

Только подлинное искусство может вызвать в человеке глубокую внутреннюю пе-

ремену. Только истинные произведения искусства, совершающие переворот в человеческом сознании и именно в силу этого свидетельствующие о нашей эпохе, становятся в один ряд с великими творениями былых времен, которые, совершая переворот в человеческом сознании, свидетельствовали о своей эпохе. И совершенно очевидно, что ныне, как и прежде, созданию таких творений будут предшествовать бесчисленные попытки—несовершенные, почти удавшиеся или совсем удавшиеся — многих людей, молодых и старых, профессиональных писателей или «пищущих рабочих». Иной раз бывает и так, что не очень сильная книга, но открывающая нечто новое в современной действительности, не замеченное, быть может, более крупным талантом, тоже способствует переменам в человеке и в обществе

На прошлом съезде писателей по другому поводу я напоминала о том, как, например, выглядит индивидуально-своеобразное в творчестве Горького. В начале романа «Мать» он показал нам, как сын становится социалистом. Правда, тот факт, что при царском режиме русский рабочий нашел путь к социализму, уже сам по себе должен взволновать читателя. Но констатация этого факта имеет лишь общее значение. Менее зрелый художник не пошел бы дальше общего. Он установил бы достоверность факта, он сформулировал бы новые убеждения сына в верных, точных, а быть может, и прекрасных словах.

Что же делает Горький? Как он воспроизводит индивидуальное своеобразие человеческой судьбы? Обходясь без красивых фраз, он делает это так просто, так тонко и так осторожно, что читатели вначале лишь догадываются, на какой путь вступает герой.

Мать встревожена тем, что ее грубый сын вдруг начал вежливо разговаривать с ней, не покрикивает, как его отец: «Сделай то! Сделай это!», не швыряет ей свои сапоги. Мать даже пугается. Уж не заболел ли сын?

Вот они, первые признаки великой перемены, совершающейся в человеке! Горький изображает нечто индивидуально-своеобразное, особый случай, показательный для великих перемен, совершавшихся в сознании сотен тысяч русских рабочих того времени: Павел Власов — всего лишь частица этой массы. В каждом перемена начиналась по-своему, и мы верим в это потому, что один из многих стал нам так близок.

Почему я возвращаюсь к этому примеру? Почему я сразу же исхожу из качества, из мастерства? Потому что я убеждена: именно из этого всегда и надо исходить. Трудные задачи, стоящие в настоящее время перед писателями, требуют полного напряжения творческих сил.

Лишь индивидуально-своеобразное, как бы сказанное именно о нем самом, волнует читателя. Общие слова оставляют его равнодушным, даже если они верные, даже если их повторяют тысячу раз.

Китайская пословица гласит: к каждому сердцу, чтобы открыть его, надо подобрать свой ключ. Немногие великие творцы обладали способностью подбирать ключи к неисчислимому множеству человеческих сердец. Возьмем, к примеру, Баха или Моцарта, Шекспира, Гете, Толстого или других им подобных. В их творениях такое многообразие жизненного опыта и человеческих чувств, столько печали и радости, что любой человек, каков бы он ни был, найдет там для себя пищу. Глубина и широта воздействия, оказываемого этими произведениями, соответствует глубине и широте самих произведений.

Мы размышляем над тем, какими путями они этого достигли. Чтобы изобразить то, что сегодня волнует нас больше всего, чтобы вырвать людей из тисков тупости, невежества и неверия, нам нужны такие произведения искусства, в которых широта и глубина не противоречат друг другу, а взаимно дополняют.

С этим связаны и проблемы нашего мастерства. А они — по видимости — касаются лишь определенного круга людей.

Не сужает ли это круг людей, которые обогащают свою жизнь литературой, музыкой, театром?

Нет, не сужает и не ограничивает число тех, кому культура и искусство помогают познавать жизнь. Напротив. Именно потому, что у нас этот круг должен неуклонно расширяться, именно потому, что все больше людей стремятся узнать и постичь искусство, именно потому, что часы, проведенные за хорошей книгой, на хорошем спектакле или за слушанием хорошей радиопередачи, тоже составляют часть более радостной, более счастливой жизни,— настало время больше, чем прежде,

заниматься проблемами мастерства. Вот тут-то и возникают специфические профессиональные вопросы, которых я здесь могу коснуться лишь вскользь.

Новое не только в том, что в нашей стране все больше и больше людей приобщается к культуре. Новое, в частности, в том, что все больше и больше людей становятся восприимчивыми к подлинному искусству. Пусть у человека была унылая юность, пусть он жил в тесном и душном мирке — истинное искусство покажет ему всю глубину и широту жизни. И тогда он быстро научится отличать хорошее от плохого, глубокое от плоского, подлинное искусство от халтуры и сентиментальщины. Правильное суждение, широко распространенное и именно потому укоренившееся — а как же иначе? — в сознании каждого отдельного человека,— тоже одна из целей нашей культурной работы, она имеет прямое отношение к широте воздействия литературы.

Я вовсе не хочу сказать, что глубина обязательно подразумевает нечто сложное, нечто серьезное. Нет, жизнь многообразна и многокрасочна; людям надо и посмеяться. Но шутки не должны быть плоскими, а смех и веселье бессодержательными. Шутка не становится забавной оттого, что она, больно раня друга, вредит его работе. Ранить можно и нужно противника, вредить следует его скверным делам.

Очень хорошо, что, например, адвокат Кауль, член нашего Союза писателей, издает детективные романы. Однако точка зрения Шрейера, согласно которой к художественным произведениям можно подходить с двоякой меркой, представляется мне спорной. Он считает, что книга не очень высокого качества, но с захватывающим сюжетом может быть полезной, если читатель найдет в ней верное освещение событий. Почему же Шрейер — да и не только он — с такой легкостью отказывается от подлинного мастерства, хотя, вероятно, мог бы добиться широкого воздействия не только за счет занимательности, но и благодаря более высокому качеству? Правда, для этого потребовалось бы терпение и серьезные знания, так что Шрейеру, быть может, временно пришлось бы отказаться от издания новых книг.

С этим вопросом связан еще один, обсуждавшийся у нас в Союзе писателей в связи с творчеством Гарри Тюрка. Существует такое выражение: «жесткая манера письма». Поскольку в жизни иногда бывают «жесткие» составные части, в литературе кое-кто считает необходимым именно их выдвигать на передний план.

Истинный конфликт увлекает, захватывает. Он держит читателя в постоянном напряжении. Вопрос только в том, какие чувства нагнетаются, какие чувства я, писатель, хочу усилить в читателе.

У Дитера Ноля в его книге «Приключения Вернера Хольта» нет недостатка в «жесткости», но чувствуется: он отошел от своего прежнего «я» на такую дистанцию, что может сам понять и другим показать все присущие этому «я» конфликты. Такая дистанция ничего не имеет общего с расстоянием во времени или пространстве, это результат трудной внутренней работы. Быть может, способность к этому и есть одна из важнейших примет художника. Лишь тот, кто обладает этой способностью, может дать почувствовать, куда ведет перспектива, как будут разрешены противоречия. Чем «жестче» конфликт, тем больше таланта требуется от автора, чтобы верно показать перспективу.

Почему я так долго останавливаюсь на подобных примерах? Потому, что широкий круг читателей может зачитываться книгами в «жесткой» манере или с захватывающим сюжетом, не имея ни малейшего представления о том, что означает подлинное литературное мастерство.

В воспитании художественного чутья, необходимого для правильной оценки произведения искусства, большую роль может сыграть критика. Она не выполнит свою роль посредника между писателем и читателем, если мы нетерпимо будем относиться к ее суждениям, не желая даже спокойно поразмыслить над ними, или если критик сам не относится с должным уважением к своему делу и руководствуется какими-либо субъективными чувствами.

Мне кажется, что обобщающая, серьезная критическая статья о книге, которая требует обстоятельного обсуждения, должна появляться в центральной прессе не в начале, а в конце дискуссии. Я также не согласна с мнением, недавно высказанным в печати, будто критические статьи, противоречащие друг другу, приносят вред. Чем?

Кому? Почему? Столкновение различных хорошо обоснованных точек зрения способствует дальнейшему развитию литературы.

НУЖНАЯ ТЕМА — ЕЩЕ НЕ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Литературное произведение не становится хорошим только оттого, что автор стоит на правильной точке зрения. Это всего лишь предпосылка — в нашем государстве правильная точка зрения необходима для любой профессии; право же называться писателем определяется еще и наличием других качеств. И чем многообразнее жизненный опыт писателя, чем глубже его знания, тем нужнее ему талант творческого воплощения пережитого и познанного, тем больше требуется ему «ключей» к человеческим сердцам и умам.

Нужная тема, как бы значительна она ни была, еще не гарантирует ценности книги. Все дело — в правильном воплощении. Профессиональная требовательность к самому себе, которая должна быть присуща каждому, кто добросовестно и по-партийному относится к своей работе, предполагает то, о чем я только что говорила: лишь подлинное искусство может оказывать глубокое преобразующее воздействие.

До того как новое содержание воплотилось в зрелом творчестве одного или нескольких новых художников, это новое содержание уже находило свое выражение в различной, порой неуклюжей, порой несовершенной форме.

Много попыток выразить новое содержание и лишь отдельные творческие свершения, обусловленные знанием, умением, талантом лучших художников,—такова сущность взаимодействия глубины и широты в искусстве. Взаимодействие это особенно ощутимо для современных писателей, которые стоят перед гигантским содержанием, перед разительными контрастами: в одну и ту же неделю, быть может, и в один и тот же день совершается полет на Венеру и убийство Лумумбы, проникновение в космос и нападение на Кубу.

В ту пору, когда рождалась наша революционная литература, в Германии был основан Союз немецких революционно-пролетарских писателей. Те, кто к нему принадлежали, чувствовали необходимость и способность творчески воплотить свой жизненный и трудовой опыт, свое политическое мировоззрение, свою приверженность к германскому рабочему классу, молодой советской республике, революционному движению других народов.

Название нашего Союза служило в те годы предметом горячих споров. Для нас, молодых, слова еще имели цену — они не были, как иногда случается теперь, обесценены словесной инфляцией или дефляцией — то есть чрезмерно частым повторением или осторожным умалчиванием. Решающим считалось революционное сознание, а не одно только пролетарское происхождение.

Даже в тяжелые и мрачные времена в Союзе революционно-пролетарских писателей все знали, зачем и для кого они пишут. В большинстве своем это были пишущие рабочие или пишущие безработные — в ту пору в Берлине каждый четвертый оказывался безработным.

Уверенность в том, что после Октябрьской революции в мире начались великие перемены, была для них стимулом к жизни и к работе. Голодая, простаивая в унизительных очередях за пособием — о тюрьмах и пытках, о жертвах, которые предстояло принести в недалеком будущем, знали еще только понаслышке, от товарищей, эмигрировавших из других стран, где воцарился фашизм,— они были твердо убеждены, что и в Германии когда-нибудь рабочие и крестьяне придут к власти, и тогда перед всеми откроется путь к лучшей жизни, к учению, к творчеству, к искусству.

Примерно в то же время многие писатели из буржуазной среды, в том числе и Бертольт Брехт, окончательно и решительно встали на сторону рабочего класса. Вспомните — советская страна тогда еще была молодой, она лишь недавно совершила революцию, пережила интервенцию. Но как велика была сила ее международного воздействия! Иоганнес Бехер, одним из первых среди писателей буржуазного происхождения, и в жизни и в творчестве стал ее приверженцем.

В романе «Испытание» Вилли Бредель рассказал, как ему в концентрационном лагере удалось выдержать одиночное заключение в темном карцере, куда его бросили: он повторял в уме все свои любимые оперы. Так музыка стала силой сопротивления.

Этот случай помогает нам понять весь писательский путь Вилли Бределя, его стремление учиться снова и снова.

Когда рабочий класс берет власть в свои руки, тогда и культура становится его культурой. В то же время он является наследником всех культурных ценностей, созданных ранее человечеством. Для того чтобы культура в нашем государстве — а наш писательский труд вносит в нее значительный вклад — разрасталась вглубь и вширь, нужно, чтобы в ее могучий поток вливалось множество рек.

Некоторые писатели пришли в литературу ГДР из подполья, или из эмиграции, или из тюрьмы с запасом образования, готовыми замыслами, с книгами, с набросками. Некоторые, более молодые писатели проявили свои таланты сразу же после того, как пал социальный гнет. Возьмем, к примеру, Эрвина Штриттматтера, не забудем и скончавшихся несколько лет назад Тео Хариха и Рудольфа Фишера. Эти писатели непосредственно продолжили линию развития старших. Не только благодаря своему таланту, но и потому, что унаследовали от старших необходимое знание жизни. Если, к примеру, Куба многому научился у Фюрнберга, а Штриттматтер был учеником Брехта, то это означает, что они приобщились к тому культурному наследию, которым дорожили Брехт и Фюрнберг.

Однако культурная надстройка и после революции создается не сразу. Это длительный процесс, совершающийся в борьбе противоречий.

При этом в известные периоды главная задача состоит в *широте*, и не только в широте воздействия литературы и искусства на массы, но и в широте творческого воплощения нового мировоззрения.

Движение «пишущих рабочих» было порождено желанием ускорить развитие нашей культуры.

Кое-кто не сразу понял разницу между этим движением и Союзом революционно-пролетарских писателей. Вероятно, кое-кто думал, что тут имеет место непосредственная преемственность.

В прежние времена рабочий, входивший в Союз революционно-пролетарских писателей, писал вопреки государству, в котором он жил, против этого государства. Если у него хватало сил, времени, таланта, мужества, чтобы писать, то он тем самым доказывал, какое большое значение придает он этой стороне своей жизни. Он радовался, когда его печатали. Но даже маленькая статейка могла ему стоить работы, если только он уже не был безработным.

Что существенно для нынешнего движения «пишущих рабочих»?

То, что люди, которым в наше время принадлежит государство — и, значит, не только хлеб, не только материальные ценности, но и культура и искусство,— сами осознают, как изменились условия жизни и труда, и своим творчеством помогают другим осознать эти перемены.

Они изображают события, которые никогда еще не были осмыслены и показаны, которые вообще еще не могли быть воспроизведены, не только потому, что эти события ложно истолковывали или искажали, или же потому, что ими пренебрегали, но прежде всего потому, что ничего подобного вообще еще не бывало.

В наше время труд уже не омрачает жизнь человека, не обезличивает его, не затушевывает своеобразные черты его характера. Личность рабочего проявляется теперь не в том, что он восстает против рабского изнурительного труда, участвуя в демонстрациях, в забастовках или же стараясь урвать часок-другой для личной жизни (все это уже было великолепно показано в хороших книгах, пьесах, стихах). В настоящее время, здесь, у нас, в труде и через труд человек полностью проявляет себя. Он уже не аноним. Он — центр общественной жизни.

Некоторые спрашивают меня: думаешь ли ты, что отношение к труду изменилось у всех?

Нет, я этого не думаю. Многие, слишком многие люди еще совсем не поняли или только начинают понимать, что с основанием рабоче-крестьянского государства изменилось отношение к труду. Но, наблюдая человека в процессе труда, можно установить — а потом и творчески воспроизвести,— изменилось ли хоть что-нибудь для него, равнодушен ли он ко всему, начинает ли он медленно, очень медленно понимать кое-что или уже успел понять все, что происходит. Характер каждого человека проявляется в его отношении к труду. В своеобразии отношения к работе постигается своеобразие личности. И в жизни и в искусстве.

То, что выходит из-под пера наших рабочих, рабочих первого немецкого социалистического государства,— это документы, ясные, точные, достоверные, свидетельствующие о первых годах нового отношения к труду, правда, лишь в том случае, если пишущим удается быть ясными, точными, достоверными.

Ощущение достоверности — «я сам был при этом» — и придает особую ценность литературным работам, созданным на наших предприятиях или теми, кто тесно с ними связан. Эти работы служат богатым исходным материалом и для историко-политических исследований и для художественного творчества, посвященного самому значительному этапу нашего развития. Маассен уже сравнивал их с дневниками Интернациональных бригад, написанными во время гражданской войны в Испании.

Но для того чтобы литературная работа действительно обладала документальной ценностью и подтверждала рождение нового в нашей жизни, в ней, как уже сказано, должна быть ясность, безыскусственность. И, разумеется, зоркость. Только тогда они станут сокровищницей индивидуально-неповторимого, пусть даже еще и в несовершенной форме. Только тогда элементы подлинно нового проникнут в искусство, в его содержание и форму, даже в язык.

Отображая то, чем они живут изо дня в день, рабочие, взявшись за перо, находят самое главное в действительности, иной раз в мелком происшествии на работе, в случайном споре, в проявлениях радости или разочарования. Среди множества впечатлений они отыскивают «особенное» — точки, а иногда даже точечки соприкосновения человеческих судеб с тем, что в нашей действительности самое главное.

Конечно, никто, создавая новое, не обходится без того, чтобы учиться у других. Это верно и для Гете, и для Бехера, и для каждого пишущего рабочего.

Чтобы способствовать развитию художественного вкуса и художественного чутья,— одновременно принимая во внимание и качество и популярность литературных произведений,— нам следовало бы, кажется мне, побольше издавать разные книги, в том числе и переводные. Прежде всего советские романы.

Тогда читатели узна́ют, насколько необъятен мир и насколько всеобъемлюща творческая сила художника, когда он смел и достигает исчерпывающей глубины.

А писатели поймут, что вопрос, можно ли писать обо всем, больше касается субъекта, чем объекта. Дело не столько в теме, сколько в писателе. Они увидят, что одаренному художнику «дозволено» неизмеримо больше разных тем, чем менее одаренному.

Когда рабочий или крестьянин, молодой или старый становится у нас писателем, ему не приходится преодолевать внешние преграды, которые встретились бы на его пути в капиталистических странах. Но сколько б ему ни помогали, никто не избавит его от внутренних препятствий, которые он обнаружит только в том случае, если у него есть талант. Это трудности художественного воплощения. То, о чем он прежде писал в своем рабочем дневнике или в своей стенгазете, теперь входит в отображаемую им реальную действительность.

Может случиться, что работу начинающего писателя скорее заметят и горячее обсудят в сельскохозяйственном кооперативе, в котором он состоит, или на том предприятии, где он работает. Но его талант может развиваться, его следующий труд может быть поучителен для многих людей за пределами его цеха. И в один прекрасный день вдруг окажется, что в его силах так ярко отобразить жизнь Германской Демократической Республики со всеми ее задачами, поразительно огромными и трудными, что нарисованная им картина будет замечена и воспринята в обеих частях Германии. Он может даже выйти за пределы обеих частей Германии и принять участие в великих преобразованиях, которые в настоящее время, в начале эры социализма, стали делом всех мыслящих людей во всех странах мира.

ДОБИРАТЬСЯ ДО СУТИ

Сумеем ли мы, писатели, способствовать решению стоящих перед нами проблем, если мы ограничимся теми явлениями, которые лежат на поверхности?

Современная жизнь предстает перед человеком столь необъятной, многослойной и противоречивой, что она, наверно, показалась бы ему беспочвенной и бессмысленной, если б он не находил в книгах ничего, кроме ее зеркального отображения. Широта воздействия, которая нужна нам сегодня,

невозможна без глубины творческого отображения.

Мы живем не в провинции и не на острове, затерянном в океане. Мы — государство, которое занимает ключевую позицию в непрерывной, с предрешенным победным исходом, но от этого не менее суровой борьбе между миром и войной. Рабочие и крестьяне Германской Демократической Республики своим трудом дают ответ на вопрос, задаваемый рабочими и крестьянами Западной Германии: что такое «народное предприятие»? Скромно по сравнению с кричащими рекламами Запада, но выразительно светятся буквы «НП». Рабочие и крестьяне убеждают своим трудом. Какими средствами убеждаем мы, писатели?

Когда я спрашиваю, какими средствами, я имею в виду и художественные средства. Я имею в виду литературные произведения, форма которых достойна их содержания.

Не только «Берлинер ансамбль», или «Комическая опера», или «Томанер хор», или «Гевандхаус оркестр», но и многие актеры, писатели, художники оставили светлые следы в Федеративной Республике и в странах «холодной войны».

Вероятно, многие писатели и художники Федеративной Республики так же, как и мы, предпочитают честное соревнование между обеими частями Германии в области материальных и духовных благ опасному и бессмысленному хождению по канату над бездной, которое практикуется сторонниками «холодной войны».

Многие западногерманские рассказы, стихотворения, кинофильмы приходят в нашу страну, в ГДР. Гораздо больше от них к нам, чем от нас к ним. Может быть, здесь дело в качестве? Даже и за пограничной чертой такая чепуха никому не приходит в голову. Значит, дело в тенденции?

Характеризуя западногерманские романы, наши критики пользуются термином «критический реализм». Ибо авторы этих романов знают, какое зло замышляется в их стране, видят, как в адском котле закипает варево, в котором старая отрава перемешана с новой. Конечно, такие писатели сознательно критичны. В то же время некоторые из них сознательно отвергают социализм.

Таков, к примеру, Генрих Бёль. И все же он несравненно больше, чем «критический реалист». Тот, кто миролюбив и человечен, открывает в своих книгах перспективу, которая выходит далеко за пределы голой критики. Конечно, его перспектива иная, чем наша Но в нынешнее суровое время все люди доброй воли творят ради мира и борются за мир Означает ли это, что я — поскольку у нас общая ближайшая цель — безоговорочно, некритично принимаю книгу Бёля, которая мне нравится, потому что в ней показаны социальные конфликты и чувствуется любовь к миру и людям? Нет, это было бы неумно и неискренне, и Бёлю не пришлось бы по вкусу.

Мне, например, нравится его последний роман «Бильярд в половине десятого». Почему? Самый острый конфликт нашей эпохи, конфликт между миром и войной, отображен здесь в судьбах трех поколений. Это три поколения семьи немецкого архитектора. Дед построил здание аббатства, сын отдал приказ взорвать его, внуку предлагают его построить заново. Но он всей душой противится этому мнимому обновлению.

Материал для конфликта крепкий. Тема такая, что тут есть над чем поразмыслить каждому, кто позабыл, что такое конфликт. Бёль располагает свой материал не в хронологическом порядке, он сплетает отдельные сюжетные нити, те, что уводят в прошлое, и те, что приводят к настоящему, в тугой узел и развязывает его, когда и как ему удобно с его творческой точки зрения. Однако книга, которая по своей теме могла бы обрести значение крупного романа нашей эпохи, беспощадного и призывного, не для всех читателей легко доступна.

Автор мог бы возразить, что в его намерения вовсе не входило призывать людей к непосредственному действию. Многие талантливые писатели Федеративной Республики сказали бы то же самое. Но мы твердо убеждены, что как раз мысль о необходимости действовать и надо довести до сознания как можно большего числа людей, в сущности — до сознания всех.

ПАРТИЙНОСТЬ, ТВОРЧЕСКИ ВОПЛОЩЕННАЯ

Вот в этом и состоит теперь проблема творчества: как добиться, чтобы идея, во всей ее глубине и полноте, стала достоянием возможно большего числа людей и чтобы при этом не пострадала художественная цельность книги.

Мы сейчас не будем останавливаться на том, что каждое литературное произведение имеет тенденцию, осознанную или неосознанную, явную или тайную, что каждая книга, если в ней хорошо разобраться, всегда выдает позицию автора. Я говорю о другом: об осознанной партийности, сказывающейся во всем — в характерах действующих лиц, в целенаправленности их поступков, в разрешении переживаемых ими конфликтов. Нам надо создавать побольше таких книг, спектаклей, фильмов, которые дают людям ясность перспективы.

Не повредит ли это художественному произведению писателя-социалиста? Ответ короткий: если повредит — значит, произведение не художественное. Ведь художник, пользуясь выражением Горького, не прикрепляет к вылепленным им фигурам ярлыки, не наделяет их ангельскими крыльями или бесовским хвостом, как в средневековых мистериях. Они изображаются во всей их внутренней противоречивости. Не по лозунгам, включенным в текст, а по ходу изображаемых событий становится ясным, куда клонит книга, куда клонит жизнь. Автор и его читатели, если они союзники — а так оно и бывает при условии, что книга способна возбудить интерес,— не собьются с пути даже в том случае, когда на протяжении многих страниц словно и не видно цели: ведь иной раз где-нибудь высоко в горах не сразу увидишь тропинку.

Многие из тех, кто согласны с нами в решении главных проблем, иногда возражают нам, говоря, что решение это может быть выражено в политическом документе, в выступлении с профессорской кафедры, но не в романе или фильме. Они предпочитают книги, в которых, на их взгляд, нет никакой тенденции, а есть только жизнь, в ее будто бы неизменных проявлениях: от любви к смерти.

Разочарование этих людей в тенденциозной литературе правомерно, если вместо художественного изображения конфликтов им преподносятся абстрактные заверения.

Фридрих Энгельс утверждал, что тенденция должна вытекать из самой ситуации, из действия, на нее не надо указывать пальцем; писатель вовсе не обязан преподносить читателю в готовом виде будущее историческое решение социальных конфликтов, которые он сейчас изображает. Можно привести множество примеров, подтверждающих партийность великих произведений искусства, сделавшихся с течением времени как бы бестенденциозными, поскольку выраженная в них точка зрения стала общепризнанной. Нам уже трудно понять ожесточенную борьбу гвельфов и гиббелинов, нашедшую отражение в «Божественной комедии» Данте. Да и вражду Монтекки и Капулетти тоже не случайно наши писатели преломляют сквозь призму современных конфликтов. И религиозная подоплека Тридцатилетней войны уже потеряла свою остроту.

НАША ТЕНДЕНЦИЯ ШИРОКО ВХОДИТ В ЖИЗНЬ

Когда мир будет обеспечен во всем мире, когда люди перестанут, угнетая друг друга, наживаться за чужой счет, когда народы, покончив с расовой враждой и колониализмом, будут жить в дружбе, тогда то, что преследуется нашими противниками, то, в чем состоит наша «тенденция», станет для всех само собою разумеющимся.

Брехт уже давно написал своего «Галилея». В этой пьесе поставлена проблема человека, который, желая спастись от преследования, отрекся от научной истины. Эта пьеса построена на историческом материале, но она как будто создана для наших дней. До тех пор пока будет существовать угроза атомной войны, брехтовский спектакль останется актуальным.

Федерико Гарсиа Лорка в своих стихотворениях и драмах лучше чем кто бы то ни был запечатлел пейзажи Испании, облик ее народа, его характер, его чувства. Когда началась гражданская война в Испании, франкисты расстреляли Федерико Гарсиа Лорку: за свои убеждения он поплатился жизнью. Если бы он остался в живых, то взволнованно и волнующе написал бы о бедствиях своего народа, о его гневе, о его ненависти к франкистскому режиму, о сегодняшнем дне Испании. Его убийство оставило зияющую пустоту в испанской литературе.

Большой писатель, хорошо разбирающийся в помыслах и поступках своих современников, обязательно запечатлеет их в своих книгах. Он не сможет не сделать этого. Не потому, что на него оказали политическое давление, а потому, что в его книгах, как и в его жизни, каждая мысль и каждое действие сознательно или бессозна-

тельно окрашиваются самым главным, что присуще нашей эпохе. Если же писатель тем не менее обходится без этого в своей книге, то, конечно, по причинам, не имеющим никакого отношения к литературе. Может быть, от непонимания, может быть, от нерешительности, может быть, из страха, может быть, потому, что он хочет издаваться во что бы то ни стало. Истинный художник, каким бы творческим методом он ни изображал жизнь, не имеет права изымать из действительности целые куски. Разумеется, «приклеенная» тенденция производит искусственное и отталкивающее впечатление. Но не менее отталкивающее впечатление производит нарочитое изъятие или боязливое замазывание таких существенных сторон жизни, как, например, отношение человека к своей работе, к государству, к обществу, в котором он живет. Настоящий художник, как бы его творческий метод ни был далек от нашего, никогда не позволит себе этого. Ибо он изображает не мнимую действительность, не химеры, а тот мир, который его окружает.

Если высокохудожественное произведение отличается тенденциозностью, вытекающей из поистине глубоких конфликтов, из борьбы противоречий, то как раз эта тенденциозность и придает ему особую ценность. И читатель, может быть, даже и не отдавая себе ясного отчета в этом, воспринимает все сильнее и красоту, и своеобразие повествования, и жгучесть изображаемых конфликтов. Широта воздействия такой книги увеличивается.

К сожалению, нередко случается, что какой-нибудь наш писатель предпочитает показывать не ход событий, а их конечный исход. Он ограничивается тем, что устанавливает партийную принадлежность персонажей, их политические взгляды, их отношение к государству. И тогда ему не дождаться широкого отклика на свою книгу, хотя мысли его верные, а намерения благие. Он пишет так, словно не знает в жизни ничего, кроме политики, словно для него не существует ни дружбы, ни любви, ни природы, ни работы. Создается впечатление, что он не читал ни Горького, ни Толстого, никогда не бывал в театре на спектаклях немецких классиков, Шекспира или современных драматургов, не слышал стихов Бехера и Неруды. А ведь все это произведения, в которых — как и в действительности — тенденция определяется на основе долгого, трудного, сложного жизненного опыта.

Каждый человек, для которого искусство стало потребностью, жаждет ощутить в нем всю полноту жизни, близкой ему. Альфред Курелла напомнил в одной из своих статей, что искусство — это один из способов познания жизни. Развитому человеку нужно, чтобы в произведениях искусства он видел общество, в котором живет, завод, где работает, свои радости и печали, свои стремления.

Я хочу, чтоб мне показали жизнь во всех ее проявлениях. Но мне ненавистны книги, осмеивающие и оплевывающие все то, за что жизнь достойна любви, такие книги, которыми стараются повернуть историю вспять, уничтожить то, чего люди добились ценою борьбы и жертв, ценою тяжких трудов.

ТЕНДЕНЦИЯ К СОЦИАЛИЗМУ ЗАЛОЖЕНА В САМОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Если наш писатель верно понимает свое призвание, если он отображает окружающий мир, углубляясь и в прошлое, если он описывает природу и общество, работу и любовь, то ему видно, где и как, в борьбе противоречий, в преодолении препятствий и трудностей, создается социализм. Как же ему не показать совершающиеся у нас великие перемены, если он впечатляюще описывает поля, покрытые утренней росой, или девушку, ожидающую возлюбленного, или мастера, раздосадованного нерадивым учеником? Социализм в его книге — не вывеска, признаки социализма — не абстрактные символы; вполне конкретные, они обнаруживаются им в людях и в жизни. И это происходит не потому, что автор извне вносит в свою книгу тенденцию, которая остается в ней инородным телом, а потому, что тенденция к социализму заложена в самой действительности, и это теперь волей-неволей понимают даже и наши закоренелые враги. Может ли правдолюбивый писатель в своей книге пройти мимо этой тенденции, если он не прошел мимо чувств и помыслов своих соотечественников, если он не прошел мимо грозового дождя и влюбленной девушки?

Не только у нас, но и в Федеративной Республике Германии есть много книг, внушающих читателю ужас и отвращение к явным или тайным попыткам развязать войну, решимость не допустить ее, отказавшись участвовать в ней. Такие книги выставлены и в витринах западногерманских книжных магазинов, хотя там предпочитают выставлять воспоминания генералов и реваншистские книги, у нас запрещенные законом.

Какая книга в большей мере вовлечет людей в борьбу за мир — «Акулы и мелкие рыбешки» Вольфганга Отта или «Приключения Вернера Хольта» Дитера Ноля (обе рассказывают о совсем молодых людях, еще почти детях, попавших на мировую войну)? В книге Отта война уничтожает самое себя, оставляя позади себя мертвых и отчаявшихся. В книге Ноля тоже есть отчаявшиеся, главный герой ее знает не более того, что он мог знать в ту пору. Но автор, понимающий причины и следствия войны, дает читателю возможность размышлять в верном направлении.

Нолю, мне кажется, удалось, не привнося искусственно свои взгляды, свое понимание исторической перспективы, самим ходом изображаемых событий и человеческих судеб убедительно доказать ее неизбежность.

На прошлом съезде мы говорили о том, что нам не хватает романов, которые отобразили бы вторую мировую войну с нашей, социалистической точки зрения. Мне кажется, что для немецкого писателя эта тема особенно трудна, особенно сложна. Именно поэтому ее необходимо усиленно разрабатывать.

За последние годы в Европе повсюду стали появляться военные романы — от Советского Союза до Франции, более того — на всем земном шаре, от Японии до Финляндии.

Эти книги написаны по воспоминаниям талантливых писателей многих стран. Иногда эти воспоминания отличаются большой глубиной и широтой. Остается пожелать, чтобы людям в последний раз пришлось вспоминать не только о второй мировой войне, но и вообще о временах войн, о варварской предыстории человечества.

* * *

На нашем берегу эпохи строятся города, создается новое общество без былых страданий, без бедствий, без войн. Здесь же создаются и наши книги, драмы, стихотворения, романы, радиопьесы — некоторые из них уже достигли высокого уровня, другие еще несовершенны, неотшлифованы. Но у всех этих произведений есть нечто общее: каждое из них — первая на немецком языке весть с берега новой жизни.

Перевод с немецкого Л. Симонян.

И. Голик

ИСКУССТВО НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

В Берлине состоялся Пятый съезд немецких писателей. В Доме министерств, на Лейпцигерштрассе, где решаются важнейшие вопросы жизни Германской Демократической Республики, собрались писатели, поэты, драматурги и критики, чтобы обсудить итоги своего труда и определить задачи, стоящие перед ними. На съезде присутствовали также более двадцати западногерманских литераторов и делегации писателей из 24 стран мира. С основным докладом выступила всемирно известная писательница Анна Зегерс.

Все, кто эти три дня находились в зале заседания съезда, беседовали с писателями, кто встречались с читателями, были свидетелями больших достижений литературы и всей культуры новой Германии.

РОСТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Накануне съезда газета «Зоннтаг», чтобы составить более конкретное представление о культурном росте трудящихся, обратилась с анкетой к жителям нескольких населенных пунктов района Гранзее, расположенного недалеко от Потсдама. Один из тридцати вопросов, касающихся всех областей духовной жизни человека, был сформулирован так: «Какие произведения художественной литературы прочитали Вы за прошедший год?» Бóльшая часть тех, кто ответил на этот вопрос, назвала роман Бруно Апица «Голый среди волков» (в переводе на русский язык вышел под названием «В волчьей пасти») — талантливую книгу о концлагере Бухенвальд, о мужестве и сплоченности узников разных национальностей в борьбе против фашизма.

Коммунист Бруно Апиц, двенадцать лет проведший в тюремных застенках Третьей империи, убедительно показал в своей книге, что конец нацистского господства был неизбежен. Всем своим пафосом это произведение направлено против возрождения фашизма на Западе Германии. Книга вышла полумиллионным тиражом в ГДР и переведена на десять иностранных языков.

На втором месте в ответах на анкету стоял роман Ирмы Гардер «Дом у дороги», повествующий о судьбе крестьянки Инги Раймер, о социальных преобразованиях в немецкой деревне после освобождения от фашизма, о становлении нового человека. И эта книга, увлекательно написанная молодой писательницей — дочерью сельскохозяйственного рабочего, близка читателю своей тематикой, которая волнует сегодняшнюю немецкую деревню.

Очень популярны в народе произведения Анны Зегерс, Эрвина Штриттматтера и других современных писателей.

Поразительные перемены в области культуры можно увидеть повсюду: и в молодом социалистическом городе Сталинштадте, и в городе немецкой классики Веймаре, и в ничем не примечательной деревушке на побережье Балтийского моря. Помнится, лет десять назад один немецкий литератор, впервые приехавший в Москву, был очень удивлен, когда увидел большую очередь перед зданием Третьяковской галереи. Шел мокрый снег, но люди стояли ради того, чтобы провести несколько часов у полотен любимых художников.

— У нас такого нет,—не без горечи сказал он.—В такую погоду немцы могли бы стоять разве что за бананами.

Но времена меняются. Недавно в Дрездене мне пришлось наблюдать перед входом в картинную галерею нечто очень похожее на то, что можно увидеть в Лаврушинском переулке в Москве. Беспрерывно моросил дождь, а посетители все прибывали. В зале я заговорил с человеком невысокого роста, одетым в простой, но удобный костюм. Он стоял как завороженный перед «Автопортретом с Саскией» гениального Рембрандта. Райнгольд Ноак оказался одним из семидесяти крестьян — членов сельскохозяйственного производственного кооператива, которые приехали из округа Котбус, чтобы посетить картинную галерею. Моему собеседнику сорок один год. Его родители за всю свою жизнь так и не побывали в этом великолепном дворце, хранящем творения классиков многих веков и народов. А он вошел сюда, потому что народная власть широко раскрыла двери музеев для всех трудящихся.

Сопровождавшая нас писательница Аннемари Рейнгард, автор боевого, удостоенного премии Генриха Гейне романа «День в тумане» и других книг,— уроженка этого города. Когда громилы в коричневых рубашках праздновали свой приход к власти, ей было двенадцать лет. На ее глазах разворачивались события немецкой истории, на ее глазах рождается новый человек новой Германии.

— В пору моей юности,— вспоминает она,— район, где расположена галерея, был самым тихим уголком Дрездена. Здесь можно было встретить лишь парочки влюбленных или играющих детей. А теперь это, пожалуй, одно из самых людных мест. Велика стала тяга людей к искусству.

Социалистическая действительность благотворно влияет на раскрытие дарований людей, принадлежащих к самым различным слоям общества. За последнее время в литературу ГДР со своими первыми произведениями вошло более 170 молодых авторов. Многие из них уже хорошо известны читающей публике. Что это за люди, откуда они пришли в литературу? 122 из них — это дети рабочих, и многие из них сами стоят сейчас у заводских станков. Но, став писателями, они не порывают живой связи со своими коллективами. Впрочем, это относится не только к молодым, но и к уже опытным литераторам. Многие известные писатели и поэты ГДР выехали на места крупных строек, в деревни, чтобы жить и работать там, где можно лучше всего наблюдать за становлением нового. Эрвин Штриттматтер живет, например, в деревне и является членом сельскохозяйственного кооператива.

Великий немецкий гуманист Томас Манн, сознававший неизбежность гибели империалистической культуры и необходимость спасения всего высокого и светлого, что создано гением человека, так передавал в романе «Доктор Фаустус» размышления своего героя: «Искусство в ближайшем будущем окажется в полной изоляции, обреченным на одинокое умирание, если оно не прорвется к «народу» или, выражаясь менее романтично, к людям... Все жизнеощущение такого искусства, поверьте, станет совсем другим. Оно будет более радостным и скромным. Это неизбежно, и это счастье. С него спадет шелуха меланхолической амбициозности, и новая чистота, новая безмятежность составит его существо... И никого уже не удивит искусство без страдания, духовно здоровое, непатетическое, беспечально-доверчивое, побратавшееся с человечеством».

То, над чем задумывался Томас Манн, стало сейчас живой реальностью. В Германской Демократической Республике растет искусство, «побратавшееся с человечеством».

К НОВЫМ ВЫСОТАМ

Трудящиеся ГДР впервые в истории Германии созидают на своей земле социализм. Они делают явью то, о чем мечтали многие поколения немцев. Вот почему прозвучавшее несколько лет назад обращение коллектива народного предприятия Нахтершгедт к писателям: «Больше показывать в литературе энтузиазм, страстность, огромное чувство ответственности, пронизывающее рабочих в борьбе за новое» — было воспринято как выражение насущной потребности народа.

Запечатлеть в художественных образах широкую панораму жизни, в которой обновляется человек и меняются отношения людей друг к другу,— вот что стало главной задачей современной немецкой литера-

туры. Как же выполняют эту задачу писатели ГДР? За последние годы литература новой Германии обогатилась значительными произведениями, посвященными темам современности. И среди них особенно выделяется масштабностью и глубиной проникновения в процессы общественного развития роман Анны Зегерс «Решение», действие которого происходит в те годы, когда над Восточной Германией взошло солнце свободы. Конец гитлеровского владычества для трудящихся немцев означал начало новой жизни. Но искоренить остатки прошлого в экономике, идеологии и заложить основы социалистического строя было нелегко. Анна Зегерс правдиво показывает трудности рождения нового.

Перед взором читателя проходит несколько десятков человеческих характеров. Вспомним хотя бы Роберта Лозе, очерченного писательницей выпукло и зримо. Жизнь властно завертела этого человека, швыряла в разные стороны, и многое ему пришлось испытать, прежде чем удалось достичь желанного берега. Но и после того как на его родине государственную власть взяли в свои руки рабочие и крестьяне, Роберт Лозе не сразу находит свое место в строительстве новой жизни. Активным участником преобразования страны на социалистических началах он становится благодаря воздействию на него коллектива и благотворному влиянию идей Социалистической единой партии Германии.

«Решение» — роман многоплановый. Кроме Роберта Лозе в центре повествования находятся партийные работники Рихард Хаген, Мартин Фогт, директор школы Карл Вальдштейн — люди, идущие в первых рядах строителей новой Германии и увлекающие своим примером других. Зегерс так характеризует одного из них, партийного руководителя Хагена: «Рихард, казалось, заключил союз с жизнью. Где бы он ни появлялся, всюду он вносил что-то новое, заражая своим воодушевлением и удивительной энергией даже самых равнодушных или робких людей».

Труду рабочих, освобожденных от оков эксплуатации, посвятил свой роман «Прорыв воды» Вернер Эггерат. Писатель, прошедший славный путь борца, закаленный в схватках с фашизмом, вдохновенно рассказал о рабочем классе, строящем социализм. Эту же тему талантливо воплотил молодой рассказчик Эрик Нейч в своей «Истории о дожде». Рождение социалистической нови в деревне правдиво показал Гельмут Саковский в полной острых жизненных конфликтов пьесе «Решение Лене Маттке».

Мы упомянули только некоторые произведения, рассказывающие о новой Германии, идущей по демократическому пути. Но они в достаточной мере свидетельствуют о направлении художественной мысли в Германской Демократической Республике. Современность стала душой литературы. Жгучие проблемы эпохи — сохранение мира, предотвращение возрождения фашизма и развязывания новой войны — нашли свое отражение в очень не похожих друг на друга и созданных на разном материале произведениях; если роман старейшего немецкого прозаика Арнольда Цвейга «Время созрело» воскрешает события первой мировой войны, то драма Эрвина Штриттматтера «Невеста голландца» рассказывает о начальной поре демократических преобразований в восточной части Германии, а пьеса Гаральда Хаузера «Белая кровь» беспощадно разоблачает атомную политику боннских реваншистов.

Достижения литературы ГДР получили высокую оценку общественности. Центральный комитет Социалистической единой партии Германии в приветствии съезду писателей отметил: «Если сегодня в Германской Демократической Республике великие идеи нашего времени, идеи социализма, мира и антиколониализма сделались новым духовным достоянием большинства людей и определяют их действия, то значительная заслуга в этом принадлежит нашим писателям».

Литература ГДР стала богаче и по тематике и по жанрам. Возникла страстная публицистика, написаны интересные пьесы для радио и особенно для телевидения. Этим по праву гордятся немецкие писатели. Но не об успехах говорили они на своем съезде. В центре внимания и докладчика и выступавших в прениях стояли вопросы повышения художественного уровня произведений и овладения разнообразием средств писательского мастерства.

Теперь, когда молодая социалистическая литература сделала заметный шаг в сторону новой тематики, на первое место выдвинулась проблема художественности.

Произведения некоторых поэтов и прозаиков, написанные на темы современности, страдают еще поверхностностью и схематизмом, не раскрывают с достаточной глубиной явления жизни и духовный мир человека.

Говоря о своеобразии таланта писателя, о необходимости изображения жизни во всем многообразии и глубине, Анна Зегерс часто обращалась к советской литературе, указывала на художественную силу М. Горького и М. Шолохова, опыт М. Ауэзова и Б. Полевого.

После разгрома фашизма произведения советской литературы действительно вызвали большой интерес трудящихся немцев. «Мать» Горького, «Поднятая целина» и «Судьба человека» Шолохова, очерки Овечкина оказали и продолжают оказывать большое влияние на формирование нового человека. Мне вспоминается, с каким энтузиазмом говорил нам Отто Крей, председатель сельскохозяйственного кооператива в окрестностях Мюнхеберга, о впечатлении, произведенном на него «Поднятой целиной».

— Эта книга,— сказал он,— стала моим другом, помогающим лучше понимать людей и уверенней идти вперед.

Участники съезда не раз подчеркивали, что лучшие произведения советских писателей являют собой образец силы и плодотворности метода социалистического реализма. Для прозаиков, драматургов, поэтов и критиков ГДР они служат ориентиром в их творческом труде.

Большой разговор о литературе, о ее достижениях и задачах был в то же время разговором о месте писателя в жизни, о его ответственности перед народом за судьбы мира и цивилизации. Об этом говорил и молодой литературовед Герман Кант в своем докладе о западногерманской литературе, проникнутой идеями реваншизма и новой войны. В то же время в ФРГ писатели, старающиеся выразить настроение и стремление простых немцев, подвергаются гонениям со стороны боннских властей.

Западноберлинский писатель Гюнтер Грасс пытался возражать Герману Канту. В свойственной представителям буржуазного мира манере он начал разглагольствовать о понимании свободы. Из его выступления, содержавшего выпады против ГДР, можно было заключить, что он ратует за свободу, при которой вольготно жилось бы и эсэсовским генералам и палачам Освенцима и Бухенвальда, и тем, кто вновь жаждет крови миллионов.

По рядам зала заседаний проносится гул протеста. И многие из тех, кто поднялись на трибуну после Гюнтера Грасса, ответили ему страстно и убедительно. Известный поэт Стефан Хермлин очень верно объяснил положение писателя в обществе как выразителя интересов того или иного класса.

— Разговор между писателями о понятии свободы,— сказал он,— без личных оскорблений и ненужной полемики, разговор, проникнутый желанием понять друг друга и конкретно определить понятия свободы, был бы весьма своевременным. Предпосылка для этого — постижение того факта, что с новым обществом возникло новое понятие свободы. Следовало бы уяснить, что надо наконец задаться вопросом: кому свобода служит, чему она служит, от чего нужно быть свободным?

Яркие примеры из культурной жизни трудящихся ГДР привели в своих выступлениях Александр Абуш, Пауль Винс и другие оратоpы

ПЛЕЯДА МОЛОДЫХ

За пятилетие, отделяющее нынешний съезд от предыдущего, Союз немецких писателей вырос на сто человек. Каждый год в республике появляются новые писательские имена, каждый год выходят в свет новые литературные произведения, привлекающие внимание широких читательских кругов.

В президиуме съезда рядом с прославленным пролетарским писателем Вилли Бределем сидел молодой человек в очках. Я поинтересовался у своего соседа, кто он. Прежде чем ответить, тот посмотрел на меня с удивлением и в свою очередь спросил: «Вы его не знаете? Это наш Гельмут Байерль Он написал пьесу «Фрау Флинц». Это его вторая вещь. Ее поставил «Берлинер ансамбль», о ней говорит сейчас весь Берлин».

Потом на съезде об этом самобытном произведении и его авторе было сказано немало теплых слов.

С интересными книгами, повествующими о трагедии и прозрении того поколения немцев, которые, в сущности, еще детьми

были брошены в войну, выступили молодые литераторы Вольфганг Нейхауз (повесть «Украденная юность»), Дитер Ноль (роман «Приключения Вернера Хольта»). Сейчас на устах у немецкого читателя имя Кристы Вольф. Совсем недавно вышла в свет «Московская новелла» — ее литературный первенец, но книгу уже нельзя найти ни в одном книжном магазине. Сюжет ее очень прост. Детский врач Вера Брауер вместе со своими коллегами приезжает в июне 1959 года в Москву. Здесь она встречается с человеком, которого в первый раз увидела в маленькой деревушке недалеко от Мекленбурга четырнадцать лет назад. Советский лейтенант Павел Кошкин работал тогда в военной комендатуре, проявив высокую честность и бесстрашие во время ликвидации одной из диверсий, совершенных террористами из «вервольфа». Между немецкой девушкой и советским лейтенантом зародилась симпатия, но они ничего не успели сказать друг другу, их пути разошлись. И вот много лет спустя судьба сводит этих людей, когда у каждого из них своя семья и дети. Эта история неоткрывшейся любви служит обрамлением для той картины жизни, которая проходит перед глазами героев. Писательница поэтически рассказывает о том, что увидели ее герои в центре Москвы и в подмосковной клинике, в Киеве и в украинском колхозе. Она вместе с ними мечтает о приближающемся коммунистическом будущем.

Поэтическим восприятием действительности, устремленностью в будущее — вот чем, на наш взгляд, покорила сердца читателей «Московская новелла» Кристы Вольф.

Заметно пополнились за счет молодежи и ряды литературных критиков. Хочется назвать имя Ганса Коха, одного из одаренных теоретиков искусства. Его перу принадлежат интересные книги о Меринге и о социалистической культуре, многочисленные статьи по вопросам современной немецкой литературы, боевые выступления против ревизионизма.

В 1959 году в Биттерфельде, в центре химической промышленности республики, родились первые бригады социалистического труда, здесь на совместной конференции писателей и рабочих был выдвинут лозунг: «Берись за перо, рабочий, социалистическая культура нуждается в тебе».

Это обращение нашло широкий отклик среди общественности. Многие писатели руководят кружками «пишущих рабочих» и оказывают им практическую помощь.

Еще не так давно Иоганнес Бехер писал: «Как жаль, что так называемые «простые люди» мало рассказывают о себе... Из-за этого огромная область человеческой жизни остается неизвестной. Дневник простого человека, думается мне, был бы более ценным вкладом в «учение о человеке», чем дюжины трактатов на эту тему».

Этот пробел теперь восполняется. Участникам съезда была вручена книга, созданная на угольном комбинате имени Эриха Вайнерта. Это уже не первая книга, написанная немецкими рабочими, которая содержит очень интересные дневники, стихи и песни простых шахтеров. И она, несомненно, расширяет представление о сложной и многообразной действительности новой Германии. Такая книга сослужит немалую службу большому мастеру слова, который решит создать художественное произведение о рабочем классе.

* * *

Пятый съезд немецких писателей отличался высоким уровнем дискуссий, сознанием ответственности художника слова перед читателем, перед народом. Он продемонстрировал единство писательских сил всех поколений в их стремлении глубже и ярче показать размах социалистического строительства на их родине. Он ознаменовал собой новый этап развития литературы ГДР.

Выступления делегатов и гостей под сводами Дома министерств, встречи с зарубежными писателями еще раз дали возможность почувствовать значение метода социалистического реализма, открывающего безграничные просторы для создания произведений большой жизненной правды и большой художественной силы. Появление в последние годы в странах социализма множества талантливых произведений самых разных жанров красноречиво говорит о бурном росте искусства социалистического реализма.

Джон Говард Лоусон

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

Высказывания критики об Уильяме Фолкнере крайне противоречивы, и это объясняется чрезвычайно сложным, противоречивым характером его творчества. Почти все критики считают Фолкнера одним из крупнейших писателей современности. Вместе с тем те же самые критики, которые восторженно его превозносят, нередко ставят ему в вину затемненность мысли, нарочитую причудливость стиля и пристрастие к изображению чудовищно нелепых, уродливых сторон жизни.

Несомненно, Фолкнер — сложный писатель. Его произведения походят на сплав совершенно разнородных элементов. Его нельзя назвать реалистом в общепринятом смысле слова: страницы, выписанные в безупречно реалистической манере, сменяются картинами полубредовых видений и странных вымыслов. Ему свойственно тонкое и острое и в то же время разорванное, противоречивое восприятие социальной действительности.

Это взаимопроникновение высочайших художественных взлетов и вопиющих слабостей и делает Фолкнера писателем столь трудным для критического разбора.

Нередко Фолкнера называют писателем «местным». Географически и психологически его творчество как будто заключено в рамки небольшого уголка в штате Миссисипи, где он родился и где развертывается действие большинства его романов. Но Фолкнер рисует картину жизни в местах, которые он именует округом Йокнапатофа (в действительности это округ Лафайет в штате Миссисипи), с тем художественным проникновением, которое придает его романам большую глубину и значительность. Истоки этой силы — в остром чувстве любви к родине, в тревоге за судьбу родного края. Своими корнями его творчество глубоко уходит в почву Юга.

Некоторые наиболее вдумчивые американские критики отмечают, что Фолкнер хочет определить место Йокнапатофы в американском обществе, более того — на жизни этого небольшого района он изучает природу человека вообще и смысл человеческого существования. Иными словами, они считают Фолкнера философом-социологом.

Любопытно, что иные критики, называющие марксистский подход к искусству «механическим» и «чрезмерно упрощенным», тем не менее прибегают к почти марксистской терминологии, когда им приходится объяснять острое социальное звучание произведений Фолкнера.

Так, например, Роберт Пенн Уоррен пишет, что герои Фолкнера «самой своей обесчеловеченной сущностью символизируют современное общество финансового капитализма». Малькольм Каули характеризует романы Фолкнера как «пример фрейдистского анализа, перевернутого наизнанку: в них сексуальные кошмары в действительности являются социальными символами. Очевидно, в восприятии автора это каким-то образом связано с насилием, с коррупцией, которым подвергся Юг».

Оценка Каули более точна, чем довольно общая формулировка Уоррена. Реальная действительность американского Юга слишком много значит для Фолкнера, чтобы он мог воспринимать ее просто как некий

«символ финансового капитализма». В его понимании трагедия Юга проистекает из целого комплекса исторических и моральных причин, которые определяют отличие Юга от капиталистического общества американского Севера и вместе с тем объясняют существующее между ними сходство. Точка зрения Каули, согласно которой Фолкнер обращается к фрейдистскому методу для социального анализа, не лишена интереса, но и здесь надо более глубоко разобраться в природе социального мышления Фолкнера и в том особом смысле, который приобретают фрейдистские образы в его произведениях, ибо у него это отнюдь не просто символы, а своеобразное выражение его смутных представлений о судьбах и чаяниях человека.

Огромное влияние Фолкнера на литературу Соединенных Штатов и Западной Европы можно объяснить и тем, что в его книгах нашли свое выражение господствующие в культуре Запада тенденции — увлечение фрейдизмом, подчеркнутое внимание к сфере подсознательного, мысль, что условия человеческого существования унизительны и даже бессмысленны. В творчестве Фолкнера эти взгляды получили более полное воплощение, чем в произведениях любого другого современного писателя.

Но поразительно в Фолкнере то, что сам он внутренне не может принять ту концепцию, которой пронизано все его творчество. Мысль о том, что существование человека бессмысленно, борется в нем с внутренней убежденностью художника, что жизнь — священна и потому должна иметь высокий смысл. Судьба его родного края предстает в его глазах как проклятье, нависшее над всем американским континентом.

Фолкнер не может примириться с выводом, что эта судьба неотвратима и неизбежна. Его мысль устремляется в прошлое и будущее. Даже в необычном индейском названии «Йокнапатофа», придуманном им, отразилось его проникновение в прошлое этого края, его убежденность в том, что причины современных бедствий надо искать в далекой истории индейских поселенцев

И Фолкнер не может вырваться из этого сплетения исторических причин и следствий. С точки зрения писательской техники, композиции, романы Фолкнера одновременно сумбурны и стройны. В них отражены мучительные усилия автора проникнуть в самые глубины прошлого, найти наиболее ясное художественное воплощение своему видению прошлого, настоящего и даже будущего. Во всем этом Фолкнер — истинный сын своего времени.

* * *

Фолкнер родился в 1897 году. Его семья издавна играла видную роль в округе Лафайет. Среди его предков было много губернаторов штата Миссисипи, государственных деятелей и финансистов. Один из них, Джон Фолкнер, построил железную дорогу, которая проходит через главный город округа — Оксфорд (в романах Фолкнера он называется Джефферсон).

Округ Лафайет расположен вблизи северной границы штата Миссисипи. Жизненный уровень населения штата крайне низок, там нет угля и железной руды, как в Алабаме и других южных штатах. Северные округа — самые отсталые в штате. Наиболее богатый район, где сосредоточены плантации хлопка и сахарного тростника, расположен южнее, в районе дельты Миссисипи.

В округе Лафайет есть своя прослойка богатых семей землевладельцев. В Оксфорде находится университет штата. Но большинство жителей — белые бедняки и негры — живет в ужасающей нищете. Негры составляют 60 процентов населения всего штата, и работают они главным образом на плантациях хлопка и сахарного тростника. В северной части штата Миссисипи негритянский вопрос воспринимается чрезвычайно остро, но негров там мало. Белые бедняки — либо издольщики, либо владеют крошечными наделами не пригодной для обработки земли, на которой влачат полуголодное существование.

Аристократические семейства в округе Лафайет медленно вымирали. Возвышение новой буржуазии, которое во многих районах Юга относится к XIX столетию, здесь началось в XX веке. Первая мировая война ускорила этот процесс. Юношей Фолкнер наблюдал распад старого общества, видел, как из среды белых бедняков выбивались ловкачи и оттесняли прежних господ от власти. Социальные порядки, установленные предками Фолкнера, оказались построенными на песке.

Можно предположить, что решение Фолкнера вступить в канадские военно-воздушные силы в начале первой мировой

войны было продиктовано и жаждой «романтического» бегства от распадающегося уклада жизни общества, в котором протекала его юность, и желанием доказать, что он достоин своих, когда-то смелых духом, предков.

Он служил в английской авиации во Франции. После войны работал в книжном магазине в Нью-Йорке, писал очерки для газет, некоторое время жил у Шервуда Андерсона, потом обосновался в Новом Орлеане, где снова писал очерки и стихи.

Все это время Фолкнер, очевидно, осмысливал и анализировал свои военные впечатления. Как это было с Хемингуэем и Дос Пассосом, военный опыт послужил катализатором, который помог выкристаллизоваться его творческим силам. Разочарование, вызванное войной, заставило его, подобно другим писателям, попытаться заново переоценить весь существующий общественный уклад жизни.

Роман «Солдатская награда», появившийся в 1926 году, пронизан ненавистью к войне, стремлением показать, как солдаты, проливавшие кровь, были преданы и обездолены, когда вернулись домой. Этот роман создал Фолкнеру имя. Но в следующие годы он работает неровно. Писатель словно ищет способа выйти за рамки своих фронтовых впечатлений, старается найти ответ на вопросы, поставленные в «Солдатской награде».

1929 год ознаменовался внезапным расцветом творчества Фолкнера. Было бы чрезмерным упрощением устанавливать прямую связь между творческим расцветом Фолкнера и кризисом, который резко изменил темп и характер американской жизни. Но перемена произошла: преобразился самый климат культурной жизни, и это глубоко затронуло всех художников тех лет Что касается Фолкнера, то значительная часть произведений, завершенных в период 1929—1932 годов, подготавливалась в предшествующие годы. Тем не менее за эти четыре года Фолкнер переживает большой творческий подъем. В нем чувствуется и стремление к углубленному восприятию социальной действительности. Можно без преувеличения сказать, что в многочисленных произведениях, созданных Фолкнером за этот короткий период, уже сложились все основные особенности и черты художественного своеобразия его будущих творений. После 1932 года на протяжении десятилетия общественного подъема Фолкнер сталкивается с новыми социальными и творческими проблемами, художественное осмысление которых заставило его писать гораздо медленнее.

Вслед за романом «Звук и ярость» (1929) вышли книги «Когда я умираю» (1930), «Те тринадцать» (1931), «Святилище» (1931), «Свет в августе» (1932). Первоначальный набросок первого тома трилогии, которой Фолкнер целиком посвятил себя в последующие тридцать лет, был также закончен в 1931 году.

Если оставить в стороне первую часть трилогии, которой мы коснемся ниже, то наиболее значительными произведениями этих лет являются романы «Звук и ярость» и «Когда я умираю». Первый из них посвящен теме вымирающей аристократии, второй представляет собой полуприключенческую трагикомедию из жизни белых бедняков.

«Звук и ярость» — это в буквальном смысле слова «рассказ безумца». И все же мы не можем, продолжив шекспировскую фразу*, сказать, что в этом произведении «нет смысла». И хотя смысл этого романа чрезвычайно затемнен, но тем не менее роман знаменует собой первый и глубоко примечательный этап в эволюции социального мышления Фолкнера.

Вырождение семьи Компсонов и судьбы, постигшие всех ее членов, частично показаны через восприятие сумасшедшего. Значительная часть повествования представляет собой обрывки его воспоминаний и бредовых видений, нагроможденные без всякой последовательности, безотносительно ко времени и пространству.

Такое использование метода потока сознания свидетельствует о том, какие трудности возникали перед Фолкнером в работе над этим материалом. Его тут интересует вовсе не сфера подсознания сама по себе. Выбор слабоумного в качестве очевидца событий и рассказчика вызван тем, что сами события кажутся автору сумасшествием. Их подлинный смысл и взаимосвязь не могут быть обнажены в обычном, традиционном последовательном пересказе, они должны фиксироваться сознанием, свободным от обычных социальных предрассудков

---

* Название книги взято из «Макбета» Шекспира.

и в то же время воспринимающим те чувства и взаимоотношения, которые связывают прошлое с настоящим.

Фолкнер, однако, не может ограничить повествование регистрацией смутных процессов, происходящих в сознании слабоумного. Поэтому он вводит различных рассказчиков, благодаря которым читатель видит обрывки событий преломленными в сознании разных людей, по-разному участвовавших в них. Этот способ смещения рассказа — одна из наиболее характерных черт художественной манеры Фолкнера.

Роман «Звук и ярость» представляет цепь смещенных во времени событий. В связи с этим Сартр довольно неожиданно сопоставляет Фолкнера с Марселем Прустом. Анализируя «Звук и ярость», Сартр замечает, что в этом романе прошлое и настоящее настолько тесно переплетены, что время словно «застыло».

«Такова природа времени у Фолкнера Не правда ли, в этом есть что-то знакомое? Это невероятное настоящее, эти внезапные вторжения прошлого, эта эмоциональная обусловленность, противостоящая намеренной, сознательной обусловленности, хронологически последовательной, но лишенной реальности, эти воспоминания, эта чудовищная постоянная одержимость, эти сердечные перебои — разве все это не напоминает потерянное и возвращенное время Марселя Пруста?»

Наблюдения Сартра дают пищу для размышлений. Но невольно возникает вопрос — действительно ли время Фолкнера и есть то «потерянное» время, которое Пруст пытался вернуть? Ведь Фолкнера занимает настоящее, прошлое для него — неотъемлемая и неизменная часть настоящего и обратный ход времени — это не столько вторжение прошлого, сколько жизненная необходимость, ключ к настоящему.

Так, в романе «Звук и ярость» поток сознания переходит к молодому Квентину Компсону, студенту Гарвардского университета. Квентин безнадежно увяз в прошлом, запутался в неразрешенных проблемах своей семьи, в своей преступной страсти к сестре, страсти, которую он не может ни принять, ни отвергнуть. Мысли Квентина — сплошной хаос. Его самоубийство воспринимается как конец определенного образа жизни.

Самоубийство Квентина можно понять и как заявление самого Фолкнера о том, что он не может жить в прошлом, что он должен порвать с устоями, которые были непреложным законом для его предков. Горечью утраты всего, что было священно и что безвозвратно уходит или уже ушло, проникнута вся книга, и это находит свое воплощение в типично фрейдистском построении романа Квентин размышляет об охватившем его отца ощущении бессмысленности существования: «Мне вновь вспомнилось, как отец говорил о бессмысленности всего человеческого опыта... о безысходном тупике бренной страсти».

Фолкнер отказывается от разбитых вдребезги идеалов семейства Компсонов (идеалов своего собственного прошлого), и обращается к людям, которые принадлежат к самым низшим слоям общества белых на Юге. И здесь у них он обнаруживает неистовую, фантастическую жажду и силу жизни. Роман «Когда я умираю» повествует о нелепых и страшных приключениях фермера, который вместе с сыновьями везет умершую жену хоронить в город. Здесь снова смерть, «безысходный тупик бренной страсти». Но об этом повествуется с такой мощной, «соленой» откровенностью, что книга словно бросает вызов и самой смерти.

Нелепое путешествие похоже на кошмар. Безусловно, юмор Фолкнера заслуживает углубленного изучения. Во всех романах Фолкнера есть отзвук гаргантюанского комизма, но особенно ярко он проявляется в «Когда я умираю». Гротескное нагромождение невероятных приключений напоминает Рабле В основе комического у Фолкнера, так же как у Рабле и других великих сатириков, лежит сочувствие человеку. Но Фолкнеру не хватает той здоровой трезвости, которая обнажает в невероятном и нелепом конкретное социальное значение. Его сочувствие слишком смятенно, чтобы воплотиться в чистых формах комического.

Книги Фолкнера не «забавны». Его сострадание часто окрашено в мрачные и сентиментальные тона, потому что в нем не хватает едкости сатиры. В то же время описываемые им происшествия слишком фантастичны, чтобы их можно было назвать реалистической летописью человеческих слабостей. Пессимизм Фолкнера, его склонность подчеркивать нелепости жизни, делающие ее бессмысленной, притупляют остроту его иронии и мешают понять, что на самом деле эти гротескные эпизоды — точный рассказ

о подлинных событиях в округе Йокнапатофа.

В этой связи некоторые критики ставят под сомнение психологическую достоверность героев Фолкнера. Сартр, например, отметив раблезианскую выпуклость некоторых образов Фолкнера, замечает: «И все же я больше не приемлю фолкнеровского человека. Это создание иллюзиониста, вызванное к жизни с помощью световых эффектов». Замечание Сартра, видимо, связано с известным тяготением Фолкнера к театральным эффектам. Но Сартр, думается, недооценивает значение попытки Фолкнера разведать самые глубины человеческого характера, раскрыть все стороны человеческой души.

Для того чтобы постигнуть действительность округа Йокнапатофа в ее полном и подлинном значении, Фолкнер должен был перейти от изображения вырождающейся аристократии и обреченных, как ему казалось, на извечную нищету белых бедняков к анализу более сложного социального комплекса. Закончив первоначальный набросок романа «Поселок», Фолкнер задумал написать трилогию, в которой исследовалась бы социальная картина его родного округа, подобно тому как Бальзак исследовал французское общество XIX века. Фолкнер все более отчетливо сознавал, что возвышение новой буржуазии является движущим фактором действительности Йокнапатофы.

Изображение роста новой буржуазии оказалось более трудной задачей, чем та, которую он решал в предыдущих романах, отчасти из-за того, что здесь Фолкнер имел дело с менее знакомым материалом, а также и потому, что эта тема требовала создания более широкого социального полотна. Его нельзя было написать ни от лица слабоумного, ни в духе гротескной приключенческой повести. О трудностях, которые встали перед Фолкнером, свидетельствует то обстоятельство, что выход в свет первого тома трилогии задержался на десять лет.

Тем временем известность Фолкнера росла, хотя его романы все еще не завоевали широкого круга читателей. Живя в заразительной атмосфере погони за успехом, окружающей писателя в Соединенных Штатах, Фолкнер решил доказать, что и он способен написать «коммерческий» роман. Он сам откровенно признает, что роман «Святилище» был написан ради денег. Книга эта ничего не стоит. О ней можно упомянуть лишь потому, что она показывает довольно циничное отношение Фолкнера к сочинительству ради выгоды. Повествуя о бессмысленном насилии, Фолкнер прибегает в этой книге к гротеску и театральным эффектам, выдвигая на первый план патологические элементы в поведении человека.

После этого малоинтересного романа Фолкнер углубляется в историю Юга. Он приходит к выводу, что не сможет осмыслить процессы, происходящие в современной действительности, если не поймет те факторы и традиции, которые сформировали социальный облик Юга. Два наиболее значительных произведения Фолкнера, относящихся к середине тридцатых годов — «Свет в августе» (1932) и «Авессалом! Авессалом!» (1936),— посвящены событиям прошлых лет.

По его мысли, над американским Югом нависает злой рок, калечащий жизнь его обитателей. Гражданская война была центральным событием истории Юга и принесла ему погибель. Но взгляд Фолкнера на гражданскую войну далек от историзма. Она ему представляется тем проклятием, которое нависло над разоренными землями Юга. Время «застыло»: поражение превратилось в безвременье нынешних дней.

В романе «Свет в августе» священник Гэйл Хайтауэр одержим воспоминаниями о жизни своего деда, отчаянно смелого офицера армии конфедератов. В его представлении смерть деда на поле боя — это гибель целой эпохи. «Я знаю, что в течение пятидесяти лет я не был даже прахом; я был тем ничтожным мгновением тьмы, когда конь проскакал и загремело орудие».

Смысл гражданской войны, этого стержня всей истории Юга, заключается в борьбе порабощенного негритянского народа за освобождение. Однако воспитание и жизненный опыт не давали Фолкнеру возможности осознать это. В то же время он по-человечески сочувствует страданиям негров и интуитивно ощущает, что клеймо рабства и есть то проклятие, которое лежит на всем населении американского Юга.

Фолкнер рассматривал закабаление негритянского народа не как источник обогащения белых господ, а как психологическую трагедию, как удел, уготованный роком, природой, самими условиями человеческого существования. В романе «Свет в августе»

он говорит об американских неграх как о «расе, проклятой и обреченной вовеки веков нести долю проклятья и злого рока, ниспосланных белой расе за ее грехи... Проклятье черной расы — божье проклятье». Грех белых — это грех тех, кто пускает в ход кнуты и цепи, но одновременно, по Фолкнеру, прокляты и те, кого секут и заковывают, «прокляты» той же мистической силой.

В романе «Авессалом! Авессалом!» Фолкнер вновь пытается разгадать загадку прошлого. Эта книга — плод еще более сложного и болезненного представления о «проклятии, преследующем южан со времен предков». В воспоминаниях Квентина Компсона и его товарища по Гарвардскому университету, относящихся к периоду, непосредственно предшествовавшему самоубийству Квентина (это центральный эпизод романа «Звук и ярость»), разворачивается целый клубок страстей и преступлений. Попытка Квентина осмыслить судьбы своих предков отражает стремление автора глубже проникнуть в причины краха идеалов господствующего класса, символизируемого смертью Квентина.

Следуя своему внутреннему побуждению, а также веяниям времени, Фолкнер в романе «Авессалом! Авессалом!» отводит негритянскому вопросу более видное место. В этом романе негры и белые связаны сложными узами любви и ненависти. Фолкнер уже не относится к негритянскому народу как к обособленной расе. И все же, считает он, проклятие, словно тень страха и печали, нависает над обеими расами.

Только более десяти лет спустя — в 1948 году — Фолкнер наконец выводит в качестве героя негра, борющегося в условиях современного Юга за свободу. «Осквернитель праха» не принадлежит к числу лучших романов Фолкнера. Ему недостает глубины и тонкости. В результате лобового подхода к социальной проблеме политическая злободневность не сочетается здесь с эмоциональной силой более ранних произведений. Это объясняется главным образом тем, что Фолкнеру не удается в полной мере проникнуться духом борьбы негров, которая положена в основу романа.

О попытке Лукаса Бичема отбиться от преследующей его толпы линчевателей повествуется в основном с точки зрения либерального адвоката Гэвина Стивенса. Здесь Фолкнер шагнул далеко вперед от концепции «проклятья черной расы» как «божьего проклятья», выдвинутой им в романе «Свет в августе». Но все же его позиция по-прежнему противоречива. Адвокат-либерал испытывает жалость и проявляет доброжелательность, но он, как и сам Фолкнер, всего лишь благонамеренный белый южанин, сочувствующий неграм.

Фолкнер приходит к признанию того, что «слишком многие из нас... готовы продать свободу за любую сходную цену» и что нужны люди, которые «считают, что жизнь человека ценна просто потому, что он имеет право дышать, независимо от того, каким пигментом окрашена его кожа».

Однако после такого заявления Фолкнер со свойственной ему непоследовательностью написал продолжение «Святилища» — еще одну дешевую поделку, рассчитанную на коммерческий успех. В этом романе, «Реквием по монахине», опубликованном в 1951 году, он словно сознательно издевается над собственной совестью: в нем выведен оскорбительный образ негритянки Нэнси, которая убивает ребенка белой женщины, чтобы «спасти» мать от нового греха. В инсценировке — немыслимой мелодраме,— поставленной на Бродвее, воплощены худшие черты этих двух романов. Лэнгстон Хьюз едко раскритиковал образ «наркоманки Нэнси»

После 1940 года романы Фолкнера стали выходить реже. Его страстное, подчас неудержимое желание нарисовать широкую социальную картину жизни округа Йокнапатофа находит выход главным образом в рассказах. Рассказы Фолкнера — правдивые зарисовки прошлого и настоящего, во многих случаях они вошли затем в романы.

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют подробно остановиться на этой стороне творчества Фолкнера. Подобно Хемингуэю, Фолкнер — мастер рассказа. Он умеет облечь гротеск и фантастику в сжатую форму, которая придает его рассказам огромную впечатляющую силу. В рассказах Фолкнера повествование обычно ведется от лица определенных героев, которые переходят из книги в книгу и часто занимают как бы позицию наблюдателя: таков продавец швейных машин В. К. Рэтлиф и герой многих романов адвокат Гэвин Стивенс.

В 1954 году Фолкнер с новым интересом и новой силой обращается к военной теме.

Вспоминая о первой мировой войне, он воспроизводит эпизод на западном фронте в 1918 году, когда после неофициального перемирия по случаю рождества французские и немецкие солдаты отказались продолжать военные действия. Этот роман — «Притча» — написан с размахом и страстностью, которые ставят его значительно выше раннего антивоенного романа «Солдатская награда».

Но Фолкнер ослабляет силу воздействия своего романа, вводя не относящиеся к теме приключения и окрашивая все произведение религиозным мистицизмом. Взвод — капрал и двенадцать солдат, преданных военно-полевому суду, отождествляется с Христом и двенадцатью апостолами. Эта мистика весьма усложненным путем — и уже отнюдь не в религиозном плане — окрашивает и образ главнокомандующего союзными войсками, который выведен как некий символ всеобщего отца.

Как ни странно выдвигать подобное обвинение в адрес писателя, которого считают сложным и туманным, но Фолкнер слишком упрощенно-прямолинеен, когда делит все человечество на две категории: «порядочных» людей, которым присуща исконная ненависть к войне, и милитаристов, которые наживаются на войне. При непосредственном соприкосновении с социальной действительностью он обнаруживает склонность к схеме, орнаментированной метафорами и рассуждениями. Тем не менее роман «Притча» прозвучал как мощный протест против войны.

* * *

Теперь мы можем перейти к главному произведению Фолкнера, которое явилось плодом его настойчивых усилий охватить важнейшие моменты социальной истории округа Йокнапатофа. Первый том трилогии, «Поселок», многие критики относят к лучшим его романам. Он интересен тем, что представляет наиболее яркий образец творчества раннего Фолкнера.

Описывая начало карьеры Флема Сноупса в поселке Французова Балка, Фолкнер возвращается к знакомой теме. Его персонажи — это все те же белые бедняки, которые выведены в многочисленных рассказах Фолкнера. Значительное место в «Поселке» отведено эпизоду, вовсе не связанному с сюжетом романа. Это рассказ о том, как слабоумный подросток хочет увести корову, на которой он сосредоточил все свои человеческие чувства. Описывая нелепое преследование испуганной коровы, автор снова прибегает к приему «потока сознания». И хотя весь эпизод выпадает из общего плана и местами переходит в патологическую непристойность, все же этот гротеск достигает почти трагедийного звучания. Кроме того, он воспринимается как некий комментарий, не прямой, но существенный, к истории Флема Сноупса. Слабоумный Айк Сноупс — брат Флема. Его ненормальное обожание коровы как бы символизирует бессмысленность и нелепость нищей деревенской жизни и помогает показать алчность Флема. Погоня за коровой служит своеобразной параллелью погоне Флема за деньгами.

Возвышение Флема начинается с его женитьбы на дочери деревенского лавочника Юле Уорнер, которая ждет ребенка от другого человека. Флем — импотент, но он охотно соглашается занять место исчезнувшего поклонника Юлы. Юла ослепительно хороша, она — некий символ бездумной сексуальности. Но в ней столько земного, при какой-то отрешенности от жизни, столько скрытой страсти и смутных чувств, что ее образ становится удивительно реальным и четким.

Второй том трилогии — «Город» — посвящен преуспеянию Флема в Джефферсоне. Но, расширяя тему романа, Фолкнер теряет темп и динамичность повествования. Описанию интриг, к которым прибегает Флем в борьбе за место в обществе, не хватает эмоциональной силы. Образ Юлы, для которой в романе «Поселок» писатель нашел такие живые краски, в «Городе» превращается в банальный портрет разочаровавшейся во всем женщины.

Третий том, «Особняк»,— не только лучшая книга трилогии, но и вершина всего творчества Фолкнера. Это наиболее зрелое выражение взглядов автора на судьбы человека и всего мира. Расширившийся диапазон повествования здесь не сковывает, а, напротив, стимулирует воображение Фолкнера Впервые он вплетает в художественную ткань романа политические высказывания — о гражданской войне в Испании, об угрозе фашизма, о коммунизме.

Первое, что бросается в глаза при чтении «Особняка»,— это широта охвата исто-

рических событий. Действие его начинается в первые годы двадцатого века и доводится до современности. Автор то возвращается к прошлому, то снова переносит действие в настоящее. Он вновь пересказывает события предыдущих частей трилогии, но по-иному осмысляя их и социально заостряя, словно говоря читателю: «Вы ощутили колорит и драматизм этих эпизодов, но не это составляет их внутреннюю сущность, не этим они воздействуют на мир, в котором мы живем».

Главная сюжетная линия первых двух томов — история преуспеяния Флема, роста его богатства. Но в «Особняке» описание карьеры Флема нужно Фолкнеру не только для того, чтобы показать его алчность, но и для того, чтобы проследить ее влияние на судьбу двух других людей — фермера-бедняка Минка Сноупса, который тридцать восемь лет провел в тюрьме, и приемной дочери Флема Линды. За время пребывания Минка в тюрьме, куда он попал за убийство белого богача, в мире происходят войны и гигантские социальные потрясения XX века. Характер Линды формируется политической обстановкой ее времени. Она попадает в Испанию, сражается за демократию против Франко и возвращается домой убежденной коммунисткой.

Появление в романе Фолкнера образа коммунистки как решающего звена в социальном анализе жизни округа Йокнапатофа кажется, на первый взгляд, неожиданным отходом от его прежних позиций Однако по существу это закономерный этап эволюции его воззрений. Он всегда искал свет во тьме. Всю свою жизнь он находился во власти отчаяния, но изо всех сил стремился его победить.

Фолкнер не может принять коммунизм И все-таки он достаточно честен, чтобы признать, что для миллионов людей на земле коммунизм является выходом из бездны социального унижения. Для того чтобы придать бо́льшую масштабность трагедии округа Йокнапатофа, он должен был проникнуть в сущность коммунизма, проявив при этом добросовестность и непреклонную честность настоящего художника.

Фолкнер рисует образ Линды и пишет о ее воззрениях с неизменной симпатией, хотя почти не касается тех глубоких внутренних побуждений, которые сделали ее коммунисткой.

Когда к либеральному адвокату Стивенсу являются агенты ФБР и настаивают, чтобы Линда дала им сведения о своих левых нью-йоркских друзьях, Стивенс напрямик заявляет, что она никогда не станет осведомительницей. В этой сцене ярко проявилось презрительное отношение Фолкнера к методам Федерального бюро расследования.

Но в образе Линды есть известная противоречивость. На войне она потеряла слух, и Фолкнер как бы намекает на то, что эта глухота изолировала ее от окружающего мира В отношениях Стивенса и Линды есть та же ущербность, как во взаимоотношениях многих героев Фолкнера. Их разделяет некий барьер, быть может, то, что Линда травмирована ненавистью к человеку, который называет себя ее отцом. Об этой психической травме в романе нет особого упоминания, она подразумевается как нечто само собой понятное. Но анализ этих взаимоотношений делает яснее и социальное значение книги.

Человек, проведший всю жизнь в тюрьме, и женщина, ставшая коммунисткой, так и не встретились. Но психологически их как-то связывает ненависть к Флему Сноупсу: Линда ненавидит его потому, что приходится выдавать его за отца, Минк — потому, что Флем предал его тридцать восемь лет назад.

Таким образом, ненависть белого фермера-бедняка к своим угнетателям понятна Линде, сознающей, что таких, как Флем, необходимо уничтожать. Но социальная подоплека при этом затушевывается тем, что в основе поступков Линды в конечном счете лежат фрейдистские мотивы. Она ненавидит Флема потому, что он — ложный «символ отца», человек, который довел ее мать до самоубийства. Жестокая развязка романа ослабляет силу воздействия образа Линды, так тщательно выписанного автором на протяжении всего романа.

И все же в романе есть места, которые убедительно и страстно свидетельствуют о растущем политическом самосознании Фолкнера. Устами Стивенса он говорит о первой мировой войне, что она должна была покончить с «паразитами — теми наследственными собственниками, теми вершителями судеб рода человеческого, которые только что убили восемь миллионов живых существ и разрушили полосу в сорок миль ширины в Западной Европе». А ныне, до-

бавляет он, снова действуют «все те же бессовестные дельцы».

Поражение испанского народа вызывает следующее пророчество: «И потом мы видели, как потух свет в Испании и в Эфиопии и как мрак пополз через всю Европу и Азию, пока тень от него не упала на тихоокеанские острова, а потом достигла Америки».

Трудно сказать, в какой мере Фолкнер понимает, что эта тень и сегодня омрачает небосвод над Америкой и что угроза таится в самой природе умирающего капитализма. Так же, как в «Притче», он склонен схематически изображать дилемму, стоящую перед миром, как состязание между массой благонамеренных, но бессильных людей (таких же мятущихся и разгневанных, как сам Фолкнер) и паразитами и кровопийцами.

В «Особняке» Фолкнер сделал огромный шаг вперед, раскрыл присущими ему художественными средствами связь между жизнью округа Йокнапатофа и силами, преобразующими мир.

При оценке творчества Фолкнера следует учитывать то огромное место, которое Юг и борьба негритянского народа занимают не только в произведениях писателей-южан, но и в американской культуре в целом. Когда мы говорим об умирающем капитализме, не следует забывать, что угнетение негритянского народа, берущее свое начало на Юге и распространившееся по всей Америке, это один из наиболее взрывчатых элементов усугубляющегося кризиса капитализма.

Читать Фолкнера трудно, но эту трудность стоит преодолеть. Знать его необходимо каждому, кто хочет понять реальные условия американской жизни, реакцию творческих сил на эти условия и бурные ветры перемен, которые веют над страной.

Фолкнер еще не достиг настоящего величия. Его нельзя назвать Бальзаком округа Йокнапатофа. И все же его упорное единоборство с мраком в собственной душе, напряженные поиски правды вызывают вспышки прозрения, которые раскрывают самую суть писателя и его эпохи с беспощадной, но целительной ясностью.

И, может быть, эти — порой ослепительные — вспышки прозрения еще разгорятся мощным пламенем.

Хосе Сантакреу

ОРУЖИЕ НАРОДА

(Стихи Бласа де Отеро)

Недавно я прочитал новый сборник стихов испанского поэта Бласа де Отеро «Разговор начистоту», издание которого в Испании было запрещено франкистской цензурой. Стихи эти вышли в Париже отдельной книгой с текстом на двух языках, испанском и французском.

Запрещенная цензурой, книга Бласа де Отеро все равно нашла свой путь в Испанию: ее тайно передают из рук в руки, ее читают, ею упиваются.

Кто же такой Блас де Отеро?

Он родился в 1916 году в Бильбао, окончил сначала юридический факультет в Вальядолиде, а затем — факультет философии и литературы Мадридского университета. В 1942 году вышла первая книга его стихов, за нею последовали пять других. Свою седьмую книгу поэт назвал «Разговор начистоту».

...Когда в Испании разразилась гражданская война, Бласу де Отеро исполнилось двадцать лет. Поэт пережил драматические перипетии и этой схватки, и последующих лет, когда из одного конца Испании в другой катились волны франкистского террора, оставляя на своем пути реки крови... За чудовищной расправой над Гарсией Лоркой последовало методически рассчитанное медленное умерщвление в тюремной камере другого большого поэта, Мигеля Эрнандеса; умер в изгнании наставник всех современных испанских поэтов Антонио Мачадо. Черную ночь над Испанией озаряли лишь зловещие отблески костров — жгли книги. Еще не успел замолкнуть гром гражданской войны, как франкисты обрушили репрессии на испанскую демократическую культуру. Они стремились вырвать с корнем из сердца народа страстное свободолюбие и жажду справедливости. В те роковые дни многие лучшие представители испанской интеллигенции были вынуждены покинуть родину вместе с последними бойцами народной армии.

Но несмотря на все это, прогрессивная интеллигенция оставалась живой. И сегодня уже нет почти ни одного видного испанского ученого, деятеля культуры, писателя, который в той или иной форме не выступил бы против франкистского режима. В испанскую литературу вступила когорта прогрессивных молодых поэтов и романистов, детство и юность которых протекали в суровые годы гражданской войны. Франкистам не удалось ни запугать их, ни подкупить, соблазнив избавлением от житейских невзгод. Молодые писатели не ушли от жестокой действительности, а посвятили себя ее изображению.

Такова была атмосфера, в которой складывался творческий облик Бласа де Отеро.

В начале своего творческого пути Блас де Отеро мучительно страдает от того, что ему приходится вынашивать стихи в одиночестве; временами он впадает в мистику или отдает дань экзистенциализму. Но мало-помалу ему становятся все слышнее шаги идущих рядом людей. Он все пристальней всматривается в их страдальческие лица, все отчетливее слышит их гневные проклятья ненавистному режиму.

Первого мая 1947 года земляки Бласа де Отеро, рабочие Бискайи, объявили первую

после установления франкистского режима всеобщую забастовку, вызвавшую восторженный отзвук в сердцах всех испанских патриотов.

В 1949 году три поэта, жившие в разных уголках Испании, порывают с застойной и чахлой поэзией, которой покровительствовали официальные круги, и становятся зачинателями новой испанской поэзии. Ныне это литературное движение вовлекло в свою орбиту многих испанских поэтов — от ветеранов до новичков, только-только вступивших на литературную стезю. Новая поэзия — это поэзия протеста, борьбы. Она обращена к народу, которому стремится помочь вывести Испанию из бездны материальной и духовной нищеты, куда франкизм все глубже затягивает страну. Начало этому движению было положено поэтами Эухенчо де Нора, Габриэлем Селайа и Рамоном де Гарсиасоль. Поэты нового литературного движения отличаются друг от друга своими взглядами по многим вопросам. Но всех их с самого же начала объединила горячая любовь к родине и убежденность в том, что дальше так продолжаться не может — «этому необходимо положить предел» и, чтобы «это» изменить, нужно слить собственные усилия с народными.

Разными путями представители новой поэзии пришли к пониманию того, что историю творят не герои-одиночки, не «избранное меньшинство», а массы, народ. С народом они и встали на путь борьбы. В своих стихах эти поэты призвали собратьев по перу покинуть тесные кельи отшельников, выйти на улицу, на площадь, слиться с толпой. С таким призывом выступил в своей поэме «На площади» один из старейших испанских поэтов Висенте Алейксандре:

Выходи, не робей. Выходи в кипенье
площади.
Выходи в зовущий тебя поток и в нем
узнай себе цену.
О сердце, сжатое до предела, оно тоже
хочет биться
в унисон с гулким стуком всех сердец.

Этот же мотив звучит и в стихах Бласа де Отеро, зовущих бежать от смерти и одиночества:

Вот вам песнь и душа человека,
который отлюбил, отжил, угас,
но однажды вышел на улицу и тогда-то
прозрел и порвал все стихи, что прежде
сложил.
Так случилось, так было. Вечером,
выйдя из дома,
отчаявшись до предела, томимый
любовью, устремился, еще не зная
куда —
но туда, где воздух не отравлен
смертью.

Прежде чем «вырваться на улицу» и вдохнуть свежего воздуха, Блас де Отеро прошел долгий и трудный путь, отмеченный такими вехами, как вышедшая в 1942 году книга стихов «Духовное песнопенье» и появившийся в 1950 году сборник «Неистово-человечный ангел». Раздираемый внутренними противоречиями, тщетно взывал поэт к небесам, не находя у них отклика. И в 1951 году в своей третьей книге «Пробуждаемое сознание» он отрекается от всего, что ранее создал, и встает в ряды творцов новой поэзии.

Я возвращаюсь к жизни, смерть поправ,
предав проклятью все, что писал
прежде:
подобием человека был я, когда молчал.

В 1955 году выходит сборник «Прошу мира и слова». В нем голос Бласа де Отеро зазвучал уже в полную силу. Знаменательно, что книгу эту автор посвятил «подавляющему большинству». В ней поэт выступает, просветленный новой верой. Он отрекся от религиозно-мистических и экзистенциалистских химер во имя веры в Общество, в Человека. В книге ощущается свежее дыхание эпохи. Поэт решительно и бесповоротно выступает в ней на стороне народов, ведущих борьбу за спасение человечества от кошмаров атомного апокалипсиса. Поэту стал ясен смысл жизни — он увидел перед собой высокие и благородные цели:

Прошу мира и слова,
Пишу
в защиту царства
Человека и Справедливости...

Поэт понял, какие могучие силы сегодня на стороне тех, кто отстаивает правое дело.

По заключенному в 1953 году с США соглашению Франко, торгуя испанским суверенитетом, сдал испанскую землю американским империалистам для строительства на ней военных баз. Блас де Отеро видит, какую это создает опасность для Испании:

Во имя Испании — мир.
Человек
в опасности. Испания,
Испания, не спи.
Нависла угроза, скорей,
помогай...
. . . . . .
. . . . . .
Мир,

чтобы день наступил.
Во имя
Испании — мир.

Так тема борьбы против франкистского режима органически сливается в поэзии Бласа де Отеро с темой борьбы за мир

Франко с каждым днем все более жестоко преследует каждого, кто отстаивает дело мира. Но это не страшит Бласа де Отеро, хотя ему прекрасно известно, на какие расправы способны испанские власти и как чудовищен террор во всех уголках страны. Участие в борьбе за мир открыло ему, что на стороне дела, которое он отстаивает,— подавляющее большинство людей всей земли.

Нет на земле силы, способной воспрепятствовать торжеству дела мира. И это еще больше укрепляет поэта в его вере в неизбежность крушения франкистского режима. Этой веры у него не отнять.

Может, я останусь без воздуха,
без воды,
без хлеба,
что ж, остаются и без этого.
Воздух...— он не принадлежит никому,
вода...— ее хватит на всех,
хлеб.. Да, но их могут отнять.
Веру же — никогда.
Чем меньше воздуха — тем она сильнее
Чем мучительней жажда — тем сильнее
Не такая же — сильнее.

(«Среди подавляющего большинства»)

С большой убежденностью выражает теперь Блас де Отеро и уверенность в торжестве правого дела:

Труден этот путь,
но важнее другое, ведь народ идет
все вперед и вперед — к свету,
по земле, разгоняя тучи.
Победа неизбежна.
Прекрасная пора
все ближе и ближе, она — как море,
в чью синь устремился наполненный
ветром парус

...И вот перед нами новая книга Бласа де Отеро. В ней поэт пошел еще дальше. Знаменательно уже само название сборника — «Разговор начистоту». Довольно! — восклицает Отеро.— Пора назвать все вещи своими именами: хлеб — хлебом, вино — вином... И действительно, книга Отеро — обвинение франкистской диктатуре, произнесенное во всеуслышание и без обиняков Поэт пригвождает своим стихом франкизм к позорному столбу и зовет к разоблачению всех его злодеяний. И вместе с тем это — песнь любви. Любви к Испании, рот которой заткнут кляпом и руки — в кандалах. Поэт посвящает книгу тем, кто страдает, кого преследуют, истязают в застенках. Это к ним обращается он со словами надежды И поэтому книга его глубоко оптимистична, и голос поэта звучит в ней с огромной силой и решимостью:

Я возвышаю свой голос, восстав
против небес с их никому не нужными
божествами,
мой голос градом камней стучит во врата
смерти —
правдивыми песнями, твердыми, как
сжатые кулаки.

Блас де Отеро знает: избранный им путь тернист и опасен, впереди — тяжелая борьба. Но именно теперь поэт полон уверенности в себе и сознания нужности того, что он пишет:

Прежде я был погружен в себя.
Теперь — смотрю вперед, в мир, что меня
окружает.
Прежде все было мраком и молчанием.
Теперь же — солнце озаряет мой путь,
солнце справедливости, зажигающее
прежде скрытые тьмой вершины.

(«Солнце справедливости»)

Поэта до глубины души возмущают контрасты сегодняшней Испании. Горстка одних утопает в роскоши, все остальные прозябают в нищете. Недаром нынешнюю Испанию называют раем для банкиров. В этом «раю» устраивают оргии жалкие отпрыски и прежде духовно убогой, а сегодня окончательно выродившейся испанской знати; здесь вольготно церкви, закрывающей глаза на гнусности франкистского «рая», который поэт обличает в гневных стихах:

Женщины с печальными накрашенными
лицами
дарят улыбки каждому кошельку,
а богатые невежды милостиво
раздевают их взглядом.
Этих мучает похоть, тех, в юбках,—
вечная нищета. Город полон церквей
и публичных домов; их полным-полно,
но в них не заглушить голод, царящий
повсюду.

Когда поэт бродит за полночь, луна может скрасить открывающиеся его взору картины, его внимание может отвлечь небосвод, усыпанный мерцающими звездами, которые зовут поразмыслить над безграничностью мирозданья. Издревле эти мотивы были благодарной темой для многих поэтов Блас де Отеро сейчас больше всего тревожат страдания народа. Боль за него пронизывает сердце поэта, как стрела. Колокольный звон в ночи, нарушающий молчание спящего города, звучит в его ушах, как плач В звоне металла ему слышатся стоны Испании, он заставляет поэта вспомнить о людях в тюремных застенках, о томящихся в ожидании суда или уже стоя-

щих в этот самый момент перед военным трибуналом.

Я прислушиваюсь
и слышу
тюремный колокол
в Леоне.
Колокол трибунала
в Сории.
В предутренние часы ветер
доносит
звон колоколов
Испании.

(«Колокола»)

Франкистский режим попрал демократические свободы. В неволе трудно дышать, наступает удушье.

У меня
болит
грудь.
(Ведь грудная клетка
своими очертаниями
напоминает контуры Испании.)
Врач сказал мне:—Вам нужен воздух,
самый свежий, самый...
— Но откуда взять мне?..

(«У нас, на земле»)

За последние годы засилие цензуры стало особенно невыносимым. Она душит всякую живую творческую мысль в стране. А то, что с ее благословения печатается, нередко становится позором для всей испанской культуры.

Мужественно бросив вызов опасностям, которыми чреват в современной Испании всякий коллективный протест, 235 виднейших деятелей испанской науки, литературы и искусства выступили в конце ноября 1960 года с открытым письмом против произвола цензуры. Среди подписавших письмо — академик Хосе Мариа Пеман, искусствовед Лафуэнте Феррари, каталонский композитор Х. Монсальвадже, кинорежиссер Х. А. Бардем, старейшие писатели Р. Перес де Айала и В. Алейксандре, романисты Х. А. Сунсунеги, К. Х. Села, писатель и ученый П. Лаин Энтральго, поэты Д. Ридруэхо, Л. Росалес и многие другие. В открытом письме сказано: «Наш труд фактически подчинен системе, которую характеризуют нетерпимость, беспорядочность и произвол». Чиновники ведомств цензуры, пользуясь правом действовать безымянно, делают что им вздумается. «Следствием этого,— говорится далее в письме,— является, помимо всего прочего, то, что испанская культура, оказывается, представлена на международной арене в таком жалком виде, какой мог бы быть лишь у самой слаборазвитой культуры (что противоречит нашим богатым культурным традициям), и все это ставит испанских писателей и ученых перед фактически равной изгнанию необходимостью работать на иностранные издательства и научные учреждения; мы считаем, что наша страна больше не может терпеть этого». Авторы письма протестуют против неузнаваемо искажающих «переработок» тех иностранных книг, пьес, кинофильмов, которые допускаются в Испании властями.

В атмосфере нетерпимости, созданной франкистской цензурой, Блас де Отеро пишет полные горечи строки:

Многое я знаю, но о многом молчу.
Ведь другим не дадут увидеть то, что я
напишу,
потому что пишу я о том, что вижу,
вижу глазами
нашей молодежи и народа.

(«Голубка, не улетай»)

Всю последнюю книгу Бласа де Отеро пронизывает страстное желание помочь испанцам объединить свои усилия, чтобы Испания снова смогла двинуться по пути прогресса. Против — лишь Франко со своей камарильей. И Отеро пишет:

Призраки —
вот кто вы,
бесславные кумиры.

(«Не тревожьте соловья»)

Более двадцати лет назад закончилась гражданская война, а в Испании по-прежнему заседают военные трибуналы, выносящие приговоры всем, кого считают инакомыслящими. Из тюрем доносятся стоны тысяч политзаключенных, многие из которых провели за решеткой по десять и двадцать лет. Вспомним хотя бы поэта Маркоса Ана, томящегося в заключении с момента окончания гражданской войны. Десятки тысяч испанцев, желающих возвратиться на родину, боясь репрессий, остаются за границей. Среди них — пользующиеся мировой известностью ученые, писатели, деятели культуры.

Широкие круги испанской интеллигенции уже неоднократно выступали с требованием не препятствовать объединению испанцев, предоставить амнистию всем политзаключенным и политэмигрантам. Эти настроения были выражены и в послании маститого ученого, президента Испанской Академии дона Рамона Менендеса Пидаля к участникам Латиноамериканской конференции 1960 года, созванной в Рио-де-Жанейро для требования политической амнистии в Испании и Португалии: «Две Испа-

нии, ныне разделенные, должны наконец объединиться и сотрудничать во имя будущего общей родины».

Международное общественное мнение горячо поддерживает героическую борьбу испанского народа против франкистского режима.

Из истерзанной, окутанной мраком Испании Блас де Отеро призывает поэтов всех стран поддержать героическую борьбу испанского народа. Блас де Отеро обращается со стихотворным посланием к Назыму Хикмету:

Пусть слово твое пройдет сквозь решетку
нашей старой тюрьмы,
высящейся до берегов Бискайского залива.
Пусть пронзит оно всю Испанию,
подобно шпаге на полях Думлупинара,
пусть реки докатят его до Леванта, и
раскинется оно надо всей Андалусией,
как скромная, но согревающая чем-то
родным
скатерть на столе нашей нищеты.
Но скажи, напиши, Назым Хикмет,
расскажи здесь то, о чем я тебя просил,
поведай нам
о ветре с Востока и о сегодняшней правде,
окруженный тенями, молю тебя — ответь
нам.

(«Письма и стихи Назыму Хикмету»)

Поэзия Бласа де Отеро, как и многих классиков испанской литературы, уходит своими корнями в испанские народные песни и старинные романсы. Отеро — ревностный почитатель Антонио Мачадо. Вместе с тем поэт очень чуток к веяниям, обновляющим современную поэзию. Блас де Отеро выступает как блестящий мастер свободного стиха. Как и другие лучшие поэты, вступившие в испанскую литературу после гражданской войны, Отеро стремится отозваться своим творчеством на самые жгучие запросы современности. Он неустанно ищет новое.

Подобно своим непосредственным предшественникам, Гарсии Лорке, Альберти и другим, испанские поэты нынешнего поколения, выступающие в русле прогрессивной поэзии, не стали поборниками модернизма. Но их стихи заметно отличаются по форме и от произведений прогрессивных поэтов предшествующего поколения, лучшие реалистические и демократические традиции которых они развивают.

Поэтическая техника Бласа де Отеро несет на себе печать неповторимого своеобразия. Он решительно отвергает велеречивость, риторическую мишуру, тяготея к безыскусственности, к строгой простоте, порой — к предельному, жестокому лаконизму, не уменьшающему, однако, поэтического обаяния его стиха. Многие произведения Бласа де Отеро походят не на обычные стихотворения, а скорее на своего рода собрания афоризмов. Порой целое поэтическое послание состоит из каких-нибудь двух или трех стихотворных строк. Такова, например, реплика поэта, адресованная тем, кто отравлен фашистской пропагандой, кто упрекает коммунистов в пустых мечтаниях, в оторванности от земной реальности. Поэт не преминул с сарказмом напомнить им о прилунении советской ракеты:

«Это утопия;
вы — мечтатели».
Да, в самом деле: ведь мы—на Луне.

«До сборника «Прошу мира и слова»,— писал Блас де Отеро,— содержание моих стихов отвечало экзистенциалистским требованиям. Проблематика моего творчества была несколько метафизична: в центре внимания был человек, стоящий между жизнью и смертью. Меня интересовал тогда не народ, а поэма, слово, размышления об одиночестве, и все это — как нечто самоценное. Но настал момент, когда передо мной открылась и властно призвала к себе сама действительность — народ со своими насущными заботами и не терпящими отлагательств требованиями, народ во всем величии. Отныне я посвящаю себя поэтическому решению социальных проблем и пишу гораздо доступнее».

Поэт говорит о доступности, а не об упрощении и не о подлаживании под чисто внешнюю «простонародность» Стремление к лаконизму и простоте диктуется у Бласа де Отеро желанием сделать стихи чистыми и прозрачными, как утренний воздух, чтобы они накрепко запали в сознание угнетенных. Для них, а не для власть имущих создает он свои произведения. По собственному признанию поэта, он пишет свои стихи «для человека улицы, того, что и читать не умеет». Говоря это, Отеро окидывал мысленным взором всех неграмотных, которых так много сегодня в Испании.

В прекрасной книге Бласа де Отеро встречаются стихотворения, восприятие которых трудно даже для искушенного в литературе. Конечно, нельзя забывать, что боязнь цензуры вынуждает современных

испанских поэтов и писателей то и дело говорить эзоповым языком и чаще чем когда-либо обращаться к использованию иносказательных форм. Этим же, несомненно, во многом объясняется отсутствие временами должной ясности и в стихах Отеро. И все же отдельным стихам этого сборника нельзя не пожелать большей простоты.

В последней своей книге Блас де Отеро предстает перед нами как поэт-борец, как один из лучших творцов новой испанской поэзии. И эта книга — не только свидетельство зрелости яркого и самобытного таланта Бласа де Отеро Она говорит и еще об одном — о поразительной жизнеспособности и душевной стойкости испанского народа: ведь это дух его борьбы и его страстное стремление к свободе сообщают книге Отеро ее пафос. Поэзия Бласа де Отеро зовет испанских патриотов на борьбу и на новые подвиги Сотням миллионов верных друзей испанского народа во всем мире эти стихи внушают еще большую уверенность, что в своей борьбе он неизбежно одержит решающую победу.

Масахито Ара

ПИСАТЕЛИ ВЫШЛИ ИЗ СВОИХ КАБИНЕТОВ

Мне вспоминается Токио в последние дни второй мировой войны. Город был почти весь выжжен и лежал в развалинах. Это был мертвый город, в котором не издавали книг и журналов. Печатные машины погибли в огне, бумага исчезла. Впрочем, такие известные журналы, как «Кайдзо» и «Тюокорон», имевшие большой успех среди интеллигенции, были запрещены еще во время войны.

Месяцы перед капитуляцией 15 августа 1945 года были черным периодом в истории японской литературы. Те писатели, которые в начале войны на Тихом океане верили, что Япония сможет одолеть Америку и Англию, и поддерживали правительство, были охвачены пессимизмом и в душе примирились с поражением. Многие писатели покинули Токио и перебрались в провинцию. Для эвакуированных не было ни жилищ, ни хлеба, и писателям пришлось отложить перо и работать не покладая рук ради крова и куска хлеба. 15 августа их охватило двойственное чувство — горечь поражения и радость, что больше не будет налетов.

Осенью 1945 года в Токио не хватало продовольствия, цены росли с каждым днем, начиналась инфляция, и все же писатели смотрели на будущее с надеждой, потому что платой за проигранную войну было провозглашение свобод. Постепенно один за другим начали выходить журналы, которые стали основной трибуной наших выступлений.

В то время я со своими товарищами тоже решил выпускать журнал: нам хотелось иметь собственное издание, чтобы отстаивать свою точку зрения. Большинство членов нашей группы — выходцы из мелкой буржуазии, люди с высшим образованием, возраст — от 30 до 40 лет. В юности все мы принимали участие в революционном движении и испытали влияние пролетарской литературы. Мы зачитывались книгами русских писателей девятнадцатого века — Толстого, Достоевского и других, знали и советскую литературу. Во время войны многие из нас занимали позицию стороннего наблюдателя, некоторые активно протестовали против нее, но у нас в то время почти не было возможности свободно излагать свои взгляды. Многие литераторы старшего поколения прямо или косвенно поддерживали войну, и лишь небольшая группа хранила молчание. Юноши моложе нас находились в армии, а школьники и студенты были вынуждены пойти работать на заводы Это поколение с детства воспитывалось в милитаристском духе и уже поэтому не могло критически взглянуть на империалистическую войну. С другой стороны, убеждения литераторов старшего поколения после войны довольно быстро начали склоняться в сторону демократии.

Мы решили назвать наш журнал «Киндай бунгаку» — «Литература нового времени».

В центре всей предыдущей японской литературы стояла так называемая «повесть о себе», в которой писатель от первого лица вел рассказ о своей жизни. Жанр этот имел сходство с жанром эссе в английской литературе — в Японии еще не было настоящих романов, таких, как романы Толстого, Флобера и им подобных. В то же время у нас не было и литературы, похожей

на ту, которая появилась в двадцатых годах в Западной Европе и Америке.

Мы мечтали заложить фундамент новой литературы.

Для издания журнала требовались деньги, которые мы с трудом достали. Нам пришлось искать помещение для редакции и типографии. Распределение бумаги контролировалось, и, хотя нам удалось получить соответствующее разрешение, мы вынуждены были прикупать бумагу на стороне. Все мы, конечно, сами должны были писать статьи, но требовались статьи и других авторов.

В доме у Корэхито Курахара, одного из ведущих деятелей пролетарской литературы, мы провели давно задуманную встречу — дискуссию, которая была застенографирована. В дальнейшем дважды в неделю мы, семеро друзей, собирались в редакции и обсуждали журнальные дела. Я жил в маленьком городке километрах в сорока от Токио и добирался оттуда поездом, из битком набитого вагона вылезать приходилось через окно.

С большим трудом 30 декабря 1945 года нам удалось выпустить первый номер «Киндай бунгаку» — девяносто шесть страниц на грубой бумаге тиражом в десять тысяч экземпляров. Для журнала, издающегося небольшой группой, это был большой успех.

Около тысячи экземпляров нашего первого номера мы положили в рюкзаки и сами развозили их по мелким книготорговцам. «Киндай бунгаку», выставленный в витринах, был распродан за несколько дней. В то время все с жадностью набрасывались на печатное слово, и журналы и книги прочитывались мгновенно. Так было в течение всего 1946 года. Спрос породил множество журналов. Ощущение было такое, будто сразу раскрылись и зацвели весенние цветы.

* * *

Мне кажется, что писателей, активно начавших работать сразу же после войны, можно разделить на четыре группы.

К первой я отнес бы признанных мастеров, завоевавших известность еще до войны. Это — писатели, дебютировавшие в начале двадцатых годов. Большая часть их во время войны хранила молчание, не оказывала активной поддержки империалистической войне. Поэтому, когда она окончилась, журналистские выступления этих писателей встретили теплый прием.

Во вторую группу входят те, кто начал писать в конце двадцатых годов — поколение сорокалетних. Некоторые из них прямо или косвенно участвовали в революционном движении. Некоторые впоследствии свернули с этого пути, испугавшись репрессий. К их числу можно отнести Осаму Дадзаи. Он стал модным писателем и добился успеха. Однако душевные терзания отравляли ему радость жизни, он начал пить и вскоре покончил жизнь самоубийством. Его смерть вызвала много толков среди молодежи.

Третья группа — так называемая «послевоенная школа». Писатели этой группы старались отобразить опыт войны в своих произведениях с помощью новых средств. Их можно сравнить с французскими экзистенциалистами, хотя их книги и не походили на произведения Камю и Сартра. Риндзо Сиина до войны был трамвайным кондуктором, участвовал в революционном движении, но в тюрьме «переменил курс». Основные мотивы его послевоенных книг — отчаяние и одиночество.

Можно назвать, однако, и другого представителя «послевоенной школы», например, Хироси Нома — автора романа «Зона пустоты», посвященного обличению японской военщины. В 1946 году Хироси Нома опубликовал свое первое произведение — «Темная картина». Это повесть о студентах Киото, которые незадолго до войны на Тихом океане выступали с пацифистскими лозунгами и в конце концов присоединились к народному фронту. Часть студентов, хотя и знала, что дело их обречено на поражение, продолжала активную борьбу, а другая часть предпочла отсидеться в стороне. «Темная картина» — антивоенная повесть, завоевавшая благодаря своему революционному пафосу широкую известность среди японских читателей. В годы работы над этой повестью Хироси Нома вступил в ряды Коммунистической партии Японии.

Можно сказать, что эти писатели олицетворяют собой два крыла «послевоенной школы». Одни — как Риндзо Сиина — склонялись к экзистенциализму, другие — как

Хироси Нома — тяготели к социальной тематике.

В четвертую группу входят писатели из «Общества литературы новой Японии», инициаторами создания которого были деятели довоенного пролетарского литературного движения. Органом этого общества стал журнал «Литература новой Японии» («Син-Нихон бунгаку»). Писатели, объединенные в общество, стремились к тому, чтобы литература служила интересам демократии. Они хотели собрать более влиятельный и широкий, по сравнению с довоенным движением пролетарских писателей, фронт прогрессивных и революционных литераторов. Основным ядром общества стали Сунао Токунага, Юрико Миямото, Сигэхару Накано и другие. К сожалению, это общество не смогло полностью разобраться в новых условиях, и влияние, которое оно оказывало на литературные круги Японии, постепенно уменьшалось.

Писатели, не довольные новым направлением «Син-Нихон бунгаку», организовали журнал «Дзиммин бунгаку» («Народная литература») и провозгласили «курс на массовость и национальную литературу». К ним присоединились Сунао Токунага, Хироси Нома и другие. Большая группа литераторов единодушно выступила в эти годы в защиту свободы слова и демократии. Непосредственным поводом для массовых выступлений послужил судебный процесс над писателем Сэй Ито, который опубликовал перевод романа Д. Лоуренса «Любовник леди Чатерлей».

Большой интерес у читателей вызвала повесть Есиэ Хотта «Одиночество на площади». Эта книга передавала ощущение глубокого кризиса, отразила беспокойство, которое охватило всех нас. Это был период, когда Япония вступила благодаря военному буму в полосу некоторой экономической стабилизации. В это трудное время появились молодые писатели, которые показали в своих произведениях накаленную атмосферу военного психоза.

Многие уже начали сознавать, что медовый месяц послевоенной демократии кончается. Еще продолжали кровоточить раны недавней войны, а уже стала надвигаться угроза новой.

В конце 1953 года Сэй Ито выступил со своей теорией, которую он называет «система и человек». По его мнению, литератор только на первый взгляд — человек свободной профессии, вольный делать все, что ему угодно. На деле это — всего лишь иллюзия. Писатель — лишь маленькое колесико в системе журнализма. Он живет, продавая свои рукописи огромной системе издательств, редакций газет, журналов и т. д., он должен выполнять заказ редакторов; только если он угождает их вкусам, он становится богатым и знаменитым. По мнению Сэй Ито, из-за такой системы литературный рынок наводняется низкопробным чтивом.

Однако, говоря о послевоенной японской литературе, нельзя забывать тех качественных сдвигов, которые в ней произошли.

После войны многие ведущие японские писатели вышли из своих кабинетов, они путешествуют по стране, заседают на международных конференциях, участвуют в демонстрациях протеста против несправедливых законов. Приведу один пример: писатель реалистического направления Кадзуо Хироцу, который впервые выступил на литературной арене еще во времена первой мировой войны, встал на защиту подсудимых по «делу Мацукава», сфабрикованному полицией в 1948 году. Суд не мог не посчитаться со статьями Кадзуо Хироцу.

Писатель может и не быть «колесиком», он может действовать так, как считает нужным, если отдает делу все силы.

г. Токио

Митчел Уилсон

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ОТКЛИКОВ

С тех пор как редакция журнала «Иностранная литература» сообщила мне, что, закончив публикацию романа, она напечатает статью, критикующую мое толкование некоторых сторон советской жизни, я сидел здесь, в Нью-Йорке, наподобие марк-твеновского героя, который томился в номере гостиницы, ожидая, когда сосед наверху швырнет второй ботинок на пол, после чего можно будет спокойно лечь спать.

И вот наконец второй ботинок стукнул об пол. В журнале появились две статьи. И К. Симонов и Б. Леонтьев отметили, что создание романа о личных взаимоотношениях между людьми двух наших государств на данном историческом этапе можно считать мужественным поступком. Мне кажется, однако, что все мужество, на которое я могу претендовать, понадобилось мне для выполнения другой, гораздо более рискованной задачи, а именно — написать роман о чужой стране, роман, в котором главные действующие лица — граждане чужой страны, и затем послать его на суд читателей этой страны. Это, друзья мои, уже не смелость — это чистое безрассудство.

Мне говорили, что испанцы, изображенные в романе «По ком звонит колокол» писателем такого огромного таланта, как Хемингуэй, убедительны для всех, кроме самих испанцев, что итальянцы его кажутся настоящими итальянцами всем, кроме итальянцев. В Копенгагене мне довелось услышать, что «Гамлет», конечно, великая пьеса, но «знаете ли, сам Гамлет мало похож на датчанина». Должен сказать, что и мне самому американцы, изображаемые иностранными авторами, никогда не казались живыми и настоящими. Поэтому можете себе представить, с каким трепетом я ждал момента, когда на меня обрушится перечень моих ошибок.

Я думал, что меня побьют камнями, но обнаружил, что со мною, в общем, обошлись с поразительной при данных обстоятельствах деликатностью. То, что я написал в этой книге, я считал и сейчас считаю правдой, такой, какою видит ее американец, приехавший в Советский Союз. К. Симонов утверждает, что мои промахи менее важны, чем мои добрые намерения. Б. Леонтьев тоже очень мягок, однако он счел нужным указать на целый ряд деталей, в которых он со мной не согласен. Боюсь, что пока нам друг друга переубедить не удалось, и теперь советскому читателю остается вынести окончательный приговор.

Однако если я не считаю себя вправе спорить по поводу достоверности изображения советской жизни, то чувствую твердую почву под ногами, когда речь идет об американцах, и особенно о главном герое Нике Реннете.

С той же почтой, которая доставила мне эти статьи, я получил письмо от одного московского друга; он пишет, что образ Ника трактован психологически верно и привлекает симпатии читателя, «однако его многочисленные романы с женщинами вызывают раздражение. Ни в одном случае это даже не похоже на любовь».

Б. Леонтьев выражает ту же мысль так: «...Вообще «лирический план» романа представляется нам наименее удавшимся писателю. Три достаточно похожие одна на другую «роковые ситуации» с Мэрион, Анни и Валей — три вариации одной и той же истории — трудно назвать всерьез любовью, как мы ее понимаем».

Да, это «трудно назвать любовью» по той простой причине, что никакой любви здесь нет. В романе об этом говорится достаточно ясно. Поступки, слова, чувства и мысли Реннета тоже ясно доказывают, что это не любовь. Читать об отношениях Реннета с женщинами и удивляться, что они не поднимаются до настоящей любви,— значит игнориро-

вать слова, написанные черным по белому. И кроме того, упустить из виду одно чрезвычайно важное обстоятельство.

Ведь неспособность любить — это трагедия Реннета. Это его постоянная мука. Это тюрьма, к которой он приговорен. И об этом, собственно, и написана вся книга.

Говорят, что средств мимического выражения у человека гораздо меньше, чем эмоций, которые он способен испытать. Поэтому множество эмоций приходится выказывать посредством одного и того же выражения лица. Человек может открыть рот от ужаса, но и от радостного удивления тоже. Он может улыбаться, когда ему смешно, но еле заметное напряжение мускулов превращает улыбку в гримасу смертельной ненависти.

Точно так же мужчин и женщин толкают друг к другу самые разнообразные причины, и каждой из них сопутствует одно и то же чувство непреодолимого влечения. Но только одной из этих причин является любовь, исполненная нежности и желания пройти бок о бок всю жизнь. Ник Реннет, как мне представляется, сближался с женщинами по совсем иной причине, и тем не менее эта причина столь же глубоко человечна и органична для него, как и творческая сила, которая, как он с ужасом замечает, умирает в нем. Именно это ощущение смерти, которую он носит в себе, толкает его, хотя он и не отдает себе в этом отчета, на поступки, которые, согласно самому главному биологическому закону, и есть жизнь.

Аксель Мунк в своей книге «История Сан-Микеля» ярко описывает свою жизнь в те дни, когда его, молодого врача, застала в Неаполе эпидемия холеры, разразившаяся во второй половине прошлого века. Число трупов ежедневно увеличивалось с такой быстротой, что оставшиеся в живых не успевали хоронить их. Каждый день молодой врач работал до полного изнеможения, но, еле держась на ногах, он все же не мог не заметить, что «весь Неаполь охвачен безумной похотью и перед лицом Смерти повсюду царит сладострастие и разврат».

Медленно тянулись эти страшные дни, и мало-помалу он начал чувствовать, что и на него накатывает это странное возбуждение. Женщины, которых он раньше едва замечал, теперь казались ему прекрасными и желанными. Почему же раньше он не обращал на них внимания? «Возможно ли, что я слышал только стоны умирающих да перезвон погребальных колоколов, когда на каждой улице звучали смех и любовные песни, когда в каждом укромном углу девушки шептались со своими «amoroso»?»

В конце концов молодой швед не устоял против соблазна. Он работал в зараженном женском монастыре; в помощницы ему была назначена юная монахиня, невинная, скромная и красивая. Он ничем не выдавал своих чувств, но мысли его были заняты только ею. Эпидемия свирепствовала по-прежнему, и вот однажды ему пришлось стоять у смертного одра самой аббатисы, сухой и угрюмой старухи.

«Я почти с облегчением увидел, что глаза ее закрылись навеки... Я взглянул на стоявшую рядом со мной молодую монахиню.

— Не могу больше оставаться здесь,— сказал я.— Я не спал с тех пор, как пришел сюда, у меня кружится голова, я сам не свой... я боюсь тебя, боюсь, что...

Не успел я докончить, а она не успела отпрянуть в сторону, как руки мои уже сжимали ее тело и я почувствовал на своей груди бурное биение ее сердца.

— Pietà!— шептала она.

Внезапно девушка указала пальцем на кровать и с криком ужаса бросилась вон из комнаты. Глаза старой аббатисы, широко открытые, страшные, угрожающие, были устремлены прямо на меня. Я наклонился над нею... Неужели эти страшные глаза еще могли видеть, неужели они видели нас? Я не смел взглянуть в них, я натянул ей на голову простыню и выбежал из кельи, от этой sepolta vita, чтобы никогда не возвращаться туда вновь...

Вспоминая о днях в Неаполе спустя много лет, я, как и тогда, не могу найти оправдания моему поведению, но, быть может, сумею до некоторой степени объяснить его.

Я уже столько лет наблюдаю за борьбой между Жизнью и Смертью, что поневоле узнал кое-что о каждой из враждующих сторон... Только после того как мне пришлось увидеть Смерть на огромном поле сражения, я начал кое-что понимать в тактике этой войны... Сражением, вплоть до его мельчайших подробностей, управляет непреложный закон равновесия между Жизнью и Смертью. Там, где это равновесие нарушается по какой-то случайной причине — эпидемией, землетрясением или войной,— бдительная Природа тотчас же берется за работу, чтобы восстановить это равновесие, и вызывает к жизни новые существа на смену погибшим. Движимые непреодолимой силой закона Природы, мужчины и женщины, ослепленные желанием, падают друг другу в объятья, не сознавая, что их соединением руководит Смерть, держащая в одной руке возбуждающее средство, в другой — наркотическое...»

Разумеется, Реннет не сталкивался с массовой физической смертью, но мне кажется, что для человека творческого духовная смерть не менее реальна, и та же самая сила в скрытой форме, но

оттого не менее мощная, толкает его на эти несчастные связи.

Б. Леонтьев угадывает истинную архитектонику романа, когда, удивившись отсутствию настоящей любви, говорит, что видит «только один намек на подлинное чувство — там, где речь идет о союзе и разрыве Ника с женой Руфью». Таков и был мой замысел. В нескольких коротких эпизодах я хотел показать читателю, что Ник когда-то был способен на настоящую нежность, ибо этот союз был заключен еще до того потрясения, которое внутренне парализовало его. Кроме того, мне хотелось дать понять читателю, что Ник еще может быть способен на такую нежность, если сбросит придавившую ее тяжесть.

В романе с Мэрион — и это тоже ясно объяснено в тексте — нет любви с его стороны. Что им руководило — также раскрыто в том же самом абзаце: жажда ощутить живую жизнь, знать, что кто-то слышит биение его сердца. Мне казалось, что, написав это, я изложил читателю истинный характер побуждений Ника. Если говорить об архитектонике книги то короткий роман с Мэрион задуман как первоначальное изложение темы в симфонии, темы, которая получит свое развитие потом. Связь с Мэрион — своего рода предупреждение. предсказание гораздо более серьезной связи с Валей. Выдвигая эту тему заранее — я представлял себе, что в ней заложен определенный смысл,— я надеялся при помощи нее доказать читателю, что разрыв Вали с Ником объясняется вовсе не тем, что они живут в государствах с различным социальным строем. Ни одна женщина, стремящаяся к жизни, будь то американка, русская, француженка, китаянка или боливийка, не сможет жить с человеком, который не в состоянии ответить ей любовью, который не способен любить. Валя порывает с Ником, как порвала бы на ее месте всякая живая, полная сил женщина. И совсем не потому, что она — советская.

С Анни дело обстоит иначе. Тут Ник единственный раз предстает перед нами как мужчина, настойчиво добивающийся женщины. Он говорит, что мог бы полюбить ее по-настоящему, и говорит это искренне. Правда, вначале он всячески старался подстроить встречи с Валей, но, как ясно сказано в романе, это лишь потому, что он стосковался по человеческому теплу. Позже эта тяга перешла в дружбу, но в душе Ника так и не переросла в любовь, хотя он и желал этого, поняв, что она его полюбила.

Нет, только Анни нужна ему, и только к ней его по-настоящему влечет, прежде всего потому, что он чувствует в ней душевную сложность, быть может даже смятенность, которая так сродни его собственной и которая поможет ей если не понять, то хоть догадаться о том, что происходит в его душе.

Количество и характер этих несчастливых связей должны были, по моему замыслу, показать всю болезненность и глубину душевной раны Ника Реннета и сделать излишними подробные объяснения его поступков, тем более что все это было уже объяснено раньше. Считать, что такой высокоодаренный человек, глубоко страдающий оттого, что парализована его творческая сила, может во всех других областях своей жизни нормально функционировать, нормально любить и нормально реагировать на окружающее — значит приравнять человеческое существо к сложному механизму с заменимыми частями, вроде автомобиля, который можно сразу же пустить в ход, как только сгоревшие искровые свечи будут заменены новыми, ибо все остальные части мотора целы. Человеческая организация куда тоньше, вот почему к человеку нужно относиться бережно и почему Ник должен быть показан в состоянии травмы, искалечившей всю его жизнь.

Я отлично понимаю, что автор, которому приходится разъяснять свои намерения,— это скорее всего автор, сознающийся в своей неудаче. Единственным исключением был Джордж Бернард Шоу, чьи пьесы настолько ясны, что не нуждаются в предисловиях, и чьи предисловия так будоражат мысль, что не нуждаются в пьесах, для которых они написаны. Если для того чтобы выразить свою мысль точнее, я должен признаться, что мне не удалось сделать достаточно понятной эту сторону жизни Реннета, то разрешите мне уплатить этот долг сейчас же. И если придется похоронить мой замысел как художественную неудачу, то прошу лишь о том, чтобы на могиле была сделана надпись, соответствующая истине.

г. Нью-Йорк

Полемика

ЕСЛИ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ФАКТОВ

Английский журнал «Филмз энд филминг» опубликовал статью американского продюсера Дэрила Ф. Занука «Голливуд против коммунизма». Можно было бы спокойно пройти мимо этого ординарного антикоммунистического выступления — хотя и жаль, что оно появилось на страницах серьезного журнала, претендующего на объективное освещение событий мирового кино,— если бы не два обстоятельства. Во-первых, Дэрил Занук — один из самых известных продюсеров, работающих в Голливуде более тридцати лет, основатель крупнейшей фирмы «XX век — Фокс». Его мнение — это мнение официального Голливуда. А во-вторых, сама эта небольшая статья — характерный пример того, как трудно сегодня приходится воителям против коммунизма, как жалок их арсенал, как они вынуждены лавировать между обступающими со всех сторон неприятными фактами и прибегать к самой низкопробной демагогии.

Резюмируя статью Занука в предваряющей ее «врезке», редакция «Филмз энд филминг» пишет: «По существу, Занук заявляет — в «холодной войне» Голливуд побеждает Советы». Слов нет, глупо, но ясно. Хорошо хоть, что мистер Занук не набрасывает на продукцию Голливуда флер чистого искусства, а говорит прямо и недвусмысленно: ведем «холодную войну». Что же касается «победы над Советами» (курам просо снится), то тут Дэрил Занук не углубляется в доказательства, ограничиваясь общими рассуждениями о значении американского кино, «более могущественного в приобретении друзей, чем американские послы со своими официальными досье». Да и немудрено, что он не пытается доказывать свое утверждение — ведь это была бы попытка с заведомо негодными средствами.

Наиболее простым и объективным критерием мирового признания, которым пользуется то или иное киноискусство, является оценка его достижений на международных кинофестивалях. Возьмем хотя бы последние три-четыре года. Советское кино получило Хрустальный глобус в Карловых Варах за фильм «Тихий Дон» в 1958 году — и ему же был присужден Почетный диплом критиков Голливуда за лучший заграничный фильм,— Золотую пальмовую ветвь в Канне за фильм «Летят журавли» в 1958 году, приз за лучший подбор фильмов в прошлом году, премию за лучшую режиссуру фильму «Повесть пламенных лет» в нынешнем. К этому еще нужно прибавить Главный приз на первом Московском кинофестивале за «Судьбу человека», Хрустальный глобус в Карловых Варах за «Сережу», первый приз «Золотые ворота» за «Балладу о солдате» в Сан-Франциско и, наконец, вместе с японским фильмом «Голый остров» Главный приз на втором Московском кинофестивале за «Чистое небо».

Что может противопоставить этому Голливуд, кроме широковещательных заявлений Дэрила Занука? Ряд премий за лучшее исполнение мужских и женских ролей получили американские актеры, еще раз подтвердив, что в Голливуде собраны крупные артистические силы. Ну а фильм как целостное произведение искусства, в котором должен проявиться не только талант отдельных исполнителей, но и определенная общая идея, взгляд на мир, концепция жизни? Здесь — ничего, кроме двух премий на второстепенном фестивале в Локарно, едва ли более показательных, чем тихие и шумные

провалы грандиозных боевиков вроде «Бена Гура» и «Исхода», ценность которых измеряется не художественными достоинствами, а числом миллионов долларов, затраченных на их постановку. Не случайно эти картины вызвали на Каннском фестивале ироническое удивление жюри и представителей прессы, которых вряд ли можно заподозрить в предвзятости. Таков итог работы крупной киноиндустрии, выпускающей сотни фильмов в год! Разве не говорит он о кризисе идей и тем, который, как считают сами американские художники, переживает сейчас Голливуд?

Можно было бы многое сказать о триумфальном шествии по всему миру лучших советских картин, о миллионах людей в десятках стран, узнавших и принявших ту правду высокой человечности, которую несут эти фильмы. Можно было бы, с другой стороны, рассказать о том бойкоте, который объявили все честные люди грязному антисоветскому фильму «Железный занавес», продюсером которого — увы! — был Дэрил Занук. Но стоит ли напоминать Зануку факты, которые он хорошо знает и, очевидно, очень хочет забыть?

Так обстоит дело с тезисом относительно «победы» Голливуда над Советами. А теперь сразу перейдем к заключительному утверждению Занука. «Да,— восклицает он с жаром профессионального проповедника,— американские фильмы играют все более важную роль, неся свет и понимание взволнованному миру. А просвещение — это великий оплот в борьбе за мир во всем мире». «Свет», «понимание», «просвещение» — что и говорить, лестная характеристика Голливуда. Если бы она соответствовала фактам!

Не будем давать собственную оценку современному состоянию Голливуда. Предоставим слово, по всей вероятности, более осведомленному лицу — критику Джонасу Мекасу из журнала «Филм калчер». «Наиболее известные фильмы последнего времени,— пишет он,— отличаются либо бессмысленным натурализмом, либо театральностью, либо сентиментальностью, характерной для дамских журналов». Его дополняет главный редактор «Сайт энд саунд» П. Хустон: «Что же касается фильмов, снятых в самом Голливуде, то они всегда стоят на невысоком уровне. За небольшим исключением, средний развлекательный фильм студии имеет провинциальный вид». А французский критик Жан Демарши пишет в еженедельнике «Ар», что «в Голливуде лучшие таланты мобилизованы на службу глупости, так как глупость наиболее выгодна», и объясняет это тем, что «банки и эксперты страховых компаний — истинные хозяева выпускаемой кинопродукции».

Но, может быть, все это голословные, пристрастные высказывания? Вспомним же наиболее нашумевшие фильмы последнего времени. Вот «Психо» Хитчкока — психопатологическая уголовная история о молодом человеке, вообразившем себя собственной матерью и убившем двух человек. Вот фильм Джозефа Манкевича «Неожиданно, прошлым летом», воплотивший больные фантазии Тенесси Уильямса о сумасшествии, гомосексуализме, материнском деспотизме и канибализме. Вот мастерски сделанный и абсолютно пустой «психологический» детектив «Анатомия убийства». Таково «просвещение» и «свет» по Дэрилу Зануку!

Можно понять известного американского режиссера Джона Форда, автора «Гроздьев гнева», «Дилижанса», «Доносчика» и других картин, с горечью заявившего недавно: «Голливуд сегодня — это рынок для продажи секса и ужасов. Я не хочу принимать в этом участия».

Конечно, американское кино не исчерпывается фильмами этого рода. В нем идут сложные, разнообразные процессы. Но характерно, что все лучшее, здоровое, молодое, ищущее в американском кино рождается вне Голливуда, противопоставляет себя ему.

На восточном побережье в маленьких студиях Нью-Йорка создается сегодня новое американское киноискусство. Там появился Джон Кассавитис со своим экспериментальным фильмом «Тени», Лайонель Рагозин, поставивший картину «Гряди, Африка». Там впервые выступили Роберт Фрэнк и Альфред Лесли, рассказавший о современной молодежи в картине «Сорви мою маргаритку». Их фильмы часто недодуманы и не выверены. Но в них бьется настоящая жизнь, которой нет в фильмах Голливуда. Авторы этих картин доказали, что цена искусства определяется не тем, сколько на него затрачено — 15 000 долларов или 5 миллионов. «Низвержение Голливуда и официальной

кинематографии представляется главным вкладом нового американского кино»,— замечает на страницах французского журнала «Кайе дю синема» Джонас Мекас.

Таково мнение самих американских кинематографистов, существенно расходящееся с мнением Дэрила Занука. Такова цена вступительных и заключительных утверждений его статьи. А что же между ними? Открытая до наивности реклама собственных фильмов. Идейный борец с коммунизмом превращается вдруг в назойливого коммивояжера. Есть здесь, впрочем, одна любопытная нота.

Голливуд уже давно чувствует, что теряет свои позиции и на мировом экране и внутри страны. Его хозяева пытаются искать новые методы, скрепя сердце разрешают ставить проблемные и даже относительно разоблачительные картины. Этим объясняется и определенная самостоятельность, которую получили такие режиссеры, как Креймер, Кубрик, Ман и другие.

Занук один из наиболее гибких, тонко чувствующих конъюнктуру деловых людей Голливуда. Он понимает: сегодня на фальши далеко не уедешь. Нужно пойти навстречу зрителю, требующему суровой жизненной правды. Поэтому Занук и финансировал такие картины, как «Гроздья гнева», «Пи́нки», «Джентльменское соглашение». Но одновременно он побаивается, как бы не разгневать больших боссов Голливуда, как бы, чего доброго, не угодить в «черный список». Отсюда антисоветская фальшивка «Железный занавес». Отсюда уверения, что фильмы, которые показывают противоречия американской жизни, все равно окажут пользу в борьбе с коммунизмом: «В конечном счете мы убедительно показали нашим друзьям во всем мире, что лишь в условиях действующей демократии можно разоблачать недостатки без вмешательства цензуры».

Насчет «действующей демократии» и «невмешательства цензуры» уж лучше бы мистер Занук помолчал. Весь мир знает и о «черных списках» Голливуда, в которых значатся более 150 талантливых сценаристов, вынужденных выступать под чужими именами, и о уже ставшей историей травле Чаплина, и о недавнем скандале, когда известного певца Фрэнка Синатра заставили отказаться от решения делать фильм с прогрессивным писателем Альбертом Мальцем. Это тоже факты, а факты, как известно, вещь упрямая.

Что же касается «противоречивых фильмов», то мистеру Зануку все же придется их делать, так как он прежде всего коммерсант и вынужден считаться с желанием зрителей. А зритель сам определит цену «действующей демократии», при которой гибнут от нищеты и произвола герои «Гроздьев гнева», подвергаются расовой дискриминации персонажи «Пинки» и «Джентльменского соглашения».

Но мистеру Зануку все-таки очень хочется подвести под коммерческий расчет идеологическую базу, окружить себя и своих коллег ореолом идейных борцов. И он ничтоже сумняшеся пишет: «Я уже неоднократно заявлял, что считаю американские фильмы лучшим средством, какое мы можем предложить миру для нанесения ущерба коммунизму».

Плохи же дела пропагандистов «холодной войны», если это — их лучшее средство!

Ю. Юрьев

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

«Тихие граждане» возвышают голос

«Обладать совестью в области искусства становится все более рискованным делом»,— это грустное, тревожное и вместе с тем весьма реалистическое признание не так давно сорвалось с уст одного из авторов западногерманского журнала «Тенденции». Тем не менее следует признать, что число деятелей культуры, отваживающихся в ФРГ идти на такого рода «риск совестливости», все-таки постепенно возрастает, несмотря на все препятствия, воздвигаемые боннскими властями.

Характеризуя положение, создавшееся в Федеративной Германии, выходящий в ГДР еженедельник **«Зоннтаг»** пишет:

> «Все те, у кого есть критические замечания по адресу Бонна и его политики, кто проклинает атомное вооружение и реваншизм,— сразу зачисляются в разряд «левых», «еретиков», и с ними обращаются как с «вредителями».

Творческий протест против современной боннской действительности с ее воскрешением нацистских «традиций» и бешеным разгулом реваншизма приобретает сейчас самые различные формы. Об одном из наиболее примечательных эпизодов, характерных для этих настроений протеста, не так давно и весьма шумно сообщила западногерманская пресса. Речь идет об очень скромной по размерам, но совершенно необычайной по содержанию росписи витража в боковом приделе одной из провинциальных церквей в ФРГ.

Вот как описывает корреспондент «Зоннтаг» свое посещение этой церкви:

«Вы, вероятно, разыскиваете фюрера?» — спросил один из прихожан и повел меня к объекту спора. Мягкий свет проникал через окно и освещал роспись. Палач с лицом Гитлера схватил Христа за шею. Позади — в качестве подручных палача — изображены Геринг и Геббельс. Они помогают затолкать жертву прямо в могилу».

Разъясняя значение этой поистине уникальной церковной росписи, «Зоннтаг» напоминает:

> «Вся бесчеловечность нацизма нашла здесь свое творческое отображение. Всего в нескольких километрах отсюда находится бывший концлагерь Дахау, о чем местные жители вспоминают весьма неохотно. Особенно те, кто наиболее усердно возражает против того, чтобы нечто подобное показывать в церкви Они кричат о «пропаганде», об «осквернении веры» и нажимают на все педали, требуя уничтожения этого «позорного пятна».

Автор росписи — профессор Макс Лахер, убежденный антифашист, приговоренный гестаповцами к смертной казни и чудом спасшийся от них бегством. «Не могу понять, почему при росписи церквей нельзя использовать современную тему»,— заявил Лахер на собеседовании в Мюнхене, в том самом Мюнхене, который нацисты называли «колыбелью своих идей» и где их оруженосцы от искусства провозгласили, что война есть «очищение души». Свистопляска, поднятая боннской реакцией против профессора Лахера, приобретала все большие масштабы. Ему посылали угрожающие под-

метные письма. Баварские власти выразили готовность немедленно ассигновать средства для того, чтобы заказать новую роспись. Но самое пикантное заключается в том, что, когда вся эта кампания достигла апогея и осталось лишь приступить к решительным действиям,— что-то внезапно произошло, и, словно по мановению таинственной волшебной палочки, вся шумиха мгновенно прекратилась. Что же все-таки случилось? На этот вопрос «Зоннтаг» отвечает следующим образом:

> «Причиной всему явилась вовсе не перемена политических взглядов, а восхищение американских туристов. Некоторые из них охотно приобрели бы эту роспись в качестве «нацистского сувенира». Но тут воспротивились отцы города. Даже церковный совет не захотел расстаться с такой приманкой для иностранных туристов».

В этом, на первый взгляд, незначительном, но тем не менее очень необычном эпизоде отразилась вся сущность политики и тактики определенных влиятельных кругов в ФРГ, представляющая собой соединение самого необузданного и воинствующего реваншизма с пресмыкательством перед заокеанскими хозяевами и покровителями Бонна.

Положение прогрессивных деятелей культуры в ФРГ поистине является весьма нелегким.

> «Если некоторым художникам,— пишет «Зоннтаг»,— удается приступить к организации художественной выставки, направленной против угрозы атомной войны, власти делают все для того, чтобы не дать им возможности найти необходимое помещение. Если все же в результате частной инициативы удается подыскать помещение школы или ресторана, в атаку бросаются критики из газет. И, конечно же, сторонники «холодной войны» тут как тут со своими рецептами. Сразу же издается приказ о запрещении такого рода выставок».

«Война и мир» — так назвал свою фреску, созданную для ратуши в городе Зингене, один из крупнейших современных немецких художников Отто Дикс. Более энергично, чем многие «разгневанные молодые люди», производит он расчет со всем позорным коричневым прошлым. «Я просто не мог не взять актуальной темы. Сегодня никак не ограничишься танцующими девушками или абстрактным орнаментом. Именно у нас следует говорить о том, что произошло и что сейчас вновь происходит»,— говорит Дикс. Слова его, как и удары кисти, полны взрывчатой силы. На вопрос о том, почему он избрал свою тему, художник ответил: «Я хотел своим произведением швырнуть всю неприкрашенную правду прямо в лицо неисправимым нацистам, которые сегодня снова повсюду вылезли на поверхность».

Схожими настроениями был продиктован и графический цикл о Сталинграде, принадлежащий штуттгартскому художнику Отто Герману. «В этой работе я старался выразить,— поясняет художник,— все свое отвращение к нацизму». Нетрудно понять, что ни одно издательство в ФРГ не согласилось выпустить эту графическую работу, что касается фашиствующей молодежи, то она выступила с требованием сжечь (опять!) весь цикл, который, по словам этих молодчиков, «оскорбляет солдатскую честь» (до чего же знакомый лексикон!). И когда один из них упрекнул художника в том, что сам он не был под Сталинградом и все-таки отважился взяться за кисть, тот со спокойной находчивостью парировал: «Но ведь Данте тоже не был в аду и все-таки написал «Божественную комедию».

«Концентрированный огонь» еще в большей мере обрушился на художника Карла Шеллемана за то, что тот осмелился создать гравюру к известному труду Ленина «Государство и революция», как, впрочем, и за то, что имя этого мастера кисти стоит под всеми воззваниями в защиту мира.

Кто они — все эти смелые и благородные люди, чей голос не может заглушить ни грохот милитаристских барабанов, ни медь оркестров реваншизма, ни луженые глотки неонацистских главарей? Каковы их политические взгляды и убеждения, их партийная принадлежность?

На этот вопрос еженедельник «Зоннтаг» отвечает весьма недвусмысленно и четко:

> «При всем том художники эти отнюдь не являются марксистами. Следуя внутреннему побуждению, они считают себя обязанными предупреждать о нарастающей угрозе новой войны и всякого рода политических неполадках. Они придерживаются самых различных взглядов, и объединяет их лишь твердое стремление возвысить свой голос...
>
> Критика, исходящая от деятелей искусства, становится все более громкой и частой. И все же ей не хватает действенности, поскольку многие в данном случае выступают в одиночку...

вместо того чтобы, стоя плечом к плечу, отстаивать те идеи, защита которых и для них стала необходимостью».

Подобное положение существует и в писательской среде, о чем свидетельствует другая статья, напечатанная в том же еженедельнике «Зоннтаг» и выразительно озаглавленная **«Отныне — больше не тихие граждане»**. Название это навеяно полным глубокого смысла признанием известного западногерманского писателя Вольфганга Кёппена, которое гласит: «Я живу в Федеративной Республике, тихий гражданин, существо, сейчас уже устаревшее. Не думаю, что я еще долго буду так жить. Чудеса очень непостоянны. Всякого рода щадящие отсрочки даются лишь на строго определенное время».

Отмечая, что в творчестве некоторых западногерманских писателей все сильнее ощущается недовольство существующим в ФРГ положением вещей, автор статьи, в частности, обращает особое внимание на следующий знаменательный факт: в ряде книг — у Мартина Вальзера, Кристиана Гейслера, Ингеборг Вендт — появляется положительный образ героя-коммуниста. И хотя такой образ зачастую еще бывает «искусственным и схематичным», все же в этих книгах

«содержится ощущение того, что коммунисты как политическая сила могут в качестве убежденных антифашистов помочь другим, менее стойким персонажам при возникновении спора со всей сегодняшней западногерманской действительностью».

Считая это обстоятельство важным, автор статьи в «Зоннтаг» в то же время пишет:

«...Если эта склонность к критической оценке усилится и углубится, тогда западногерманская литература продвинется вперед по пути правдивого отображения жизни, поскольку сейчас писатели ФРГ еще недостаточно прочно овладели позициями подлинно реалистического искусства».

Литература «кухонной лохани»

Может ли место у кухонной лохани в самом прямом смысле этого слова служить если не источником вдохновения, то своего рода наблюдательным пунктом для писателя? И можно ли разглядеть жизнь не сквозь «магический кристалл» вдохновения, а через мутную грязную воду кухонной лохани?

Для группы молодых английских писателей, которую критика уже окрестила «школой кухонной лохани», этот вопрос вовсе и не является вопросом. И они отвечают на него не словами, а делом, не декларациями, а книгами. Характерно, что известный сейчас драматург Уэскер служил в ресторане поваром, а первая его пьеса так и называется — «Кухня». Откуда, однако, возникло это новое броское название, что его породило и какой смысл в него вкладывается? Вот что пишет по данному поводу английский журнал **«Букс энд букмен»:**

«Выражение «кухонная лохань» следует понимать гораздо более буквально, чем предполагает критика. Да, сегодняшнего молодого писателя можно найти у кухонной лохани какого нибудь ресторана, где он зарабатывает деньги на новую ленту для пишущей машинки, на несколько листов бумаги или на то, чтобы как-то продержаться, добыть пропитание, прожить.

Конечно, наши литературные ученые мужи выступят с потрепанной сентенцией. «Но это не должно отражаться на творчестве».

Содержание творчества и личной жизни писателя совпадают, и молодой писатель рисует картину действительности на полотне собственных, а не чужих жизненных условий... Писатель может стоять у кухонной лохани лучшего лондонского отеля, но это вовсе не значит, что его хоть немного интересует жизнь леди Тингами, обедающей наверху, в отдельном кабинете. Его, вероятно, гораздо больше занимает характер, скажем, пакистанца Али, работающего рядом с ним. В жизни Али нет изысканности леди Тингами, но эта жизнь представляет собой гораздо лучший и более ценный материал для проявления писательского таланта».

Итак, «литература кухонной лохани» вовсе не оригинальный образ, не отвлеченное понятие, а реальный факт, находящий свое отражение не только в биографии молодого

писателя, но и в книгах, которые он создает. Тот, кто стремится «сделать свой роман платформой, с которой раздается его собственный голос» (выражение журнала «Букс энд букмен»), вынужден сначала добывать себе повседневное пропитание физическим трудом. Прежде чем обмакнуть перо в чернильницу, кое-кому приходится погружать руки в грязную воду кухонной лохани.

Да и удастся ли еще чего-нибудь добиться — большой вопрос. Журнал «Букс энд букмен» в той же статье приводит красноречивую историю сравнительно молодого писателя, не вынесшего испытания «кухонной лоханью» и вынужденного стать «ловцом сенсаций», полубульварным репортером.

> «Я знаю одного писателя,— пишет автор той же статьи в «Букс энд букмен»,— сейчас ему сорок лет. Когда ему было тридцать, он опубликовал роман, который не был переиздан. Издатели отвергли его второй роман.
>
> Теперь он поставляет статьи для юношеского еженедельника, якобы написанные одной популярной звездой рок-н-ролла. Если бы юные девушки покупали этот журнал за гроши, заработанные тяжким трудом в потогонных цехах Ливерпуля или Глазго, этот писатель, вероятно, с горя стал бы запойным пьяницей. К счастью, его юные читатели — богатые выскочки, он знает, что они покупают журнал не для того, чтобы прочесть статью, написанную сорокалетним человеком, не имеющим с ними ничего общего. Он знает, что они приобретают журнал, чтобы полюбоваться на фото обожаемого набриллиантиненного, невежественного, дегенеративного киногероя, украшающее отвратительную обложку».

Какой вывод можно сделать из этой весьма типичной для Англии журналистской биографии? Только один — и его, кстати говоря, делает тот же журнал «Букс энд букмен», делает с не часто встречающейся в буржуазной печати трезвой откровенностью. Вот он — этот вывод:

> «Наш молодой писатель вынужден стоять у кухонной лохани просто потому, что он отказывается идти на компромисс... Иными словами, он не хочет проституировать свой талант...»

Той же самой чертой — нежеланием подчинять свой талант жесткой диктатуре буржуазных «законодателей вкусов» — отмечено в Англии творчество молодых драматургов, принадлежащих к так называемому «новому течению» в театре. Не так давно в журнале **«Лондон мэгэзин»** была напечатана статья о сегодняшней театральной жизни Англии.

> «Сейчас театр дошел до такого состояния,— читаем мы в этой статье,— он так далек от жизни, что походит на сумасшедший дом. На его территории, строго ограниченной тщеславным чванством и самодовольством, копошатся драматурги, актеры и критики...»

Молодое поколение английских драматургов не может и не хочет мириться с таким положением. Эта мысль очень явственно сквозит в интервью с молодым английским драматургом **Шейлой Делани**, напечатанном в американском еженедельнике **«Уоркер»**.

Сама Шейла Делани — написавшая уже две пьесы и работающая сейчас над третьей — считает, что литературное течение, к которому она принадлежит, пускает крепкие корни и объединяет писателей, связанных с народом.

Новая драматургия — Биэн, Уэскер, Копс, Делани — решительно порывает с дурной «традицией» салонной драмы. И хотя кое-кто из буржуазных критиков называет их пьесы «драмой железных кроватей и кухонных лоханей» и отказывает им в «творческом долголетии» — самих драматургов это нисколько не смущает.

> «Откуда эти критики знают, что именно обладает действительным долголетием? В свое время Шекспиру предъявляли те же обвинения. Так или иначе, но подобного рода критики отказываются понять, что подлинное искусство создается не в расчете на оценку «элиты» в будущем, оно представляет собой попытку сегодня же установить контакт с большинством народа — в отличие от тех, кто охотно игнорирует подавляющую часть общества».
>
> «..У народа есть совесть. Все больше возрастает число людей, которые способны использовать это обстоятельство и связать его со всем тем, что способствует устранению неравенства и страха, терзающих наш мир.
>
> Вот почему теперь, когда какой-либо драматург старается уйти от жизни, эта тенденция сразу же становится очевидна каждому. Мы не можем прятаться от действительности, если хотим остаться честными с самими собой».

Таковы воззрения молодой английской литературы в ее собственном изложении. Важно, однако, не только то, что писатель говорит о своем творчестве. Важнее то, о чем говорит само это творчество.

Размышления у книжной полки

«Двести пятьдесят миллионов книг в мягкой обложке ежегодно продается в США. И тем не менее каждый второй американец не читает книг» — такой «шапкой» снабдил французский еженедельник **«Ар»** статью американского публициста **Макса Лернера,** которую можно было бы назвать размышлениями у книжной витрины.

В самом деле, дешевая книга без переплета, часто именуемая карманной книжкой — «покет-бук»,— стала своеобразным массовым чтивом, малокалорийным, но весьма распространенным и шумно рекламируемым продуктом духовного питания масс, чем-то вроде «жевательной резинки» для ума так называемого «среднего американца».

Кто же является поставщиком этого чтива? В статье упоминается несколько имен: Стенли Гарднер, Торн Смит, Эллери Куин и пресловутый Микки Спиллейн.

> «Трое из них,— читаем мы далее,— специализируются на всевозможных убийствах; что касается Спиллейна, то в США нет ничего более вредного в смысле пропаганды насилия и аморальности».

«Книжной клоакой» именует автор статьи все те книги и газетно-журнальные стенды, витрины и полки которых сплошь забиты подобной псевдолитературой. Здесь и комиксы, и всевозможные гороскопы, детективы из жизни «дикого Запада», журналы, специализирующиеся на порнографии, всякого рода справочники, дающие массу полезных сведений о том, как беспроигрышно играть в маджонг и как ухаживать за комнатной собачкой...

Не удивительно, таким образом, что автор статьи, окидывая мысленным взором весь этот «ассортимент», приходит к выводу:

> «Внимательно осматривая содержимое подобного киоска в любом американском городе, очень трудно не испытать чувства беспокойства и тревоги за будущее».

Интересны содержащиеся в статье суждения, так сказать, о «природе бестселлера»:

> «В истории американского издательского дела бестселлер является постоянным фактором. По мнению крупнейшего специалиста в этой области Фрэнка Л. Морта, определение «бестселлер» относится к любой книге, которая «спустя десять лет после своего выхода еще продается в количестве экземпляров, равном по численности одному проценту населения». Но и такого рода бестселлерам, говорится в статье, «читатель уделяет внимание никак не больше, чем рассказам в еженедельниках или опереттам, передаваемым по радио».

Вместе с тем, «каковы бы ни были тиражи бестселлеров», считается все же, что чтение книг — дело нелегкое. Каждому известно: президент Эйзенхауэр читал мало книг не только потому, что был очень занят, но и главным образом потому, что, подобно всем деловым американцам, предпочитал получать информацию не в печатном виде, а, так сказать, на глаз и на слух.

Можно предположить, что одна половина американской молодежи вообще никогда не покупает книг, а другая делает это очень редко. Как ни странно, но студенты, принадлежащие к интеллигентным семьям, читают еще меньше, чем те их коллеги, чьи родители боятся книг или презирают литературу».

Создавшееся положение могли бы, разумеется, до известной степени исправить библиотеки, но и в этом отношении Соединенным Штатам сегодня — увы! — похвастать нечем.

> «Сегодня в Америке,— продолжает автор статьи,— насчитывается 1400 библиотек, в то же самое время число ресторанов и баров составляет 350 тысяч, бензозаправочных колонок — 200 тысяч, аптекарских магазинов — 50 тысяч».

Возникает следующий естественный вопрос: чем же, при таком невнимании населения к книге и пренебрежении к чтению, объяснить огромные тиражи изданий карманного формата? Ответ на этот вопрос содержится в той же статье: речь идет о дешевизне этих изданий, о крикливо-завлекательных «сексуальных» заглавиях, об умелом распространении не только через книжно-газетные киоски, но и через продовольственные и аптекарские магазины.

> «В конечном же счете,— подчеркивается далее в статье,— все это результат полной апатии населения, которому мало свойственна склонность к размышлениям и к быстрому противодействию и которое покорно позволяет себя использовать в самых грязных целях».

В итоге влияние такого рода литературы сказывается

«не только на той части нездоровой

молодежи, какая по тем или иным причинам связана с преступным миром, но и на здоровой молодежи, если она пользуется тем же источником. Часть этих молодых людей, пройдя через фазу «интереса к комиксам», затем, бесспорно, обращается к чтению значительно более серьезной литературы, но развитие немалой части молодых людей так и застывает на уровне комиксов. Обследование, произведенное в армии, показало, что число молодых солдат, чье умственное развитие находится именно на этом уровне, достаточно велико».

Итак, если называть вещи своими именами и отважиться смотреть фактам прямо в лицо, можно на основании всех данных, приведенных в статье, напечатанной в «Ар», прийти к следующему выводу: американский обыватель, едва научившись грамоте, вступает на печальную стезю культурного одичания. И, что самое страшное, довольствуется этим и даже не испытывает угрызений совести.

Немалую долю вины за создавшееся положение следует возложить на современную американскую буржуазную интеллигенцию.

На эту именно мысль наталкивает опубликованная в еженедельнике **«Нейшн»** статья профессора Пенсильванского университета **Лоренса Баритца,** являющегося, как утверждает редакция, «специалистом по истории американской интеллигенции».

«Американский интеллигент,— утверждает Баритц,— как и все другие американцы, одержим манией утилитаризма». Прагматизм, эмпиризм, позитивизм или, говоря несколько огрубленно, плоское делячество — таково сейчас «почти чистое выражение американского образа жизни».

> «Очевидным последствием этих направлений американской мысли является приверженность американцев, и в частности интеллигентов, методу индукции, практическому, наглядному и определенному Весьма красноречива реклама одной из корпораций, гласящая: «Не думайте, а вычисляйте».

В обществе, где можно не уметь думать, но обязательно надо уметь считать, так называемые деловые люди, замечает автор статьи, «задают тон».

> «...Чувство вины за свой не до конца последовательный американский образ действий побуждает интеллигента домогаться одобрения со стороны этих деловых людей... Растворяясь в обществе, интеллигент подвергается страшному риску оказаться поглощенным им... Смысл существования башни из слоновой кости определяется именно этой потребностью в социальной безответственности, индифферентности, в стремлении к свободе, проистекающей из одиночества и отчужденности. Вот та позиция, которую интеллигент считает своим долгом занимать...
>
> Усиливающееся в последнее время стремление обрести место под американским солнцем,— говорится далее в статье,— превратило множество наших интеллигентов в узких специалистов своей профессии. Ученые-социологи обращают свои замыслы и знания на изучение проблем, связанных с продажей зубной пасты. Историки включают в свои исторические труды современную политику и извлекают из нее «уроки для нашего времени»... И всем им, так же как и многим другим, угрожает опасность превратиться в респектабельных деятелей, становящихся в силу этого учеными евнухами».

Таково незавидное положение и самочувствие «интеллектуальной элиты» в обществе, где разум «тонет в кока-коле» (выражение журнала «Нейшн»). Не удивительно, что рядовой американец, в еще большей степени предпочитающий умение считать умению мыслить, не чувствует никакой потребности в книгах или вполне удовлетворяет эту потребность при помощи того «набора», какой он находит в бакалейной лавке или аптекарском магазине.

Прогрессивные писатели идут к народу

Известный прогрессивный писатель и публицист **Саджад Захир** напечатал на страницах индийского еженедельника **«Нью эйдж»** статью о новых формах деятельности Ассоциации прогрессивных писателей Индии.

В статье указывается, что несмотря на все нападки и усилия реакции деятелям прогрессивной литературы в Индии все же удалось добиться популярности в народе, установить постоянную и тесную связь с широкими кругами читателей и слушателей

Индийские прогрессивные писатели, подчеркивает Саджад Захир, твердо убеждены в том, что литература должна отражать самые высокие и благородные чаяния народа. Но придерживаться в своем творчестве этой точки зрения означает вместе с тем следовать бытующим в народе и близким ему культурным традициям. Так именно и поступают прогрессивные индийские писатели.

> «Одним из факторов, способствующих росту движения прогрессивных писателей в Индии,— пишет в своей статье Саджад Захир,— явилось использование некоторых культурных традиций, бытовавших в народе. Так, например, драма в Керале, хоровое пение в Андхре, состязания поэтов в Средней Индии явились теми формами распространения литературы, при помощи которых устанавливался контакт между поэтом и драматургом, с одной стороны, и народными массами — с другой».

Древняя традиция преображалась при помощи нового содержания, в старые мехи, говоря образно, вливалось новое вино. Именно это имеет в виду автор статьи, когда пишет:

> «Менялось содержание стихов и пьес — религиозное, полурелигиозное, реакционное и декадентское уступало место новому, демократическому, рациональному. Десятки тысяч людей стекались, чтобы послушать выступления прогрессивных поэтов и писателей.. устанавливалась тесная связь между писателями и народом».

Ассоциация прогрессивных писателей Индии активизировала в последнее время свою деятельность. Как указывается в той же статье, руководство компартии Индии совместно с руководителями ассоциации организовало поездку группы прогрессивных писателей в пять городов для чтения произведений перед массовой аудиторией. В поездке приняли участие знакомые нашему читателю Кришан Чандар, Ходжа Ахмад Аббас, один из старейших поэтов Фиран Горахпури, уже приобретшие популярность поэты среднего поколения Сахир Лудхианви и Кайфи Азми и другие. Особенно большим успехом, утверждает Захир, пользовались выступления молодого рабочего-поэта из Бомбея Алауддина Сабира, который читал стихи на острые и злободневные политические темы, и притом написанные на языке, близком к разговорному.

По данным, которые приводит Саджад Захир, всего за десять дней на выступлениях прогрессивных писателей присутствовало свыше пятидесяти тысяч человек.

«Это явилось ярчайшим свидетельством того,— указывается в статье,— как высоко развит вкус к литературе у простого народа Индии, а также как велика популярность прогрессивных писателей, их произведений и идей».

«Состязание поэтов,— пишет далее Саджад Захир,— форма старая и популярная, но прогрессивные поэты стараются наполнить ее новым содержанием. Эти попытки велись на протяжении ряда лет и привели к известному успеху. Народу нужны не только хорошие лирические стихи, которых мы и не исключаем из наших программ, но и хорошие стихи на общественные и политические темы.

Практика показывает, что эти стихи пользуются огромной популярностью: живой опыт нашего движения ломает пресловутую башню из слоновой кости и разбивает теорию «искусства для искусства», столь широко распространенную в нашей стране».

Весьма характерно, что в ходе этих выступлений писатели читали не только стихи, но и рассказы, хотя до сих пор прозаические жанры на таких собраниях никогда представлены не были. Тем не менее и это новшество было встречено аудиторией с одобрением.

> «Популярность таких чтений,— подчеркивает Саджад Захир,— наводит на мысль о том, что, может быть, появилась новая форма культурной деятельности. Наш опыт показал, что народ согласен слушать не только стихи, но и рассказы. Нельзя считать заурядным тот факт, что тысячи людей сидят всю ночь, слушая рассказы, которые им читают писатели... Нет сомнения в том, что новые формы деятельности Ассоциации прогрессивных писателей Индии,— пишет в заключение Саджад Захир,— будут способствовать дальнейшему укреплению движения прогрессивных писателей и упрочению связи между писателями и народом».

Очерки

Оттьеро Оттьери

ДОННАРУММА ИДЕТ НА ПРИСТУП

Перевод с итальянского и предисловие Ц. Кин

Праздничный ужин заканчивался, и за главным столом, где сидели самые важные персоны, возникло какое-то движение. Председатель правления акционерной компании поднялся, чтобы поблагодарить гостей, крупнейших промышленников и финансистов итальянского Юга, за все торжественные и дружественные тосты, которые были произнесены. Он вскользь упомянул о высоких прибылях, а затем стал распространяться на тему о братстве, о радости труда, о социальной справедливосги и взаимной любви предпринимателей и рабочих.

Несмотря на идиллическую обстановку банкета полицейские, как и в будни, дежурили у ворот завода. Администрация не может чувствовать себя спокойной без охраны. Во-первых, безработные: на какой-нибудь десяток вакансий подано сорок тысяч заявлений. Во-вторых... так вообще безопаснее.

Это «один из прекраснейших заводов Европы», нечто вроде «образцово-показательного» предприятия, куда приезжают министры, газетчики, социологи, иностранцы.

По замыслу организаторов, здесь должна царить классовая идиллия, предполагается, что рабочие преданы хозяевам телом и душой, а хозяева души не чают в рабочих...

Впрочем, и место действия и точное название предприятия легко расшифровываются. Речь идет об одном из заводов акционерного общества Оливетти в маленьком городке Поццуоли, вблизи от Неаполя. В книге действие происходит в Санта-Мария. Время: 1955—1957 годы. В эти годы на заводе работал и писал свою книгу талантливый итальянский писатель Оттьеро Оттьери. В ней описана и сцена банкета.

Года три назад Оттьеро Оттьери опубликовал «Сжатое время» — своеобразный роман-документ о жизни промышленного предприятия, в котором интрига, фабула, любовная линия играли второстепенную роль, отступая перед голосом фактов, воспроизведенных с публицистической остротой.

Новая книга Оттьери — еще более откровенная публицистика. Она особенно интересна потому, что в отличие от многих произведений об итальянском Юге с его трагической нищетой и отсталостью не грешит ни сентиментальной «жалостью» к обездоленным, ни погоней за «экзотикой». Оттьери пишет нарочито строго, чуть суховато, предоставляя читателю самому делать выводы из фактов, сообщаемых точно и скупо. Эта книга — социальная драма, развивающаяся одновременно во многих планах. От нее трудно оторваться несмотря на длинноты, несмотря на то, что некоторые социологические рассуждения кажутся наивными или неверными, а сам писатель, наблюдательный и трезвый, моментами поддается демагогии идеологов так называемого «неокапитализма».

Рассказ ведется от первого лица, это дневник молодого специалиста-психолога, начальника отдела личного состава на заводе компании, производящей пишущие и счетные машины. Рассказчик, за которым легко угадывается сам Оттьери, показывает

трагическое несоответствие между спросом и предложением труда, подробно описывает процедуру отбора рабочих и сам говорит: «Здесь мы судим целый народ. Избранные смогут попасть на наше предприятие, но куда денутся отвергнутые? Газеты пишут, что безработица — это раковая опухоль, самая страшная беда, разъедающая общество; надо самому видеть и слышать, чтобы поверить этому. Безработица такова, что взлетают в воздух, пропадают, становятся нелепыми все ухищрения разума, одним из детищ которого является психотехника».

На страницах книги один за другим проходят люди, стремящиеся получить работу, люди разной и в то же время одинаковой судьбы. Они не безлики, эти безработные, мы хорошо запоминаем их, хотя они появляются «крупным планом» лишь на короткий срок.

Но в книге Оттьери речь идет не только о безработных. Автор рассказывает и о том, как на заводе, где царит «братская любовь», где служат молебны и вместо классовой организации рабочих — Всеобщей итальянской конфедерации труда — существует какая-то пародия на профсоюз, сокращают время на сложных операциях, требуют все большего напряжения, все более дорогой цены за те «блага», которые предоставлены здесь рабочим в сравнении с другими предприятиями. Затрагивается, хотя и вскользь, вопрос о дискриминации коммунистов. Промышленник в разговоре с автором без обиняков спрашивает, каким образом при психотехнических испытаниях он обнаруживает коммунистов, с тем чтобы не допустить их на завод.

Из фрагментарных записей дневника мы узнаем о событиях и на других предприятиях округа. На цементном заводе происходит многодневная забастовка, и автор книги каждый вечер после работы отправляется туда, стоит у ворот завода и наблюдает... На табачной фабрике уволена пятнадцатилетняя работница, не согласившаяся на гнусные предложения одного из начальников... На металлургическом заводе в результате плохой организации разгрузочных работ гибнет человек... На верфях сокращают рабочих, демонстрации уволенных проходят перед зданием мэрии, и многих арестовывают.

Перелистываешь страницы книги Оттьери и входишь в этот мир, в круг интересов безработных, рабочих и инженеров — все буднично, трудно и правдиво.

Книга названа по имени Антонио Доннаруммы, человека с седеющими волосами и упрямым выражением глаз, хотя сам он впервые появляется лишь на 120-й странице, да и потом не становится центральной фигурой. Это только еще один безработный, отличающийся от других лишь тем, что он не умеет и не желает смиренно просить. Доннарумма не просит, он требует, и его боятся. Именно в этом заключен, как нам кажется, символический смысл, в нем весь подтекст книги, вот почему она названа «Доннарумма идет на приступ».

Мы публикуем несколько отрывков из книги Оттьеро Оттьери. Это отдельные эпизоды, нечто вроде моментальных фотографий, которые запечатлевают характерные образы и жизненные ситуации.

В полдень к нам привели парнишку в майке, с очень длинным, как бывает у взрослых мужчин, лицом, хотя он выглядел почти ребенком. Еще не знавшие бритвы щеки расцарапаны, губы и подбородок дрожат. Вахтер тащил его за руку, и в таком виде он предстал перед синьориной С. и передо мной.

Вчера вечером дядя парнишки избил племянника за то, что при дележке хлеба пропал один кусок. Избиение сопровождалось проклятиями, которые слышали все обитатели селения Санта-Мария.

— Расскажи сам,— обратился вахтер к пареньку, который стоял молча, дрожа всем телом,— расскажи сам.

Тот молчал.

— Рассказывай,— подхватила С.,— расскажи скорее, что еще у тебя стряслось. Тогда и доктор узнает твою историю и сможет помочь тебе.

Но он не хотел рассказывать.

— Ты украл этот хлеб?

Наконец-то парнишка заговорил:

— Я ничего не знаю... может быть, этот кусок упал на пол. Дядя всегда обвиняет меня, потому что я не работаю.

На вид ему было лет пятнадцать, у него был глухой голос, узкая грудь, большие длинные костлявые руки. Лицо казалось распухшим.

— Дядя побежал за мной с ножом,— выдавил он из себя.— Я удрал и не вернусь, пока не получу работу.

Казалось, эти слова донеслись к нам откуда-то издалека. Он продолжал дрожать с головы до ног.

— Но тебе все-таки придется вернуться домой, Уго!— воскликнула синьорина.— Работу ты получишь, ведь тебе обещал сам директор. Скажи это своему дяде, скажи, чтобы он тебя больше не бил. А сейчас тебе незачем оставаться здесь. Доктор тоже обещает тебе...

И она поспешно шепнула мне:

— Его дядя — рабочий на заводе М. Е., но фактически он почти не работает. Этот Уго приходил к нам раз десять, директор обещал принять его. Но куда мы его денем, ведь ему двадцать лет, а вы посмотрите на него...

В самом деле, невозможно было представить себе Уго ни на конвейере, ни в сборочном цехе, ни даже в роли уборщика... Вахтер настаивал:

— Доктор, их десять сирот, это самый старший. Я сам видел, доктор, как дядя бежал за ним по лестнице с ножом. Ему нельзя вернуться домой.

— А жандармы на что? — возразила синьорина.— Мы сами сообщим жандармам.

Уго не переставал дрожать. Он ждал, что мы его примем на работу.

— Ну, Уго, пока что тебе придется вернуться к дяде! — решительно сказала синьорина.

Молчание. Все стоят неподвижно. Наконец Уго шепчет спокойно, но упрямо:

— Я туда без работы не вернусь.

— Но как же ты можешь оставаться здесь? Вот и доктор тебе обещает, разве ты нам не веришь?

Он утвердительно кивнул, скорее напуганный, чем убежденный. Лицо его исказилось, и руки повисли, как плети. Вахтер снова вмешался, стал рассказывать о семье Уго: мальчик ни в чем не виноват, его день и ночь мучают. Мы переглянулись.

— Поговорите с ним сами, доктор,— сказала синьорина после нового молчания.

— Почему твой дядя не работает постоянно? — спросил я тем обычным тоном, каким говорю во время коллоквиумов.

— Потому что у него кровохарканье,— ответил он спокойно.— Иногда утром он встает, чтобы идти на работу, а потом сразу устает и садится. Он говорит, что должен работать я. Он не хочет больше видеть меня, если я не буду работать. Он выгнал меня из дому, я не могу вернуться, пока не получу работу на этом заводе.

— А ты не пробовал найти работу в других местах?

Он не ответил, видимо, не понял.

— Где же ты провел эту ночь?

— Я бродил тут неподалеку. И хлеба я не крал. Но дядя хочет, чтобы я работал, чтобы я приносил в дом хлеб...

— Он всю ночь бродил около завода,— сурово подтвердил вахтер.— Дядя бегал за ним с ножом, он убежал из селения прямо сюда.

— Сколько детей в семье?

— Десять. И еще дядя, моя мать и бабушка. Всего тринадцать.

— И никто не работает?

— Дядя работает, когда не болен...

* * *

На моем столе уже лежали переданные из проходной листки: фамилия, имя, желает поговорить с... и мотивировка просьбы — все пишут «по личному вопросу». Это, разумеется, правильно, все вопросы всегда личные, и говорить о них хотят в отделе личного состава.

На нашем этаже не было швейцара, поэтому люди столпились в маленьком зале ожидания. Я выкрикнул первое имя:

— Аччеттура Винченцо!

В соседнем кабинете, отделенном от моего стеклянной перегородкой, синьорина С. подняла голову от своей пишущей машинки и рассмеялась:

— Ах, Аччеттура! Ну да, по новым правилам его тоже пускают сюда. Старый знакомый! Это тот самый, что бросался под директорский автомобиль. Он уже год торчит около нашей проходной. Вам предстоит приятная беседа, доктор!

И вот вошел Аччеттура, совершенно счастливый оттого, что его наконец-то приняли официально.

Бодрый и торжествующий несмотря на свое уродство, он вошел в залитую солнцем комнату, двигая негнущейся рукой. Рука заканчивалась крошечной, как орех, вогнутой внутрь кистью с двумя только пальцами. Человечек был одет в черное, его маленькое морщинистое лицо перекошено — следы паралича.

Еще приближаясь к столу, он уже бормотал что-то непонятное, не то угрожающее, не то приветственное, оживленно жестикулировал и, казалось, гримасничал.

— Садитесь, Аччеттура! — сказал я ему серьезным тоном.

Он тоже был очень серьезен и с важным видом уселся на кончике стула, хотя, видимо, был удивлен приглашением сесть. Какое-то мгновение он казался растерянным, но вскоре пришел в себя и опять начал быстро-быстро говорить на каком-то никогда не слышанном мною диалекте, казалось, он боялся, что не успеет все высказать до того, как его попросят удалиться...

Я слушал его, но не все понимал. Ему приходилось повторять одно и то же раз по десять.

— Вы не хотите меня принять на работу потому, что я бросился под машину директора. Но я не хотел бросаться под машину, я хотел только ее остановить...

— Я верю вам, Аччеттура.

— Вы мне правда верите?

Он был поражен и даже сбит с толку.

— Полиция,— заявил он потом,— устроила скандал, это полиция...

И опять начал говорить о своем, забегая вперед, возвращаясь назад, повторяя одно и то же. Я учился его языку.

— Полиция всегда устраивает скандалы. А теперь меня не принимают на работу только за то, что я хотел остановить машину и просить, заклинать директора... Но если вы мне верите, то дадите работу. Второй рукой я отлично могу работать.

Он положил здоровую руку на стол.

— Неужели это такой грех для христианина — остановить машину директора? Но вы лучше, чем полиция, вы пустили меня сюда, вы сказали, что я прав... Эта рука совсем здоровая, доктор.

Я смотрел на руку, пока он не убрал ее со стола.

— Это не ваша вина, Аччеттура. Вы не должны думать, что это ваша вина. Конечно, под машину директора бросаться не надо. Но дело в другом, дело в том, что у нас прекращен прием рабочих.

Может быть, он был также и глух, понял ли он меня? Он беспокойно задвигался на стуле. Потом снова разразился потоком непонятных фраз. Поэтому я обратился к логике и развил длиннейшую цепь логических рассуждений.

— Завод, Аччеттура,— говорил я,— имеет свои законы. Мы работаем не для сегодняшнего дня и даже не для завтрашнего... В общем, мы принимаем лишь столько рабочих, сколько есть свободных мест... Мы не можем принять человека, если для него нет места. А иначе куда мы его денем? Мы ведь не можем посадить его, чтобы он ждал, пока освободится место. На таком заводе, как наш, Аччеттура, не может быть одним местом больше или одним местом меньше. Это— закон организации производства.

Кто знает, понял ли он? Во всяком случае, он предпочел оставаться слепым и глухим, продолжая твердить, что его не принимают лишь из-за того, что он бросился под директорскую машину. Но он уже раскаивается в своем поступке; если бы он знал — вот беда-то какая,— никогда бы так не сделал, теперь он себе пальцы кусает...

— Это закон организации производства,— продолжал я пересохшими губами,— все решает производство. Завод работает лишь потому, что организация производства учитывает будущее и позволяет нам существовать сегодня. Вот видите, это организация, и тут никто ничего не может поделать, ни директор, ни его начальники, ни председатель компании там, в Северной Италии, ни тем более — я... Эта организация, она не по-

зволяет, не позволяет принимать новых рабочих. Значит, она не позволяет принять и вас, Аччеттура.

Он ответил понимающе, серьезно:

— Вы правы, доктор.

— Изменятся ли законы организации производства от того, что вы броситесь под машину директора, Аччеттура? Если машина переедет или поранит вас — что же, разве после этого легче будет вас принять? Разве тогда на заводе откроется вакансия для Аччеттуры Винченцо? На заводе открываются вакансии, если увеличивается выпуск продукции и появляется надобность в новых рабочих. Но выпуск продукции увеличивается и надобность в новых рабочих появляется в том случае, если организация производства совершенна, если нет ни одного лишнего человека...

Я перевел дыхание и привел пример

— Мы ведь не министерство. Вы понимаете меня, у этих министров в Риме всегда можно поставить лишний стол...

Он повторил:

— Вы правы, доктор.

— Лишний стол ничего не стоит,— продолжал я, попав в ловушку его кажущейся рассудительности,— лишний стол ничего не стоит. А здесь ведь не столы, здесь надо добавлять станки, инструменты, Аччеттура,— значит, надо заморозить два миллиона, три миллиона На каждого рабочего тоже нужен капитал.

— Да, конечно, это много стоит, это дорого стоит. Вы правы, доктор.

На этот раз его слова звучали как-то мягко, умудренно.

— Это дорого стоит,— размышлял он, как если бы изучил вопросы организации производства, как изучили их мы. — Вы ведь понимаете, Аччеттура Если бы все зависело от меня... Но я не могу решить этот вопрос...

— Вы правы,— повторил он опять,— но я подыхаю с голоду. А голод скверная штука, доктор.

— Я знаю это, знаю... знаю...

В этот момент в дверях показалась синьорина С., улучившая момент, чтобы вмешаться. Увидев ее, он испугался.

— Аччеттура, мы вам как-нибудь поможем.

— Не-е-ет, доктор, мне стыдно приходить к вам, чтобы просить милостыню. Вы оказали мне честь, приняв меня. Но потом мне придется опять надоедать вам. Десять тысяч лир — этого хватит на две недели. А потом что? Я прошу вас дать мне работу на всю жизнь, ну, хотя бы чистить уборные, тогда я больше не стану надоедать вам. Я подыхаю с голоду, доктор...

* * *

Прошло много месяцев, прошли годы с тех пор, как Папалео Луиджи, по прозвищу Папа, бывшему чернорабочему, участнику строительства нашего завода, было сказано «нет». Во время стройки с Папалео произошел несчастный случай: ему на голову упала балка. Я знал его только понаслышке, потому что вахтеры всегда выпроваживали его и лишь изредка сообщали в контору, что он опять приходил.

Но вчера он сумел подстеречь меня и рассказал мне всю свою историю.

— Я найду ваше дело и посмотрю его,— заявил я ему.

— Посмотрите, доктор,— ответил он торжественно своим хриплым низким голосом,— посмотрите, доктор, потому что совершилась несправедливость. Обидели не меня лично, обидели справедливость... Взгляните на это здание!

Ворота были раскрыты настежь, и кое-кто из рабочих прислушивался к нашей беседе.

— На стройке не было воды.

Пауза.

— Цемент смешивали не с водой.

Не оборачиваясь, я услышал шаги Доннаруммы и других: отделившись от стены, к которой они, казалось, приросли, они приближались к нам.

— Цемент смешивался с потом. Цемент смешивали с потом рабочих-строителей. Ведь пот скрепляет лучше, чем вода. И в самом деле, посмотрите, какой красивый получился завод...

— Это верно...

— Вот видите, вы сами говорите, это верно! Вы правы, вы правы,— повторил он, широко раскрыв глаза, жестикулируя и не давая мне говорить,— люди пролили много пота, но они невежествен-

ны, не понимают в психотехнике, не знают ремесла механиков.

— Значит, вы сами это понимаете.

Он ударил рукой по колонне.

— Но моего пота здесь нет! — сказал он.

— Папалео!..

— Вы, может быть, не знаете этого, доктор,— говорил он, и улыбка его превратилась в трагическую гримасу,— здесь цемент замешан на моей крови!

Он поднес руку к голове и провел по волосам.

— Вот отсюда шла кровь, отсюда... Рана была большая, в ладонь. Дотроньтесь!

— Но, к счастью, вы выздоровели...

— Я совершенно выздоровел.

Он высоко поднял голову.

— Меня унесли отсюда, но здесь осталась моя кровь...

Он опять улыбнулся.

— Часть моего мозга осталась здесь, под этой стеной. И поэтому некоторые считают, что тот мозг, который у меня сохранился, уже никому не нужен... Доктор, вас будут уверять, что я сумасшедший...

— Это неправда.

— И все-таки, только из-за того что меня считают сумасшедшим, я ни разу не попал к вам. Вы всех принимали — женщин, детей, только меня вы не приняли. Чем же виновата моя голова?

Он стал бить себя по лицу, но глаза его оставались разумными и печальными.

* * *

...Позавчера, когда жена возвращалась с пляжа, держа в руках мокрый купальный костюм, Датилло шел за ней до самого сада, потом остановился и подождал, пока она вошла в дом. Через несколько минут раздался звонок. Думая, что это гости, жена выглянула в окошко террасы на втором этаже.

И тотчас Датилло заговорил, очень почтительно, обычным для него мягким тоном; он запрокинул голову, заглядывая на террасу.

У него нет никаких рекомендаций ни от священников, ни от министров. Почему доктор плохого мнения о нем? Почему лишь его одного не зовут на испытания? Почему его преследуют, синьора?

Даже обвиняя, он ничего не требовал, он только пытался разжалобить жену, говорил вежливо и задушевно.

Она не все расслышала, но ее поразила мысль, что этот юноша, может быть, стал первой жертвой введенных недавно строгостей... И она не закрыла окна.

— Я Антонио Датилло...

— Очень приятно познакомиться.

— Могу я подождать доктора?

— Мужу не разрешается принимать посетителей дома... Это будет неудобно вам обоим. Пойдите к нему в контору, заставьте, чтобы вас приняли. Так будет лучше, лучше и для вас...

— Лучше для меня, синьора? — Датилло горько усмехнулся.— Меня ничего хорошего не ждет.

Она не закрыла окошка, но отошла в глубь комнаты. Датилло подбежал к окну.

— Я живу в аду, синьора, в настоящем аду, там я и останусь, если не получу работы.

— У вас много младших братьев и сестер? — спросила она.

— Братьев... Разве одних только братьев... Если я не начну работать, то потеряю не только хлеб... но разум и сердце.

Он говорил негромко, но взволнованно. Видимо, почувствовав себя свободнее, он прислонился к большому дереву, растущему под окном.

— Не надо отчаиваться. Пойдите завтра в контору.

— Нет, нет, доктор не хочет принять меня. Только меня одного... он не хочет принять меня.

— Нет, это конечно не так! Он не может принять всех. Он добрый, но принять всех невозможно. Думаете, у него легкая работа?

Датилло отошел от дерева и приблизился к дому. Казалось, вся его робость исчезла.

— Разумеется, он тоже живет не в раю! Мы — в аду, а он — в чистилище. Но, конечно, он попадет в рай скорее, чем мы. Ваш муж не просто добрый, он слишком добрый. Я наверняка знаю, синьора, что он попадет в рай скорее, чем мы.

— Ну что вы... Конечно, и у него нелегкая работа, вы даже не представляете себе, как ему тяжело приходится. Но у вас совсем нет работы... как можно даже сравнивать...

— Вашему мужу еще хуже, чем мне,— великодушно настаивал Датилло.

— Нет, что вы,— возражала она.

— Да, да,— твердил Датилло, поглядывая на дорогу, где я должен был появиться,— да, да... Но у меня другое положение, чем у всех остальных, синьора. Вы меня не знаете.

— Почему вам кажется, что вы так отличаетесь от других? Здесь все очень нуждаются в работе, все. Это старая проблема вашего Юга, прекрасного, но такого несчастного... это тянется столетиями. Завод помогает, но ведь нельзя росчерком пера изменить положение вещей.

Она жалела, что не нашла более понятных слов, пробовала подобрать их, но Датилло ее перебил:

— Никто не находится в таком положении, как я, синьора. Я женат... но мы не обвенчаны.

— Разве вы не католик? — спросила она, наклонившись вперед и с любопытством глядя на единственного безбожника здешних мест.

И тогда Датилло раскрыл перед ней тайники своей души:

— Безработный — не католик. Безработный не получал благословения.

Она не вполне понимала.

— Отец моей невесты, моей жены,— продолжал Датилло,— выгнал ее. Раньше она жила у себя дома, а я у себя, приходил к ней в гости. Мы ждали того часа, когда священник благословит нас Мы должны были повенчаться в церкви, когда я получу работу, когда купим мебель для спальни... Отец ее выгнал Надо же ей было где-то спать. Я взял ее к себе домой, она спит в одной постели с моей матерью.

— А где же вы... спите?

— Дома.

— В той же постели, где ваша мать?.. Вы с женой... с невестой...

— Мы живем под одной крышей, но в разных комнатах,— сказал он с достоинством, подняв руку, как бы желая отклонить от себя всякое подозрение. Потом глубоко вздохнул.— Вы понимаете, синьора?

— Вы... женаты?

— Женаты? Мы помолвлены.

— Когда же вы поженитесь все-таки? Не после этого гражданского брака, а потом... после церковного?

— Когда богу будет угодно, синьора.

— Когда же богу будет угодно?

Он несколько лукаво взглянул на нее, потом романтическим жестом развел руками:

— Вы понимаете меня, синьора! Понимаете, как это тяжело для нас. Комнаты рядом. Девушка спит в одной кровати с моей матерью. Три месяца мы живем под одной крышей. Девушка тоже устала, нервничает. Комнаты рядом, лето... Это она послала меня сюда. Она вынуждена ждать, пока меня примут на завод, ждать, ждать...

Жена внимательно разглядывала Датилло: истощенный, худощавый, словно проведший бессонную ночь... Соединенный с женщиной гражданским браком, но ожидающий благословения, которое могло бы сломать преграду между ними. Какая неразбериха! Датилло казался поглощенным своей любовью...

Едва послышался шум приближающегося автомобиля, она скрылась в комнате, а Датилло прижался к дереву, пытаясь спрятаться.

— Нет, нет! — воскликнул я, выходя из машины и открывая калитку в сад.— Если вы пришли сюда, распрощайтесь со всякой надеждой!

Страх, один лишь страх мог заставить его уйти. Он отступил на несколько шагов, бормоча:

— Я осмелился потревожить вашу жену. У меня совсем не такое положение, как у всех остальных. Ваша жена была так добра... Если бы вы тоже выслушали меня, доктор! Вы знаете, как это трудно для нервов, летом... вы знаете, мы спим в смежных комнатах...

— Нет, нет, не здесь, Датилло! Будем говорить в другом месте...

Он направился к выходу, мелкими шагами, оглядываясь, словно ожидая чуда.

— Я именно для этого сижу в конторе, Датилло! Именно для этого. Здесь вы можете все потерять...

Подавляя искушение выслушать его,

я вошел в дом. Жена сквозь закрытое окно смотрела на Датилло.

Уже год назад, еще до гражданского брака, он был очень нервным. Впечатлительный и восприимчивый, но не уверенный в себе, не умеющий ясно мыслить, не обладающий точностью движений, Датилло был отвергнут моим предшественником — психологом. Сделать исключение для него,— значит, дать повод всем остальным. Он словно зеленый лист, колеблемый ветром. В каком цехе мог бы он работать?..

— Что он делает, что он сейчас делает? — спрашивала моя жена, прижавшись к оконному стеклу.

— Он уходит.

Стол был накрыт, задернутые занавески спасали от нестерпимо яркого света, мы сели обедать. Я рассказал жене, что таких, как Датилло, много. Девушки не доверяют обручению; если нет еще кровати, чтобы спать вместе, они хотят пока что привязать к себе этих безработных мужчин процедурой гражданского брака. Среди тех, с кем мне приходилось беседовать, человек десять было в таком же положении; когда их брак станет реальностью, даже загадывать невозможно.

«Сегодня в полночь 1200 рабочих цементного завода в Кастелло вступают в пятый день славной борьбы в защиту своих прав, за точное выполнение нового трудового договора рабочих цементной промышленности». После обеда я взял газету и прочел это. Пятый день? Славная борьба! Никто ничего обо всем этом не знал.

* * *

Наше предприятие точной механики не интересуется пыльным цементным заводом, словно Кастелло — другой мир, примитивный и грязный... Санта-Мария и Кастелло разделяют всего три километра, заросшие финиковыми пальмами и кедрами. Итальянские рабочие-цементщики добились нового трудового договора, но акционерное общество, в котором большинство акций принадлежит датским капиталистам, вышло из Ассоциации владельцев цементных предприятий, чтобы не подписывать этот контракт.

...Ворота закрыты. На чугунной решетке висит объявление: «Происходящая сейчас забастовка наносит большой ущерб производству. Кто хочет работать на заводе, должен подписать заявление, в котором дает обязательство работать непрерывно в течение восьми часов, пока длится смена. Дирекция».

— Что же, там никого нет?

— Там внутризаводская комиссия и заместитель директора. Директор уехал в город, к себе домой. И, говорят, не выходит из дому. А рабочие из этой смены тут, около завода...

Группа людей толпилась у самых ворот. Другие прогуливались неподалеку или спокойно закусывали, сидя под деревьями,— это люди из следующих смен. Казалось, они воспроизводили картину нормального рабочего дня: одна смена на работе, две другие — дома, но все это происходит не внутри, а как бы разыгрывается около завода.

* * *

Прошли сутки, но у цементного завода та же картина: группа рабочих около самых ворот, много мужчин и женщин неподалеку на площади. Однако рабочим одной из смен удалось проникнуть на территорию завода, и теперь они не выходят оттуда, родственники приносят им узелки с едой.

Ждут приезда датчанина, главы акционерного общества.

Целая смена, засевшая внутри завода; забастовка, захват предприятия; дело дошло до Дании; из города приехали профсоюзные активисты и ходят по цехам... Ди Нонно, секретарь палаты труда, беседует с женщинами...

Рабочие ждут спокойно и доверчиво — слишком много спокойствия, слишком много доверия. Все члены внутризаводской комиссии, представители разных течений, согласны между собой: забастовка, начатая во имя выполнения договора, не может не быть единодушной. Сейчас им достаточно гордого сознания своего единства, они верят в то, что являются силой, могущественной силой, даже когда просто ждут.

Вчера, после нескольких дней забастовки, ничто, казалось, не изменилось на цементном заводе, если не считать

появления полиции... Сюда приходит один старичок. Он не заводской рабочий, а ремесленник, живущий в одном из ближайших селений. На заводе работает его дочка, она как раз в той смене, которая находится там, внутри... Вчера вечером он принес ей ужин, сегодня пришел опять и стал спокойно ждать вместе с другими неподалеку от меня. Неожиданно к нему подошел Ди Нонно и раздраженно, взволнованно сказал: «Заставь дочь выйти оттуда, позови ее. Забери ее домой. Ведь она несовершеннолетняя»...

Очевидно, старику тоже было неприятно, что девушка проведет вторую ночь на заводе, где мужчины и женщины спят вперемежку. Ворота раскрылись. Оттуда выбежала смуглая девушка в черном комбинезоне и направилась к нам. Отец, который все время держался ближе ко мне, так как я, видимо, внушал ему доверие, не двинулся с места.

— Я не выйду, я никуда не выйду! — немедленно заявила девушка.

— Мама хочет, чтобы ты шла домой. Вы должны оттуда выйти. Что вы делаете там, внутри?

— Другие не уйдут. А я одна тоже не пойду. Я останусь там.

— Секретарь сказал, что вы можете уйти. Сегодня ночью вы должны спать дома, у себя дома... Вы ведь женщины...

— Папа, я никуда не пойду! Понятно?

Возбужденная, упрямая, с маленьким некрасивым смуглым личиком, девушка говорила почти вызывающе:

— Ты понял, папа?..

Именно эти семнадцатилетние поддерживали захват территории завода своим юношеским героизмом. Девушка становилась все решительнее и настойчивее. Старик не знал, что ей возразить.

— Синьорина,— сказал я проситель-ным тоном,— секретарь палаты труда тоже советует, чтобы вы больше не оставались там...

Но она смотрела лишь на отца.

— Мы выйдем только в том случае, если полиция начнет стрелять в нас.

Отец схватил ее за руку, он, казалось, набрался энергии:

— На вторую ночь ты здесь не останешься. Мама приготовила тебе постель. Я пришел за тобой.

Но девушка, захваченная всем происходящим, не собиралась возвращаться домой, самые молодые вновь оказались самыми горячими из тех, кто поднялись на защиту своих прав от произвола заграничных хозяев.

И даже этот старый ремесленник, не имевший определенных политических убеждений и, по всей вероятности, голосовавший за миссини *, потому что жил в местечке, полном люмпен-пролетариата, быть может, первый раз в жизни был потрясен этой борьбой рабочих и детей.

— Папа, другие не уходят. И я не могу уйти. Другие не уходят, папа, не забирай меня отсюда...

Почти побежденный, этот старик отец мог еще прийти в состояние слепой ярости, которая охватывает иногда южан, когда речь идет о девичьей чести их дочерей. Он что-то бормотал, оглядываясь вокруг. Он искал Ди Нонно, но тот прогуливался поодаль с каким-то человеком сугубо интеллигентного вида... Старика охватила внезапная старческая растерянность, девушка воспользовалась этой минутой и убежала обратно на завод.

— Молодец ваша дочка. Какая смелая! Как же вы могли отсылать ее домой? — спросил я, более гордый и взволнованный, чем этот отец.

— У нас работают только двое — я и она. А в семье еще моя жена и четверо младших детей.

Он казался не очень гордым, не очень взволнованным, не очень обеспокоенным.

— Она старшая?

— Старшая. К счастью, вот уже год она работает здесь...

— Ну, это не такое уж счастье...

— Если она уйдет отсюда, они возьмут другую, а она останется на улице. Поэтому женщины не уходят...

Ди Нонно подошел к старику, быстро огляделся вокруг и обнаружил, что девушки подле нас уже нет.

— Где она? Ты ее уговорил? Заберешь ее домой?

— Она вернулась на завод,— сказал отец твердо.— Она вернулась обратно,— повторил он почти вызывающе.

— Они сумасшедшие, совершенно сумасшедшие! — зарычал профсоюзник громко, чтобы его слышали все.— Они

* Партия неофашистов.

сумасшедшие! Что они там делают? Почему не идут домой?

Было непонятно, почему он так взбешен, так близко принимает все к сердцу, даже учитывая все южные представления о женской чести... Он отошел от нас и пытался найти людей, которых можно было бы увести отсюда. Было очевидно, что он втихомолку хочет организовать какое-то движение среди рабочих, тревожно и мужественно дежуривших у заводских ворот. Они застыли в ожидании, само их сопротивление находилось в опасности. Им надо было догадаться, что это затишье не сулит им ничего хорошего. Но почему Ди Нонно проводит какие-то тайные маневры?..

Директор завода, сидя у себя дома с женой и детьми, хотел выиграть время — видимо, он рассчитывал на то, что рабочие устанут раньше. Он не стоял перед закрытыми воротами завода и не спрашивал себя, оплатят ли ему дни забастовки. Говорили, впрочем, что и у него есть свои огорчения: пароход из Южной Африки, прибывший сюда за грузом цемента, стоял на якоре в Кастелло...

На воротах по-прежнему висело объявление. Казалось, это было то самое объявление, подписанное дирекцией: «Происходящая сейчас забастовка наносит большой ущерб...»

— Читайте! — закричала вдруг какая-то женщина.— Пришел судебный исполнитель!

Оказывается, вывешено совершенно новое объявление. Магистратура, очевидно по настоянию дирекции, требовала, чтобы помещение завода было очищено и чтобы туда были вновь «водворены» хозяева...

Вот почему Ди Нонно не хотел, чтобы девушки спали на заводе. Он озабочен вовсе не тем, что они могут потерять невинность. Он не хочет допустить захвата предприятия. Не хочет этого потому, что не чувствует в себе достаточно сил, чтобы бороться против решения магистратуры и локаута...

* * *

А в это время наше предприятие в Санта-Мария было буквально наводнено монахами-миссионерами. Они приехали во главе с приходским священником в черном автомобиле, снабженном громкоговорителем. Однако громкоговорителем никто не пользовался, и он все время безмолвствовал, пока длилась эта церемония на рабочей земле. Прежде чем начать службу, монахи молча сновали взад и вперед по дорожке между проходной будкой и заводской столовой, словно у себя в ризнице...

В семь часов сорок пять минут в просторном помещении столовой было пусто, только за отдельными столиками по углам сидели монахи, а перед ними стояли на коленях рабочие в спецовках и исповедовались. Не знаю, как это получилось, но не было слышно даже шепота, хотя монахи и кающиеся ничем не отгородились. Вслед за исповедью последовала месса, на которой присутствовало около трети всех рабочих. Они молча стояли, сгрудившись около походного алтаря, установленного у двери, выходившей в кухню. На балконе находился фотограф; как только монах подавал ему знак, включалась осветительная аппаратура. Снимались целые сцены — то большая группа цеховых рабочих, то священник, то несколько человек, принявших соответствующую позу. Никто из заводской администрации не звал этого фотографа, он приехал вместе с миссионерами.

После чтения евангелия мы услышали речь о моральном и религиозном значении труда. Но как раз в тот момент, когда можно было запечатлеть трогательную сцену — все эти люди в спецовках неподвижно стоят и слушают священника, воодушевляющего их и утешающего,— фотограф опрокинул свои лампы и сразу нарушил благочестивое настроение, которое все-таки охватило людей. Тогда я вышел из зала, спустился в проходную и пошел по направлению к морю.

Неподалеку от завода стоял полицейский автомобиль. Приходский священник, сопровождавший монахов, оказался в проходной: так как начало мессы совпадало с окончанием рабочего дня, он наблюдал, кто из рабочих остался слушать мессу, а кто отправился домой. Стало ясно — здесь-то и таилась опасность.

* * *

Биографии часто говорят больше, чем всякие рассуждения...

— Мой отец пытался покончить с собой.

— Когда?..

— Позавчера.

— Позавчера? Очень сочувствую вам...

— Разве вы не читали об этом в газетах?

— Как будто... теперь припоминаю... он выбросился из окна?

— Он выбросился с балкона третьего этажа и остался жив. Это уже вторая попытка... Он прямо-таки помешался на том, что мы должны работать. Видите ли, доктор, моя сестра училась, она... в еще худшем состоянии, чем наш отец.

— В худшем, чем ваш отец?

— Доктор, я пришел поговорить с вами не только о себе, но и о сестре...

Этот белокурый юноша с тонким лицом надеется, что после самоубийства отца девушку скорее примут на завод работницей.

* * *

Брат умер, попав под поезд. Другой брат попал под машину на шоссе. Третий заболел в раннем детстве и теперь вроде дурачка. Отец работал, но железный брус упал на него, повредил спинной хребет.

— Сколько процентов инвалидности?

— Тридцать.

Это не годилось. Мы обязаны были принимать на работу известное количество инвалидов, но лишь начиная с сорока процентов потери трудоспособности и выше Осталось еще четыре кандидата. Я очень устал и хотел бы провернуть все это поскорее, однако ничего не выходит, потому что самый краткий разговор требует все же какого-то времени. Мне хотелось бы сразу выносить суждение, а между тем каждый раз с тем или иным кандидатом приходится медленно раскручивать ту же спираль, до тех пор пока круг не замкнется. Потом все начинается сначала.

— Где вы работаете сейчас?

— Нигде. Я безработный.

— Где работали раньше?

— Работал на М. Е. при союзниках. Меня уволили в сорок седьмом году, когда союзники ушли.

— Как же вы проводите день?

— Чиню электричество, если кто-нибудь позовет. Делаю что-нибудь дома. Помогаю зятю в лавке. Помогаю своей невесте.

— Чем занимается ваша невеста?

— Она акушерка.

— Следующий!

...Все они стучатся в двери механического завода. Они согласны идти на конвейер, в сборочный цех, готовы стать чернорабочими, чистить уборные.

Тяжелее всего смотреть на некоторых двадцатилетних юношей, сирот без отца. Глава семьи, единственный мужчина в доме, он должен содержать мать и шестерых сестер.

Часто во время беседы, глядя на меня, они безнадежно качают головой.

* * *

...Я делал еще заметки о предыдущем кандидате, когда Доннарумма Антонио появился около моего стола. Квадратную грудь обтягивала майка, волосы с проседью были коротко острижены, взгляд жесткий. В сущности, он не смотрел ни на меня, ни на комнату, где я сидел. Он был очень решителен:

— Я должен работать, я должен трудиться, доктор.

На него не было заведено дело.

— Вы подавали заявление, Доннарумма? Простите, когда вы подавали заявление?

— Какое заявление?

— То есть как — какое заявление!.. Почему вы удивляетесь, что я об этом спрашиваю? Разве вы не знаете, что существует порядок: нужно подать письменное заявление с просьбой предоставить работу?

— Что это вы все заявление да заявление. Я должен работать, должен трудиться, а не писать заявления. Сюда приходят, чтобы трудиться, а не чтобы писать.

— Но раньше вы должны по почте прислать заявление. Мы рассматриваем его и отвечаем вам. Как мы можем ответить, если вы ничего не написали?

— А что я должен написать?

— Заявление.

Он не хотел слушать меня, лицо его еще более помрачнело, глаза заблестели.

— Вместо того чтобы дать мне работу, вы требуете какое-то заявление.

— Вы первый,— сказал я вполголоса,— первый из тысячи людей, который просит работу, не написав прежде заявления. Пошлите его по почте, а затем мы посмотрим...

— Что это значит — «посмотрим»?

— Посмотрим, что будет написано в этом заявлении.

— Там будет написано, что я должен работать! — ответил он жестко.

— Разве вы один должны работать в этом городе, во всем селении Санта-Мария? А знаете ли вы, что сорок тысяч человек хотят работать на нашем заводе?

Впервые я не усидел спокойно на стуле и, поразмыслив минуту, стукнул кулаком по столу.

Он стоял неподвижно, серый, как камень,— словно ничего не слышал, только глаза потемнели и налились кровью. Мрачный и строгий, он поднял руку:

— Доктор, не стучите кулаком по столу.

— Я стучал кулаком по столу только потому, что вы не хотите, не желаете понять, требуете того, чего никто не требует...

— Вы больше не будете стучать кулаком по столу. Иначе я тоже стукну.

Он опять поднял руку и продолжал:

— Только я стукну не по столу, а по вашей голове и по голове директора...

Я взглянул на стеклянную дверь. Около комнаты никого не было. Позвать охрану или протянуть руку к телефону я как-то не решился. И опять услышал его голос:

— Лучше не стучите кулаком по столу!

Он еще раз повторил этот совет, уже как приказание:

— Вы никогда больше не будете стучать кулаком по столу.

Стараясь говорить как можно тверже и не кричать, я ответил:

— Я делаю, что хочу. А вы, вместо того чтобы подать заявление, хотите избить меня и директора. Хороший способ попасть на работу, нечего сказать...

Но он нахмурился еще больше и, казалось, не слышал.

— Я понимаю, почему вы не хотите подать это заявление...

И тогда он начал все сначала:

— Если сегодня я напишу заявление и вечером пошлю вам, вы вызовете меня завтра? Я должен как можно скорее начать работать. Но я знаю, вы порвете его, как рвете заявления всех, кто хочет работать.

— Мы их не рвем. Мы их изучаем.

— Ничего вы не изучаете. Вы стучали кулаком по столу, а директор...

— Директор?

Он сдержал свою ярость, чтобы приберечь ее для другого случая.

— С директором я сведу счеты.

— Решайте сами! — закончил я разговор.

Он гордо поднял голову и пошел к выходу, не обернувшись, даже когда я сказал:

— Хорошее вы о себе оставляете впечатление, и еще хотите, чтобы вас взяли...

Он стукнул дверью, а я собрал папки со всеми делами, кроме дела Доннарумы, так как такового не было.

Вскоре меня принял директор, две пепельницы на столе были полны окурков... Спокойный и бесстрастный, он слушал меня.

— Там в проходной...

— Ну, что там такое?

— Нам угрожают.

— Как угрожают?

— Нас хотят избить.

— Вы знаете имена этих людей?

— Этого человека зовут Доннарумма. Хочет, чтобы его приняли на работу без заявления.

Директор записал на бумажке: Доннарумма.

— А имя как?

— Антонио.

Он протянул руку к телефону:

— Сейчас предупрежу полицию. Вы уверены, что правильно запомнили имя?

— Уверен.. Подождите минутку... Мы сделаем иначе. Надо просто, чтобы их не впускали. Извините, но... не стоит звать полицию.

— Вы не хотите звать полицию? —

спросил он, снимая руку с телефонной трубки.— Не хотите полиции?

Я должен был побороть свой страх перед Доннаруммой, но не хотел ставить у двери полицейского.

— Да, я прошу вас не звать полицию.

— Ну, тогда поступайте как знаете. Нужно поступать по справедливости — следовательно, более строго.

* * *

Вероятно, будут думать, что доктор уезжает из страха перед Доннаруммой. В самом деле, я уезжаю.

Вещи были уложены, я покидал навсегда свой дом у моря. Уезжать надо было с городского вокзала; по пути от дома до станции я смотрел на оливы, на перекрестки, на холмы, стараясь навсегда запомнить эту землю и это небо. Накануне я обошел все-все уголки завода — так прощаются с любимой обжитой комнатой, прежде чем в последний раз закрыть за собой дверь. Останавливался я и на дороге, чтобы поглядеть на море: никогда больше мне не доведется работать у моря. Поезд уходил в час дня, я проезжал по небольшой площади перед пустынным вокзалом изысканной архитектуры.

Два огромных черных автомобиля с вооруженными полицейскими в серо-зеленой форме пересекли площадь и скрылись в туннеле, ведущем к шоссе. Куда они направлялись? К заводу? Что случилось? Вернулся Доннаруммa и снова идет на приступ, неожиданно вспыхнуло недовольство или после многих месяцев брожения именно в этот день разразилось настоящее восстание? Звонить, скорее звонить и вернуться обратно, если там что-нибудь случилось.

Наконец-то я услышал в трубке голос сторожа Белломо, вероятно пораженного, что доктор после такого трогательного прощания все еще здесь.

— Ничего, Белломо, ничего. Я видел два полицейских автомобиля.

— Что, что вы говорите, доктор?

— Ничего не случилось? Проехали две черные машины. Я хотел знать, все ли у вас спокойно.

— Все спокойно,— ответил Белломо,— только Датилло искал вас.

В этот час был перерыв, рабочие выходили на воздух, наспех дожевывали остатки завтрака и ждали гудка. Только Датилло, самый спокойный и самый упорный из всех, осаждал проходную.

Я опоздал на поезд и в ожидании следующего прогуливался вдоль берега до самого порта, где стояли на причале баржи, смотрел на длинную, как коридор, дамбу и сидел на ступеньках, спускающихся к самой воде.

Лео Монбуйран

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШАЕТСЯ В БОННЕ...

«Милитаризация, разгул реваншистских страстей, культ ненависти и вражды к коммунизму и ко всему новому и прогрессивному, возрождение пангерманских традиций и настроений — вот что определяет сегодня лицо западногерманского государства». Эти слова Н. С. Хрущева глубоко вскрывают сущность боннской политики, направленной на подготовку третьей мировой войны. Сегодня весь мир воочию убеждается, что только заключение мирного договора с Германией сможет помешать дальнейшему опасному развитию германского милитаризма и реваншизма, превращению Западного Берлина в своего рода Сараево, где, как известно, раздались выстрелы, возвестившие начало первой мировой войны.

Печать европейских стран, испытавших все ужасы чудовищного режима гитлеровской оккупации, теперь с тревогой пишет о внешней политике США и других западных держав, открыто поощряющих боннских реваншистов, оснащающих новейшим оружием вермахт Аденауэра, снабжающих «горючим» всякого рода шпионов и провокаторов, беснующихся сейчас на самой границе между Западным и Восточным Берлином.

Публикуемая в этом номере статья французского публициста Лео Монбуйрана «Преступление совершается в Бонне...» с документальной достоверностью показывает, как идет процесс духовного растления западногерманской молодежи и подготовки ее к новым военным авантюрам, замышляемым боннскими наследниками гитлеровского рейха. Автор заканчивает свою статью призывом «действовать, и действовать решительно» для предотвращения «новой эпидемии коричневой чумы». Этот призыв звучит сейчас как нельзя более своевременно и обоснованно!

В решениях Берлинской конференции 1945 года о демилитаризации, денацификации и демократическом переустройстве Германии говорится, что «Германский милитаризм и нацизм будут искоренены», что необходимо «предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду», что «образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью устранить нацистские и милитаристские доктрины и сделать возможным успешное развитие демократических идей».

В Восточной Германии эти принципы тщательно соблюдались и соблюдаются. Лица, скомпрометировавшие себя при гитлеризме, были уволены из всех государственных учреждений, и в частности из школ, где пришлось заменить 70 процентов преподавательского состава. На руководящие посты были назначены испытанные демократы. Молодежь воспитывается в духе борьбы за мир и дружбу между народами, и ни в одном школьном учебнике нет прославления войны. В учебниках французского языка приводятся отрывки из произведений прогрессивных авторов, рисующих облик мирной Франции. В школах поют «Марсельезу». Всякая расистская и милитаристская пропаганда карается законом.

В Западной Германии легко можно бы осуществить те же мероприятия. Обстоятельства благоприятствовали этому. Население было явно настроено против гитле-

ризма, принесшего ему столько бед. Юноши не хотели больше слышать о военной службе и в течение ряда лет отвечали тем, кто стремился восстановить воинскую повинность: «Ohne uns!» («Без нас»). Но если сначала в Западной Германии и проводилось нечто похожее на денацификацию, вскоре там все повернулось иначе.

Западные союзники были заинтересованы в мощной немецкой армии, чтобы успешно проводить совместную политику против СССР и стран народной демократии. Парижские соглашения, предусматривающие ремилитаризацию Германии, были ратифицированы французским парламентом, а вслед за ним благодаря пособничеству социал-демократических депутатов также и бундестагом.

Реакционные силы торжествовали. В головы граждан и, главным образом, в головы молодежи вдалбливали и продолжают вдалбливать шовинистические и реваншистские идеи. Сперва реакционеры носили маску, и милитаризм крадучись возвращался на сцену. Теперь они действуют открыто и ведут себя все более вызывающе. Монополии, некогда призвавшие к власти Гитлера, открыто требуют, чтобы современная молодежь воспитывалась так же, как она воспитывалась при Гитлере. Фашизм вновь расцвел пышным цветом в государственном аппарате. Однако боннское правительство отрицает это и твердит о своей приверженности демократии.

В прошлом году по Западной Германии прокатилась волна антисемитизма, и перед лицом всемирного взрыва негодования канцлер Аденауэр счел нужным осудить бесчинства, которые творили некоторые его соотечественники. Однако тем, кто писал оскорбительные надписи на синагогах и памятниках жертвам нацистского режима, было не больше 23—27 лет, они еще под стол пешком ходили во время крушения гитлеризма. Следовательно, их сбила с толку расистская пропаганда, которая, что бы ни говорил по этому поводу Аденауэр, находит свое выражение и в выступлениях представителей антидемократических организаций и в содержании многочисленных фильмов, газет, журналов и книг. Как и во времена Гитлера, упор делается на понятие низшей расы и на превосходство немецкого народа. В книге «Человек и народ» Г. Карге говорится:

«Наряду с расами, наделенными творческой силой, существуют другие расы, которым в такой силе отказано. Неоспоримо, что белые принадлежат к расам, наиболее привилегированным в этом отношении».

Профессор фон Борман писал в журнале «Национ Эуропа», что народы, принадлежащие к черной расе, по-видимому, не способны приобщиться к более высокой культуре, и добавляет, что им удалось выжить лишь в результате благодеяний колонизаторов в области гигиены и экономики.

Все эти разглагольствования сводятся к одному: лучшие из лучших среди белых — это немцы. В журнале «Гомо» — органе Антропологического общества ФРГ — некий Раушенбергер заявляет, что из всех современных народов одни только немцы действительно достойны названия «народа-мыслителя».

Такие высказывания перекликаются с утверждением г-на Глобке, нынешнего государственного секретаря боннского правительства, который писал в 1936 году в своих «Комментариях к германскому расовому законодательству»:

«Расовая идеология национал-социализма не имеет ничего общего с так называемым либеральным принципом равенства всех людей».

Именно на основе концепции расового первенства и превосходства немецкого народа нацисты, заполнившие в свое время государственный аппарат, пытались растлить молодежь, воспитывая ее в духе агрессивного национализма и реваншизма.

В августе 1958 года боннское правительство по инициативе министра национальной обороны Штрауса создало Ведомство психологической войны, в котором все главные министерства имеют своих представителей. К наиболее видным фигурам этого ведомства принадлежит Эберхард Тауберт, который при Гитлере был одним из руководителей системы антикоминтерновского пакта и слыл ярым антисемитом. Кроме того, он подвизался в те же времена в роли судьи недоброй памяти Народного трибунала — этого порождения нацизма — и выносил многочисленные смертные приговоры. В настоящее время он считается наряду с Глобке одним из ближайших соратников Аденауэра.

Ведомство психологической войны создало целую сеть исполнительных органов, на обязанности которых лежит главным образом борьба против коммунизма и активная пропаганда в пользу НАТО и атомного вооружения. Это ведомство связано со всеми антидемократическими и милитаристскими организациями, которым оказывает материальную и моральную помощь.

* * *

Пропагандистская деятельность Ведомства психологической войны направлена в первую очередь на обработку молодежи, находящейся в казармах и школах.

Стоит юноше прийти в казарму, как он подвергается там усиленному идеологическому нажиму, в результате которого он должен стать, по выражению «Дейче зольдатенцейтунг» (октябрь 1958 г.), «солдатом, готовым преследовать захватчика до Кёнигсберга и отвоевать землю, исконно принадлежавшую его предкам». В казармах молодых солдат обязывают читать периодическое издание «Хефте фюр штатсбюргелихе бильдунг унд психологише рюстунг» («Тетради для гражданского обучения и психологического вооружения»).

Юношам предлагают, кроме того, литературу, которая превозносит «героические деяния» дивизий вермахта во время второй мировой войны и «рыцарское поведение» гитлеровских офицеров, стремясь убедить читателя, что немецкие солдаты всегда были лучшими солдатами в мире. Молодежь обучают песням, которые распевались в гитлеровской армии:

«Вперед, ребята, мы хотим исколесить чужие земли, мы хотим видеть чужие звезды».

Но Штраус не удовлетворился этим духовным порабощением молодых солдат. Он пожелал, чтобы милитаристская идеология пустила глубокие корни в школах. Для этого он организовал встречи преподавателей с офицерами бундесвера, требуя, чтобы преподаватели учились подчиняться бундесверу и воспитывали своих учеников в духе шовинизма и реваншизма...

* * *

Но эта пропаганда не была бы столь эффективной, если бы вся система обучения не получала соответствующего направления. Прежде всего ставится цель скрыть от учащихся правду о чудовищных преступлениях Гитлера и его пособников, иными словами — фальсифицировать историю. Если сравнить два издания одного и того же учебника, появившиеся с разрывом в несколько лет, легко убедиться, как широко осуществляется фальсификация посредством замалчивания. Возьмем, к примеру, учебник истории под заглавием «Человек на протяжении веков», по которому изучается история в 5 и 6 классах большинства школ ФРГ. Его первое двухтомное издание 1949 года можно считать приемлемым. Зато официально рекомендованное издание 1958 года уже сведено к одному тому. «Альгемейне дейче лерерцейтунг», газета для учителей ФРГ, 15 апреля 1958 года писала, что в новом издании отводится лишь 34 страницы периоду с 1914 года до наших дней, тогда как в предыдущем издании этому периоду была отведена 71 страница; история гитлеровского рейха излагается на 13 страницах вместо 41, и, кроме того, текст переделан так, чтобы дать учащимся лишь слабое представление об этой мрачной эпохе. По поводу той же книги в австрийском еженедельнике «Фурхе» сказано, что движению сопротивления и концлагерям в издании 1949 года отводится 13 страниц, а в издании 1958 года об этом вообще нет ни одного слова.

Большинство изданных в 1957 году книг по истории умалчивает об истреблении евреев или лишь вскользь упоминает о нем. Информационный бюллетень «Бунд дер дейчен» приводит такой пример: в учебнике истории для школ Саарской области отведено 114 страниц периоду 1840—1944 гг. и всего-навсего 11 страниц — гитлеровскому режиму и второй мировой войне, в том числе четыре с половиной строчки — истреблению евреев...

Практикуется, однако, не только фальсификация посредством замалчивания, в учебниках истории широко используется и обычный прямой подлог.

Упорно стремясь доказать невиновность Германии, авторы книги «Основные черты истории от древнейших времен до наших дней» заявляют:

«Можно сказать с полной уверенностью, что одна лишь Германия не преследовала военных целей».

Фальсификация становится особенно очевидной, когда речь заходит о фашизме и второй мировой войне. Но хуже всего то, что внутренняя и внешняя политика Гитлера полностью одобряется, а сам диктатор восхваляется, во всяком случае когда речь заходит о периоде, предшествовавшем поражению Германии.

Из Гитлера стараются сделать провиденциальную личность. «Многие немцы считали, что он призван спасти страну!»,— восклицает автор «Истории нашего народа».

Но эти люди забывают о том, что в 1936 году в Германии было 2,5 миллиона безработных, что число несчастных случаев на производстве удвоилось, что заработной платы по-прежнему не хватало на жизнь, что трудящиеся подвергались растущей эксплуатации и были лишены самых элементарных прав.

Даже внешняя политика Гитлера — причина стольких человеческих жертв во всем мире — находит защитников среди авторов многих книг по истории. Учащимся внушают, что присоединение Австрии к Германии было добрым, справедливым делом и что оно будто бы отвечало чаяниям австрийского народа. Вторжение в Чехословакию рассматривается отнюдь не как агрессия, но как поход, предпринятый для освобождения судетских немцев, якобы угнетенных чехами, а Мюнхенское соглашение приветствуется, ибо оно развязало руки Гитлеру для порабощения Чехословакии.

«Каких только успехов не добилось немецкое правительство благодаря своей решительной политике!» — восклицает автор книги «Тогда и сегодня».

Нападение гитлеровской армии на Советский Союз тоже находит обоснование в учебниках. Если Гитлер и бросил свои войска против СССР — рассуждают авторы,— то сделал это лишь для того, чтобы помешать Советскому Союзу напасть на Германию...

Учащимся внушают, что нашествие немецких орд на советскую землю было в действительности актом вынужденной самозащиты, а понятие самозащиты приравнивают к понятию превентивной войны.

Однако хор похвал умолкает, когда речь заходит о поражении. Гитлер проиграл войну лишь по той причине, говорится в

книгах по истории, что не последовал советам своих замечательных генералов. Если бы Гитлер не совершил этой непростительной ошибки, немецкая армия была бы непобедима. Вероломное нападение Гитлера на Польшу преподносится учащимся как триумфальное шествие.

«Генеральный штаб тщательно подготовил поход на Польшу. Отовсюду: из Словакии, Силезии, Померании, Восточной Пруссии — немецкая армия с быстротой молнии атаковала польские войска. За 18 дней Польша была разбита, и молниеносная война окончена» («Историческое становление»).

Доблесть немецкой армии восхваляется и тогда, когда речь заходит о голландской, бельгийской и французской кампаниях.

«Десятого мая немецкие войска пересекли границы Голландии, Бельгии и Франции. Несколько дней спустя Голландия и Бельгия капитулировали... 21 июня Франции тоже пришлось сложить оружие» («Новейшие времена»).

«Несомненное превосходство германской армии как в оснащении, так и в военной подготовке сказалось во время битвы за Фландрию» («Живое прошлое»).

Итак, от учащихся без зазрения совести скрывают преступный характер гитлеровских войн. И, повторяем, находят даже возможным оправдывать их. Немецкая армия превозносится за ее дух самопожертвования.

«Немцы, почти безоружные, подвергались беспрестанным атакам, так как из-за морозов моторы танков и самолетов бездействовали» («Живое прошлое»).

В действительности нацистские войска уже были разгромлены под Москвой и Ростовом, когда во второй половине декабря 1941 года жестокие холода обрушились на Восточную Европу. К тому же мороз нисколько не помешал наступлению русских, хотя и их армия была моторизована.

Но учащимся стараются внушить, что вермахт, в сущности, не был побежден и, главное, что генералы, вроде Шпейделя и Хойзингера, ныне осыпаемые почестями, не несут никакой ответственности за поражение. Учащимся навязывают следующий вывод: если бы не помешала русская зима, если бы Гитлер не был так упрям и слушался советов своих генералов, немцы одержали бы победу. А такие идеи могут лишь пробудить стремление к реваншу.

«Вступайте в бундесвер»,— призывают плакаты. «Не забывайте о вчерашнем»,— предостерегают руины.

* * *

Чтобы усилить это стремление, учащимся рассказывают, будто на Нюрнбергском процессе победители допустили ряд крупных несправедливостей в отношении немцев и по злопамятности вынесли незаконные приговоры. Вот выдержки из трех книг, весьма распространенных в учебных заведениях ФРГ:

«Международный трибунал победителей собрался в Нюрнберге в 1945 году. Во всех его процессах победители были одновременно законодателями, обвинителями и судьями. Право как таковое не соблюдалось». («Всемирная история новейшего времени, 1848—1950»).

«Трибунал не раз признавал преступными действия, которые не были запрещены международным правом» («История новейшего времени от возникновения США до наших дней»).

«Эти процессы глубоко оскорбили достоинство не-

мецкого народа, главным образом потому, что они были возбуждены против представителей армии, которые оправдывали свои действия воинским долгом» («Краткий курс истории»).

Таким образом, в глазах учащихся палачи выставляются жертвами, за которые необходимо отомстить, ибо по отношению к ним была де совершена несправедливость. Как утверждают авторы многих книг, имеется якобы еще и другая несправедливость, которую надо исправить. Речь идет о Потсдамских решениях, согласно которым были установлены новые границы. Учащимся остерегаются говорить о том, что германский милитаризм и империализм повинны в смерти 50 миллионов человек, что в результате фашистского варварства были опустошены огромные территории. Их убеждают в том, что от Германии были отторгнуты богатые провинции, на которые она в течение 700 лет распространяла благодеяния своей цивилизации, что жителям этих провинций пришлось эмигрировать, подчас в ужасных условиях, и уступить место низшим народам, которые не сумели извлечь пользу из захваченных земель и оставили их в запустении.

Решения, принятые в Потсдаме по поводу этих территорий, рассматриваются как «акт политического произвола» («Курс географии для средних школ»).

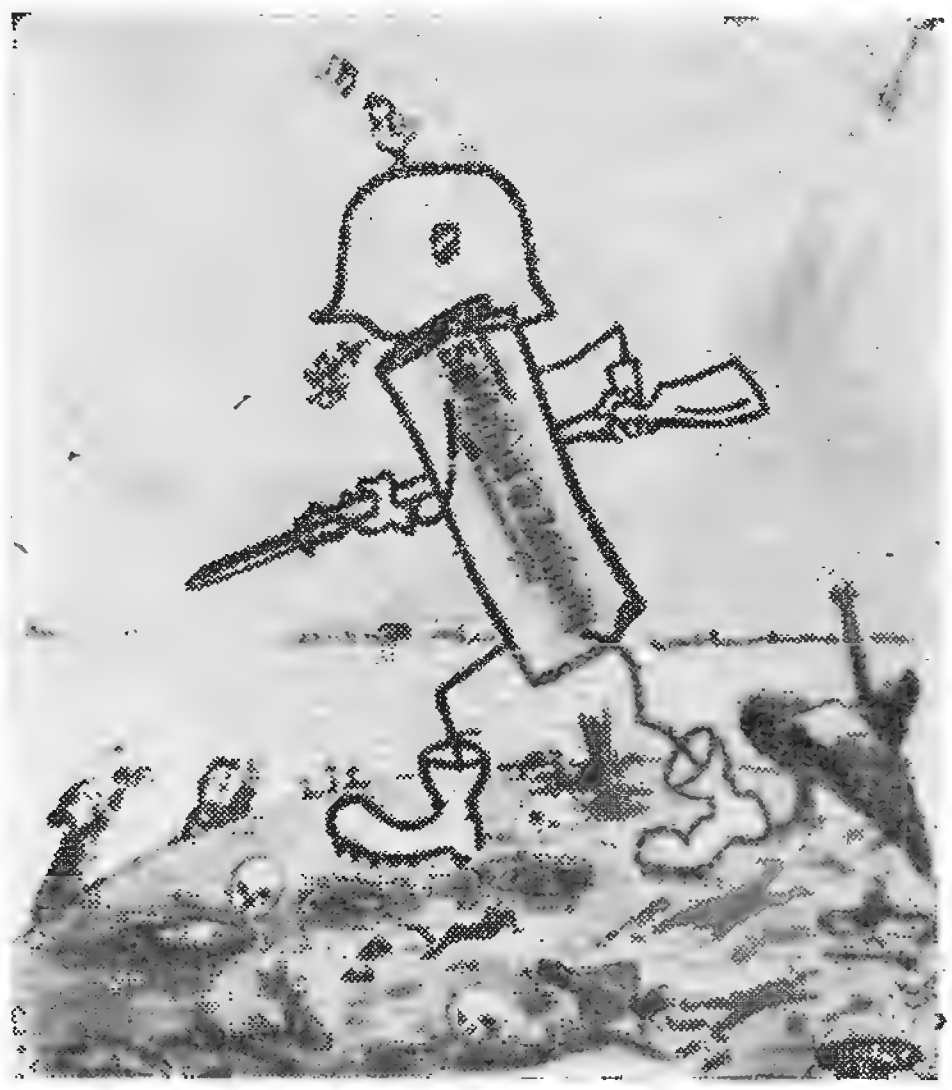
Впрочем, нынешние министры Западной Германии в этом отношении сами задают тон. Министр иностранных дел Брентано заявил по радио 2 мая 1956 года:

«Нет и никогда не будет немецкого правительства, которое признало бы границей линию по Одеру — Нейссе».

А в начале августа 1959 года баварский министр труда Штейн обратился к своим молодым согражданам с таким призывом:

«Придет день для всей германской молодежи взяться за новую задачу — задачу новой колонизации этих территорий».

Для разжигания агрессивного национализма и реваншизма была возрождена «наука», которая при Гитлере служила целям подготовки агрессии против славянских стран. Речь идет об Ostkunde — «науке о Востоке», на развитие которой боннское правительство не жалеет денег. Этим делом руководят ныне доктор Эрнст Леман и профессор Эйген Лемберг, в прошлом видные нацисты. Как это было и при Гитлере, в ФРГ созданы институты, в большинстве своем при университетах, которые занимаются исключительно вопросами, имеющими отношение к странам Восточной Европы, в первую очередь к тем странам, которые освободились из-под власти Германии в результате последней войны. Под видом научной деятельности эти институты ведут интенсивную антикоммунистическую пропаганду и развертывают идеологическую подготовку к грядущей войне против СССР и стран народной демократии. Но



Они опять завоевывают мир (на страницах «Дейче зольдатенцейтунг»).

Ostkunde преподается не только в этих институтах, но и входит в программы всех школ ФРГ...

* * *

Этой идеологической обработке молодежь подвергается не только в казарме и в школе. Она сталкивается с ней повсюду: в газетах, в журналах, книгах, которые она читает на досуге, а также в кино. Наряду с ежедневными газетами, которые за редким исключением поддерживают агрессивную политику боннских заправил, выходит множество периодических изданий, отличающихся бредовым шовинизмом,— «Штальхельм», «Дейче зольдатенкалендер», «Фронтзольдат эрцельт» и «Дейче зольдатенцейтунг» с виньеткой в виде железного креста и с девизом: «За честь, право, свободу и европейскую безопасность». В газете «Гамбургер эхо» (17.II.1953 г.) мы читаем, что еще в 1953 году два последних периодических издания пользовались субсидиями правительства.

При поддержке этой печати издаются общим тиражом до 20 миллионов экземпляров в год серии брошюр для молодежи, вроде «Ландсерхефте», пестрящие рассказами о войне. Продают их очень дешево — чем и объясняется широкое распространение этих книжонок, возбуждающих в сердцах молодых людей ненависть и презрение к бывшим противникам немецкого солдата который расхваливается на все лады. Так, в брошюре «Между Волховом и Ленинградом» говорится:

«Передо мной появилось гримасничающее лицо русского. С быстротой молнии я выстрелил, и человек упал с пробитым че-

репом... Это был монгол. Его раскосые глаза смотрели на меня, как глаза крысы».

А в другой брошюре серии «Ландсерхефте» под заглавием «Штурм линии Мажино» содержатся следующие оскорбительные высказывания по адресу французского народа:

«Кемпф знает, что он уже никогда не сможет вновь полюбить Францию — свою родину. Он знает, что эта страна прогнила насквозь, и не верит, будто этот народ когда-нибудь поднимется».

В той же брошюре в уста французского офицера вкладывают такие слова: «Видите ли, у немцев есть идеал, и этот идеал дает им силы и наступательный порыв».

Посещая библиотеки и книжные магазины, молодежь находит такие книги, написанные крупными военными преступниками и известными нацистами, как «Последние заметки» Альфреда Розенберга, «Десять лет и двадцать дней» Карла Деница, «Моя жизнь» Эриха Редера, «Гренадеры» Курта Майера, «Адольф Гитлер — мой друг юности» Августа Кубичека, «Лисицы пустыни» Пауля Карелла и т. д. Из 100 издательств, выпускающих книги о войне, сорок исключительно заняты выпуском милитаристской и фашистской литературы, проникнутой духом реваншизма.

Эти произведения выходят часто внушительными тиражами. Так, например, книга, в которой Ильза Гесс опубликовала письма своего супруга, небезызвестного Рудольфа Гесса, выдержала 23 издания. Более того, проповедник теории жизненного пространства Ганс Гримм, который умер в 1959 году, рьяно послужив на своем веку гитлеровской идеологии, написал книгу под заглавием «Почему, откуда, но куда?», тираж которой достиг в прошлом году 50 000 экземпляров. Боннское правительство, с добродетельным видом возмущавшееся год назад антисемитскими бесчинствами в ФРГ, не только не наложило запрета на это сочинение, автор которого систематически выступает против Нюрнбергского процесса и пытается оправдать антисемитизм, но и благосклонно пропустило такое заявление:

«Евреи — наше несчастье!.. Вполне очевидно, что еврейский вопрос продолжает существовать, что он неразрешим путем терпимости и компромиссов, однако разрешить его необходимо, если мы желаем добиться биологического и духовного спасения Запада». Да, того самого биологического спасения, которое предприняли нацисты, истребив шесть миллионов евреев! Об этих временах, по-видимому, и тоскует г-н Гримм!

Издание литературы, оправдывающей фашизм и восхваляющей ремилитаризацию Западной Германии, началось в 1947 году. Но уже в 1955 году в стране насчитывалось 700 милитаристских и фашистских книг общим тиражом в три миллиона экземпляров. А с 1956 года, когда была введена обязательная воинская повинность, число этих книг стало неуклонно возрастать. Однако в ФРГ существует закон от 9 июня 1953 года о вредной для молодежи литературе. В нем уточняется, что к этой литературе должны быть причислены сочинения, восхваляющие аморальность, преступления, войну и расизм. Но если мы бросим взгляд на книги запрещенные в 1958 году на основании этого закона, то увидим среди них очерки нравов, полицейские романы, порнографические сочинения, книги для гомосексуалистов, но не найдем ни одной книги фашистского или милитаристского толка. Стоит ли удивляться этому, зная, что за соблюдением вышеуказанного закона следит бывший штурмовик Шредер, который, будучи министром внутренних дел, дошел до того, что потребовал запрещения Ассоциации жертв нацистского режима? Стоит ли удивляться этому, если министр обороны Штраус заявил во всеуслышание, что он вполне согласен с точкой зрения Вильяма Шламма, автора книги «Границы чуда», в которой наряду с невольным признанием величия коммунизма звучит панегирик войне и открытый призыв к крестовому походу против стран Восточной Европы.

«Коммунизм процветает в мирной обстановке,— читаем мы в этой книге,— он хочет мира, он торжествует при наличии мира. Но если Запад намерен выстоять, он должен воевать... Запад может выжить лишь в том случае, если полностью использует свой технический потенциал. И прежде всего атомное оружие... НАТО и Германия вооружаются и проводят маневры, имея в виду войну против Советского Союза, ибо это единственно возможный выход».

Со стороны Штрауса, одобрившего столь воинственную пропаганду, это попросту рецидив; он говорил еще раньше, что прочел «с величайшим вниманием и величайшим интересом» книгу «Германские козыри», появлению которой предшествовала шумная реклама по радио и в печати в ту пору, когда боннское правительство с особой настойчивостью требовало атомного вооружения. Иоганнес Барник, автор этой антисоветской книги, столь же глупой, сколь злобной, утверждает, будто «третья война... является, к сожалению, единственным путем для объединения Германии». Под этим объединением подразумевается и «присоединение к Германии мелких восточных народов во имя общей им всем германской культуры», ибо в глазах автора «чех — типичный восточный немец, только не говорящий по-немецки». Итак, надо воевать против СССР, ибо маловероятно, чтобы «Советский Союз пал без войны, будь то в ближайшем или в отдаленном будущем...», и Барник призывает боннское правительство вооружить Германию «на широких просторах Востока великой охоты и победных криков».

Однако культивировать подобную литературу показалось недостаточным тем лицам, которые во что бы то ни стало стремятся приобщить молодежь к своим агрес-

сивным планам. Вот почему они обратились к кино, видя в нем прекрасное средство пропаганды. За период 1952—1959 гг. в Западной Германии было выпущено 224 военных фильма. В 1959 году количество этих фильмов составило почти 10 процентов всего кинематографического производства. Их цель — создать героическую легенду, представив войну как великую эпопею, во время которой человек может показать, на что он способен. В Западной Германии демонстрируют американские фильмы о войне в Корее, о боях в джунглях и немецкие фильмы, в которых действуют красивые молодые гитлеровцы с нарядными молодыми гитлеровками и злые русские, ибо в своем большинстве эти фильмы носят ярко выраженный антисоветский характер. С 1950 до конца 1958 года в ФРГ было выпущено 70 фильмов, которые оправдывают фашизм, представляют в ложном свете причины гитлеровской агрессии и приукрашивают или возвеличивают милитаризм. Некоторые из них — «Канарейки», «Генерал дьявола», «Это случилось 20 июля» и другие — всецело оправдывают гитлеровских генералов.

* * *

Таким образом ведется активная подготовка молодежи к новым преступным авантюрам, а чтобы легче было обрабатывать юношей и девушек, их вербуют в молодежные организации. 110 таких организаций, объединяющих около 250 000 человек, носят ярко выраженный милитаристский и неофашистский характер. Ими руководят чаще всего бывшие эсэсовцы и главари гитлеровской молодежи. Организация «Немецкая молодежь Востока», наиболее шовинистическая из них, имеет 15 подразделений; одно из них — Судето-немецкая молодежь — особенно близко сердцу боннского министра Зеебома. Еще в 1954 году во время демонстрации в Ансбахе этот министр заявил:

«Под Востоком Германии подразумевается не только Эльба и Одер, но также Чехия, Моравия и все территории, некогда населенные немцами».

Господин Глобке, личный советник Аденауэра, которому г-н Дебре так горячо пожимал руку при своем посещении Бонна, тот самый Глобке, который признавался на допросе во время Нюрнбергского процесса, что ему хотелось бы отторгнуть от Франции значительную часть ее территории, должен быть в восторге от следующей декларации «Молодежного отряда», руководимого бывшим эсэсовцем Гесслером:

«Верность — вот то, что нам делает честь прежде всего, верность не той родине, которая простирается от Рейна до Эльбы, а родине, которую мы представляем себе как империю, охватывающую территорию от Мааса до Мемеля» («Франкфуртер рундшау», специальный номер 1960 г.).

Мы дали лишь краткий обзор огромного заговора, замышляемого против молодежи Западной Германии, и систематического растления ее сознания всеми возможными способами. Мы показали, что главным виновником является в данном случае правительство Федеративной Республики. Оно не только разрешило некоторым из своих министров оказывать помощь и содействие

Государственная деятельность господина Штрауса.

шовинистическим организациям, не только допустило фальсификацию истории в учебниках, но и предоставило должности в школах и университетах лицам, известным своим нацистским прошлым...

Список бывших нацистских руководителей, которым Аденауэр и его присные поручили воспитывать молодежь ФРГ, слишком велик, чтобы его приводить в рамках этой статьи. Достаточно будет сказать, что пост председателя Постоянной конференции министров народного образования всех земель Западной Германии занимает ныне баварский министр Теодор Маунц, бывший профессор гражданского права во Фрибургском университете, один из самых ярых пособников Гитлера. В своей последней книге «Полицейская служба и права полиции», выпущенной незадолго до крушения нацистского режима, он пытается оправдать террор гестапо и высказывается в пользу концлагерей, которые он цинично рассматривает как обычную «превентивную тюрьму». Бывшие нацистские руководители, занимающие ныне командные посты в системе народного образования, ведут среди своих подчиненных ярую пропаганду агрессивной политики Аденауэра. Так, министр народного образования земли Шлезвиг-Гольштейн Эдо Остерло заявил на съезде учителей, состоявшемся в Киле 23 мая 1958 года:

«Тот, кто, имея возможность предохранить от террора свободу и человеческое достоинство путем применения атомных бомб и только таким путем, не сделал бы этого, изменил бы своему нравственному долгу, так как отказался бы от защиты человечества».

Демократические и миролюбивые силы Западной Германии ведут упорную борьбу против этой системы подчинения молодежи и тех, кто ее воспитывает, политике боннского правительства.

Оппозиция по отношению к этой политике беспрестанно растет как среди рабочих, так и среди интеллигенции. На своем съезде, имевшем место в октябре прошлого года, профсоюз металлургов, наиболее влиятельный из всех профессиональных союзов ФРГ, высказался против атомного вооружения, и его поддержали многие профсоюзные организации. В 1959 году два больших студенческих съезда в Западном Берлине и во Франкфурте-на-Майне, а вслед за тем собрания студентов, состоявшиеся в Касселе, Кёльне и других городах, также выступили против атомного вооружения. Во всех университетах и высших школах ФРГ были распространены тысячи листовок, клеймящих бесперспективную политику правительства в вопросах объединения Германии и разрядки международной напряженности. Стремясь продемонстрировать свою враждебность реставрации фашизма, десять тысяч юношей и девушек пришли на могилу Анны Франк. Несмотря на произвол и преследования властей, возникли многочисленные ассоциации, ставящие своей целью борьбу за мир и гражданские свободы, как, например, кружок Швельма, кружок Франконии, Лига немцев, Движение женщин Западной Германии в защиту мира и т. д. Недавно был создан Германский союз в защиту мира, стремящийся объединить всех граждан ФРГ, выступающих против политики войны. Этот Союз предполагает выставить своих кандидатов на ближайших выборах, чтобы создать оппозицию в бундестаге, где она практически перестала существовать в результате присоединения социал-демократических руководителей к политическому курсу боннского правительства...

Боннское правительство выставляет себя защитником демократии, в действительности же оно пользуется этой маской, чтобы лучше прибирать к рукам организации и отдельных лиц, не желающих подчиняться его политике. Профессора университета Хагеман, Пауль Шнейдер, Шотлендер, Гессенауэр, г-жа Ленерт, г-жа Римек и многие другие подвергались преследованиям, и на них наложены взыскания. Около 200 демократических организаций были запрещены. А с начала января 1961 года репрессии непрестанно растут, количество арестов увеличивается.

Особенно свирепо преследует боннское правительство молодежь, которая не желает идти на поводу у милитаристов и неофашистов. Оно приказало, например, расформировать массовую организацию Свободная немецкая молодежь. С другой стороны, правительство старается ограничить общественную жизнь в стенах высших школ и помешать студентам выражать демократические взгляды как в печати, так и любым иным способом. Члены Союза немецких студентов-социалистов подверглись клевете и преследованиям за то, что имели мужество, организовав в Карлсруэ выставку, посвященную нацистскому правосудию, показать, что многие судьи, выносившие при Гитлере гнусные приговоры, творят и теперь правосудие в ФРГ. Боннское правительство ненавидит эту организацию также и за то, что на своем съезде, состоявшемся в мае 1959 года, она категорически высказалась против атомного вооружения. Вот почему правительство вступило в сговор с правыми руководителями социал-демократической партии, которые нередко оказывали ему ценные услуги, дезориентируя студентов, примыкающих к социал-демократической партии, и в мае 1960 года одному из них, некоему Моммеру, удалось расколоть в целях борьбы против коммунизма эту ассоциацию, до тех пор сильную и единую.

Но несмотря на нажим, увещевания и угрозы, часть молодежи уже поняла и с каждым днем понимает все лучше истинный смысл боннской политики. Доказательством этому служит сравнительно большое число молодых людей, которые отказываются

«Есть ли у Штрауса совесть?», «Как можно скорее покончить с атомными бомбами!» — гремит голос передовой молодежи Западной Германии.

служить в штраусовском бундесвере, зная, что эта армия предназначена для ведения реваншистской войны и прежде всего войны гражданской.

Но если не бороться с этой пропагандой, она может в конце концов принести губительные плоды. Она уже сбила с толку многих юношей и девушек, внушив им идеи реваншизма и шовинизма. В «Нейе дейче шуле», органе профсоюза учителей Северного Рейна-Вестфалии, в частности, говорится, что редакция получила письмо одной матери с изложением следующего факта: в школе, где учится ее сын, преподаватель математики очень грубо отозвался о русских, изобразив их ужасными людьми. Ученики встретили его слова аплодисментами и воинственными криками. Один из них прибавил: «Мне хотелось бы иметь атомную бомбу, чтобы бросить ее на Россию». А ведь этот случай в школе произошел не более двух лет назад!

Молодежь Западной Германии в опасности! Ее систематически дезориентируют, растлевают, подстрекают. Немцам давно пора действовать, и действовать решительно, чтобы предотвратить у себя новую эпидемию коричневой чумы.

ЦАРСТВО МОЛЧАНИЯ

В наши дни, когда голос сражающейся Анголы слышен во всем мире, это название звучит почти иронически. Царства молчания больше не существует, несмотря на все усилия португальских колонизаторов, которые ни о чем так не мечтают, как о хорошем кляпе для ангольского народа. И все же до последнего времени им в значительной мере удавалось скрывать от мирового общественного мнения правду об Анголе. Вот почему так ценно всякое честное свидетельство об ангольской действительности, которую салазаровцы рисуют в столь идиллических красках.

К таким свидетельствам принадлежит и опубликованная в журнале «Харперс мэгэзин» статья одного американского бизнесмена, неоднократно бывавшего в португальских колониях, в частности в Анголе, и пользовавшегося там в качестве делового человека значительно большей свободой, чем журналисты, которым власти не любят показывать «теневые стороны» колониальной жизни. Весьма знаменателен вывод, к которому приходит автор: своей политикой попустительства и покровительства угнетателям и палачам Анголы Соединенные Штаты рискуют «восстановить против себя полмира». Знаменателен и тот факт, что статья публикуется на страницах такого журнала, как «Харперс мэгэзин». Очевидно, даже американская реакционная печать не может не считаться с катастрофическим падением мирового престижа Соединенных Штатов в результате проводимой ими политики «сдерживания» национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах и поддержки самых реакционных колониалистских режимов.

Ниже мы печатаем с небольшими сокращениями статью американского бизнесмена, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы не навлечь репрессий на лиц, с которыми он был связан в Анголе.

Мы находились в нескольких часах езды от Луанды. Наш джип подпрыгивая мчался по пыльной красноватой дороге, извивавшейся среди поросших густыми зарослями холмов Анголы. По временам леса на склонах холмов сменяли кофейные или пальмовые плантации, а впереди простиралось плато с полями хлопка и плантациями мексиканской агавы, дающей сизаль.

Хотя было очень жарко, мы сидели втроем на переднем сиденье, тесно прижатые друг к другу, а сзади расположился всего один пассажир. Но этот пассажир был preto, или «черный», и мы, белые, не могли путешествовать с ним рядом. Африканцы всегда ездят на заднем сиденье — такой порядок существует не только на территории португальских колоний. Наш африканец, как и большинство его соплеменников, был невежествен и забит. Одет он был, как все preto в Анголе: в грязных трусах и фуфайке, босиком.

Рядом со мной сидели шофер португалец и мой контрагент fazenderio — владелец плантации.

Впереди на дороге показалось облако пыли — навстречу нам несся автомобиль. Это была штабная машина, и в ней ехали трое военных. Рядом с белым шофером сидел офицер, судя по знакам отличия какой-то высокий чин. Сзади в неподвижной позе застыл «сипай» — африканский солдат, держа винтовку прямо перед собой.

— Нам повезло! — воскликнул мой спутник, делая знак машине остановиться.— Это chefe de posto, начальник поста, будьте вежливы,— шепнул мне он, когда мы выходили из машины.

Мне уже приходилось встречаться с начальниками постов, и я знал по опыту, что в этих случаях разумнее и выгоднее быть любезным, потому что в системе португальских колоний начальник поста — полновластный хозяин своего административного округа, или posto. Начальник поста — это низшая ступенька колониальной лестницы, на верху которой стоит правительство в Лиссабоне. В полном подчинении у такого человека находятся около пятнадцати тысяч туземцев, живущих на площади, равной по размерам Род-Айленду. Для туземцев в 288 округах Анголы начальник поста одновременно и судья, и присяжный, и прокурор, и судебный исполнитель, и сборщик налогов, и строитель дорог, и — далеко не последнее обстоятельство — поставщик рабов для принудительного труда на предприятия колонии и метрополии.

Мы сошлись на середине дороги.

— Ваше превосходительство, — сказал мой спутник.— Я собирался зайти к вам завтра, чтобы засвидетельствовать свое почтение и обратиться к вам с просьбой. Спрос сейчас хороший, и я решил расширить плантацию. Мне нужно по крайней мере пятьсот рабочих, чтобы расчистить участок и обработать землю.

Его превосходительство на мгновение задумался. Это был небольшого роста смуглый человек с аккуратно подстриженными усиками, в белоснежном мундире...

— Пятьсот? Как скоро?

— Ну, скажем, через две недели.

— Трудновато, — ответил он, — в этом году мы уже набрали много народу. Как насчет женщин?

— Нет-нет,— запротестовал мой приятель.— У меня работают только мужчины. Я не люблю смешивать мужчин и женщин — не оберешься хлопот.

— Хорошо,— сказал начальник поста,— я думаю, это можно будет устроить, но... некоторые обстоятельства...— он бросил взгляд в мою сторону, и приятель кивнул мне, чтобы я их оставил. Я отошел на некоторое расстояние и стал дожидаться конца переговоров.

Через несколько минут мы уже продолжали свой путь. Мой спутник был доволен.

— Прекрасная сделка! — объявил он.— Двести эскудо за человека. Дешевка! И он, конечно, доставит их к сроку.

Подпрыгивая на сиденье джипа, я раздумывал о том, что сделка и в самом деле была удачной. Пятьсот «законтрактованных» рабочих, или contratados, насильно пригонят на плантацию моего друга, и они будут работать на него в течение двух лет за шесть долларов. Таким образом человеко-день обойдется ему в среднем в один цент. Помимо этого, согласно законодательству, предусматривающему оплату «законтрактованных рабочих», ему придется платить от шести до девяти центов в день. Часть этих денег будет удержана до окончания срока договора и выплачена затем начальникам постов в тех округах, из которых присланы рабочие. Начальник поста по своему усмотрению оставит эти деньги себе или раздаст их старостам для уплаты вернувшимся рабочим. Другая часть денег выплачивается непосредственно рабочим, которые покупают на них у плантатора «предметы роскоши». Пятьсот новых рабочих будут жить в барачных поселках под охраной; они будут сами готовить себе обед из маниоки и сушеной рыбы, поставляемых плантатором. По моим расчетам, стоимость одного рабочего в день никак не превышает пятнадцати центов.

Сделка была действительно выгодной, разумеется, если не принимать во внимание самих contratados. Плантатор получал по самой низкой цене рабочих, которые не могли ни забастовать, ни уйти от него, и заботы о благополучии которых были отнюдь не обременительны, а начальник поста — круглую сумму в 3000 долларов в дополнение к его сравнительно небольшому жалованью.

* * *

Рассказанное выше — лишь один из многих примеров принудительного труда в Анголе, с которыми мне приходилось сталкиваться за последние пятнадцать лет. Я очевидец всех описываемых здесь событий, а такого рода сведения особенно нежелательны для вездесущей тайной полиции Салазара. Надо отдать должное ее бдительности: за тридцать два года диктатуры Салазара только одному журналисту удалось дать глубокий анализ условий, существующих в португальской колонии. Этот журналист — Бэзил Дэвидсон, опубликовавший в 1954 году в «Харперс мэгэзин» свой отчет, в котором подтверждались поступавшие уже ранее отдельные сообщения о продолжающейся беспощадной эксплуатации малоразвитого народа авторитарной державой.

Принудительный труд, согласно отчету Дэвидсона, по-прежнему является основой экономики страны. Ежемесячно тысячи мужчин и женщин угоняют из дому и заставляют работать на частных и общественных предприятиях, нередко за сотни миль от поселка, в котором они живут, а иногда и за океан. Население поголовно негра-

мотно, 4 миллиона человек живут в нищете, терпят голод, страдают от болезней. За малейшее неповиновение им угрожает телесное наказание или исправительный лагерь...

Португальские власти, разумеется, поспешили опровергнуть отчет Дэвидсона, как они всегда опровергали любое разоблачение их колониальной политики. Точно так же столетие назад было встречено обличительное выступление Дэвида Ливингстона, доказавшего существование работорговли в Мозамбике и Анголе спустя много лет после издания закона об отмене рабства. До сих пор единственными сообщениями, поступающими из Анголы, Мозамбика и Португальской Гвинеи, остаются официальные отчеты о производстве кофе, сизаля и т. п. Слухи о восстаниях и тайных расправах в Анголе и других колониях мгновенно пресекаются или опровергаются. Благодаря строжайшей цензуре печати и таможенному досмотру, никакие нежелательные сведения не просачиваются. А если судить по официальным данным, системы принудительного труда в колониях попросту не существует...

Я бывал в Анголе много раз, и мне удалось проникнуть в глубь этой «terra incognita», о которой писал Джон Гантер, потому что, к счастью, я принадлежу к тому роду людей, которые в любое время могут получить визу на въезд. Власти зачастую отказывают в выдаче виз корреспондентам и вообще людям, склонным к проявлению чрезмерной любознательности, например членам Международной организации труда и других органов ООН, но они всегда готовы разрешить въезд представителю «бизнеса». Ведь бизнесмен, чем бы он ни занимался— поставкой хлопка или пальмового масла, строительством дорог или плотин, продажей земельных участков или машинного оборудования, импортированием пепси-колы,— едва ли станет писать о своих впечатлениях, да к тому же впечатления его будут, по всей вероятности, благоприятны, потому что в колониях к его услугам любое количество дешевых рабочих рук.

* * *

Мне пришлось, однако, довольно скоро убедиться в том, что и представитель «бизнеса» должен вести себя в Анголе осмотрительно. Много лет назад после нескольких недель путешествия по стране я приехал в Луанду и остановился в единственной в то время приличной гостинице города. Вечером, обедая с бельгийским промышленником, экспортировавшим свои товары в Анголу и впервые прибывшим сюда, я разговорился о том, что мне пришлось наблюдать во время поездки, и о здешних условиях жизни. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Звонил португалец — владелец фирмы, с которой я был в то время связан.

— Мне нужно немедленно поговорить с вами.

— У вас в конторе?

— Нет, лучше приезжайте ко мне домой.

Я застал своего друга очень взволнованным.

— Послушайте,— сказал он,— у меня только что была полиция. Хорошо, что наша фирма пользуется здесь известным влиянием, иначе вам пришлось бы вылететь первым же самолетом. Вы говорили вчера в общественном месте о вещах, которые здесь не принято обсуждать. Не думайте, что за вами не следят. Всего две недели назад они выслали одного парня в Леопольдвиль только за то, что он был слишком разговорчив.

На прощание он дал мне еще один совет:

— Уходя из номера, не запирайте чемоданов. Если у вас есть какие-нибудь бумаги, которые не предназначаются для взоров полиции, сожгите их.

С тех пор я превратился в пассивного наблюдателя; я старался не задавать лишних вопросов и никогда не высказывал своего мнения. Быть может, поэтому мне удалось прожить так долго в Анголе и потом неоднократно возвращаться туда. Я придерживался правила: заниматься своим делом и не совать нос в то, что меня не касается.

Ошибка Энрике Галвао, возглавившего мятеж и захватившего «Санта Марию» в январе нынешнего года, заключалась в том, что он нарушил это правило. Будучи правительственным инспектором в Анголе и депутатом национального собрания, он представил начальству доклад, в котором обличал систему принудительного труда и продажность администрации. В результате он был приговорен за «государственную измену» к шестнадцати годам тюремного заключения. Немало португальцев, которым было предъявлено такое же обвинение, осуждены и до сих пор томятся в тюрьмах. Как говорит Джеймс Даффи в своей книге «Португальская Африка», недавно выпущенной издательством «Гарвард юниверсити пресс», система принудительного труда является «краеугольным камнем португальской колониальной политики», и протестовать против нее бесполезно.

В настоящее время организацией принудительного труда и соответствующим распределением рабочей силы ведает департамент по делам туземцев в столице Анголы Луанде. Ежегодно туда поступают тысячи заявок на рабочие руки от различных предприятий и частных лиц. По сообщениям Бэзила Дэвидсона, в 1954 году в департаменте было зарегистрировано 379 000 «законтрактованных рабочих», не считая вывезенных на плантации островов Сан-Томе и Принсипи или ввезенных с островов Зеленого Мыса для работы в Анголе. Приняв заявку, департамент передает ее вербовщику, который набирает требуемое число туземцев и отправляет их на место назначения.

Исходя из долголетнего знакомства с португальской бюрократической машиной, я полагаю, что едва ли кому-нибудь известно действительное число ежегодно вербуемых рабочих. Прежде всего, не все рабочие регистрируются в департаменте по делам туземцев. Мелкие землевладельцы и предприниматели жалуются, что департамент отдает предпочтение крупным предприятиям и правительственным учреждениям, и к тому же для того, чтобы получить рабочую силу, приходится пройти через длинную бюрократическую волокиту. Значительно легче получить рабочих непосредственно от начальника поста, уплатив ему за это сравнительно небольшую сумму... Уклоняющийся от вербовки туземец может скрыться, но не может бежать за пределы своего округа, потому что для переезда из одного округа в другой в его «матрикуле», или cederneta, которую каждый мужчина обязан носить при себе, должна стоять «виза» начальника поста. Если же туземец окажет сопротивление, его ждет суровая расправа.

Говорят, что, как правило, туземцы не уклоняются от вербовки. Однако мне приходилось бывать в районах, где побеги довольно часты и начальникам постов, вероятно, приходится нелегко. Как-то раз я ехал в джипе по лесистой северной Анголе. Со мной был шофер португалец и три африканца. Мы никак не могли найти дорогу, которая вела к плантации, и решили обратиться за помощью к кому-нибудь из местных жителей. Впереди виднелся туземный поселок — несколько хижин на лесной полянке. Между хижинами ходили люди, занятые своими повседневными делами. Однако, когда наш джип подъехал и остановился на полянке, вокруг не оказалось ни души, только козы и куры бродили по опустевшей деревушке, да перед одной хижиной сидела дряхлая старуха. Мы чувствовали, что из зарослей за нами наблюдают десятки глаз, но сколько мы ни кричали, никто не появился.

Я спросил у шофера, что все это значит Он рассмеялся.

— Они думают, что вы вербовщик, а туземцы в вашей машине — сипаи. Все белые в шлемах похожи один на другого. Ничего, отсюда недалеко до поселка, где уже была облава.

Через некоторое время мы подъехали к поселку, где люди не прятались.

* * *

Разумеется, португальцы позаботились оградить законами свою систему труда. Они ссылаются на положение конституции, запрещающее применение принудительного труда и предоставляющее туземцам право заключать «свободные договоры». По закону трудовая мобилизация разрешается только для работ, имеющих «общественное значение», и в этих случаях мобилизация проводится правительством через начальников постов. К указанному виду работ относятся работы по строительству и ремонту дорог, не подлежащие оплате. Эти работы выполняются, как правило, женщинами из близлежащих поселков. В отдаленных районах страны нередко можно увидеть группу из 20—30 женщин — среди которых есть и беременные,— занятых на дорожных работах. Для осуществления крупных правительственных проектов обычно вербуются мужчины и подростки. Часто их угоняют за много миль от дома на срок от шести месяцев до года.

Все другие виды труда считаются «свободными» и делятся на две категории: так называемые «вольнонаемные рабочие», или voluntarias, получают работу непосредственно у нанимателя, обычно в том же округе, где они живут, а «законтрактованные рабочие», или contratados, вербуются (согласно закону) на основании свободных договоров, заключаемых через посредство начальника поста, и могут использоваться на работах как в данном округе, так и за его пределами. И voluntarias и contratados должны получать плату за свой труд.

Законодательство запрещает нанимать на работу детей до 14 лет и вывозить женщин из их округа без сопровождения родственников-мужчин. Срок договора также оговаривается законом. В настоящее время он, как правило, не должен превышать года. Предусматриваются и определенные обязательства нанимателя в отношении питания, жилищных условий и медицинского обслуживания contratados. Запрещается продажа рабочим алкогольных напитков.

Однако сами португальцы иногда признают, что все эти законы не что иное, как ширма. Несколько лет назад эксперт по вопросам колоний, португалец д'Алменда Салданха писал: «Бесполезно записывать эти положения (о свободе труда) в конституцию страны или публиковать их в виде указов, потому что иностранцы убеждены, что, хотя наше законодательство безупречно (в действительности оно далеко не всегда таково), чем совершеннее наши законы, тем хуже они выполняются». Дело в том, что всегда существует еще какой-нибудь закон, позволяющий обойти нежелательный запрет. В данном случае это предписание, согласно которому в «матрикуле» каждого африканца должна быть отметка о том, что он проработал не менее шести месяцев за год или находится на работе в настоящее время. Если такая отметка отсутствует — а нередко случается, что проработанное время просто не заносится в «матрикулу»,— африканец подлежит принудительной трудовой мобилизации. В случае неповиновения его ждет тюрьма, телесное наказание или исправительный лагерь в Байа дос Тигрес.

Апологеты этой системы утверждают, что только «облагораживающий» труд поможет африканцу приобщиться к цивилизации и стать со временем достойным «черным гражданином» португальского государства. Эта мысль неоднократно повторяется в ко-

лониальных законах о труде, начиная с указа 1899 года, явившегося образцом для всех последующих законов, и она помогает успокоить совесть тех португальцев, которых начинает тревожить все возрастающее недовольство их колониальной политикой...

Мне приходилось не раз наблюдать, как система принудительного труда способствует просвещению и цивилизации «примитивных африканцев». Я провел как-то несколько дней на большой плантации, хозяин которой, богатый землевладелец, жил в Лиссабоне и приезжал лишь изредка. На плантации работало 2500 contratados, мужчин и подростков, набранных партиями в различных частях колонии. Для безопасности рабочие были расселены в пяти огороженных барачных поселках, отстоящих далеко один от другого. В каждом таком поселке жили 500 рабочих.

В субботу вечером, когда рабочие после работы вернулись в бараки, я обедал с управляющим и его женой на веранде их дома. Примерно в полумиле от нас виднелись костры, зажженные в одном из рабочих поселков. Около девяти часов я услышал какой-то неясный шум, похожий на пчелиное жужжание или отдаленный рокот водопада... Я не мог побороть любопытства и спросил управляющего, что все это означает.

— Вино,— ответил он.— Они пьют уже несколько часов подряд, и вино ударило им в голову. Ничего не поделаешь, этот гам будет теперь продолжаться всю ночь.

И он рассказал мне, что по субботам во все бараки привозят на грузовиках бочки вина, и рабочие могут пить сколько душе угодно.

— Мы закупаем все вино с четырех виноградников в Португалии,— сказал управляющий,— это дает немалую прибыль...

* * *

Подобный метод приобщения туземцев к цивилизации широко принят в колонии, и не удивительно поэтому, что все другие формы просвещения давно забыты. Принцип, провозглашенный в начале века верховным комиссаром в отношении Мозамбика, сохраняет свою силу и в настоящее время. Он состоит в том, что школьное образование объявляется совершенно излишним. «Для просвещения туземцев и приобщения их к цивилизации необходимо развивать их способность к физическому труду и использовать их для эксплуатации богатств страны»...

Я прожил как-то несколько дней в католической миссии, которая была единственным пунктом образования и медицинского обслуживания на сотню миль вокруг. Два священника и три их помощника африканца, окончивших школу при миссии, обучали сорок мальчиков в возрасте от шести до десяти лет. Для туземцев разработан особый «элементарный», или «упрощенный», четырехлетний курс обучения.

«Элементарный» курс, предназначенный для детей туземцев, значительно примитивнее, чем начальный курс, преподаваемый в крупных городах в школах для белых и «ассимилированных» африканцев. В миссии, где мне случалось остановиться, детей обучали основам португальского языка и истории, а также элементам сангигиены. Ни родной язык, ни история и традиции африканского народа не изучались.

Помимо обучения детей священники оказывали в пределах своих возможностей медицинскую помощь населению, но их познания в этой области были очень ограниченны, и запас медикаментов невелик. «В серьезных случаях у нас в округе принято обращаться к знахарям»,— сказал мне старший священник.

Африканский мальчик, даже если ему удается закончить «элементарный» курс обучения — а оканчивает этот курс всего 4 процента,— как правило, не может продолжить свое образование. На его пути слишком много препятствий. Прежде всего для этого нужно уехать из своего округа туда, где есть начальная школа, то есть в большой город. Если в школе окажется свободное место и мальчик достаточно хорошо владеет португальским языком и сдаст вступительные экзамены, он может поступить в третий класс пятилетней начальной школы. Однако за обучение надо платить, не говоря уже о том, что приходится жить в чужом городе, вдали от семьи, что тоже требует дополнительных расходов. Между тем вольнонаемный рабочий получает в среднем, если даже не учитывать налоги, не более 30 центов в день — далеко не достаточно для того, чтобы послать ребенка учиться. Если все же кому-нибудь из туземцев и удается окончить начальную школу, то для того чтобы поступить в среднюю школу или лицей, он должен в общей сложности пройти семилетний курс обучения к 14 годам. Учитывая все это, не удивительно, что, как отметил Кришна Менон в своем выступлении в Организации Объединенных Наций в ноябре прошлого года, по имеющимся данным, в 1950 году в начальных школах Анголы обучалось всего 737 африканцев, а число туземцев, обучающихся в высших школах, ничтожно. Лишь очень немногим африканцам удается, преодолев все барьеры, поступить в университет в Португалии, но по окончании университета некоторых из них не впускают обратно в колонию — власти не любят образованных туземцев, в которых видят потенциальных врагов.

О медицинском обслуживании в Анголе я почти ничего не могу сказать, потому что во время моих поездок по стране я нигде не встречал ни больниц, ни каких-либо других медицинских учреждений, за исключением нескольких пунктов медицинской помощи на больших плантациях и в миссиях. В одном отдаленном поселке я видел молодую женщину, распростертую на земле у входа в хижину; она едва могла пошевелиться и, видимо, очень страдала. Мой

спутник, португалец, не обратил на нее никакого внимания, а на мой осторожный вопрос ответил, что ближайший медицинский пункт находится на расстоянии сотни миль. Мы в первый раз увидели больную женщину рано утром, когда приехали; несколько позднее мы преспокойно завтракали неподалеку от нее, а когда уезжали около шести часов вечера, она лежала все на том же месте. Мне говорили, что на каждые 80 тысяч населения приходится один врач и что по данным Международной организации здравоохранения детская смертность составляет здесь более 40 процентов, хотя точные цифры получить невозможно.

* * *

Один колониальный писатель в 1903 году писал об Анголе: «Для португальских колонизаторов туземец — это вьючное животное, сельскохозяйственная машина; он лишен каких бы то ни было прав и привилегий». Высказывание это справедливо и ныне. Даже в Бельгийском Конго мне не приходилось видеть такого жестокого обращения с туземцами. Однажды, путешествуя по Замбези, я ехал в пикапе с несколькими португальцами. Шел дождь, и пятеро африканцев, сидевших сзади, промокли насквозь и дрожали от холода. Когда мы подъехали к дому начальника поста, было уже темно. Мы знали, что можем рассчитывать на гостеприимство администрации. После дня пути приятно было выпить стакан бренди и сесть за ужин, наскоро приготовленный для нас слугами. Но я все время думал об оставшихся под дождем pretos. Как быть с ними? Мои спутники небрежно отмахнулись. «Они могут спрятаться от дождя под машиной». Когда мы вышли из дома, они действительно лежали под пикапом, в грязи, голодные и замерзшие. А ведь нам предстояло ехать еще пять часов.

Мне вспоминается также сцена, которую я наблюдал в вестибюле небольшой гостиницы на побережье. Недалеко от меня стояла маленькая девочка негритянка, лет шести, и качала коляску, в которой спал белый младенец. Рядом играла с куклой юная хозяйка негритянки — восьмилетняя девочка. Я о чем-то спросил маленькую негритянку, и она, обернувшись ко мне, на мгновение перестала качать коляску. Тотчас же белая девочка подскочила к ней, изо всех сил ударила ее по лицу. Негритянка молча возобновила свое занятие...

* * *

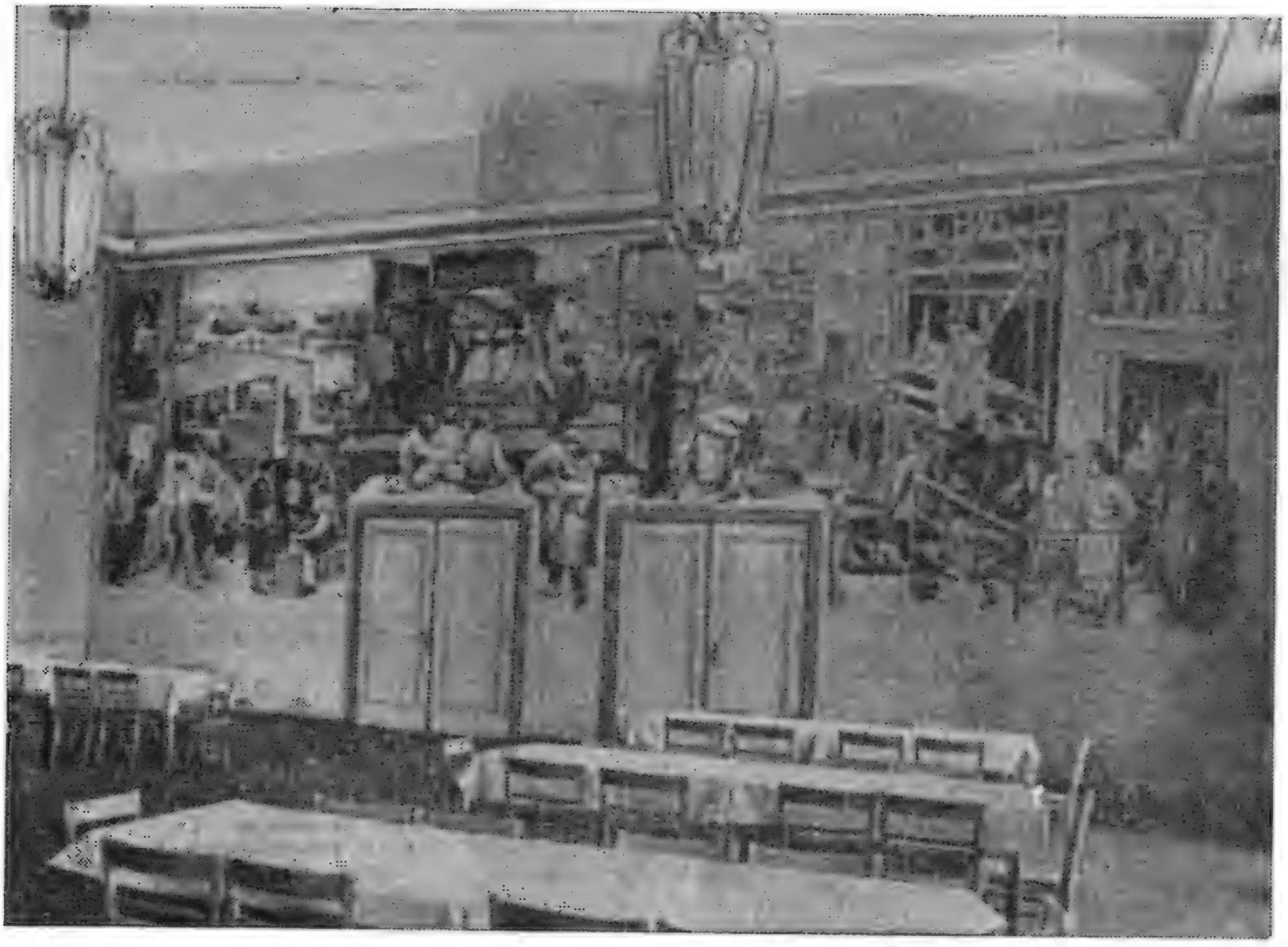
На туземцев португальских колоний наложили неизгладимый отпечаток вековое рабство и принудительный труд; они привыкли к тому, что их национальные традиции и обычаи попираются, что за непокорность или сопротивление их ждет немедленная расправа. Если человек не чувствует себя в безопасности в собственном доме, он не может найти убежища нигде. Стоит только побывать в senzala — туземном квартале в Луанде, где 120 000 человек живут в грязи и нищете, или посмотреть, как рано утром на улицах Луанды туземцы роются в отбросах, чтобы понять, до какого уровня может опуститься народ, у которого вырвана почва из-под ног.

Мне всегда тяжело видеть ребенка, который не умеет улыбаться. Не так давно я нанял на один день восьмилетнего мальчика помочь мне в какой-то работе. Этот мальчик в числе других двадцати детей в возрасте моложе десяти лет работал в партии туземцев, рывшей канавы. Это были так называемые voluntarios, или вольнонаемные. Они работали восемь часов в день и получали один цент за час.

Весь день, пока мальчик работал у меня, я изо всех сил старался заставить его улыбнуться, но мне это так и не удалось: не помогли ни ласка, ни шутки, ни подаренные ему десять эскудо (его трехдневный заработок). Когда на следующий день я проходил мимо него, он продолжал копать, даже не подав виду, что узнал меня.

Часто меня спрашивают, можно ли надеяться, что народ Анголы когда-нибудь сбросит колониальное иго. До сих пор я всегда отвечал на это, что мне трудно представить себе, как может народ, разобщенный в результате жестоких полицейских преследований, постоянной слежки и неусыпного надзора со стороны вооруженных сипаев, народ, лишенный интеллигенции, которая возглавила бы его борьбу, сплотиться для организованного восстания. Однако, как известно, в последнее время поступают сведения о волнениях в Анголе и других португальских колониях, о возникновении там революционных партий, таких, как Союз народа, и это весьма знаменательно...

Руководители вновь образовавшихся государств — Гвинеи, Ганы, Бирмы, Индии и других — хорошо знают, что такое колониализм, и им известно также, что в португальских владениях он принимает свои крайние формы. Они убеждены, что в обмен на военную базу на Азорских островах мы согласились пренебречь судьбой миллионов туземцев и поддержать Салазара, который называет резолюцию Объединенных Наций, осуждающую португальскую колониальную политику, «вмешательством со стороны третьих лиц во внутренние дела Португалии». Как говорит Аллен Даллес, в ближайшее десятилетие должен решиться исход борьбы между коммунистическими странами и нами за влияние в бывших колониях. В таком случае нам предстоит сделать выбор между угрозой потерять поддержку одного западноевропейского авторитарного государства и опасностью восстановить против себя полмира.



Общий вид зала и фрески.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Людвиг Ренн

ЗАКАЗЧИК — РАБОЧИЙ КЛАСС

(Фреска Вольфганга Франкенштейна)

Когда Гитлер пришел к власти, пятнадцатилетний Вольфганг Франкенштейн учился в гимназии. Уже в то время он увлекался рисованием. В последующие годы будущий художник посещал вечернее отделение школы прикладного искусства по классу рисунка. Там требовалось реалистичное изображение натуры с некоторым упрощением формы.

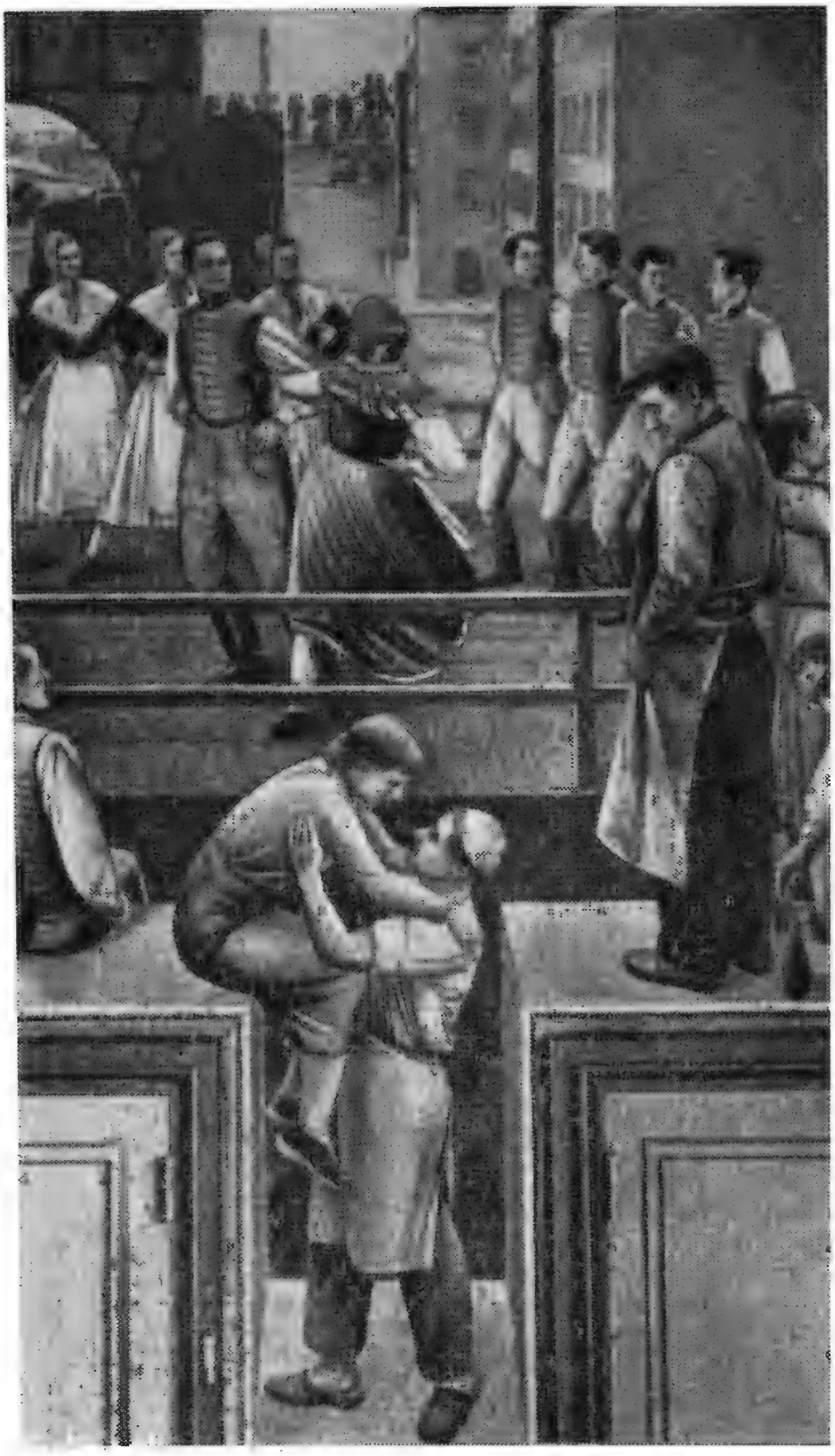
Его жизнь не отличалась от жизни любого юноши из небогатой городской семьи. После окончания школы он зарабатывал тем, что рисовал плакаты и образцы этикеток. Уже в те годы он подвергался оскорблениям за свое полуеврейское происхождение, что еще больше укрепляло его сочувствие ко всем угнетенным. (Правда, тогда он руководствовался скорее чувством, нежели разумом.)

На одной из выставок Франкенштейн сделал для себя ошеломляющее открытие: темой произведений большинства художников-импрессионистов был протест против войны, несправедливости и капиталистической нищеты, унижающих человеческое достоинство.

Но ни у одного из этих художников Франкенштейн не нашел ответа на вопрос, что нужно было делать в условиях гитлеровской Германии. Поэтому он перенимал только новые формы и постепенно пришел к абстрактному искусству. Но так как он был честен, то сознавал, что его новые картины ничего не говорят большинству зрителей.

Четыре года войны художник прожил как в аду. Он был мобилизован, попал в лапы гестапо и перенес там жестокие физические и моральные мучения, от которых его избавил лишь разгром гитлеровской Германии в 1945 году.

Теперь для него начался период успехов. Его картины — в большинстве своем все еще абстрактные — экспонировались на многих выставках Западной Германии и за границей. Франкенштейн стал художественным руководителем одной



Средняя часть фрески.

из самых значительных галерей «современного искусства» в Западном Берлине, членом ведущих выставочных групп «Ринг» и «Новая группа», членом правления Союза художников. В 1949 году при его участии было открыто сюрреалистическое кабаре. Чего он мог еще желать в свои тридцать лет? И все же он был неудовлетворен — что-то было не так.

В 1949 году художник впервые познакомился с произведениями марксизма. Они помогли ему яснее определить свое мировоззрение и свои взгляды на искусство.

В 1951 году, еще живя в Западном Берлине, Франкенштейн вместе с Герхардом Моллем получил заказ разрисовать зал женской школы-интерната в Хессенвинкеле (демократический сектор).

Работа над этой фреской означала решительный поворот к реализму. Правда, в ней еще были недостатки, которые он стремился преодолеть... В 1952 году Франкенштейн поступил в Немецкую академию искусств.

В 1953 году он совершил поездку в Италию, классическую страну европейской стенной живописи, и в том же году переселился в Восточный Берлин. С этого времени он преимущественно занимается так называемым монументально-декоративным искусством — стенной керамикой, мозаикой и фресковой живописью.

* * *

...На деревообделочном заводе в Хоэншёнхаузене (Восточный Берлин) решили заказать фреску. Деньги на это имелись, так как в нашей республике по закону один процент капитала, вкладываемого в строительство, расходуется на художественное оформление. Народное предприятие обратилось в Союз художников, и вскоре Вольфганг Франкенштейн приехал осмотреть помещение.

Он нерешительно прохаживался по залу, оглядывая стены. Одна из них, расположенная против входа, будто специально была предназначена для фрески, но денег для такой большой картины явно не хватало. Работы здесь было года на полтора. Не желая отказываться от интересного дела, художник, не раздумывая, заявил администрации завода, что берется разрисовать стену, не требуя денег сверх сметы. Руководители завода пожелали сначала ознакомиться с эскизами. Франкенштейн попросил организовать для него встречу с работниками предприятия, чтобы узнать их пожелания. Эту встречу устроил профсоюзный комитет, который вместе с партийным бюро завода вообще немало помог художнику в дальнейшей работе над фреской.

Однако первая беседа не оправдала надежд Франкенштейна. На собрание пришли немногие, да и те не имели ясного представления о будущей картине...

Тогда Франкенштейн тут же сделал несколько набросков на производственные темы. Но большинству собравшихся они не понравились: не хватало еще, чтобы и в столовой они смотрели на то, чем занимаются весь день...

...Франкенштейн опять взялся за наброски. Может быть, изобразить отдых ра-

бочих на фоне ландшафта, который многие из присутствовавших непременно хотели видеть на фреске? Могла получиться очень веселая картина. Или все-таки взять производственные сцены? Он представил себе весь процесс обработки древесины, начиная от валки деревьев в лесу и кончая выпуском готовой продукции.

Это предложение пришлось больше по вкусу, и кто-то сказал:

— Ведь мы поставляем двери и оконные рамы для строек на Сталиналлее. Пусть впереди будет наш рабочий, а на заднем плане — Сталиналлее.

— Ох, этот длиннющий ряд домов! — высказал сомнение другой.

— А как ты покажешь, что там в окнах наши рамы? Уж лучше сделать Доску почета с фамилиями передовиков.

— Во всю стену? — рассмеялся Франкенштейн.— Остается только пририсовать дубовые листья, и получится настоящий памятник на братской могиле.

Но, как ни удивительно, именно это предложение, показавшееся вначале абсурдным, натолкнуло художника на мысль, которая не приходила раньше в голову собравшимся. Нужно действительно показать самых лучших и уважаемых работников завода, только, конечно, не писать на стене фамилии, а нарисовать их самих во время работы.

После того как были сделаны черно-белые и цветные эскизы, настало время изготовить так называемый «картон». Картон состоит из большого количества листов, которые, будучи приложены один к другому, покрывают всю поверхность стены, разделенной на соответствующие квадраты. Это необходимо потому, что на самой стене уже ничего нельзя исправить, не соскоблив слой штукатурки, тогда как отдельные листы картона легко заменить.

...Наконец картон был сделан. На его изготовление Франкенштейн потратил шесть месяцев. Уже целый год он работал над фреской, и у него вышли все деньги. Что делать? Он обратился в берлинский культфонд, но безрезультатно. Расстроенный художник решил посоветоваться с работниками предприятия. За этот год их отношение к нему в корне изменилось — он стал своим человеком на заводе. В культфонд написали письмо, под которым поставили свои подписи более ста рабочих и служащих завода.

В результате касса культфонда открылась, а через некоторое время еще и отдел искусств магистрата Большого Берлина наградил художника премией. Франкенштейн по-своему отблагодарил за это, обязавшись без вознаграждения разрисовать оба смежных простенка.

...Вкратце познакомившись с историей появления фрески на деревообделочном заводе, посмотрим теперь, что она собой представляет — ее композицию, соотношение групп, светлых и темных пятен.

При создании большой фрески перед художником встает нелегкая задача: он должен так построить композицию, чтобы картина производила цельное впечатление, и вместе с тем — чтобы в ней как-то разграничивались сцены. На потолке Сикстинской капеллы в Риме, где находится самая знаменитая фреска эпохи Возрождения, имелись различные архитектурные

Фрагмент фрески: солисты танцевальной группы.

детали, делившие всю поверхность на участки. Микеланджело приходилось считаться с ними, но в то же время они помогли ему отделить церковные сцены от светских...

В зале деревообделочного завода в распоряжении художника находилась большая стена с двумя дверными проемами.

В отличие от простой картины, которую можно повесить в любом месте, стенная живопись неотделима от архитектуры. Однако строители редко думают о том, что на стенах зала могут когда-нибудь появиться фрески. Когда Франкенштейн приехал на завод, помещение уже было отстроено, и в общей композиции следовало принимать в расчет двери, симметрично расположенные почти посередине стены.

Каковы были замыслы художника? Разрисовывать стену от пола до потолка нельзя, так как внизу фреску могут легко повредить при уборке; кроме того, нижняя часть будет плохо видна из-за стоящих в зале столов и стульев, а во время танцев ее будут заслонять танцующие. Поэтому художник решил поднять нижний край фрески на полтора метра от пола. Полутораметровую полосу он раскрасил под каменную стену в нейтральном, одноцветном тоне.

Фрагмент фрески: друзья.

Нижняя часть фрески представляет собой как бы возвышение, на котором расположены фигуры переднего плана. С боков эта сцена, словно кулисами, ограничена стенами зданий, а посередине прерывается дверными проемами.

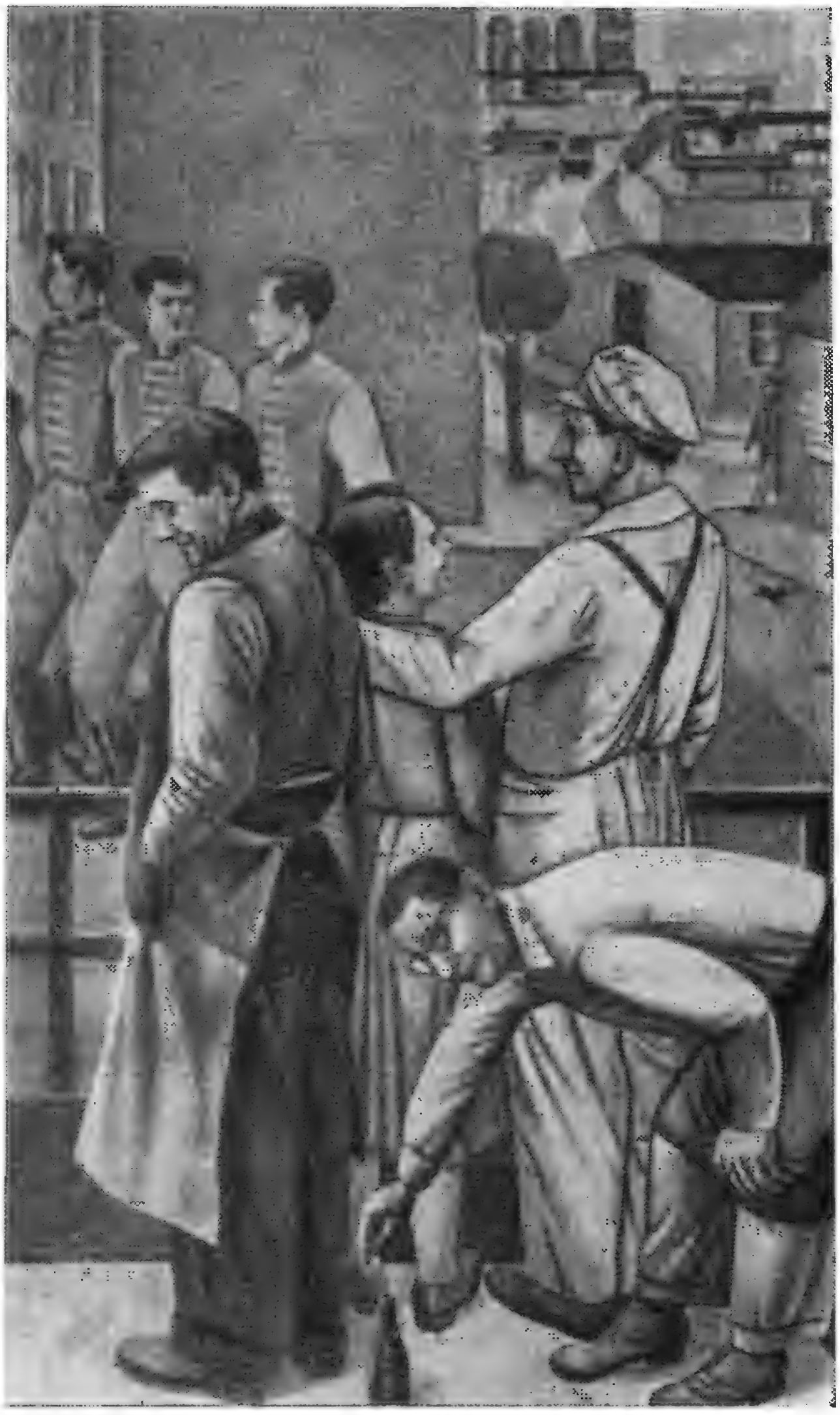
Над дверями Франкенштейн нарисовал две небольшие площадки, на которых церковный художник, вероятно, поместил бы святых. Когда какие-нибудь фигуры в центре переднего плана расположены значительно выше других, создается впечатление их превосходства по отношению к боковым. Но это не соответствовало бы принципу равноправия трудящихся в нашем обществе, и поэтому художник использовал обе площадки для изображения простых бытовых сценок.

Теперь между дверьми оказалось пустое пространство. Чем его заполнить? Поскольку речь идет о заводском празднике, можно было бы поставить большую вазу с букетом. Но это слишком резко подчеркнуло бы центр, и картина распалась бы на две части. Франкенштейн разрешил это затруднение опять-таки с помощью непринужденной и умышленно ассимметричной сценки, объединившей обе половины фрески. Эти живые сценки в центре переднего плана как бы компенсируют некоторую неестественность поз танцоров, изображенных выше. Чтобы еще больше разрядить напряжение в центре, Франкенштейн сдвинул подмостки с танцевальной группой несколько влево и в глубину.

Так возникли (как и на многих полотнах Альбрехта Дюрера) три плана фрески: передний, средний и задний. Внутри этих планов фигуры и предметы располагаются почти в одной плоскости.

Теперь посмотрим на фреску, как на плоскость, отвлекаясь от перспективы. Мы увидим, что художник удачно решил одну из самых трудных проблем стенной живописи. Вспомним, что высота стены в зале обычно в несколько раз превышает человеческий рост. Если на ней нарисовать обыкновенный пейзаж,

Фрагмент фрески: каждый занят своим.



то он будет выглядеть как очень узкая (в сравнении с высотой стены) полоска лугов, деревьев, домов, а над ними высокое пустое небо, оживить которое можно лишь облаками. По этой причине художники, рисующие фрески-ландшафты, отдают предпочтение таким пейзажам, где на переднем плане возвышается какой-нибудь замок или церковь. Некоторые художники XVII—XVIII вв., чтобы оживить верхнюю часть картины, изображали на небе святых. Другие увеличивали размеры человеческих фигур, что, однако, всегда создает у зрителей неприятное впечатление. Глядя, например, на гигантские женские фигуры в Ватикане, зритель не может отделаться от чувства, что они вот-вот свалятся ему на голову. Третьи пытались выйти из положения, рисуя одну сцену над другой, что часто совершеино запутывало всю картину. Франкенштейн тоже помещает одну сцену над другой, но как он это делает? Посмотрите, как непринужденно он поднял над передним планом сцену танца, а по краям изобразил столяров, вставляющих окоиную раму, рабочих на лесах и детей на балконе! Несмотря на художественную условность, это выглядит естественно, и все фигуры связаны между собой. В декоративно-композиционном решении Франкенштейн показал себя большим мастером.

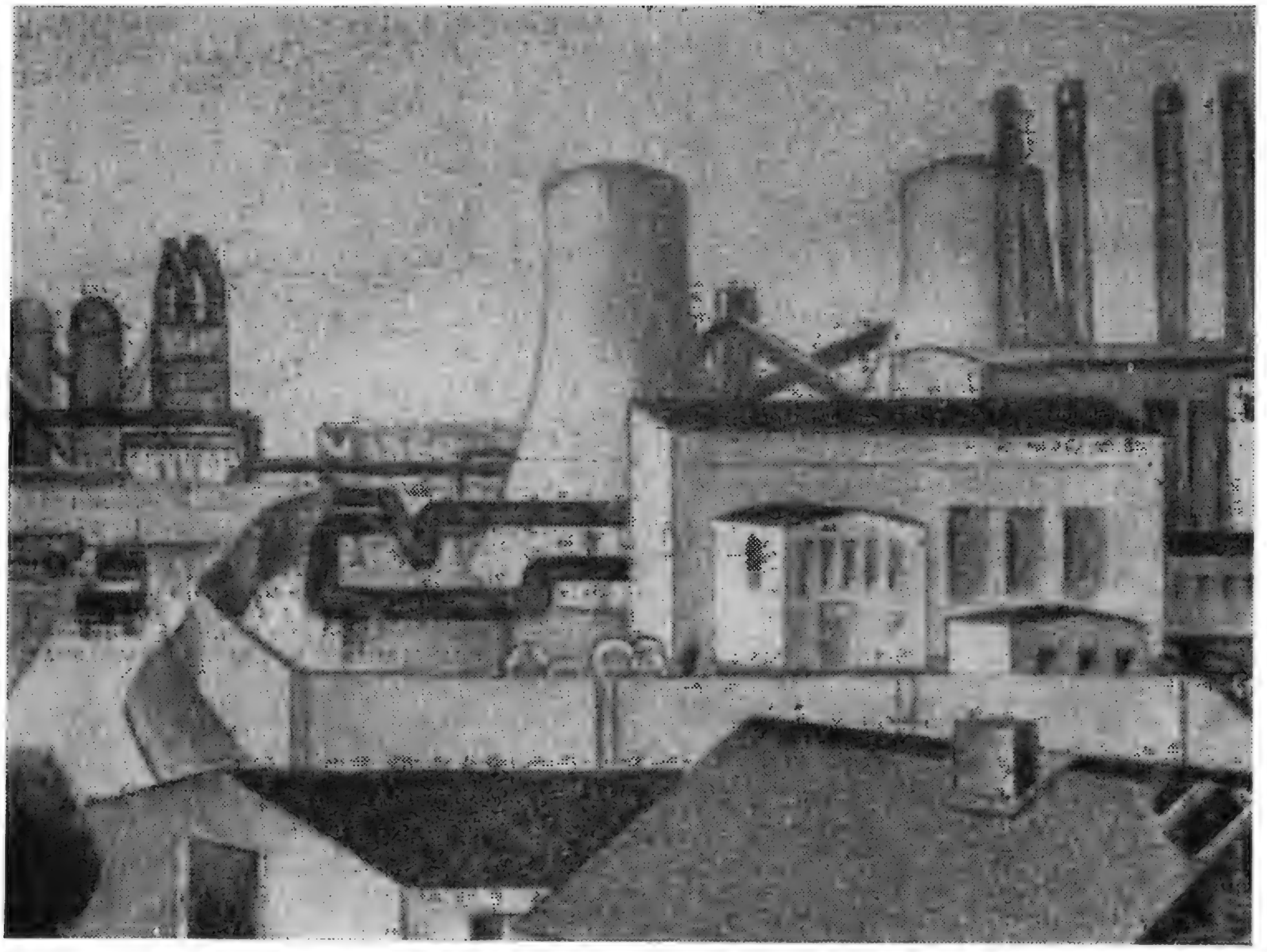
Следует обратить внимание еще на одну особенность фрески. Все фигуры переднего плана приблизительно одинаковой величины и достигают половины высоты фрески, только над дверьми они несколько выше. Двери делят картину на три части и одновременно как бы образуют центральную дугу по которой располагаются передние группы. Отвлекая внимание от центра, художник направляет взгляд зрителя в стороны и вверх, к фигурам в окне и на балконе. Придерживаясь этой композиции, Франкенштейн сумел с помощью темных и ярких пятен избежать чересчур торжественной симметрии. Это сознательное стремление к ассимметрии проявилось уже в сдвиге танцевальной площадки влево от центра. Для того чтобы уравновесить сдвинутые подмостки, художник изобразил людей над правой дверью не сидящими, а стоящими...

Один из важнейших критериев ценности картины — то, насколько ярко и продолжительно впечатление, которое она производит на зрителя.

Нельзя понять большое искусство, не затратив определенных усилий. Но искусство вознаградит за это, ибо оно волнует,— и это воздействие тем более длительно, чем значительнее произведение. Вот вы смотрите на творения так называемого абстрактного искусства. Не успели вы перейти от одной картины к другой, как уже забыли первую. Это — конец искусства. Когда же я впервые вошел в зал с фреской Франкенштейна, эта картина, с которой я был знаком лишь по несовершенной цветной репродукции, по-настоящему взволновала меня. Я прекрасно запомнил и всю фреску в целом и каждый образ в отдельности. Завод в Хоэншёнхаузене может гордиться тем, что обладает замечательным художественным произведением, которое надолго остается в памяти у зрителя...

Фрагмент фрески: ансамбль народного танца.

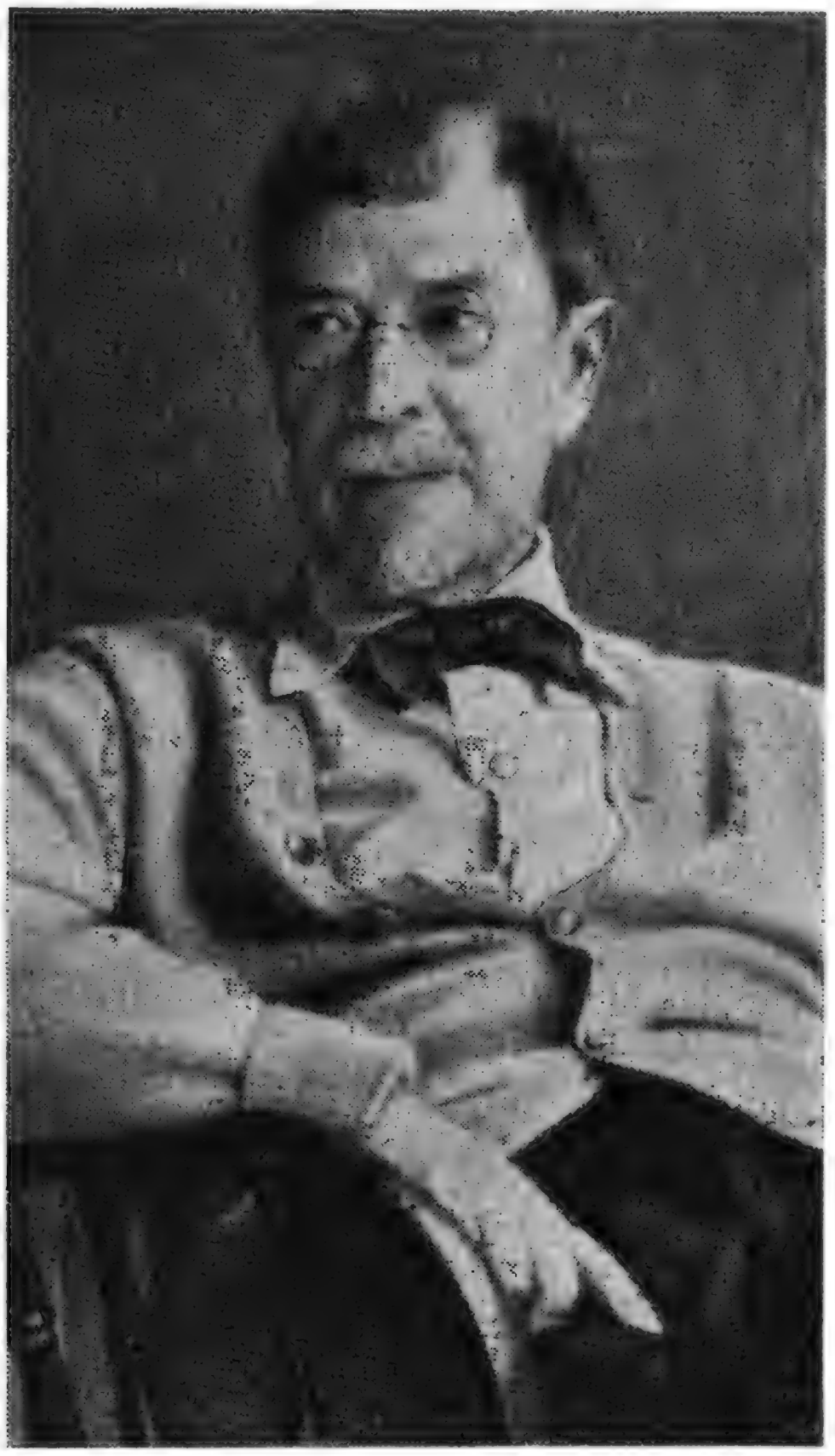
Фрагмент фрески: индустриальный пейзаж (задний план).



Р. Орлова

ИСКАТЕЛЬ ПРАВДЫ

(К 25-летию со дня смерти Линкольна Стеффенса)



25 лет назад умер один из замечательных американцев — публицист и общественный деятель Линкольн Стеффенс. Этот человек не совершал военных подвигов, не сражался на баррикадах, не восходил на неприступные горы. И тем не менее он был настоящим героем. Он писал в своей «Автобиографии» * о том, «сколько героизма требуется, чтобы сражаться в Америке за американские идеалы». Его собственная жизнь — лучшее подтверждение этих слов.

По рождению и воспитанию принадлежащий к правящему классу, «человек Уолл-стрита», как он сам себя называл, убежденный в начале жизненного пути в том, что существующий капиталистический строй незыблем, он пришел потом к выводу, что «только революция может изменить систему», стал на позиции коммунизма, понял суть русской революции, когда она еще только свершалась.

Литературная деятельность писателя-публициста Стеффенса неразрывно связана с газетой, с текущей политической жизнью и вместе с тем обобщает важнейшие явления действительности. Его документальная проза по-настоящему художественна.

Можно без преувеличения сказать, что революционная публицистика родилась вместе с Соединенными Штатами Америки. На бивуаках и у костров повстанческой армии создавались первые очерки-памфлеты великого просветителя Томаса Пейна. Статьи и речи Джефферсона, боевые выступления аболиционистов и Авраама Линкольна, публицистические книги Уильяма Дюбуа, произведения Билла Хейвуда, «Страницы из жизни рабочего» старейшего деятеля коммунистического движения США Уильяма Фостера, наконец «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида — вот далеко не полный список произведений, характеризующих и основные этапы истории Америки — истории прогрессивного движения прежде всего и вместе с тем этапы создания нового жанра.

Без публицистики нельзя представить себе и американской литературы, достаточно назвать хотя бы документальные книги Марка Твена, Джека Лондона и Теодора Драйзера.

---

* Отрывки из «Автобиографии» опубликованы в СССР в 1949 году под названием «Разгребатель грязи».

Художественно-документальные произведения Линкольна Стеффенса, продолжая эту славную традицию, стали вместе с тем своего рода образцом, нормой уже для двух поколений прогрессивных литераторов Америки.

Жанр художественной публицистики по самой своей природе особенно непосредственно связан с общественной деятельностью. Не случайно создатели этого жанра — не только литературно одаренные люди, но и борцы передовой линии.

Таким литератором-борцом был и Линкольн Стеффенс.

Художник Рокуэлл Кент сказал о Стеффенсе, что тот всю жизнь искал правду. Это верно. Однако Стеффенс отличался от большинства интеллигентов своего поколения (да и не только от них): понимая необходимость нравственного усовершенствования для людей, он вместе с тем ощущал и недостаточность решения одних только этических проблем. Он был человеком общественного склада, его поиски носили гражданский характер, ему нужно было найти социальные решения для огромной страны в тот поворотный момент ее истории, когда Америка становилась мощной индустриальной державой.

Книги Стеффенса, в которых запечатлены его поиски, с точки зрения современных ему и нам блюстителей официального патриотизма — дайсов, гуверов, алленов даллесов,— антиамериканские, ибо эти книги критические, остро разоблачительные. В действительности же это произведения по-настоящему патриотические, исполненные взыскующей и тоскующей любви к своей родине.

Линкольн Стеффенс родился в 1866 году в семье состоятельного бизнесмена, владевшего небольшим поместьем в штате Калифорния. Мальчику было 9 лет, когда появилась книга Твена «Приключения Тома Сойера». Детство, описанное в «Автобиографии» Стеффенса (1931), очень близко к твеновской стране безмятежного детства.

Маленькому Ленни подарили пони, и он превратился для себя самого и для всех окружающих в «мальчика на лошади» *, мальчика, живущего в романтическом, книжном мире. Все свое детство он провел в поисках удивительных приключений, провел почти вне влияния взрослых, вне реальных связей буржуазной семьи, в том мире воображения, который детское сознание создавало по законам добра и красоты.

Этот добрый и наивный «мальчик на лошади» сохранился и в многоопытном журналисте, человеке, видавшем и испытавшем немало горя. Стеффенс сталкивался с изнанкой жизни, видел грязь, подлость, преступления и судил эпоху с позиций наивного ребенка, с позиций «естественного человека».

Стеффенс прожил насыщенную событиями и впечатлениями жизнь. Он долго не мог найти себя, метался от искусства к социологии, учился в трех университетах, в военной школе; наконец почувствовал, что подлинное его призвание — журналистика.

Начало самостоятельной общественной и литературной деятельности Стеффенса связано с движением «разгребателей грязи» — так президент США Теодор Рузвельт окрестил журналистов, выступавших в США в начале XX века. Одним из наиболее деятельных среди них был Стеффенс. «Разгребатели грязи» открыли и предали гласности немало скандальных фактов коррупции, взяточничества, шантажа, рассказали о бесчестных махинациях, создавших богатства королям стали и угля, нефти и железных дорог. К движению «разгребателей грязи» одно время примыкал и Эптон Синклер; именно в этот период он написал роман «Джунгли», в котором показал, что представляют собой чикагские бойни.

«Разгребанием грязи» Стеффенс начал заниматься, будучи полицейским репортером газеты Уолл-стрита «Коммершиэл адвертайзер». Там ему впервые открылись связи между преступным миром и миром большого бизнеса, и он разоблачил эти связи.

Затем Стеффенс перешел в журнал «Мак Клюрс мэгэзин», который стал своеобразным центром движения. Кроме Стеффенса в этом журнале сотрудничали Ида Тарбелл, опубликовавшая серию смелых статей, разоблачавших закулисные махинации властелинов могущественной нефтяной компании «Стандарт Ойл»; Рей Стэннард Бейкер, вскрывший хищничество на железных дорогах, и многие другие.

Стеффенс, как корреспондент журнала «Мак Клюрс мэгэзин», объезжает город за городом, и картины, одна другой отвратительней, открываются его внимательному взгляду. Сент-Луис, Питтсбург, Филадельфия, Чикаго, Нью-Йорк... В каждом городе — свои особенности, каждый обогащал картину чем-то новым; и вместе с тем в каждом находил Стеффенс небольшую группу людей, в чьих руках деньги и власть. Они, эти люди, держат в руках весь город, беззастенчиво обогащаются, разворовывают казну, и все это прикрывается речами об «американских идеалах».

«Позор городов» (1904) — так называл молодой журналист свою книгу. Напечатанные сначала в журнале «Мак Клюрс мэгэзин» статьи, составившие этот сборник, были журналистской сенсацией тех дней.

Сами «разгребатели грязи» были твердо убеждены в том, что вскрываемые ими преступления — это частные, отдельные факты, отдельные недостатки, проистекающие только от «плохих людей». Вся система, буржуазный общественный строй ни на миг не подвергались сомнению.

На тех же позициях стояли и те борцы за реформы, воители против лжи и подкупа, которых Стеффенс встречал в каждом

---

* Эта часть «Автобиографии» — «Мальчик на лошади» — известна советским читателям полностью.

городе. Единомышленники Стеффенса почти не располагали силой. Сила и власть были против них. Но Стеффенс и другие обладали глубоким сознанием своей правоты, убеждением в том, что происходящее противоречит тому, чему учат в американской школе и в университете, противоречит американской конституции, противоречит тем великим традициям, которыми гордится Америка. Они очень ясно представляли себе, как быть не должно, хорошо знали своих врагов, врагов американского народа. Но положительной программы у них, как правило, не было.

Деятельность, которой Стеффенс посвятил долгие годы жизни и о которой он впоследствии рассказал, требовала прежде всего большого мужества. Сторонников реформ запугивали, их обливали грязью, называли, как и в наши дни, «антиамериканцами» и «антипатриотами». Стеффенс рассказывает, например, историю Бена Линдсея, судьи в Денвере. Линдсей заинтересовался проблемами детской преступности. Он понял, что задача состоит не в том, чтобы осудить малолетних воров и бандитов, а в том, чтобы изучить причины детской преступности и, открыв их,— уничтожить. И здесь реформатор-судья пришел в столкновение с интересами большого бизнеса. Ему не дали возможности бороться против причин преступности.

Опыт этого движения в США и мысли Стеффенса, с ним связанные, приобретают в наши дни новое значение.

Стеффенс долго разделял господствующие представления своего времени: во всяком зле *кто-то* виноват. Если в городе царят коррупция, взяточничество, подкуп — значит, в городе хозяйничают плохие люди. И отсюда вполне естественный вывод: чтобы безобразия прекратились, надо плохих людей сместить, наказать, а на их место поставить других, хороших.

Однако эти представления оказываются ложными. Многочисленные опыты, которые проводят Стеффенс и его единомышленники, опыт, который независимо от их воли осуществляется в разных городах Америки— а они внимательно наблюдают за этим опытом,— свидетельствуют: когда плохих людей заменяют хорошими, они почему-то очень быстро становятся плохими. Стеффенс видел, как сменили всю полицию города Нью-Йорка, но положение дел почти не изменилось.

Под воздействием множества фактов он начинает пересматривать сложившиеся представления, начинает приходить к выводу о том, что в «позоре городов» виноват не «кто-то», а «что-то», не люди, а явления, система. Он приходит к выводу о том, что «имя дьявола — большой бизнес».

Мелкобуржуазная оппозиция во всех странах, в том числе и в США, ненавидела и проклинала империализм, разоблачала и предавала анафеме многочисленные его преступления. Тем не менее В. И. Ленин справедливо называл эту оппозицию экономически реакционной, ибо ее смысл сводился к тому, чтобы идти от империализма назад.

На этой позиции стояли и стоят сегодня многие буржуазные писатели, критические реалисты XX века.

Стеффенс в своих размышлениях и выводах пошел по иному пути. Он понял, что возникновение, развитие и господство банков и трестов есть процесс, при этом процесс объективный и исторически закономерный.

Стеффенс порывает с «разгребателями грязи» (вскоре и само движение распалось), ищет иных путей общественного прогресса. Решающим для этого поворота был его последний опыт реформаторства — поездка в Бостон. Он приехал туда с убеждением, что для успеха реформ необходима общая цель, которая может увлечь многих людей. Обличения зла недостаточно, необходима еще и положительная программа — то, что все время тщетно искали Стеффенс, его друзья и единомышленники. Он предложил в Бостоне выработать план развития города на семь лет (любопытно отметить, что, рассказывая об этом в «Автобиографии», Стеффенс с большой симпатией говорит о нашей первой пятилетке).

Однако вся эта затея провалилась, никто всерьез и не собирался проводить в жизнь «утопии» — так называли планы молодого реформатора. Именно в Бостоне, в колыбели американской революции, в цитадели американизма, Стеффенс убедился в лицемерии буржуазной демократии; убедился и в том, что ее достоинства и недостатки проистекают из одного источника. Капитализм, рождающий монополии, в чем-то очень существенном связан и с американской конституцией и с другими документами американской революции. Эту сложную диалектику не могли усвоить, не могли принять современники Стеффенса. Он размышляет: «По мере того как пуритане переходили от сельскохозяйственной общины к промышленному обществу, они стали удерживать свои убеждения в одной части мозга — в той части, которая не знала и не должна была знать, что делает другая. Они полагали, что могли насаждать коррупцию в своем демократическом аграрном правительстве для нужд бизнеса и все же оставаться честными людьми и демократами... Они могли верить в облагораживающее воздействие, в дисциплину труда и тем не менее оправдывать накопление богатств, чтобы уберечь своих собственных детей от воздействия труда. Они могли отстаивать свободу слова, свободу печати и т. д. и тиранически подавлять агитаторов и подкупать или бойкотировать газеты, которые были очагами недовольства. Бостон довел лицемерие до высшей степени утонченности, милосердия и провала».

После разрыва с «разгребателями грязи» Стеффенс оказался на распутье. Он поехал

в Европу. В это время полным ходом шла подготовка к войне.

Сопоставляя факты, причины и следствия, Стеффенс начинает понимать, что одного лишь эмоционального протеста против войны недостаточно, ибо подготовка войны закономерна при данных правительствах, при данной политической обстановке.

Позже, вспоминая о Парижской мирной конференции, на которой он присутствовал, Стеффенс приводит следующий характерный эпизод, в котором пропасть между словами и делами буржуазных политиков той поры выразилась очень ясно: Клемансо спросил Ллойд-Джорджа и Вильсона, действительно ли они желают длительного мира и полного устранения причин войны. Они, разумеется, ответили утвердительно. «Знаете ли вы цену такого мира? — спросил трезвый Клемансо. И ответил:— Так вот, если мы в будущем не хотим войны, если мы желаем предотвратить войну, мы должны оставить все мысли и надежды, связанные с империей. Вы, господин Ллойд-Джордж, вы, англичане, должны будете уйти из Индии; мы, французы, должны будем уйти из Северной Африки; вы, американцы, господин президент, должны будете уйти из Филиппин и Пуэрто-Рико, оставить в покое Кубу и Мексику. Мы, разумеется, сможем ездить в эти и другие страны, но как туристы, торговцы, путешественники; мы больше не сможем ни править ими, ни эксплуатировать их, ни устраивать всякие трюки. Мы уже не сможем владеть всеми ключами, сферами влияния. Мы должны будем снять все тарифные ограничения и открыть свободную торговлю и свободное передвижение. Такова цена постоянного мира, и я назвал еще не все жертвы, на которые мы, господствующие державы, вынуждены будем пойти. Мир — это очень дорогостоящая вещь».

Кажется, будто эти слова — слова циничного, прожженного, но весьма дальновидного политика — написаны сегодня и служат полезным комментарием ко многим международным конференциям и речам о мире.

Перед войной имя Стеффенса было уже широко известно в США, его знали как человека стойкого, неподкупного, готового отстаивать свои убеждения. Он стал настолько популярным журналистом, что перед ним заискивали короли бизнеса и крупнейшие политики. Однако когда он пытался использовать свой авторитет, повлиять на Вильсона, чтобы США не объявляли войну Мексике, из этого ничего не получилось.

Впоследствии Стеффенс был участником парижских переговоров и уже тогда понял, что Версальский мир чреват новой войной.

Когда разразилась первая мировая война, у него уже окончательно сложилась своя оценка всей системы капитализма. С этого времени начинается новый и чрезвычайно плодотворный период в жизни писателя, период обучения в великой школе революции. Он хочет исследовать опыт революций, посмотреть на них вблизи, разобраться в том, годится ли этот опыт для его родины. В 1916 году он выступает в защиту прогрессивного журнала «Мэссиз». Он едет в Мексику, где в то время уже находился его молодой друг Джон Рид.

На заданный ему в Мексике вопрос, почему он не помогает повстанцам, Стеффенс ответил так: «Я здесь не для того, чтобы помогать, а чтобы мне помогали. Я хочу понять эту революцию, чтобы понять потом и другие, когда они произойдут, посмотреть, что именно у вас получается, и избежать ваших ошибок... я здесь как американец и патриот, который учится, как отнестись к революции в своей стране, а она нам необходима не меньше, чем вам».

«Движение 26 июля» на Кубе недавно отметило свою восьмую годовщину, однако ни один современный американский журналист еще не написал о кубинской революции с той степенью глубины, симпатии к кубинскому народу и той мерой понимания исторического значения этой революции, с какой написал Стеффенс много лет назад о Мексике.

Несколько глав «Автобиографии» Линкольна Стеффенса посвящены русской революции. Он был в России трижды: весной 1917 года, в 1919 году (в составе неофициальной миссии Буллита) и в 1923 году. Стеффенс несколько раз слышал Ленина и один раз беседовал с ним. Он окунулся в бушующее море страстей, в рождающуюся новую эпоху, жадно и пристрастно наблюдал и изучал возникновение нового общества. Стеффенс не был «объективным» наблюдателем. Он был на стороне революции еще до того, как приехал в нашу страну, когда теоретическим путем пришел к мысли, что только революция может изменить систему.

Некоторые представления Стеффенса о нашей революции наивны и даже неправильны, не соответствуют истории, а его выводы крайне субъективны. Он полагал, например, что разница между большевиками и меньшевиками состояла в том, что меньшевики были интеллигентами, людьми размышляющими, а не действующими, а большевики — людьми дела. По его мнению, они возглавили революцию не потому, что были партией, взявшей наиболее верный, наиболее соответствующий действительному положению вещей курс, а лишь потому, что оказались «наиболее готовы к перевороту».

Но главное все же не в этих больших или малых ошибках. Главное в том общем ощущении Октября, которое Стеффенс афористически сформулировал в словах, ставших своеобразным паролем для двух поколений честных американцев. На во-

прос Баруха, был ли он в Советской России, Стеффенс ответил: «Нет, не в России я был в будущем, и оно прокладывает себе путь».

Изображение Стеффенсом первых Советов рабочих и солдатских депутатов, этой Толпы Человека, как торжественно называет он заседание Совета, принадлежит к классическим страницам, написанным о нашей революции, и может быть поставлено рядом с книгой Джона Рида.

«...Нас, американцев,— пишет Стеффенс,— пригласил на чай английский писатель Хью Уолпол. Он и другие английские джентльмены прибыли в Петроград чтобы помочь задушить русскую революцию и чтобы заставить русских продолжать войну. Типичный англичанин, он ничего нам не объяснял, не спрашивал, хотим ли мы помогать ему. Он просто давал нам указания. Без сомнения, он полагал, что мы — такие же, как он, джентльмены и, разумеется, будем действовать против революции, против народа и против мира. Так вот, мы не были джентльменами, по крайней мере я не был. Сопоставляя его и эту пропахшую трудовым потом серьезную, настроенную на высокий лад толпу, я решил, что в ней гораздо больше джентльменского, чем в английском политиканствующем писателе.

Надежды рода человеческого возлагались на Советы, а не на Хью Уолпола и его империалистическую шайку».

Характеризуя далее отрицательное отношение прежних участников социалистического движения к русской революции, Стеффенс писал: «...все они ждали дачного поезда, а вместо этого промчался экспресс дальнего следования, оставив их на той же остановке».

Человека, который вел экспресс революции, Стеффенс увидел в Ленине.

На протяжении всей своей жизни Стеффенс искал ответа на вопрос, как можно изменить капиталистическую систему и кто может это сделать. Он глубоко разочаровался в современных ему реформаторах, ибо понял, что они не способны радикально изменить порядок вещей. Ответ он нашел в коммунизме. В своей речи, написанной для митинга коммунистов в Сан-Франциско в 1934 году, Стеффенс заявил: «Коммунизм может разрешить наши проблемы. Коммунизм разрешает эти проблемы в Советской России. Вот мое кредо разгребателя грязи: в программе коммунистической партии — ключ к решению нынешней американской капиталистической ситуации, и это единственная американская партия, которая подходит к такому разрешению с головой на плечах. Все наши проблемы могут быть разрешены: и политическая коррупция, и контрасты богатства и бедности, и периодические кризисы. Коммунистическая партия предлагает сделать это здесь, в Калифорнии, в Соединенных Штатах; она предлагает сделать это в Германии, она уже сделала это в Советской России, куда вы можете поехать,— как я это сделал,— где каждый может видеть, как перевернули нашу старую, нецивилизованную экономическую систему, и как ее пыльные колеса вертятся в воздухе...»

Опыт России окрашивал все последующие размышления и выводы Стеффенса, он настойчиво искал, какими путями этот опыт может быть использован и у него на родине. Советская Россия незримо присутствовала во всем, что делает Стеффенс,— в его рассуждениях об американской истории и о современной литературе, в его письмах жене (известной прогрессивной журналистке Элле Уинтер), в его заботах о будущем маленького сына. Он пишет Элле Уинтер, когда та находилась в Москве (1930): «Лучше быть непосредственно связанной с революцией, чем наблюдать ее, а Россия может продвинуть тебя на века вперед, к цивилизации. Она бросит тебя туда, куда пришла сама, и покажет тебе будущее. И это будет полезно сыну и мне. Россия — это как раз то, чего так не хватает и что так необходимо всем нашим молодым писателям — и Дороти Паркер и Хему *, и Дос Пассосу...»

Одна из глав «Автобиографии» иронически называется «Я становлюсь агнцем» Автор рассказывает о том, как его — в ту пору уже всемирно известного журналиста — перестали печатать, как его рукописи возвращали не читая, как за то, что он осмелился защищать американских революционеров, его травила или бойкотировала американская печать Свойственное Стеффенсу подшучивание над самим собой скрывало подлинную человеческую драму. Искать истину в условиях империалистической Америки было отнюдь не просто, для этого нужен был подлинный героизм Поиски правды каждый раз ставили под удар возможность автора заниматься любимым делом, его гражданские чувства, его материальное благосостояние. Однако Стеффенс не отступал.

Победа в этой длительной борьбе принадлежит человеку, который не может мириться со злом и несправедливостью, не может ради своего душевного комфорта существовать в иллюзорном мире или жить по двойному счету: думать одно, а говорить другое.

* * *

«Автобиография», напоминающая по жанру великую книгу Герцена, рассказывает о событиях американской истории, истории общественной мысли почти за пятьдесят лет. Это очень интересный историко-культурный документ

Интересен сам по себе рассказ о мексиканской революции или о Петрограде в 1917 году. Интересна закулисная история парижских переговоров. Интересно, что

---

* Имеется в виду Хемингуэй

Линкольн Стеффенс открыл в способном студенте Гарвардского университета будущего известного журналиста Уолтера Липпмана. Но каждый из этих и многих других фактов интересен прежде всего в свете общих идей книги.

В этом смысле интересны, хотя и противоречивы, размышления автора, направленные против окостеневшего, шаблонного подхода к явлениям окружающего мира. «...Идеи суживаются, как артерии. Я уверен, что убеждения подобны артериям, пораженным склерозом»,— эти слова звучат как острое обличение буржуазного конформизма, консервативных, реакционных идей и убеждений.

Однако и в отношении Стеффенса к идеям и убеждениям вообще сказываются противоречия его мировоззрения: с одной стороны, именно та беспощадная борьба против интеллектуального склероза, которую Стеффенс вел на протяжении всей жизни, и привела его к революции, привела к необходимости разрыва с господствующими буржуазными верованиями, убеждениями, предрассудками.

С другой стороны, размышляя о проблемах интеллектуального развития человека, Стеффенс метафизически разрывает мысль и действие. Ему представляется, что человек действия не только не может мыслить — а мыслить значит и сомневаться в мысли, в теории, в убеждении, — но и не должен. Мысль мешает действию. Для действия, по Стеффенсу, необходим известный автоматизм мышления, необходимы религиозные или политические убеждения, необходимо нечто застывшее, раз навсегда данное.

Получается, что право на истинную, то есть движущуюся и саму себя отрицающую (в диалектическом смысле слова) мысль имеют лишь люди, стоящие в стороне от развития истории, наблюдающие за этим развитием.

Такой жесткий, метафизический разрыв мысли и действия незакономерен сам по себе и опровергается личным примером Стеффенса.

На первый взгляд, может показаться, что «Автобиография» Стеффенса, как и любая книга этого жанра,— лишь рассказ о себе, об одной человеческой жизни. Однако и жанр автобиографии подчиняется общим закономерностям реалистической литературы, законам типизации. И в этом жанре не только возможен, но и необходим отбор, и в этом жанре через индивидуальное проявляется типическое, закономерное.

Каждый человек может рассказать о себе. Однако далеко не каждый такой рассказ может стать произведением реалистического искусства. Для этого прежде всего надо прожить жизнь, в какой-то степени характерную для своего времени, быть причастным к деяниям и страстям своей эпохи. Но и такой жизни еще недостаточно. Необходимо еще и обладать писательским даром, рассказать о своей жизни так, чтобы за судьбой рассказчика стояли многие человеческие судьбы, увидеть за частным — общее, увидеть страну, эпоху.

Стеффенс сумел это сделать.

В Линкольне Стеффенсе покоряет удивительное сочетание качеств, часто считающихся диаметрально противоположными: он необычайно мягок, щепетилен, душевно тонок; весь его облик, даже внешность, казалось, давно знакомы нам по Чехову; и вместе с тем он тверд, когда дело касается дорогих ему принципов.

На протяжении всей своей жизни он искал правду, чтобы сделать лучше жизнь человека на земле. Искал и в теории и в живых революционных движениях, в частности в опыте русской революции.

Стеффенс был смертельно болен, когда началась гражданская война в Испании. Он умер, не дописав статьи для прогрессивного журнала «Нью мэссиз», которая начиналась словами: «Я вижу и чувствую, что борцы Народного фронта ведут мою войну, ради меня и всех нас, всех мужчин, женщин и детей. Испания — это одна из первых открытых битв за человека; может быть, это сейчас и наиболее решающая битва. Как бы то ни было, это наша битва, о чем должны знать и они и мы. Мне кажется, что мы знаем об этом, и мы начинаем понимать, что мы должны кончить то, что они начали».

Жизнь бесстрашного искателя истины может быть примером и сегодня, когда столько сложных проблем ставит перед американцами действительность их страны, когда накопилось столько грязи, которую необходимо разгрести, когда американцам так важно правильно понять происходящие в мире революционные изменения.

А. Пиотровская

ПЕВЕЦ ШАХТЕРСКОЙ СИЛЕЗИИ

(К 70-летию со дня рождения Густава Морцинека)

Добрая слава эпика шахтерской Силезии сопутствует имени Густава Морцинека в народной Польше. Более чем сорокалетняя творческая деятельность писателя — автора многочисленных романов, повестей и рассказов из жизни шахтеров крупнейшего угольного центра страны — связана с историей этого края.

В современной польской литературе произведения Морцинека занимают особое место. Ему первому среди польских писателей Силезии удалось преодолеть рамки провинциализма, сделать тему жизни трудового народа родного края достоянием литературы всей Польши.

Уроженец Остравского угольного бассейна (родился в Карвине в 1891 году), потомственный шахтер (отец его погиб во время катастрофы в шахте), Густав Морцинек четырнадцатилетним подростком начал свою трудовую жизнь подсобным рабочим в шахте.

Старшие товарищи-шахтеры обратили внимание на необыкновенную любовь юноши к книгам. На свои трудовые сбережения они послали его учиться.

В литературу Морцинек приходит в двадцатые годы, имея уже опыт учителя школы шахтерского поселка и журналиста.

Воспоминания шахтерской юности стали темой первых рассказов Морцинека, опубликованных в 1929 году в сборнике «Сердце за преградой». Эта книга открыла в литературе Польши новый, почти незнакомый ей «экзотический» мир.

Довоенные произведения Морцинека: «Были два брата», «Пройденный штрек», «Силезия», романы для молодежи «Рождение сердца» и «Звезды в колодце», сборник новелл «Хлеб на камнях» — рассказывали о тяжком труде шахтеров, об их повседневном быте, о катастрофах в шахтах, о безработных галицийских крестьянах, искавших заработка в Силезии, о национальной розни между польским, чешским и немецким населением, разжигаемой немецкими владельцами шахт и администрацией, о тех, в чьи руки стекались

огромные прибыли от эксплуатации угольных богатств и шахтерского труда. Реалистическое изображение жизни шахтерского края, с подлинным знанием воссоздаваемой писателем в романах и рассказах, его гуманистическая позиция завоевали Морцинеку симпатии среди широких масс читателей еще в довоенной Польше.

Однако реализм Морцинека носил в те годы стихийный характер. На первый план выдвигалась не социальная, а моральная проблематика. Исходным было убеждение, что в мире ничто не может изменить обычного порядка вещей.

Заметное воздействие на формирование его взглядов оказала идеология католи-

цизма. Сам он позднее писал об этом периоде: «Действительность я воспринимал сквозь розоватое стеклышко сентиментального идеализма».

Во многих произведениях довоенных лет Морцинек обращается к образу героя замкнутого, одинокого, с надломленной психикой и болезненной чувствительностью. Однако уже в те годы проявилось стремление писателя к эпическому изображению действительности. Так, действие одного из его ранних рассказов — «Улыбка из-за плетня» (1929) — развертывается на фоне шахтерской забастовки. Чертами эпичности отмечен также один из наиболее известных романов Морцинека того времени — «Пройденный штрек» (1931), охватывающий исторические события в Верхней Силезии первого двадцатилетия нашего века. На большом фактическом материале воссоздается в этой книге обширная галерея типических характеров. «Своим гуманизмом и искренней любовью к простому человеку,— пишет польский критик Здислав Херовский,— Морцинек помогал укреплению литературного фронта борьбы против накатывающейся волны фашизма. На фоне тогдашних общественных и политических отношений и появления в литературе антиреалистических и реакционных тенденций позиция Морцинека была идеологически важной и заслуживала признания».

Пятилетнее заключение в гитлеровских концентрационных лагерях, скитания по Италии и Франции после освобождения — все эти испытания военного времени тяжело травмировали Морцинека. Однако уже в последнем произведении тех лет — «Затерянные ключи» — из жизни поляков-эмигрантов, заброшенных второй мировой войной на чужбину, звучат самокритические нотки, которые явились первым признаком преодоления писателем внутреннего душевного кризиса.

Возвращение на родину открывает период «второй молодости» в творчестве Морцинека. Он с головой уходит в кипучую общественную и политическую деятельность. ездит по стране с докладами, встречается с читателями, участвует в работе рад народовых, Союза борцов за свободу и демократию, Воеводского комитета защитников мира, возглавляет катовицкое отделение Союза польских писателей В 1952 году Морцинек был избран депутатом в сейм Польской Народной Республики.

«Вторая молодость» Морцинека в художественном творчестве ознаменовалась появлением романа «Пласт Иоанны», написанного в 1948—1949 годах, за который он получил в 1951 году государственную премию.

«Пласт Иоанны» — это своеобразная хроника революционного движения пролетариата Силезии на протяжении ста лет — с 1848 по 1948 год,— поэтическая энциклопедия шахтерской жизни Главная задача романа — показать, как рождается и укрепляется пролетарское самосознание шахтеров, как вовлекаются они в борьбу за социальное и национальное освобождение Силезии

В центре повествования романтическая фигура шахтера Иоахима Странделлы — бывшего солдата революции 1848 года. На смену Странделле приходят новые герои. Это и директор шахты Шеруда, помогающий забастовщикам, и школьный учитель Капелюш-Слимок, воспитывающий своего ученика Игнаца Кулишу сознательным борцом за рабочее дело, и многие другие. Образ Игнаца Кулиши — принципиальная удача Морцинека. Этот простой шахтер — яркая незаурядная личность. В силезских восстаниях 1919 и 1920 годов Кулиша возглавляет отряд партизан, позже — он главный организатор крупной забастовки шахтеров. Революционную эстафету из рук погибшего Игнаца Кулиши принимает сын шахтера — инженер Франтишек Кудера, активный борец с фашизмом, которого народная власть после освобождения Силезии Советской Армией поставила во главе шахты.

Роман «Пласт Иоанны» явился заметной вехой в идейной эволюции Морцинека. Выдвижение на первый план классовых конфликтов и противоречий позволяет писателю подняться над частным и обыденным, глубже раскрыть жизненно важные явления действительности, придает его произведению эпическую широту. По-новому осмысляется в этом романе период гитлеровской оккупации В трагических картинах второй мировой войны нет растерянности и смятенности, свойственных первым послевоенным произведениям Морцинека. На смену пассивному герою-страдальцу приходит герой-борец, активно ненавидящий фашизм. Новая концепция активного героя, героя-борца, прослеживается и в таких произведениях этого периода, как, например, романы «Воскрешение «Германы» (1956) или «Матс Курт Крауз» (1957), повествующий о повстанческом движении в Силезии 1919—1921 годов. Бывший матрос немецкого военного флота, силезец Курт Крауз не только вырастает в героического вожака повстанческого отряда, но и становится убежденным коммунистом, борцом за будущую народную Польшу. Теме воспитания нового человека, сознательного строителя народной Польши посвящен роман «Заблудившиеся птицы» (1952), построенный в основном на материале жизни шахтерской молодежи в освобожденной Польше.

Колоритна речь героев Морцинека — сочный, порой грубоватый и резкий язык народа, любящего юмор и соленую шутку Автор широко вводит диалектизмы, слова, искаженные разноязычными влияниями, столь сильными в Силезии. Своеобразие стиля Морцинека еще более подчеркивается

обращением к образам шахтерского фольклора — легендам и преданиям, прекрасным знатоком и собирателем которых является Морцинек.

Густав Морцинек был одним из немногих писателей старшего поколения, обратившихся в начале пятидесятых годов к изображению новой действительности, сознательно перешедших на новые идейные позиции, хотя от элементов декларативности и упрощенчества его романы этого периода далеко не свободны.

На протяжении восемнадцати лет (не считая военные годы) работал Морцинек над историческим романом «Ондрашек» о легендарном силезском разбойнике — защитнике крестьян. Образ Ондрашека-гетмана, возглавлявшего на рубеже XVII—XVIII веков борьбу силезских крестьян за свои права, взят писателем из народных сказаний и песен. Правда, красочные картины быта и нравов, как отмечалось в критике, несколько потеснили в романе главное — изображение жизни силезского крестьянства. Лучше удались Морцинеку разделы книги, повествующие об Ондрашеке-разбойнике, чем о народном мстителе, мечтающем о создании крестьянской республики.

Воспоминания детства легли в основу большого автобиографического романа «Черная Юлька» (1959), героиня которого названа одним из современных критиков — Яниной Прегер — «дочерью Кола Брюньона». Автобиографический момент вообще занимает большое место в творчестве писателя.

Морцинек — решительный противник беллетристического вымысла, далекого от жизни. Достоверность — один из его основных художественных принципов. «Жизнь так неслыханно богата, что даже буйная фантазия не в силах ничего более грандиозного выдумать»,— пишет он в статье «Беседы с читателями». Он подразумевает при этом исторически конкретные рамки действия произведения, хорошее знание жизненного материала, обогащенное большим личным опытом, верность воспроизведения реалий — особенностей пейзажа шахтерской Силезии, национального быта, обычаев, языка. Эта достоверность достигается и чисто литературными приемами: введением в повествование дневниковых записей, хроник, обращением к публицистике.

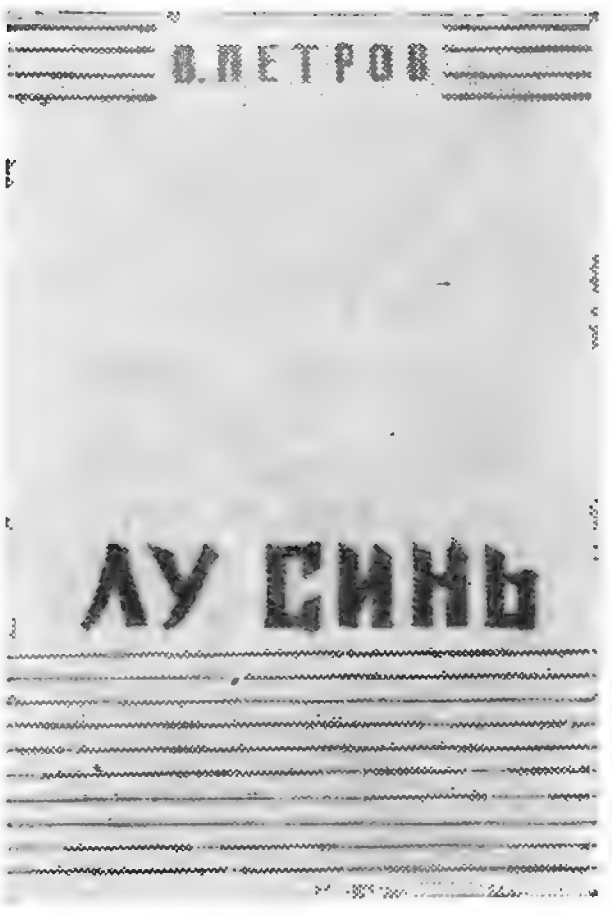
Морцинек с гордостью говорит о себе: «...я писатель не для «избранных». Польские читатели с теплотой и уважением отзываются о его произведениях. Об этом свидетельствуют их многочисленные письма... «Мне шлют свои добрые пожелания,— пишет Морцинек,— очень разные читатели. Среди них можно встретить мясника, каменщика, профессора университета, милиционера, но прежде всего — шахтера».

Популярность Морцинека среди простых людей Польши и является лучшей наградой писателю за его более чем сорокалетний творческий труд.

Издано в СССР

Великий писатель Китая

В. Петров. Лу Синь. Очерк жизни и творчества. Москва, Гослитиздат, 1960. 382 стр.



В этом году исполняется 80 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти Лу Синя — родоначальника новой китайской литературы. Советскому литературоведению есть чем встретить эту знаменательную дату: в нашей стране опубликовано множество статей и четыре монографии о Лу Сине.

Две из них — книги В. Ф. Сорокина «Формирование мировоззрения Лу Синя» (1958) и «Лу Синь. Жизнь и творчество» Л. Д. Позднеевой (1959) — вышли в издательствах Академии наук. Книга Л. Д. Позднеевой «Лу Синь» (1957) адресована юному читателю. Работа В. Петрова является, по существу, первым большим популярным изданием на русском языке.

Книга В. Петрова обобщает многолетние успехи советского лусиневедения и одновременно вполне оригинальна в своих материалах и оценках. Интересны мысли автора об элементах публицистики в художественных произведениях Лу Синя, о языке сборников «Клич» и «Блуждания», оценка рассказа «Завтра» и многое другое.

Сборник «Клич» (1918—1922), наиболее значительный цикл произведений Лу Синя, по своему характеру книга многоплановая. Здесь и остросатирическая повесть «Подлинная история А-Кью», и серьезные, грустные рассказы «Кун Ицзи», «Блеск», и романтические миниатюры «Утиная комедия», «Кролики и кошка», в которых отражается гуманизм Лу Синя, его любовь ко всем беззащитным существам. Если обличительные произведения сборника «Клич» уже неоднократно анализировались советскими лусиневедами, то рассказы «Утиная комедия» и «Кролики и кошка» впервые рассмотрены в книге В. Петрова.

Выводы автора (например: «Лу Синь... любя, умел ненавидеть, так что его гуманизм неотделим от борьбы») звучат тем убедительнее, что В. Петров широко использовал для осмысления этих рассказов публицистику Лу Синя, отзывы китайских критиков и сведения о творчестве русского поэта В. Ерошенко, в память о котором была написана «Утиная комедия». Вряд ли можно сказать только, что эти рассказы вместе с «Деревенским представлением» стоят в сборнике «Клич» особняком: «Деревенское представление», воспевающее романтику крестьянской жизни, очень близко по духу рассказу «Родина» и как бы связывает «Утиную комедию», «Кроликов и кошку» с остальными произведениями «Клича».

Не все оценки В. Петрова можно принять безоговорочно. Например, он правильно критикует разочаровавшегося в революции «г-на N» («Рассказ о волосах»), но совершенно не отделяет его от автора, заявляя, что «Лу Синь вложил в уста господина N некоторые собственные мысли». Без указания на отличие Лу Синя от его героя это выглядит по меньшей мере односторонне. Отсюда — весьма спорный вывод о том, что в этом рассказе отразилось неверие

Лу Синя «в эффективность новой революции».

Нельзя объяснять пристрастие Лу Синя в 1907—1917 годах к древнему языку или к буддизму в 1914—1917 годах только влиянием его учителя Чжан Тай-яня. Решающую роль здесь сыграли внутренние причины: оторванность молодого писателя от народа, скорбь о поражении революции 1911—1913 годов. Подобных неточностей можно найти немало. Однако книга с самого начала подкупает своей смелостью, попыткой разобраться в сложных явлениях, не приглаживая и не упрощая их.

Большим достоинством книги В. Петрова является широта охвата материала. В ней щедро (насколько это возможно в общем очерке творчества писателя) показаны связи творчества Лу Синя с мировой и национальной литературой.

Лу Синю как популяризатору зарубежной литературы в Китае посвящена особая глава; значительное место отведено роли писателя в ознакомлении китайского народа с русской и советской литературой.

«Без малого тридцать лет,— пишет В. Петров,— Лу Синь не только сам переводил произведения русских писателей, но и воспитал за эти годы плеяду переводчиков с русского языка».

Делу пропаганды в Китае русской классической и советской литературы Лу Синь «служил всю жизнь, начиная с первой литературоведческой статьи «О силе сатанинской поэзии», познакомившей китайских читателей с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, и кончая предисловием к «Сборнику рассказов семи советских авторов», написанным 16 октября 1936 года, то есть за два дня до смерти».

Лу Синь неизменно подчеркивал близость культурно-исторических традиций России и Китая. «Я чувствую, что русская культура богаче, чем какая-либо другая иностранная культура. Между Китаем и Россией существует какая-то связь, их культура и история имеют нечто общее»,— эти строки были опубликованы в 1935 году.

Творческим подвигом писателя называет В. Петров перевод Лу Синем «Мертвых душ» Гоголя. Не зная русского языка, он вынужден был пользоваться немецким изданием, сверяя его с двумя японскими переводами.

Советскую литературу Лу Синь называл совершенно новым явлением в истории мировой литературы, рожденным пролетарской революцией и связанным с созданием нового общества.

Деятельность Лу Синя — переводчика и страстного пропагандиста Горького (самого Лу Синя часто называют «китайским Горьким»), Фадеева и многих других советских писателей — сыграла «выдающуюся роль в духовном общении двух великих народов. Лу Синь рассказал правду о советской литературе, открыл для Китая множество новых имен, использовал опыт советской литературы в движении за революционную китайскую литературу, учил на произведениях советских писателей молодежь».

Очень четко, объективно раскрыты взаимоотношения Лу Синя с двумя крупнейшими объединениями прогрессивных китайских писателей двадцатых годов: реалистическим «Обществом изучения литературы» и романтическим обществом «Творчество». Много говорится в работе о восприятии Лу Синем классической китайской традиции.

Первым из авторов монографий о Лу Сине В. Петров уделяет должное внимание литературной обстановке в Китае на рубеже XIX—XX вв.— периоду формирования писателя. Порою В. Петров даже преувеличивает роль непосредственных предшественников великого литератора: «Лу Синь был в известном смысле прямым преемником романистов поздней Цин (имеется в виду «обличительный роман» начала XX века, носящий ярко выраженный просветительский характер.— *В. С.*), но в его творчестве критический реализм вступил в новую фазу». При всей заманчивости этой формулировки мы не можем до конца с ней согласиться, так как, во-первых, Лу Синь чаще всего обращался к более древним традициям, через голову своих непосредственных предшественников, а во-вторых, метод просветительской литературы вряд ли стоит называть критическим реализмом. Признание Лу Синя родоначальником китайского реализма (как критического, так и социалистического) позволило бы ближе подойти к действительности и ярче оттенить ту «новую фазу», о которой справедливо говорит исследователь.

Книга В. Петрова расширяет наше представление не только о Лу Сине, но и о жизни и культуре Китая. Интересны страницы, посвященные конфуцианству, системе государственных экзаменов для получения ученой степени, «Движению 4 мая» 1919 года — без них трудно представить своеобразие обстановки, в которой развивался Лу Синь.

Автор уделяет большое внимание публицистике Лу Синя, его борьбе за революционную китайскую литературу, сборникам рассказов «Блуждания», где в наибольшей степени проявился талант Лу Синя — психолога, и «Старым легендам по-новому», которые знаменуют собой начало перехода Лу Синя к социалистическому реализму. Особо хотелось бы отметить главу о «Диких травах» — изумительных лирических миниатюрах, стихах в прозе. В. Петров сам перевел большинство из них, и это сказывается в анализе — тонком раскрытии мыслей, настроения, языка автора.

«Сам характер содержания «Диких трав»,— справедливо отмечает исследователь,— вызвал к жизни яркие и оригинальные эпи-

теты («мертвый огонь», «больной лист», «изумрудно-голубые герои», «мертвый дождь»), сравнения («чашкоцветник, похожий на древний цинь»; «снежинки.. сверкают, искрясь и переливаясь в солнечных лучах, точно пелена густого тумана, окутывающего пламя»). ...Лирическая или философская окраска содержания ряда стихотворений побуждала писателя отказаться от обычного, повествовательного стиля речи и усилить эмоциональную сторону языка»

Книга В. Петрова свидетельствует о том, что советскому лусиневедению уже становится тесно в рамках общих работ о великом писателе. На повестке дня — изучение отдельных проблем, связанных с творчеством Лу Синя.

В. Семанов

Театр Брехта

Б. Райх. Брехт. Очерк творчества. Москва, ВТО, 1960. 415 стр.

Одним из наиболее запомнившихся выступлений на недавнем V Съезде немецких писателей была речь Гельмута Байерля. Молодой драматург темпераментно и свежо говорил о своем учителе Бертольте Брехте, о том, как много значит его пример и наследие для передовых литераторов наших дней То, что сказал Байерль в своей речи, подтверждается его собственной творческой практикой. Его комедия «Фрау Флинц», которая с успехом идет в театре «Берлинер ансамбль», тесно связана с традициями Брехта. Я видела этот спектакль. Фрау Флинц — современный антипод мамаши Кураж. Привязанность к детям, простонародный здравый смысл приводят немолодую необразованную женщину в лагерь активных строителей социализма. В сценическом решении этой темы широко и по-новому используются приемы «эпического театра». Так творческие заветы Брехта входят в художественную практику современного социалистического искусства. Входят, конечно, не только в ГДР.

Наследие Брехта — драматурга, режиссера, теоретика — требует внимательного изучения. Советская литературная наука вносит в это дело свой вклад Нашему читателю известны, например, содержательные статьи

И. Фрадкина о художественном методе Брехта; недавно обратила на себя внимание интересная работа Б. Зингермана, напечатанная в журнале «Театр». Книга Б. Райха «Брехт» является первой обстоятельной советской монографией, посвященной творчеству немецкого драматурга.

В начале 20-х годов Бернгард Райх работал с Брехтом, консультировал его ранние постановки; он продолжал дружбу с ним и после того, как переехал на постоянное жительство в Советский Союз. Исследование, критический анализ сочетаются в книге Райха с элементами воспоминаний, личных впечатлений И в самом своем анализе Б. Райх идет не только от историко-литературного материала, но и от режиссерского опыта. Живое ощущение театральной практики чувствуется в книге с первых страниц — например, там, где Райх объясняет, почему молодой Брехт стремился упростить и свести к минимуму декоративное оформление: «Слишком фундаментальная, громоздкая постановка и слишком массивный реквизит создают враждебную среду для неуловимого и тонкого в искусстве». Брехт хотел, чтобы актер чувствовал себя и вел себя на сцене как можно более естественно, свободно — именно поэтому стремился он «лишь к необходимой сценической среде, определяемой несколькими характерными признаками». Эта особенность искусства Брехта сказывается в нынешних постановках театра «Берлинер ансамбль».

Структура книги Райха отражает основные этапы творческого развития Брехта. Первая глава называется «Неистовый Брехт». Здесь говорится о ранних опытах драматурга: тут было немало «странного», «провокационного», сильно сказывалось желание опрокинуть устоявшиеся каноны и ошеломить буржуазного зрителя. Пьесы, написанные после ухода Брехта в эмиграцию, рассматриваются в главе «Вне Германии, но за Германию». В этот период пафос отрицания, свойственный личности художника, приобретает все более глубокий, социально осмысленный характер: автор «Мамаши Кураж» говорит «нет!» фашизму, захватническим войнам, буржуазному строю.

Пьесы «Жизнь Галилея». «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Добрый человек из Сезуана», «Кавказский меловой круг» анализируются в главе «Добрый поэт Брехт». Большая часть названных произведений тоже написана в эмиграции. Но эти пьесы — каждая по-своему — освещены перспективой полной победы человечества над силами зла, в

них сказалась нараставшая у художника уверенность в будущем. Позитивное, утверждающее начало просвечивает в народном юморе комедии о Пунтиле, торжествует в финале «Кавказского мелового круга». Высокой революционной героикой проникнута пьеса «Дни Коммуны», созданная в атмосфере строительства новой Германии.

Эта концепция творческого развития Брехта не может быть принята вполне безоговорочно: в ней есть нечто от схемы. Ведь Брехт еще до прихода Гитлера к власти смог, опираясь на Горького, прославить в своей драме «Мать» героику революционного пролетариата и создать, по словам самого Б. Райха, «идеально положительный» образ Пелагеи Власовой; ведь еще до «Мамаши Кураж», воздействующей на зрителя силою отрицательного примера, была написана одноактная драма об испанской матери, становящейся борцом против фашизма,— «Винтовки Тересы Каррар». Соотношение мотивов сатирически-обличительных и мотивов утверждающих в разных произведениях Брехта очень неодинаково, оно в каждом отдельном случае определяется идейно-тематическим замыслом пьесы. Но направление творческого развития Брехта прослежено Б. Райхом — пусть в самых общих чертах — верно.

Гельмут Байерль в речи на V Съезде немецких писателей полемизировал с теми буржуазными «почитателями» Брехта, которые весь смысл его творчества сводят к стихии отрицания. Эти почитатели не хотят видеть, что брехтовское «против», уже в пору его работы над «Матерью», а тем более в последующие годы, было теснейшим образом связано с утверждением передовых социальных идеалов нашей эпохи. В свете современной идейной борьбы за наследие Брехта очень уместно и оправданно то внимание, которое Б. Райх уделяет брехтовскому пафосу доброты, светлой и деятельной гуманности. В последние годы жизни художника этот пафос доброты приобрел новую опору в немецкой демократической действительности, в размахе всемирного движения за мир, в росте сил международного социалистического лагеря.

В процессе анализа основных пьес Брехта и в заключительной главе «Театральная миссия Бертольта Брехта» Б. Райх ставит проблемы художественного метода. В чем связь Брехта с традициями классического реалистического театра? В чем особенности брехтовского реализма и соотношение его с художественной условностью? Каково место Брехта в современном социалистическом искусстве? Не претендуя на исчерпывающие и окончательные ответы, Б. Райх дает ценный материал для размышлений на все эти темы.

Брехт и А. Островский — казалось бы, что общего между ними? Однако Райх свидетельствует, что Брехта «привела в необычайный восторг комедия «Горячее сердце» в постановке МХАТа — в образе Хлынова он увидел нечто родственное своему Пунтиле. Это, конечно, частность. Но важно, что между театром Брехта и театром традиционно-реалистическим нет никакой непроходимой пропасти. Б. Райх, разумеется, освещает в своей книге расхождения между системой Брехта и системой Станиславского. Но он же приводит интереснейшую заметку Брехта: «Чему, помимо прочего, следует поучиться у театра Станиславского...»

Б. Райх исследует связи Брехта с классиками мировой драматургии. Он высказывает любопытные соображения о том, что Брехт ставил перед собой задачу сочетания шекспировской исторической конкретности с шиллеровской обнаженной идейностью. Сам принцип эпической драмы, как показывает Райх, восходит к хроникам Шекспира. Ведь главная суть эпической драмы не в отдельно взятых сценических приемах: важно, что Брехт стремится представить по возможности больший жизненный массив, «рассказывает жизнь главного персонажа, а не просто ее особый, отдельный момент, насыщенный драматическими событиями». У Брехта, как и во многих драмах Шекспира (можно тут вспомнить «Макбета»), сценическое бытие основных действующих лиц охватывает значительный отрезок времени: именно так строится «Мать», «Мамаша Кураж», «Жизнь Галилея».

Б. Райх далек от того, чтобы представлять Брехта апостолом «чистой условности». Он показывает, например, как существенны для идейного замысла драмы «Галилей» конкретные приметы эпохи, то и дело возникающие по всему ходу действия: многочисленные детали экономики, быта, умонастроения персонажей «рисуют всеобщее беспокойство, живое движение, стремление к изменению, к поискам чего-то лучшего». Эти приметы переломной исторической эпохи не только проясняют условия, в которых действует Галилей, они очень важны и для нравственной авторской оценки его поступков. В других случаях, отмечает Б. Райх, обстоятельства места и времени носят у Брехта действительно чисто внешний характер, являются лишь оболочкой изображаемых событий. Нет причин возражать против итоговой теоретической формулировки Б. Райха: «условный прием становится реалистическим в произведениях, где основная целеустремленность реалистична и когда он служит правде». Но, пожалуй, стоило бы более конкретно исследовать и определить — каким образом, при каких обстоятельствах осуществляется (и всегда ли осуществляется) это претворение условного в реалистическое.

Бертольт Брехт, отмечает Райх, «никогда не был плен-

ником собственных убеждений». Ни движение его мысли, ни его работа драматурга и режиссера не сковывались заранее намеченными правилами. Принцип сценического «отчуждения» в разных пьесах Брехта осуществляется очень по-разному. Легендарное и фантастическое нередко совмещается с очень точно соблюденной достоверностью. Нередко в одном и том же спектакле «сосуществуют решения различной стилистической манеры». Всем ходом своего анализа Б. Райх показывает, что ни в коем случае нельзя толковать метод Брехта как догму: это не согласуется с недогматической, вечно ищущей, беспокойной творческой натурой художника-новатора. Попутно Б. Райх разрушает довольно распространенный предрассудок, согласно которому искусство Брехта трактуется как нечто исключительно интеллектуальное и чуждое всяким чувствам. Исследователь приводит ряд высказываний Брехта, где отмечена роль эмоционального начала в работе актера. По Брехту, актер вовсе не должен быть холодным, он вправе чувствовать, переживать на сцене — но он прежде всего обязан будить мысль зрителя!

Драматургическая и сценическая система Брехта обогащает мировое искусство социалистического реализма. В книге Б. Райха это убедительно доказано. Брехт внес оригинальный творческий вклад в социалистическую культуру человечества не только как новатор сцены, но и как художник-мыслитель, разработавший по-своему, по-новому большие общественные проблемы современности. Б. Райх подтверждает это очень уместным примером. Традиционная для демократического искусства тема «маленького человека» предстает у Брехта в новом, неожиданном освещении. Брехт сумел не только выразить сочувствиве к маленьким людям, задавленным капитализмом, но и заклеймить «великую капитуляцию» этих маленьких людей, не сопротивляющихся злу, несущих свою долю ответственности и за преступления фашизма, и за военные кровопролития. «Творческие достижения Брехта — в психологическом и моральном исследовании того широкого человеческого слоя, который, несмотря на свое положение маленького колесика в общественном механизме, имеет выдающееся социально-историческое значение».

Заслуги Брехта перед мировой социалистической культурой бесспорны. Но путь Брехта-художника не есть единственный, общеобязательный путь. «Брехтовский метод,— справедливо говорит Райх,—следует признать одним из возможных рабочих путей в искусстве социалистического реализма».

Содержательная и полезная книга Б. Райха не свободна и от отдельных неточных, недостаточно продуманных формулировок и положений. Так, характеризуя в начале книги расстановку сил в немецкой литературе начала XX века, автор смаху зачеркивает то ценное, что делалось в это время мастерами критического реализма. Генрих Манн, Леонгард Франк оказываются при этом вовсе забытыми, а Томас Манн вместе с Гауптманом и Шницлером отнесены к тем писателям, которые «отреклись от вмешательства в жизнь». Так же походя, свысока зачеркивается в «Эпилоге» книги реализм Достоевского.

В монографии есть явные пробелы. Жаль, например, что автор отказался от анализа антифашистской пьесы «Артуро Уи», вызвавшей в последние годы большой интерес зрителей в Берлине и Париже. Очень уместна была бы глава о постановках Брехта на советской сцене.

Б. Райх старается соблюсти объективность и трезвость в оценках пьес любимого им драматурга. Но это ему не всегда удается. Так, разбирая драму «Дни Коммуны», исследователь отмечает, что в сценах заседаний Коммуны персонажи слабо индивидуализированы. Но он тут же старается найти оправдание для этого явного недостатка драмы: по-видимому, утверждает он, Брехт отказался от яркой индивидуализации, чтобы зритель легче воспринял общую картину деятельности Коммуны. Но разве отвлеченность, безликость персонажей в состоянии облегчить восприятие пьесы зрителями или читателями? Это противоречит всему тому, что говорится на протяжении книги о богатстве, многогранности брехтовских характеров.

Первая советская книга о Брехте не во всем бесспорна. Важно, однако, что она написана вдумчиво, с глубоким знанием предмета и с большой любовью к Брехту.

Т. Мотылева

Трагедия трех поколений

Эрнесто Л. Кастро. Вспаханное поле. Перевод с испанского К. Наумова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 255 стр.

Аргентинская литература подарила миру образ гаучо, вольного сына бескрайней пампы,— скотовода, объездчика тысячеголовых стад лошадей и быков. Таким он предстал перед нами на страницах произведений классиков: Хосе Эрнандеса, Иларио Аскасуби и Рикардо Гуиральдеса. Говоря о гаучо, нередко забывают о его тяжелом труде и вспоминают лишь удаль, бесстрашие, романтический облик человека, даже в трудные минуты не расстающегося со своей неизменной гитарой. Когда животноводство в стране приняло промышленный характер и прежний гаучо ус-

тупил место прозаическому пастуху на ферме, к подобному романтизированному образу обращались многие авторы развлекательных романов и кинофильмов.

Землепашцу, человеку, подымающему и возделывающему целину, в аргентинской литературе конца прошлого, начала нынешнего века повезло значительно меньше. Лишь в тридцатых годах, когда началось массовое разорение мелких собственников и концентрация земельных массивов в руках крупных латифундистов, прогрессивные писатели Аргентины обратились в своем творчестве к жизни деревни.

Действие романа Э. Кастро «Вспаханное поле», вышедшего в 1953 году, охватывает более полустолетия — с последних десятилетий прошлого века и до наших дней. Автор рассказывает о жизни трех поколений одной семьи, представляющих собой как бы три исторических этапа в развитии страны.

Родоначальник семьи — сержант Сория. Некогда насильно взятый в армию, он многие годы сражался с индейцами, племена которых бродили по просторам пампы. Уничтожая индейцев, сгоняя их с земли, правительство расширяло земельные площади для колонизации. После ранения и демобилизации Сория получил небольшой земельный надел и основал почтовую станцию. Но вскоре в пампе пролегли железнодорожные пути. И под колесами первого же локомотива гибнет любимая лошадь Сория. Дорога, которая идет мимо его ранчо, зарастает бурьяном. Сын Сория — Панчо после смерти отца превратил невозделанный участок в плодородную ниву. И наконец внук Сория — Маноло бросает родительское ранчо, чтобы уйти в город и стать шофером-механиком. Все эти три человека по-разному относятся к земле, к своему труду.

Сория, как и его приемный сын Сеферино, по своему духу и психологии типичный гаучо. Им кажется унизительным копаться в земле, им тесно на огороженном участке, их манят неведомые дали.

Не отказывая Сеферино в чертах личного благородства и привлекательности, Э. Кастро последовательно развенчивает его как человека, не способного оставить после себя дела рук своих. Время гаучо прошло.

И романтике бродяжничества Сеферино автор противопоставляет суровую романтику тяжелого повседневного труда землепашца.

Образ Панчо — большая удача писателя. Он сумел создать цельный, словно высеченный из камня, человеческий характер. Панчо жаждет обрабатывать землю, растить на ней хлеб, видеть плоды нелегкого, но такого любимого труда. С оружием в руках отстаивает он свое ранчо от полиции, пришедшей, чтобы по суду передать его землю помещику-латифундисту.

Как типичный крестьянин, чей горизонт ограничен его земельным участком, Панчо борется в одиночку, отвергая предложение соседей, находящихся в таком же положении, объединиться, чтобы совместно сражаться за свои права.

Отдавая все силы и страсть земле, Панчо не может понять, что у людей могут быть интересы и запросы, отражающие новые веяния времени. Отсюда конфликт с сыном Маноло, отсюда вражда к его книгам, якобы мешающим юноше прилежно трудиться на земле.

Образ Маноло очерчен бегло. Уход молодого крестьянина в город писатель объясняет не бесперспективностью работы на земле в эпоху, когда крупные хозяйства вытесняют мелких собственников, а протестом против деспотизма отца и, главное, стремлением вырваться в широкий мир из затерянной в степях крестьянской фермы. Это бегство вчерашних собственников земли в город приподымает завесу над реальной действительностью сегодняшней аргентинской деревни.

Разорение Панчо, гибель Сеферино и уход Маноло глубоко символичны. Они показывают обреченность мелкого крестьянского хозяйства, которое не в силах устоять перед натиском капиталистической действительности. Роман обрывается там, где исторически начинается борьба против буржуазного мира. Этой борьбы нельзя понять без знания судеб аргентинского крестьянства, которые так впечатляюще нарисовал Кастро.

Николай Габинский

Человечность и социальность

Жак Превер. Стихи. Перевод с французского М. Кудинова. Предисловие М. Светлова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 88 стр.

Критиков, пишущих о французском поэте Жаке Превере, чрезвычайно волнует вопрос: как ему удалось преодолеть роковую для многих современных поэтов «герметичность» и найти путь к массам. Теперь с выходом в свет сборника стихотворений Превера на русском языке об этом может судить и широкий советский читатель.

Внешний вид сборника ничем не примечателен. На неброской обложке — традиционный голубь, летящий над городом, освещенным скучноватым солнцем, и имя — Жак Превер.

Если можно говорить о внешнем виде самих стихов, то и он, пожалуй, так же скромен, как обложка.

Раскрывая наугад сборник (предположим, что вы или я — читатель, подошедший к прилавку книжного магазина), видишь, что переводчик рифмует «такой—

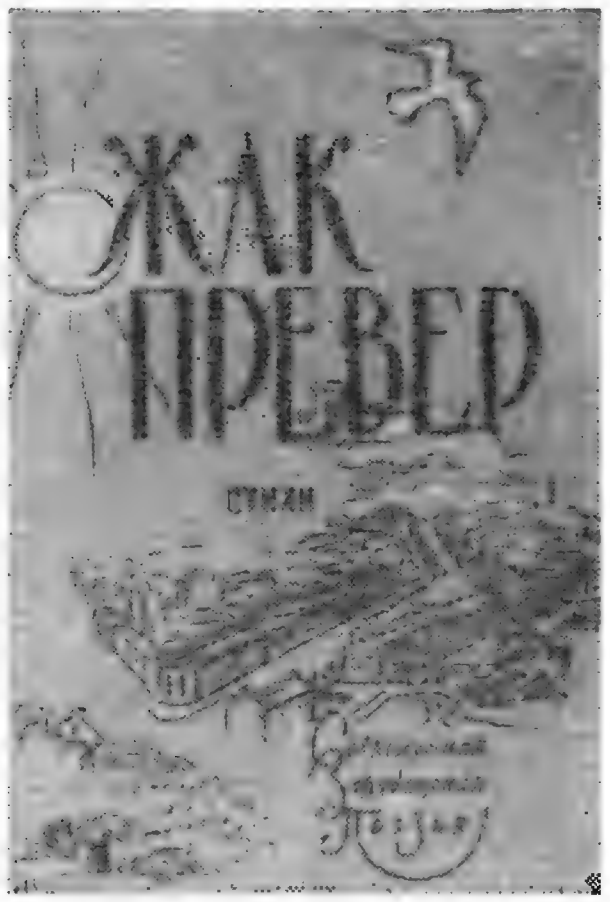
мной», «говорить — изменить», а зачастую и вовсе пренебрегает рифмой. Прочитываешь несколько строк, на первый взгляд совершенно будничных, иногда чисто разговорных по интонации, и начинаешь думать, что наголкнулся на ту воистину «переводную» поэзию, которая редко бывает оригинальной.

Но вот ты прочел одно стихотворение, другое (они, как правило, короткие) — и совершенно забываешь о непритязательной рифме и прозаической интонации. Читаешь еще несколько — и обнаруживаешь, что ритм в стихах одновременно строг и свободен, что их «разговорность» — это ритмическая гибкость, отлично дисциплинированная раскованность, позволяющая выразить раздумье и гнев, сарказм и нежность.

Листаешь дальше и видишь, что простенькая рифма — отличная помощница ритма. Покорная, ненавязчивая, рифма эта тотчас идет на зов, если нужно поддерживать ритм и оттенить мысль, и удаляется, если ее не зовут. Одно из ее достоинств именно в том, что ее не замечаешь. И в этом же достоинство того «приема остранения», которым пользуется поэт.

Превер умеет сталкивать друг с другом далекие понятия и высекать этим древним способом искру поэзии Но его подлинное мастерство в том, что это уменье отнюдь не воспринимается как «прием», как техника поэтического «эффекта» В стихах Превера, прекрасно переведенных М. Кудиновым, ощутим настоящий, дающий тепло огонек, а его не добудешь голой техникой, если не горишь сам И у Превера и у его переводчика оказался этот живой огонек, и он освещает удивительное в привычном, обнаруживает тот новый оттенок в старой краске слова, который придает гибкость ритму, точность — рифме и жизнь — поэзии

Что же это за огонек? Михаил Светлов в лирическом предисловии к сборнику справедливо называет его человечностью. И не менее справедливо рассматривает человечность как социальность: в наш век они неразделимы.



Именно в социальности сила Превера.

Поэт против того, чтобы дорога жизни становилась дорогой смерти, против тупой покорности обывателя, против «нормального» порядка вещей — капиталистического порядка.

. . . . . .

Война продолжается, мать
продолжает вязать,
Отец продолжает с делами
возиться,
Сын убит — больше нечего
ему продолжать
Идут за похоронною
колесницей
Отец и мать.
Они находят все это
в порядке вещей.
А жизнь продолжает идти
дорогой своей.

(«Семейное»)

Даже среди стихов, казалось бы, очень далеких от политики, в этом сборнике не найдется таких, в которых политическая позиция Превера оставалась бы неясной Он — демократ. Он демократ по своей верности простому человеку Когда у заводских ворот останавливается рабочий, «потому что за полы куртки потянула его весна», останавливается и спрашивает у товарища Солнца:

Разве это не дребедень —
Хозяину взять и отдать
Такой день?

(«Потерянное время»)

Можете не сомневаться: Жак Превер — на стороне рабочего. Он всегда на стороне труженика, несущего на себе тяжесть мира и тяжесть войны, не плакатного «беззаботного парня с радостным взором», а «человека в поту, человека труда», кому

связали душу, связали
тело,
весь труд скупили
за все года.

(«В полях»)

Неподдельный гуманизм определил мировоззрение Превера. Читаешь отрывки из поэмы «Штык в землю» и сознаешь, что именно так должно судить религию, ее «сверхъелейность, жестокость и хитрость»,

все это мрачное шутовство
и жеманство,
все это дорогое и
разорительное
шарлатанство,
короче, все это
ватиканство...

Читаешь «Стирку» и вместе с Превером испытываешь ненависть к лицемерной морали буржуа. Читаешь стихи о девушке, которая хочет любить того, кто ей мил, ни перед кем не отчитываясь, и так же, как Превер, слышишь в ее задорных словах не легкомыслие, не безнравственность, а желание отстоять свое человеческое достоинство и свободу.

В этой книжке всего лишь 88 страничек и вдвое меньше стихотворений. Но в них видишь поэта, большое сердце которого объемлет трагический и все же прекрасный мир. В сборнике Превера есть политика и эстетика, Людовик XIV и Пикассо, солнце и любовь, в нем есть главное — страстная, не прячущаяся в укромных уголках, а сражающаяся мысль. В нем есть поэзия. Не только французская. Стихи Превера, с равной строгостью отобранные и переведенные М. Кудиновым, не «переведены», а пережиты. Поэтому серенькая тетрадка с голубем на обложке стала фактом русской поэзии. Поэзии, которой не грозит «герметичность».

М. Кораллов

Издано за рубежом

Живые связи

Кирил Бабов. Приносът на Димитър Благоев за изучаването на руския език и руската литература в България. София, Наука и изкуство, 1961.

Желю Авджиев. Георги Бакалов. Литературнокритическа дейност. София, Наука и изкуство, 1959.

В этих книгах современных болгарских исследователей на большом фактическом материале показана роль выдающихся марксистов Болгарии Димитра Благоева (1856—1924) и Георгия Бакалова (1873—1939) в развитии культурных связей между нашими народами.

Кирилл Бабов в своем труде «Вклад Димитра Благоева в изучение русского языка и русской литературы в Болгарии» показывает, как много сделал Благоев — основатель и долголетний руководитель Болгарской коммунистической партии,— для популяризации русского языка и литературы в своей стране.

Димитр Благоев — первый болгарский критик-марксист и теоретик литературы. Он был с юных лет воспитан на любви к русской литературе (эта любовь особенно укрепилась в годы учения в России в 1879—1885 годах), и уже в первом издаваемом им журнале «Съвременний показател» печатал переводы сочинений Герцена, Чернышевского, Некрасова.

К. Бабов подробно рассматривает составленную Д. Благоевым «Русскую хрестоматию» (1896), в которую вошли наиболее значительные образцы русской классической литературы, «проникнутой,— как отмечает К. Бабов,— гуманными и революционными идеями».

«Русская хрестоматия» Благоева, пишет исследователь, читалась широкими кругами трудящихся, она пробуждала у них желание познакомиться с замечательными произведениями на языке оригинала.

Освободительные и прогрессивные идеи русской литературы пропагандировались Д. Благоевым в продолжении более четверти века в руководимом им журнале «Ново време» (1897—1923). В этом журнале впервые на болгарском языке была опубликована статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». Здесь печатались переводы из сочинений многих русских писателей и критические статьи Плеханова и Луначарского.

В книге К. Бабова представлен значительный материал о слабо изученном периоде (1886—1890, 1894—1897) жизни Д. Благоева, когда он преподавал в Болгарии русский язык и литературу, составлял учебные пособия по этим предметам, ревностно отстаивал идейные и культурные связи болгар с передовой Россией. К. Бабов сумел интересно рассказать об этой стороне деятельности замечательного болгарского марксиста.

...Почти пятьдесят лет длился труд Георгия Бакалова — выдающегося болгарского критика, публициста, историка, литературно-критической деятельности которого посвятил свою книгу Желю Авджиев. Страстный борец против буржуазной идеологии, организатор передовых сил отечественной литературы, Бакалов с 90-х годов прошлого века и вплоть до последних своих дней переводил, издавал и пропагандировал произведения русских и советских писателей.

Болгарский критик ценил народный, свободолюбивый характер русской литературы и отмечал ее влияние на развитие литературы у себя на родине. «Самые большие наши писатели,— отмечал он в одной из статей,— были учениками русской литературы». Особое значение для развития литературы Болгарии во второй половине XIX века придавал он поэзии Некрасова. В письме к Максиму Горькому (7 апреля 1928 года) Г. Бакалов писал: «Из всех художников русского слова глубочайшее влияние на передовых борцов Болгарии оказал Некрасов».

Вынужденный в 1925 году эмигрировать из Болгарии, Г. Бакалов несколько лет (1925—1926, 1929—1932) прожил в Москве, где развернулась его большая общественная, литературная и научная деятельность. Страстной любовью к Советскому Союзу проникнуты статьи Бакалова о советской литературе, написанные им по возвращении в Болгарию. Несмотря на условия фашистского режима, он вел борьбу с антисоветской пропагандой, отражая нападки и клеветнические измышления на страну победившего пролетариата. В предисловии к книге «Интервью о Советском Союзе» Бакалов заявил: «Мы долгое время имели возможность наблюдать и изучать новую жизнь. Это самые счастливые наши годы: своими глазами увидели мы начало осуществления того социалистического идеала, которому мы посвятили себя».

Интересны страницы книги об отношениях Бакалова с Горьким и Маяковским. Высоко ценя «буревестника пролетарского освобожде-

ния», как Бакалов называл Горького, он еще в 1901 году перевел и издал рассказ «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины». Произведения Горького Бакалов переводил в течение всей своей жизни «Никакой иностранный писатель,— отмечал Бакалов,— не переводился столько на болгарский язык, сколько Горький». Некоторые произведения великого русского художника слова переводились им с рукописи или с корректур русского издания. Роман «Мать» Бакалов перевел с еще не сброшюрованных страниц, до выхода книги в свет.

В 1927 году, находясь во Франции, Бакалов обратился к Горькому с призывом принять участие в кампании в защиту жертв белого террора в Болгарии. В своем ответе Горький писал: «В склонность правящих классов к великодушию я никогда не верил... Поэтому просить амнистии для болгарских мучеников у болгарских мучителей я не стану». Горький разрешил опубликовать его письмо. Оно было напечатано в легальном органе болгарской компартии «Новини» и содействовало борьбе против фашистского террора.

В том же 1927 году в Париже Бакалов встретился с Маяковским. И при личной встрече и в последующих своих письмах к советскому поэту Бакалов советовал ему перевести поэму «Сентябрь» Гео Милева, которой болгарский критик дал высокую оценку. «Озаренная трагической смертью ее автора (Гео Милев был умерщвлен охранкой.— *Л. Е.*), поэма стала еще более близкой рабочим и крестьянам». К сожалению, Маяковскому не удалось сделать перевод этой поэмы.

Г. Бакалову принадлежит большая заслуга в ознакомлении советской общественности с важными фактами болгарской литературы и истории русско-болгарских культурных и революционных связей.

В 1930 году на русском языке вышли избранные произведения Христо Ботева. Написанная с большой любовью к великому поэту-революционеру, вступительная статья Бакалова верно определяла его место в истории общественной мысли и литературы Болгарии.

В 1929—1932 годах в советских газетах и журналах печатались стихи большого пролетарского поэта Христо Смирненского с вводными статьями Бакалова. В 1935 году при участии Г. Бакалова вышла в свет книга Смирненского «Да будет день!». Характеризуя роль Х. Смирненского в болгарской литературе, критик писал: «...Пока болгарский пролетариат дышит, страдает и борется, тоскует и надеется, поэзия Смирненского будет вдохновлять его на подвиги и на победу».

В своих статьях Бакалов устанавливал преемственную связь пролетарской поэзии, возникшей в Болгарии под влиянием Великого Октября, с поэзией национально-освободительного движения. Отмечая, что революционная беллетристика у него на родине только еще зачинается (из молодых прозаиков он называл имена К. Велкова, Г. Караславова, К. Белева, А. Тодорова), Бакалов призывал болгарских писателей к созданию произведений, насыщенных пафосом борьбы за революционное изменение действительности.

Верно подчеркивая огромную значимость идейной направленности произведения, критик порой впадал в односторонность. Преодоление Болгарской коммунистической партией левосектантских ошибок помогло ему самокритично пересмотреть некоторые свои неправильные положения, шире подойти к проблеме литературного наследства.

Кирилл Бабов и Желю Авджиев написали хорошие, полезные книги о своих замечательных соотечественниках.

Л. Ерихонов

Клод Оливье покидает мир авантюристов

Paul Vialar. Le Temps des imposteurs. Paris, Flammarion, 1960.

Поль Виалар — ветеран двух мировых войн, участник движения Сопротивления — видная фигура в современной французской литературе. За сорок лет напряженной творческой жизни он написал ряд крупных произведений, воссоздающих широкую панораму жизни буржуазной Франции первой половины XX века.

Новый роман Виалара «Время авантюристов» входит в серию «Французская хроника XX века». Здесь вы встретите и роман о военных («Под знаком Марса»), и роман об адвокатах («Черные мантии»), о политических деятелях и парламентских нравах («Базар республики») и другие.

«Время авантюристов» — книга о современной французской молодежи. В центре романа — судьба двух молодых людей: честного, талантливого, но слабовольного Клода Оливье и честолюбивого, не брезгующего никакими средствами для достижения поставленной цели Жерара Орнасье. Их случайное знакомство, начавшееся во время бегства из Парижа в июне 1940 года, длилось добрых полтора десятка лет.

Во время войны, когда лучшие сыны Франции вступили в ряды Сопротивления, ни Оливье, ни Орнасье не стали истинными борцами. Первый потому, что боялся попасть в руки фашистов и под пытками выдать товарищей. Второй потому, что не хо-

тел рисковать собой, не видел для себя в этом выгоды. Оливье стыдился своего страха. Все последующие годы он преклонялся перед памятью товарища, замученного в гестапо. Орнасье же, занимавшийся в дни войны различного рода спекуляциями, примазался к Сопротивлению, когда исход великой битвы стал ясен. Не о родине, не о тысячах замученных французов думал он, а лишь о наживе, о власти.

И вот мы видим, как этот человек с нечистой совестью становится сначала редактором газеты, а затем прибирает к рукам издательство, радио и телевидение. Путь Орнасье — шантаж, подлость, подкуп.

На смену героическим временам Сопротивления пришли иные времена, иные люди, говорит писатель. Настало время ловкачей и авантюристов. Это они на крови тысяч погибших французов ткут паутину своих грязных делишек, опутывая этой паутиной всю жизнь страны, затягивая в свои сети неискушенных людей, и в особенности молодежь.

Вскоре после войны Клод Оливье познакомился с девушкой-сиротой. Ее тоже зовут Клод Оливье. Они полюбили друг друга. Девушка верит в талант Клода и побуждает его написать роман. И вот книга закончена. Стесненные жизненные обстоятельства толкают подругу Оливье на нечестный шаг: один из парижских дельцов — приятель и партнер Орнасье по темным махинациям — предлагает ей ради рекламной шумихи и крупных барышей выдать роман за свое произведение. Даже не посоветовавшись с Клодом, она соглашается. Этот трюк приносит молодым Оливье деньги, но лишает их самого большого богатства—взаимного доверия

Итак, сделан первый шаг по крутой лестнице подлости. Вскоре Орнасье впутывает в грязную аферу и Оливье, предложив ему стать идейным пророком абстрактной школы в живописи под красноречивым названием «Искусство ни о чем». Эта школа нужна была Орнасье и его клике для извлечения новых барышей.

Теперь Оливье богат и известен. Но это не принесло ему ничего, кроме духовного опустошения. Клод понимает, что является лишь игрушкой в руках авантюристов, что его окружают ложь и обман, что и сам он стал лжецом и обманщиком. «К чему все это»,— думает он, с сожалением вспоминая о прошлой полуголодной, но честной жизни. «У меня сохранились все признаки существования, но я уже ничто... Нас нет. Только видимость. Мы мертвы».

И это не позерство. С Оливье произошло самое страшное, что может произойти с человеком: он жив, но его нет. Моральная смерть — вот к чему приводит компромисс порядочного человека с людьми типа Орнасье. Клод порывает с Орнасье и его кликой и решает покинуть опостылевший Париж. Но он собирается вернуться в ненавистный ему мир — вернуться другим человеком. «Мы еще вернемся»,— восклицает Клод.

Роман — своего рода отклик писателя на литературу отчаяния, безнадежности и неверия в человека, получившую во Франции распространение в послевоенные годы. В противовес некоторым французским писателям, кричащим об отсутствии идеалов у послевоенной молодежи, о моральной и духовной опустошенности молодого поколения, играющего в безразличие и глубоко не удовлетворенного своей жизнью, Поль Виалар попытался не только найти социальные и моральные причины, породившие «молодежь без будущего», но и показать, как лучшие представители этой молодежи страстно ищут выхода из создавшегося положения.

Эти поиски выхода бесконечно далеки от мысли о социальных изменениях, они туманны и неопределенны: Поль Виалар — буржуазный писатель, и он сам, в сущности, не видит пути, по которому следует идти Клоду Оливье. И все же финал романа звучит жизнеутверждающе: его автор верит, что в среде французской молодежи есть силы, готовые порвать с окружающей ложью, верит, что будущее за ними.

В. Фиников

За колючей проволокой

Per Wästberg. Förbjudet område. Stockholm, Åhlén & Åkerlund, 1960.

На обложке книги молодого шведского писателя Пера Вэстберга «Запретная зона» фотография высокого забора из колючей проволоки, на который с гневом и болью смотрит человек. Человек этот — негр

И когда читаешь книгу Вэстберга, не можешь расстаться с мыслью, что забор из колючей проволоки, за которым томятся сегодня сотни лучших сынов африканского народа, населяющего Родезию и Ньясаленд, является символом страны, где триста тысяч европейцев господствуют, а около семи миллионов цветных находятся у них в рабстве.

В декабре 1958 года Пер Вэстберг получил литературную премию международного Ротари-клуба, что дало ему возможность осуществить давнишнюю мечту — побывать в Африке.

И вот Пер Вэстберг с женой приземляются на аэродроме в Солсбери, столице Федерации Родезии и Ньясаленда. Чиновник иммиграционной службы, прежде чем дать разрешение на проживание в стране, требует,

чтобы встречающие Вэстбергов представители местного Ротари-клуба подтвердили, что его пребывание «не угрожает расовой гармонии и политической стабильности в Федерации».

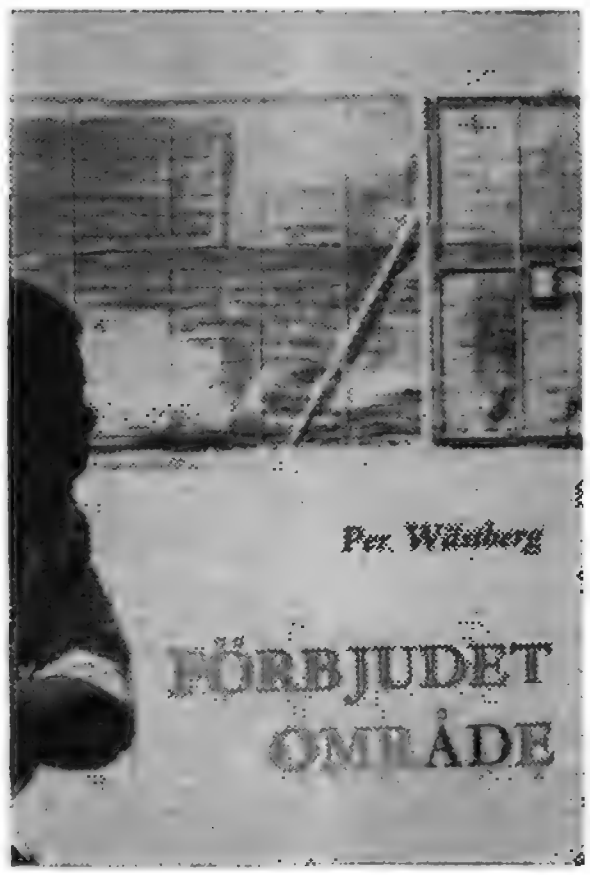
Вэстбергов приглашают погостить весьма респектабельные супруги Парди, представляющие собой сливки местного белого общества, они окружают их вниманием, развлекают, вводят в свет.

Но Пер Вэстберг приехал в Африку не для того, чтобы веселиться в обществе белых плантаторов, промышленников, торговцев и политиканов. Ему хочется узнать и увидеть собственными глазами, как живет коренное население, каковы взаимоотношения между каплей европейцев и океаном африканцев, в чем заключается пресловутая «расовая гармония и политическая стабильность», столь широко рекламируемая официальной пропагандой.

Сначала ответ на эти вопросы Вэстберг пытается найти у людей, окружающих его на ферме супругов Парди. Все эти преуспевающие, самодовольные господа, владельцы плодороднейших земель, хозяева фабрик и банков, бизнесмены и политические воротилы не только убеждены сами, но и стараются убедить других, что вся их деятельность направлена на благо африканского населения.

Но вот в разговоре милая, интеллигентная миссис Парди заявляет: «Средний африканец... Я хорошо к нему отношусь, но ведь он ничего не может поделать с тем, что его раса осуждена на то, чтобы в течение тысячелетий оставаться людьми каменного века»

С нескрываемой иронией и сарказмом Пер Вэстберг пишет: «Я перелистывал брошюру о счастливых туземцах Южной Родезии, но меня утомило описание больниц, школ и прочая



ободряющая статистика. Из брошюры было видно, что белые пришли в Африку ради блага черных, что черные, в горе и радости, преданы своему белому отцу и что все идет так, как и должно идти. Однако диктор, скрывавшийся в нашем приемнике, видимо, не был знаком с этой маленькой брошюрой. Он передавал печально известные сообщения о том, что жандармерия то здесь, то там «была вынуждена открыть огонь». А в передовой статье воскресной газеты «Санди мейл», озаглавленной «Долой шелковые перчатки», говорилось, что участников беспорядков и народные сборища нужно разгонять не бомбами со слезоточивым газом и словесными приказами расходиться, а смертоносными пулями

Ответ на волновавшие его вопросы писатель нашел в трущобах негритянских кварталов, во время дружески откровенных разговоров с их обитателями. Вэстберг встретился со скрывающимися от преследования полиции деятелями национально-освободительного движения, он побывал в огромном концентрационном лагере в Кентукки, где томятся тысячи африканцев, единственная вина которых заключается в том, что они беззаветно любят свою угнетенную родину, свой обездоленный народ.

Грубая расовая дискриминация, варварские расистские законы, лишающие цветное население элементарных человеческих прав, жесточайшее подавление малейшего недовольства — вот чем на деле оказывается этот «рай» для цветных.

Пер Вэстберг стал свидетелем событий 1959 года в Родезии и Ньясаленде, когда правительство расиста Роя Веленского жестоко подавило развернувшееся под руководством Африканского национального конгресса освободительное движение в стране. Эту единственную в Федерации оппозиционную партию объявили вне закона. Рядовые члены партии и ее руководители, а также сочувствующие ей без суда и следствия были брошены в тюрьмы и концлагеря. Но властям не удалось сломить волю и решимость народа, пробудившегося к борьбе за свое освобождение.

Обо всем этом рассказывает Пер Вэстберг в своей книге «Запретная зона». Сила книги — в документальной достоверности, искренности и волнующей правдивости, в уверенности ее автора в неизбежном торжестве правого дела. Не случайно статьи Вэстберга о событиях 1959 года, которые легли в основу этого произведения, вызвали негодование расистов и послужили причиной высылки их автора из Федерации.

На прощание один из новых африканских друзей сказал Вэстбергу: «Все, что делает Родезию такой, какая она есть сейчас, объясняется господством несправедливости, и, когда эта несправедливость будет уничтожена, страна возродится».

В. Федосеев

НА ВСЕХ языках

Издательство «Ауфбау» (ГДР) выпустило ряд произведений А. М. Горького, в том числе «Мать», «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Матвей Кожемякин», «Сказки об Италии».

Печать ГДР особо выделяет появление романа «Клим Самгин», называя его «эпосом предреволюционной России».

□

Парижское издательство Клуба друзей прогрессивной книги, как сообщает газета «Юманите», выпустило в свет трилогию А. М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты».

□

Молодой албанский поэт Смил Кадарэ, по сообщению газеты «Зери и ринис», закончил работу над переводом поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах». Отрывки из этой поэмы напечатали тиранские газеты.

В Албании стихи Маяковского переводили поэты Лазар Силичи, Лясгуш Порадеци, Фатмир Дьята; они познакомили читателей с основными произведениями поэта, в том числе и с поэмами «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!».

□

«Мистер Шолохов,— пишет рецензент пакистанского журнала «Иллюстрейтид уикли оф Пакистан»,— является прославленным писателем Советского Союза. Написанный им роман «Тихий Дон» был высоко оценен на Западе и на Востоке и неоднократно переводился на языки разных народов мира. Свыше тридцати лет писатель посвятил созданию романа «Поднятая целина», и его труд заслуживает всяческих похвал. Книга волнует читателя и дает ясную картину исторических событий, происходивших в СССР».

Излагая содержание романа «Поднятая целина», рецензент отмечает, что уже с первых глав Михаил Шолохов вводит читателей в напряженный круг событий, развернувшихся в Гремячем Логе.

Рецензент подчеркивает, что финал романа «не только поэтичен, но и художественно оправдан».

□

Издаваемый университетским колледжем в Аккре (Гана) бюллетень «Лайбрэри бюллитен» сообщает, что фонды университетской библиотеки пополнились книгами советских авторов. Среди этих книг — переведенные на английский язык повести А. М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты», а также сборник его избранных рассказов; «Хождение по мукам» А. Н. Толстого; «Тихий Дон» М. А. Шолохова; «Как закалялась сталь» и сборник статей, речей и писем Николая Островского; рассказы А. С. Серафимовича; повесть Леонида Соболева «Зеленый луч».

Гравюра на дереве чехословацкого художника Ярослава Луковского к поэме Владимира Маяковского «Во весь голос», отрывки из которой напечатаны в качестве приложения к пражскому журналу «Пламен».

□

Под названием «По южным ледяным полям» в венгерском издательстве «Танчич» вышел перевод произведения Юхана Смуула «Ледовая книга», отмеченного Ленинской премией.

«В этой книге, написанной в форме дневника,— отмечает еженедельник «Элет эш иродалом»,— Смуул поднимает много важных и серьезных вопросов: международное положение и состояние современной литературы, взаимоотношения людей, понятие героизма и т. п. Теперь ведется много споров о «герое нашей эпохи». Можно ли считать таковыми героев «Ледовой книги»? Несомненно. Они скромны, полны страсти, знают свое дело, совершают героические подвиги в борьбе с природой... Книга Юхана Смуула, повествующая о краях и людях, судьбах и событиях, согретая глубокой человечностью и проникнутая мягким и тонким юмором,— большая творческая удача автора».

Финский поэт и литературный критик Армас Эйкия в статье «Неруда, Арагон, Твардовский. Три самых значительных лирических произведения прошлого года», опубликованной газетой «Кансан уутисет», пишет, что наряду с «Песнью о подвиге» Пабло Неруды и «Поэтами» Луи Арагона надо отметить поэму Александра Твардовского «За далью — даль». Армас Эйкия выделяет общую черту у чилийского, французского и советского поэтов — любовь к родине, пронизанная идеями социалистического интернационализма. По словам Эйкия, три поэта выступают как авторы эпических произведений, повествующих об истории своего народа, о его сегодняшнем и завтрашнем дне.

□

Итальянское издательство «Мондадори» в серии романов «Медуза», редактируемой писателем Элио Витторини, выпускает роман Леонида Леонова «Русский лес»в переводе Альберто Пешетто.

Вкратце изложив содержание книги, газета «Унита» пишет, что ее «можно назвать широкой картиной событий... «Русский лес» по смелости, с которой в нем поставлены проблемы эпохи, больше всего напоминает «Что делать?» Чернышевского».

□

Три тома сочинений А. С. Макаренко вышло в римском издательстве «Эдитори риунити» в общедоступной серии «Карманная библиотека».

Изданы и другие произведения Макаренко — «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях».

□

Высоко оценен болгарской критикой роман Константина Симонова «Живые и мертвые», переведенный А. Далчево.

Газета «Отечествен фронт» пишет: «Сила трагизма в романе «Живые и мертвые» состонт в том, что он не является самоцелью, а играет подчиненную роль, он осмыслен исторически. Утверждение исторически неизбежной победы социалистического отечества — альфа и омега гражданского пафоса романа, основа его идейно-художественного единства».

□

«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, недавно переведенная на индонезийский язык известным писателем Прамудья Ананта Тур, была с интересом встречена читателями.

«Не вызывает сомнения,— пишет газета «Хариан ракьят»,— что перевод этой книги явится крупным вкладом в дело развития дружественных связей между советским и индонезийским народами».

□

Выходящий в Риме журнал «Эуропа леттерариа», выпускаемый Европейским сообществом писателей, поместил в одном из своих последних номеров переводы стихов советских поэтов Алексея Суркова и Евгения Евтушенко.

Произведения Веры Пановой — «Ясный берег», «Кружилиха», «Времена года», «Девочки» и «Сережа» — выпустило в свет издательство «Эдитёр франсе реюни».

Сравнивая образы детей у Пановой и в книгах французской писательницы Колетт и американского писателя Сарояна, Андре Стиль пишет в «Юманите», что оптимизм Веры Пановой не нуждается в точных формулировках: им пронизаны мысли детей — ее героев, он подразумевается в «ощутимом, ежедневном братстве, которым проникнуто все общество, где человек стал наконец человеком для человека».

□

«Борьбе за преобразование целинного края, этому благородному, великому делу советской молодежи посвящен новый роман Михаила Бубеннова «Орлиная степь»,— пишет болгарская газета «Кооперативно село».— Роман Михаила Бубеннова прославляет самоотверженный труд советской молодежи. В этой книге с необыкновенной силой выражено величие и романтика повседневного труда. Писатель высоко оценивает работу тружеников полей, их целеустремленность и скромность. Бубеннов долгое время был на целине, наблюдая грандиозную борьбу с природой, формирование коммунистического коллектива... Это волнующая поэма о трудовых подвигах людей».

Перевод романа на болгарский язык сделан Георгием Жечевым.

□

Повесть Юрия Либединского «Неделя», по сообщению еженедельника «Зоннтаг», вышла в берлинском издательстве «Дицферлаг» (ГДР).

□

Западногерманское издательство «Фишер-ферлаг» выпустило сборник стихов Сергея Есенина.

Журнал «Бюхер-комментаре» пишет, что появление этого сборника будет с интересом встречено читателями, тем более что Есенин был им недостаточно известен. Главное в стихах Есенина, отмечает журнал,— это «чистый тон», потрясающая сила лиризма, связь с природой.

□

Под названием «Потонувший путь» в издательстве Котта (ФРГ) вышел роман Михаила Пришвина «Осударева дорога».

По словам журнала «Бюхер-комментаре», «Осударева дорога» — это «песнь песней человеческому труду и человеческому разуму». Через все творчество Пришвина проходит вера в хорошее начало человека. «Едва ли в европейской литературе что-либо может сравниться с безыскусственной прелестью и силой описаний природы у Пришвина»,— пишет в заключение журнал.

□

Роман писателя Алексея Новикова «О душах живых и мертвых», по сообщению еженедельника «Литературен фронт», вышел в серии «Мировые образы», выпускаемой болгарским издательством «Народна култура». Переводчик книги — Ек. Станчева.

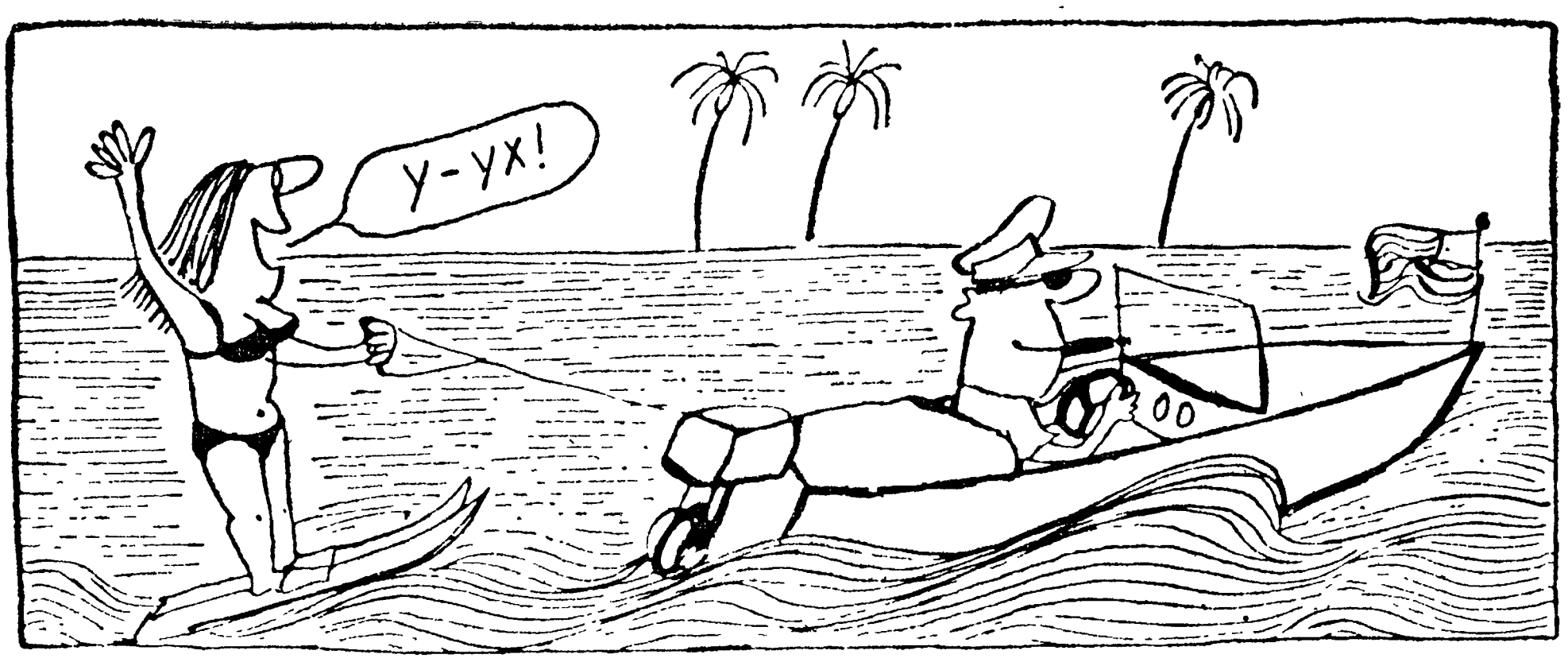
Зарубежная карикатура

РОМАН ПРО ЛЮБОВЬ

(Вместо рецензии)

Редакция французского еженедельника «Экспресс» откликнулась на выход нового романа Франсуазы Саган «Чудесные облака» необычным образом — она опубликовала пересказ романа в рисунках, принадлежащих перу популярного карикатуриста Сине.

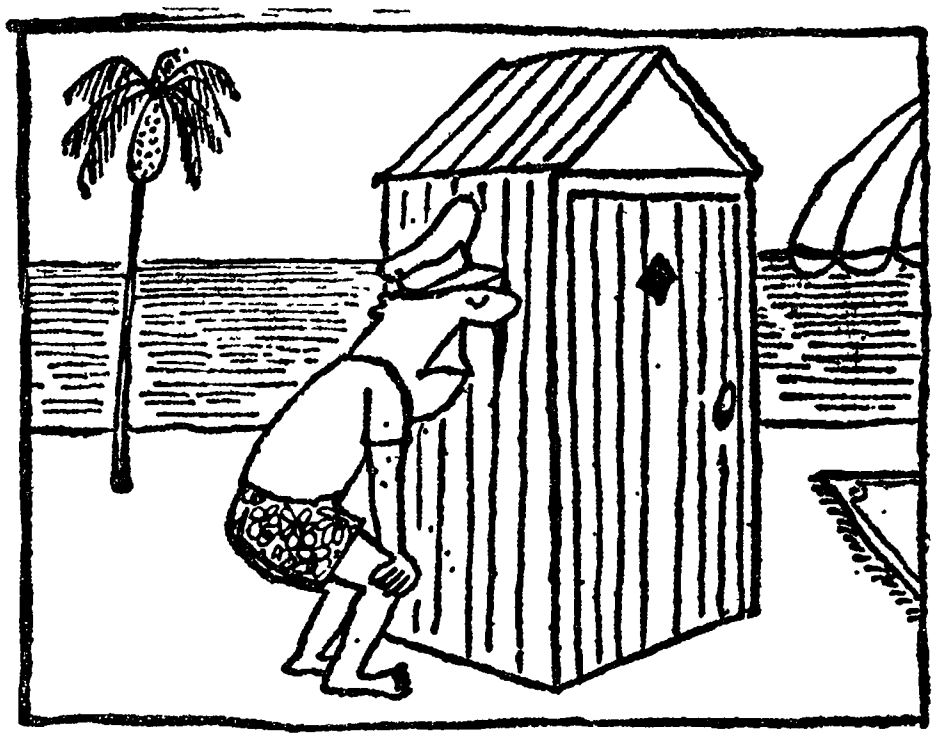
Мы воспроизводим эту «рецензию», присоединяясь к тому вздоху облегчения «Уф!..», которым она заканчивается.

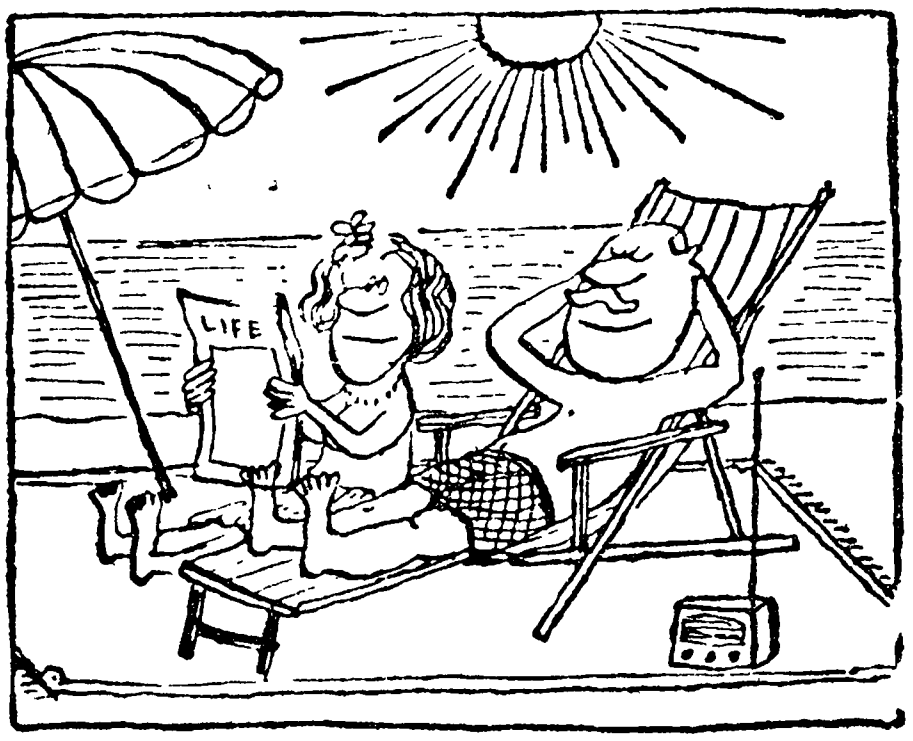


Жозе со своим мужем Аланом находится на курорте во Флориде Она — француженка, он — американец, разумеется очень богатый и очень красивый, но полный всяких комплексов.

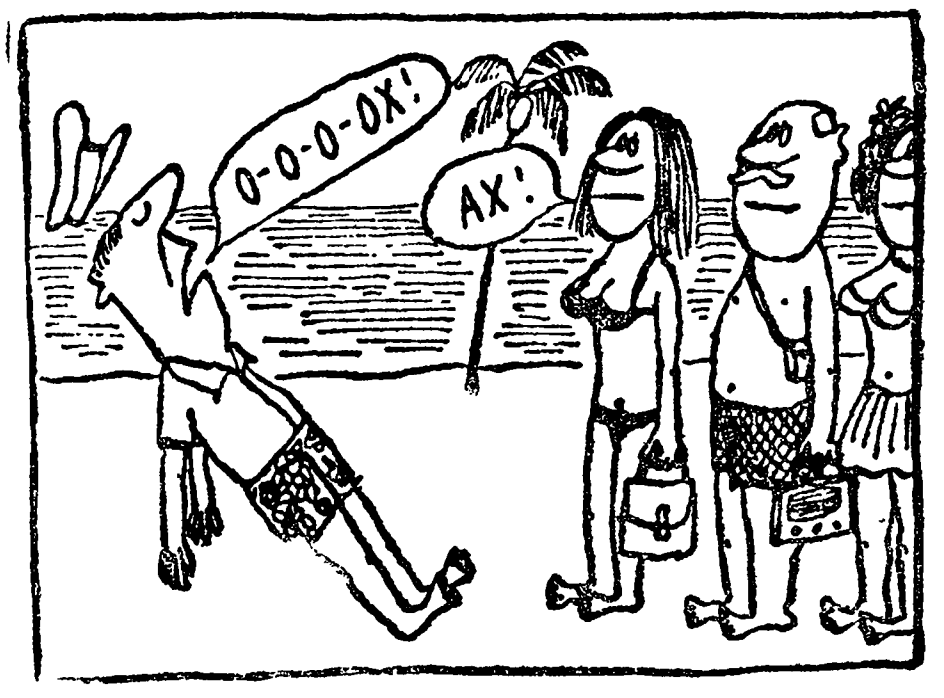
Вдобавок его опекает мать, которая во все вмешивается и злоупотребляет своими родительскими правами.

Алан болезненно ревнив и непрестанно следит за своей женой.

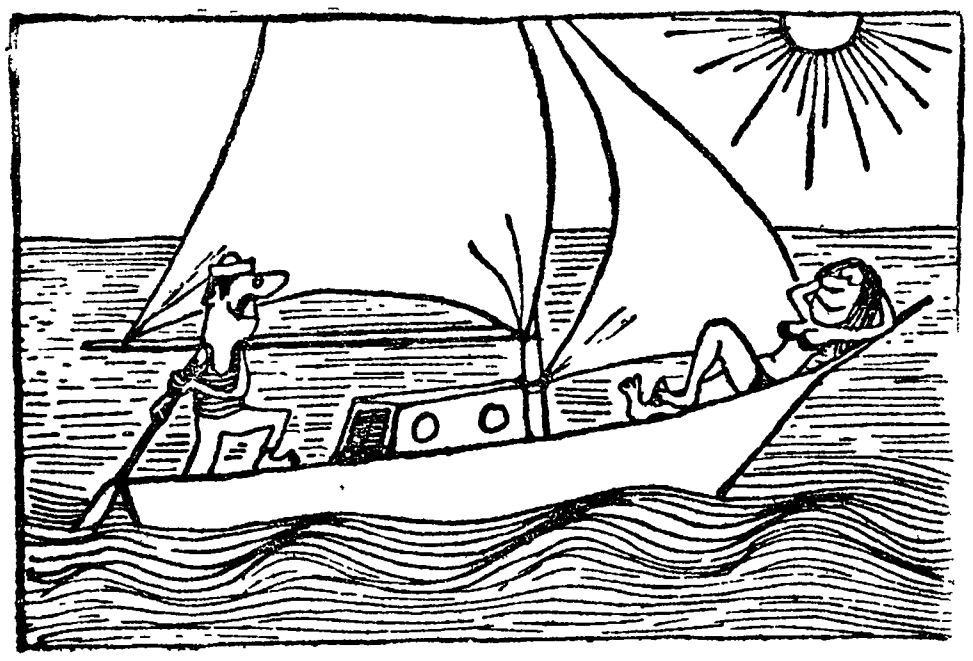




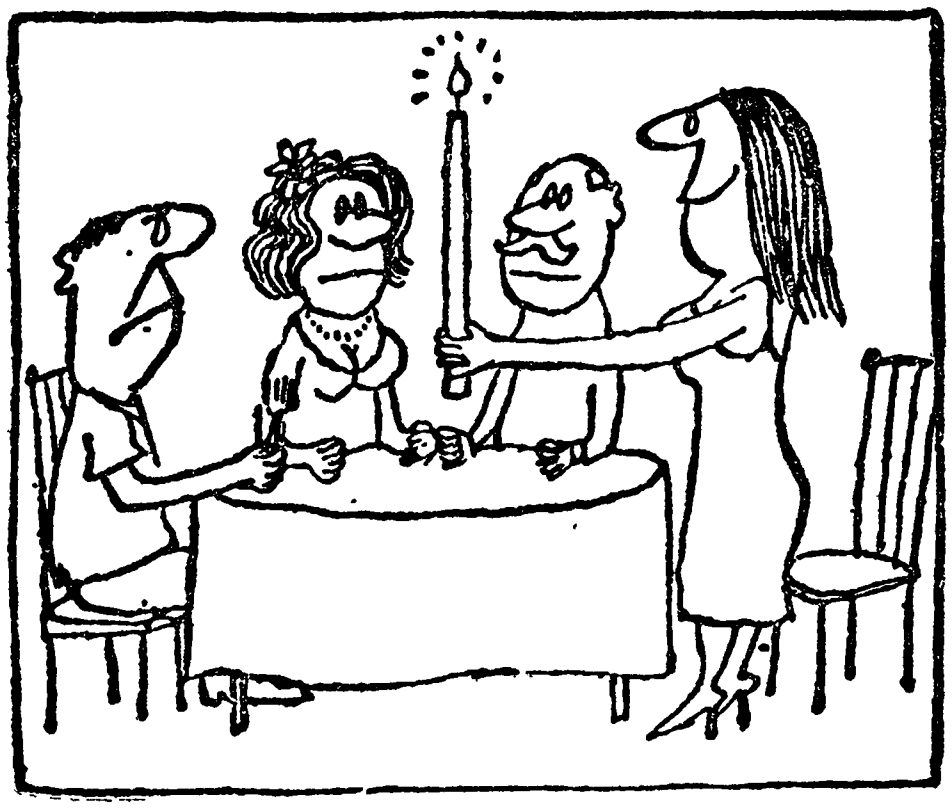
Вместе с ними на курорте отдыхает более пожилая чета. Алан подозревает (без оснований), что жена изменяет ему, и даже пытается спровоцировать ее на измену.



Для этого он устраивает экскурсию и в последний момент, когда все четверо должны отправиться в путь, симулирует недомогание.

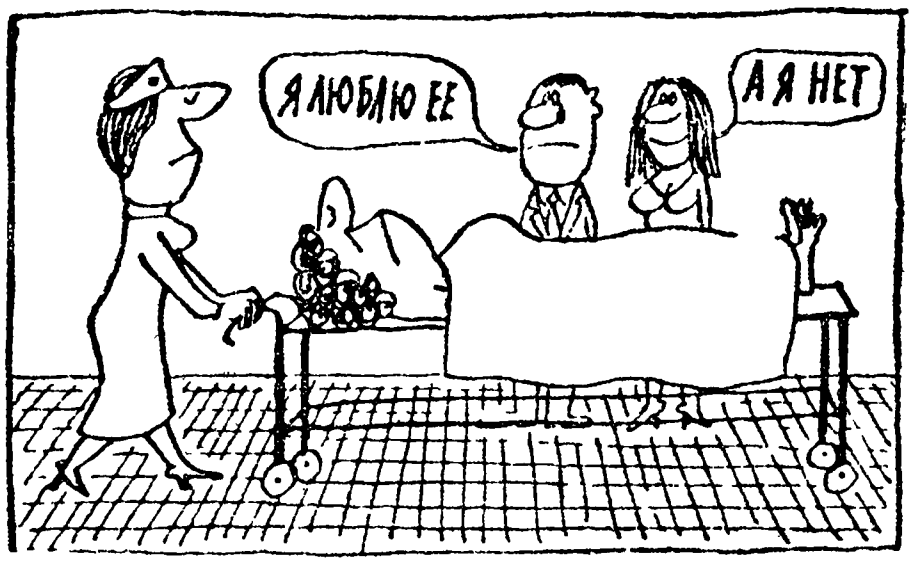


Он рассчитывает удержать от поездки жену своего друга и сделать так, чтобы Жозе одна поехала с ее мужем. Но та ухитряется уехать одна... с матросом. В пути матрос решает воспользоваться случаем, и Жозе уступает его желанию.



Вечером они возвращаются. Обедая с мужем и со второй четой, Жозе требует свечу, чтобы отметить знаменательное событие впервые со дня свадьбы у нее есть любовник...

Признание Жозе влечет за собой немедленное последствие Алан решает развестись с ней. Он звонит по телефону в Нью-Йорк своей матери (которая злоупотребляет родительскими правами) и имеет с ней продолжительную беседу. По окончании этой беседы у него начинается разговор с Жозе, который завершается тем же, чем и всегда они ложатся в постель и констатируют, что, в сущности, не могут жить друг без друга..



Смена декораций. Супругов вызывают в Нью-Йорк. Мать Алана больна, и ей должны делать операцию.

Жозе встречает одного из своих прежних любовников, которого зовут Бернар. Это напоминает ей юность, когда она была свободна. Жозе обедает с Бернаром а муж по прежнему следит за ней с упорством маньяка.

Обед оканчивается вакханалией, во время которой Алан продолжает свои психологические изыскания.

Жозе совершает смелый поступок: уезжает одна в Нормандию. Проскучав там десять дней, она получает письмецо от Бернара в котором он просит ее приехать в Париж.

Она приезжает и возобновляет беззаботную жизнь, которую вела до замужества. Во время одного особенно блестящего коктейля происходит неожиданный поворот: появляется муж Жозе, и ее вновь охватывает былая страсть.

Алан меняет тактику: он прибегает к хитрости, ведет себя как обольститель, и ему удается убедить ее возобновить супружескую жизнь. Они снимают комнату на улице Бак и живут там как влюбленные.

Алан когда-то немного рисовал. Он делает вид, что снова заинтересовался живописью, пишет картины и предоставляет Жозе возможность жить своей жизнью.

Она опять начинает бегать с одного коктейля на другой. Иногда он сопровождает ее. Однажды он встречает Дору, которая до безумия влюбляется в него. Она уже была знакома с Жозе до ее замужества. Жозе очень забавляет страсть Доры. Алану импонирует это увлечение,

но он продолжает ревновать Жозе. Дора организует ему выставку, которая имеет большой успех.

Во время вернисажа Жозе встречает еще одного из своих прежних любовников — Марка. Хотя Жозе все еще немножко влюблена в своего мужа, но, чтобы освободиться от этого чувства, она изменяет ему с Марком.

Жозе была убеждена в том, что по указанию мужа за ней следят, но потом констатирует, что ничего подобного не было. Тогда она признается ему в измене. «Чудесные облака» рассеиваются. Игра окончена. Уф!..

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

«ДУНАЙ ПРОТЕКАЕТ МИМО»

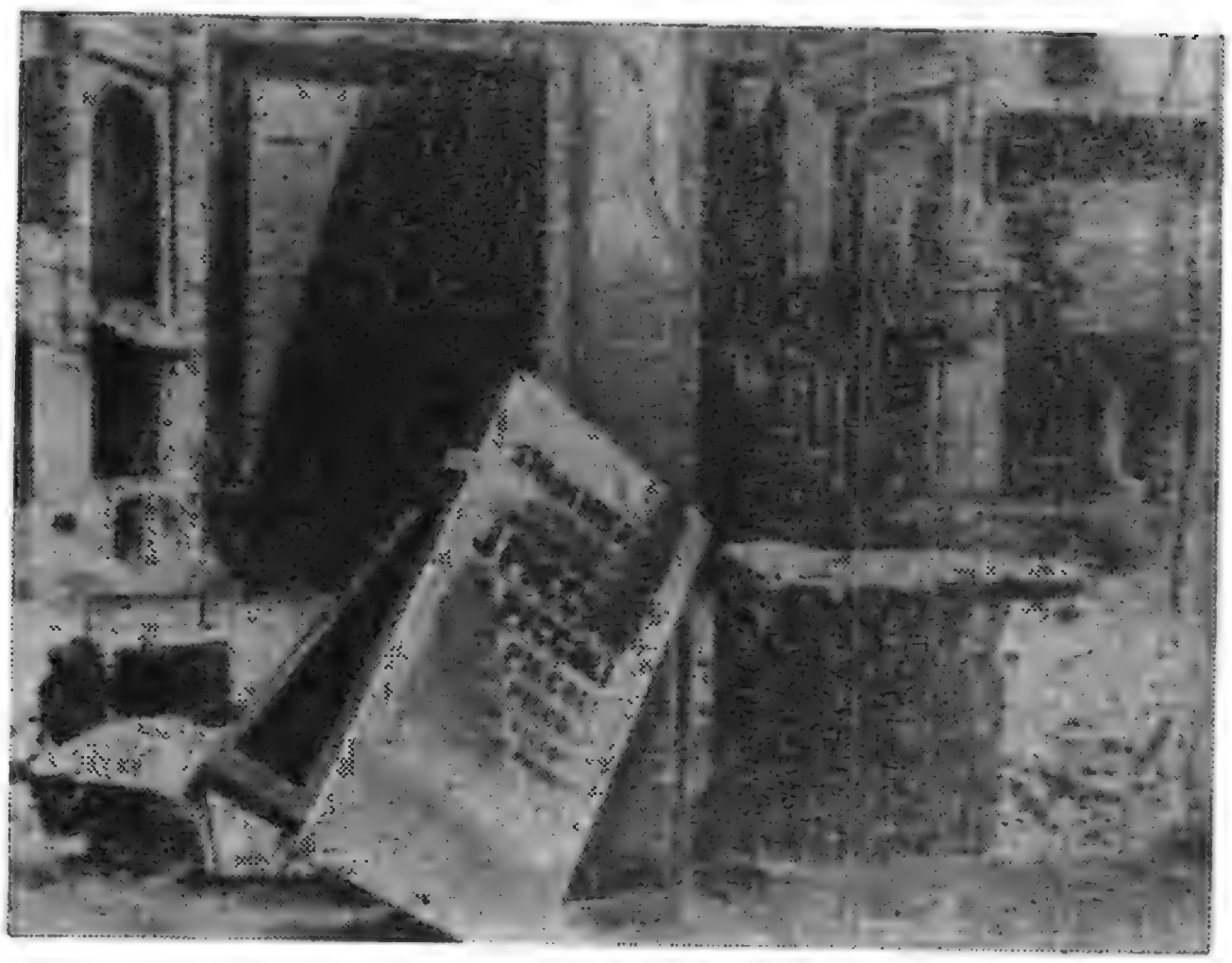
«Если у талантливого писателя есть голова на плечах и сердце, чтобы чувствовать и понимать пульс современной жизни, он не будет искать материал для своих произведений где-то в средних веках или в полете абстрактной фантазии», — пишет газета «Фольксштимме», рецензируя изданную в Линце новую повесть Франца Кайна «Дунай протекает мимо».

В произведении Кайна рассказывается о жизни простых молодых людей Австрии, покинувших ради заработка деревню и не нашедших лучшей доли в городе.

Фердинандом — героем повести — владеет одно желание: скопить в городе деньги на собственный дом. Отказывая себе во всем, он надрывается в работе. По убеждению Фердинанда, прибывшая с ним из деревни невеста полностью разделяет его планы. Но Катарина, работающая официанткой, предпочитает наслаждаться «легкой жизнью». Она сходится со спекулянтом Люкингером. Однако ее призрачное «счастье» продолжается недолго. Тело спекулянта находят в водах Дуная среди городских отбросов...

По мнению «Фольксштимме», произведение Франца Кайна может быть отнесено к лучшим образцам современной австрийской литературы, «перед читателем повесть раскрывает социальные проблемы современной австрийской молодежи».

«Венские театры умирают. Скоро последние кирпичи Государственного театра падут под ударами кирки»,— такой надписью газета «Фольксштимме» сопровождает фотографию разрушаемого Государственного театра в Вене.



АЛБАНИЯ

РАССКАЗЫ О ПАРТИЗАНАХ

Тема партизанской войны — одна из главных тем новой албанской литературы. Партизанам посвящен сборник, вышедший недавно в Тиране. В этом сборнике опубликованы дневники военных лет, воспоминания и рассказы участников борьбы за освобождение.

Как пишет газета «Зери и популлит», сорок восемь авторов, представленных в этом сборнике, не являются профессиональными литераторами, тем не менее им удалось нарисовать портреты народных героев, воспроизвести эпизоды партизанской войны в горах.

РУССКИЕ КЛАССИКИ НА АЛБАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Литературовед Экрем Биб пишет в журнале «Мичесия», что русские классики занимают первое место среди издаваемых в Албании переводов произведений мировой литературы. Читатели получили первую часть «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, изданы стихи М. Ю. Лермонтова, повести И. С. Тургенева, рассказы А. П. Чехова. Готовятся к печати «Анна Каренина» и «Воскресение» Льва Толстого. Впервые на албанский язык переведено произведение Ф. М. Достоевского — роман «Преступление и наказание».

В этом году в Тиране вышел сборник статей о русской литературе, включающий работы В. Г. Белинского, Г. В. Плеханова, А. В. Луначарского, А. М. Горького.

АНГЛИЯ

ИНИЦИАТИВА ДРАМАТУРГА УЭСКЕРА

Молодой английский драматург Арнольд Уэскер еще на прошлогоднем конгрессе тред-юнионов призвал профсоюзное движение принять более активное участие в культурной жизни страны. Недавно организованный им «Центр 42» объявил, что его задача — сблизить профсоюзы с представителями искусства и добиться ассигнований для развития изобразительного искусства, театра, музыки и кино. Ближайшая цель — получить в этих целях 300 000 фунтов, которые пойдут на создание культурных центров в различных городах Англии.

В совете «Центра 42», как сообщает газета «Дейли уоркер», принимают участие председатель Британского совета профсоюзов Тэд Хилл, генеральный секретарь профсоюза транспортных рабочих Фрэнк Казинс, член парламента Дженни Ли (вдова покойного Бивена) и другие.

«Мы установим,— заявил Арнольд Уэскер,— самые тесные связи с заводами, учреждениями и школами».

ВСЕГДА — В ГУЩЕ БОРЬБЫ

Дэвид Лэмберт занимает особое место в современной английской литературе, являясь одновременно и писателем и видным профсоюзным деятелем. Недавно он был избран генеральным секретарем объединенного профсоюза литейщиков Англии. Автор двух романов, тридцатидевятилетний писатель сейчас работает над своим третьим романом, входящим в трилогию о жизни английского рабочего класса. Об этой трилогии, о своих взглядах на литературу и на роль писателя Дэвид Лэмберт рассказал в интервью газете «Дейли уоркер».

Действие первых двух романов Лэмберта относится к 1937 году, когда Англия была поражена массовой безработицей.

— Материал для романов я черпал из окружающей жизни и из своего жизненного опыта,— говорит Лэмберт.— Это не репортаж и не история. Ни один из героев не «списан» с кого-либо в отдельности, такие персонажи встречаются повсюду. Герой моих первых книг Билл Омонд — обыкновенный рабочий-литейщик. А его приключения — плод моей фантазии. Третья книга, которая, как я надеюсь, скоро выйдет в свет под названием «Второе чудо», по моему мнению, в какой-то степени отражает бурные времена, переживаемые нами. На этот раз время действия — шестидесятые годы нашего века. Главное действующее лицо — Джейн О'Брайен — до второй мировой войны работала на конвейере в Клайдсайде. Разочаровавшись в политической борьбе, она решает бежать от всего, жить на покое, где-нибудь в далеких горах своей любимой Шотландии. Однако вскоре она начинает понимать, что ее бегство «не состоялось»: мысль о том, что надо отстаивать

Дэвид Лэмберт.
(Газета «Дейли уоркер»)

мир, не покидает ее, где бы она ни находилась. Она решила было уйти в горы от политики, так политика пришла к ней в горы!..

Я не принадлежу к тем авторам, которые заранее знают, чем окончится то, что они пишут. Я не верю, что человеческую жизнь можно разбить на какие-то равноценные главы, поэтому никогда я не стараюсь забегать вперед и все заранее придумывать за своих героев. И вот, по случайному совпадению, только-только я переместил было Джейн О'Брайен в уединенное местечко в Шотландии, как в конфликт с вымыслом вступила реальная жизнь: в Холи-Лох устроили американскую военную базу!

Отмечая, что его героиня вынуждена вновь окунуться в борьбу против тех, кто пытается развязать силы войны, Дэвид Лэмберт подтверждает, что писатель должен активно участвовать в жизни и бороться за передовые идеи, быть и политиком и активным борцом. Он вспоминает слова, вложенные им в уста рабочего-борца Билла Омонда, героя его первой книги «Вот так он должен жить». Билл Омонд говорит молодому коммунисту Дейву Рэмею: «Те книги, которые нам нужны, никогда не будут написаны попутчиками. Их могут написать только та-

кие люди, как ты или я, люди политической борьбы. Ты должен всегда быть в гуще борьбы. Оторвешься— потеряешь душу и сердце в своей работе».

Дэвид Лэмберт в заключение призывает писателей активно бороться за лучшее будущее. Тема борьбы за лучшую жизнь и за мир, по его словам, должна привлечь к себе все больше и больше людей литературного труда.

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО РОМАНА

Сообщая о выходе труда Лайонеля Стивенсона «История английского ромаиа», еженедельник «Таймс литерари сапплмент» пишет, что уже давно ощущалась необходимость в таком исследовании, охватывающем период с XVI века по пятидесятые годы нашего столетия.

Автору, по словам рецензента еженедельника, удалось показать развитие романа в тесной связи с историческими событиями.

Стивенсон сопоставляет отдельные вехи развития романа в Англии, во Франции и в России, отмечая при этом французское и русское влияния на английский роман, а также влияние этого жанра английской литературы на произведения писателей других европейских стран.

Книга Стивенсона не преследует каких-либо литературно-критических целей и, будучи по своему характеру справочно-информационной, служит, как определяет «Таймс литерари сапплмент», «отличным гидом для того, кто пожелает углубиться в исследование обширной территории истории романа в английской литературе».

ПОХВАЛА... РАБСТВУ

В настоящее время, когда африканский континент сбрасывает последние оковы колониализма, английское издательство Фабер сочло уместным выпустить книгу, в которой доказываются... преимущества рабовладельческой системы!

Автор книги «Дорога к Харперс Ферри» некий Фернейс заявляет, что Африка, собственно, никогда не была раем, и нечего поэтому представлять дело так, будто торговцы рабами ухудшили положение африканцев, увозя их в рабство. На Юге США неграм, по утверждению Фернейса, жилось не так уж плохо и с ними даже «неплохо обращались» (!). Но в основном огонь автора направлен против аболиционистов, требовавших отмены рабства. Вот их-то Фернейс считает бандитами, врагами общества, возмутителями спокойствия и т. п. Фернейсу ненавистны прогрессивные идеи аболиционизма.

Выступив в защиту колониализма и рабства, Фернейс явно угождает всяким куклукскланновцам и расистам. «Дорога к Харперс Ферри», как отмечает печать,— это дорога к мрачным колониальиым временам.

АРГЕНТИНА

«ТАРАС БУЛЬБА» В АРГЕНТИНСКОЙ ПАМПЕ

По сообщению буэнос-айресской газеты «Кларйн», американский кинопродюсер Гарольд Хетч заявил о своих планах производить в Аргентине съемки цветного панорамного художественного фильма «Тарас Бульба» по одноименной повести Н. В. Гоголя.

Хетч, находящийся в Аргентине, отметил, что аргентинская пампа весьма похожа на украинские степи, а аргентинские наездники— мастера верховой езды. В фильме, по его словам, будет занято около 7 500 участников массовых сцен.

На исполнение главных ролей Хетч предполагает пригласить американских актеров.

БОЛГАРИЯ

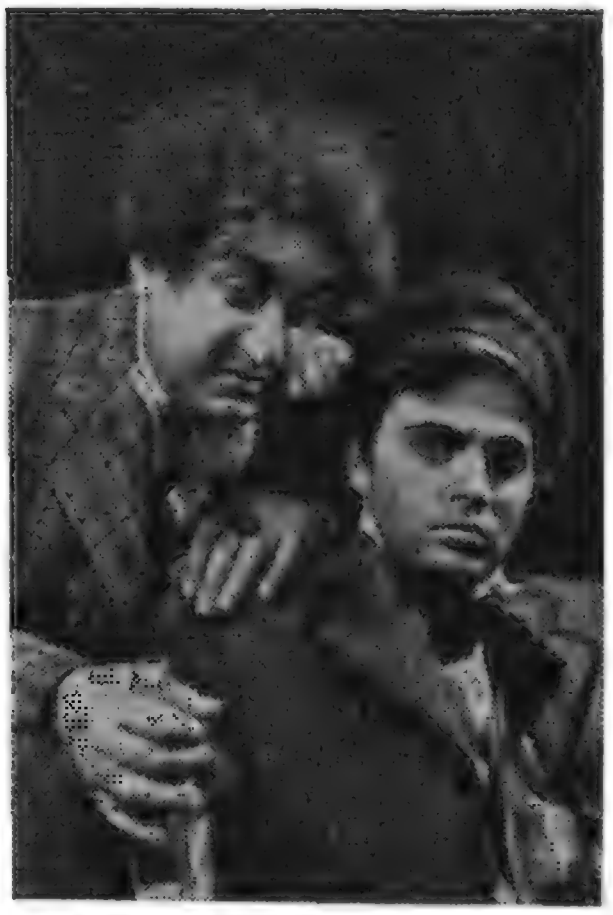
КНИГИ ПАВШИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В тяжелой, продолжавшейся свыше двух десятилетий борьбе против фашистской диктатуры погибли многие деятели культуры Болгарии, в том числе и писатели. Павшие писатели оставили богатое литературное наследство, чаще всего распыленное по разным журналам и газетам, по частным архивам.

Благородным делом сбора и издания наиболее ценных произведений погибших литераторов-антифашис т о в около двух лет занимается издательство Союза болгарских писателей. С этой целью учреждена серия «Писатели, павшие в борьбе против фашизма». Под редакцией Веселина Андреева уже вышли избранные произведения шестнадцати писателей — Николы Вапцарова, Марко Ангелова, Симеона Велчева, Васила Воденичарского, Марина Райче-

Театры Народной Республики Болгарии часто ставят пьесы русских классиков и советских драматургов. Недавно Русенским народным театром им. Савы Огнянова была поставлена пьеса «Без вины виноватые» А. Н. Островского. На снимке: Артисты А. Бечев (в роли Шмаги) и Ц. Дачев (в роли Незнамова) в одной из сцен спектакля.

(Журнал «Театр»)



ва, Николы Гинева, Христо Козлева, Христо Крпачева, Атанаса Манчева, Кирила Маджарова, Ивана Нивянина, Антона Попова, Сергея Румянцева, Цветана Спасова, Гео Милева, Васила Карагёзова.

Все книги снабжены очерками о жизни и творчестве писателей.

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

В Болгарии начала выходить новая двухнедельная газета «Литературни новины», издаваемая Министерством просвещения и культуры. Целью нового печатного органа является информация об издающихся книгах, о творческих планах писателей, о выпуске книжной продукции в братских социалистических странах и во всем мире.

«Без твоего участия, читатель, без твоих мыслей и пера «Литературни новины» не смогут выполнить своих задач,— говорится в первом номере.— Газета ждет твоего слова и принимает тебя на свои страницы как первого автора».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Из печати выходят первые тома тринадцатитомного издания «Болгарское народное творчество». В первые три тома, как сообщает газета «Работническо дело», включены произведения народного, юнацкого эпоса. В конце года предполагается выпустить четвертый том, в который войдут народные баллады и легенды.

БРАЗИЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ЖОРЖИ АМАДУ

Литературная общественность Бразилии отмечает тридцатилетие творческой деятельности Жоржи Амаду, опубликовавшего в 1931 году свою первую книгу «В стране карнавала».

В передовой статье «Жоржи Амаду: 30 лет романа» издающийся в Рио-де-Жанейро журнал «Лейтура» подробно анализирует творческий путь писателя, завоевавшего своими книгами широкую известность как у себя на родине, так и за ее пределами. Напомнив, что произведения Жоржи Амаду переведены на тридцать четыре языка, а его роман «Габриэла» является «наиболее популярной книгой в Бразилии», журнал пишет: «Может ли быть большей слава писателя?»

В ознаменование юбилея Жоржи Амаду издательство «Ливрариа Мартинс эдитора» решило выпустить собрание сочинений писателя, иллюстрированное лучшими художниками Бразилии. Художница Ренина Катс иллюстрирует роман «Подполье свободы». Рисунки выдающегося бразильского художника Эмилиу ди Кавалканти появятся в новом издании романа «Габриэла». В этом же издательстве недавно вышла новая книга Жоржи Амаду «Старые моряки», действие которой развертывается на родине писателя — в штате Баия.

«Жоржи Амаду — тридцать лет в литературе» — под таким названием издательство «Ливрариа Мартинс эдитора» выпускает юбилейный сборник.

В опубликованной газетой «Нотисиас де ой» беседе с корреспондентом агентства «Пренса латина» Жоржи Амаду, недавно избранный членом Бразильской академии литературы, членом-основателем Национальной академии Бразилии, затронул ряд важных вопросов международного положения.

«Все люди мысли и действия Бразилии поддерживают борьбу Кубы»,— заявил писатель. Затем он добавил: «Защищать самоопределение народов — дело чести каждого писателя».

Коснувшись положения в Анголе, Жоржи Амаду сказал, что «Бразилия должна поддерживать борьбу анголезцев, стремящихся к свободе».

В БЕСЕДЕ С АВТОРОМ «ЛИСЫ И ВИНОГРАДА»

Пьеса бразильского драматурга Гильерми Фигейреду «Лиса и виноград» известна во многих странах социализма, в том числе в Румынии, где идет одновременно на нескольких сценах.

Автор этой пьесы, посетив недавно Бухарест, сообщил корреспонденту еженедельника «Контемпоранул», что им завершена работа над новой пьесой, «Мария да Понте», направленной против расовой дискриминации. Драма развертывается в семье белых, где вместе с родной дочерью растет приемный сын — негр. Возвратившись после долгих лет учебы домой, юноша негр влюбляется в подругу детства, но родители препятствуют их браку под всяческими предлогами, скрывая истинную причину. В конечном итоге все же побеждает любовь...

Недавние события на португальском лайнере «Санта Мария» подсказали писателю сюжет сатиры на португальского диктатора Салазара, а также на некоторых латиноамериканских диктаторов.

Фигейреду также написал роман «На окраине Рио». В этом романе показана жизнь бывшей бразильской столицы — Рио-де-Жанейро.

ВЕНГРИЯ

АНТОЛОГИЯ НОВЕЛЛЫ

Около сорока рассказов современных венгерских писателей собраны в двухтомнике под общим названием «Пестрые рассказы». В большинстве произведений, включенных в антологию,— тема современности, сообщает еженедельник «Элет эш иродалом», причем эта тема решается значительно шире, чем прежде. Если речь идет о венгерской деревне, то писателя интересует уже не просто проблема «вступать или не всту-

пать в кооператив», он раскрывает объективные законы развития социалистического хозяйства, развенчивая иллюзорность «третьего пути». При изображении жизни рабочего класса делаются не зарисовки с натуры, а показывается формирование новой человеческой морали, новых норм этики. Многие произведения посвящены проблемам интеллигенции.

В антологию включены рассказы таких известных венгерских литераторов, как Имре Добози, Шандор Татаи, Лайош Мештерхази, Турзо Габор, Ласло Эрдеш, Года Габор, Шандор Ридег, а также талантливых начинающих писателей — Матэ Тимара, Иштвана Сабо, Ференца Санта. По отзывам венгерской печати, «в двухтомник новелл вошли лучшие произведения последних лет».

«ДВА БОЙАИ»

Будапештский театр имени Йожефа Катоны поставил новую пьесу известного венгерского драматурга Ласло Немета «Два Бойаи», посвященную выдающимся математикам и педагогам Венгрии — отцу и сыну Бойаи.

Пьеса по-своему поднимает проблему «отцов и детей»: у людей, работающих в одной области, на одном педагогическом поприще, разное ви́дение мира. Отец, Фаркаш Бойаи, не понимает и не принимает новых веяний века (события развертываются в так называемую «эпоху реформ», когда страна бурлила накануне революции 1848 года). Молодой Янош Бойаи, по выражению автора,— «дитя века, враг религии, человек, принадлежащий обществу будущего», выступает против воззрений отца. Отец и сын идут на разрыв...

В рецензии на пьесу журнал «Кортарш» пишет: «Два Бойаи»... историческая драма, потому что в ней бьет ключом жизнь 1834—1835 годов, отражен мир идей «эпохи реформ»... В новой драме Ласло Немет выступил как большой мастер

Сцена из пьесы «Два Бойаи». *(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)*

диалога и психологического анализа, умеющий показать явления внутренней жизни, динамику характера. Он выступил как замечательный продолжатель традиций шекспировской драматургии».

На экранах Венгрии демонстрируется новый фильм «Земля обещаний», поставленный режиссером Дюлой Месарошем по сценарию Золтана Хегедюша. Тема фильма (кадр из которого здесь помещен) — борьба за становление нового социалистического хозяйства в венгерской деревне. Главные герои — молодые поборники всего нового и прогрессивного. *(Журнал «Филмвилаг»)*

ГАИТИ

КАКОВА СУДЬБА АЛЕКСИСА?

В заметке, опубликованной парижским еженедельником «Леттр франсез», говорилось о том, что французская общественность встревожена судьбой выдающегося гаитянского писателя Жака Стефена Алексиса. Эту тревогу вызвали слухи об аресте Алексиса на Гаити, о том, что он был подвергнут пыткам, во время которых ему нанесли тяжелое увечье — выбили глаз.

Заметка «Леттр франсез» вызвала бурную реакцию посольства Гаити в Париже, и пресс-атташе Майяр прислал в редакцию еженедельника наглое письмо с обвинениями... во вмешательстве во внутренние дела Гаити.

«Мы, — пишет «Леттр франсез»,— естественно, не

хотели бы верить слухам. Но г-н Майяр называет нашу заметку вмешательством во внутренние дела Гаити — и это заставляет задуматься. Подобное утверждение звучит как косвенное признание причастности правительства Гаити к исчезновению Алексиса. Мы очень хотели бы получить сведения об Алексисе. Мы позволяем себе надеяться, что на Гаити есть люди, способные понять, что затронутый нами вопрос весьма серьезен. Мы хотим знать судьбу писателя, пишущего на французском языке».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ БЕХЕРА

Поэтические и прозаические произведения Иоганнеса Бехера вошли в недавно выпущенный веймарским издательством «Фолькс-ферлаг» сборник.

Эту книгу, материалы для которой подобраны Увэ Бергером в сотрудничестве с работниками архива поэта, газета «Берлинер цейтунг» называет антологией лучших произведений Бехера.

В книге помещены также очерки о жизни и творчестве поэта, речь Вальтера Ульбрихта, посвященная памяти Иоганнеса Бехера.

КНИГА О ВИЛЛИ БРЕДЕЛЕ

С большим интересом встречена читателями книга «Вилли Бредель. Документы его жизни», выпущенная издательством «Ауфбау-ферлаг».

В книгу вошли многие материалы, рисующие жизненный и творческий путь Бределя, в том числе и автобиографический очерк «Как я стал писателем», текст его выступления на Первом съезде советских писателей в 1934 году, переписка с Иоганнесом Бехером, Лионом Фейхтвангером, Оскаром Марией Графом, Фридрихом Вольфом, Роменом Ролланом и многими другими деятелями культуры.

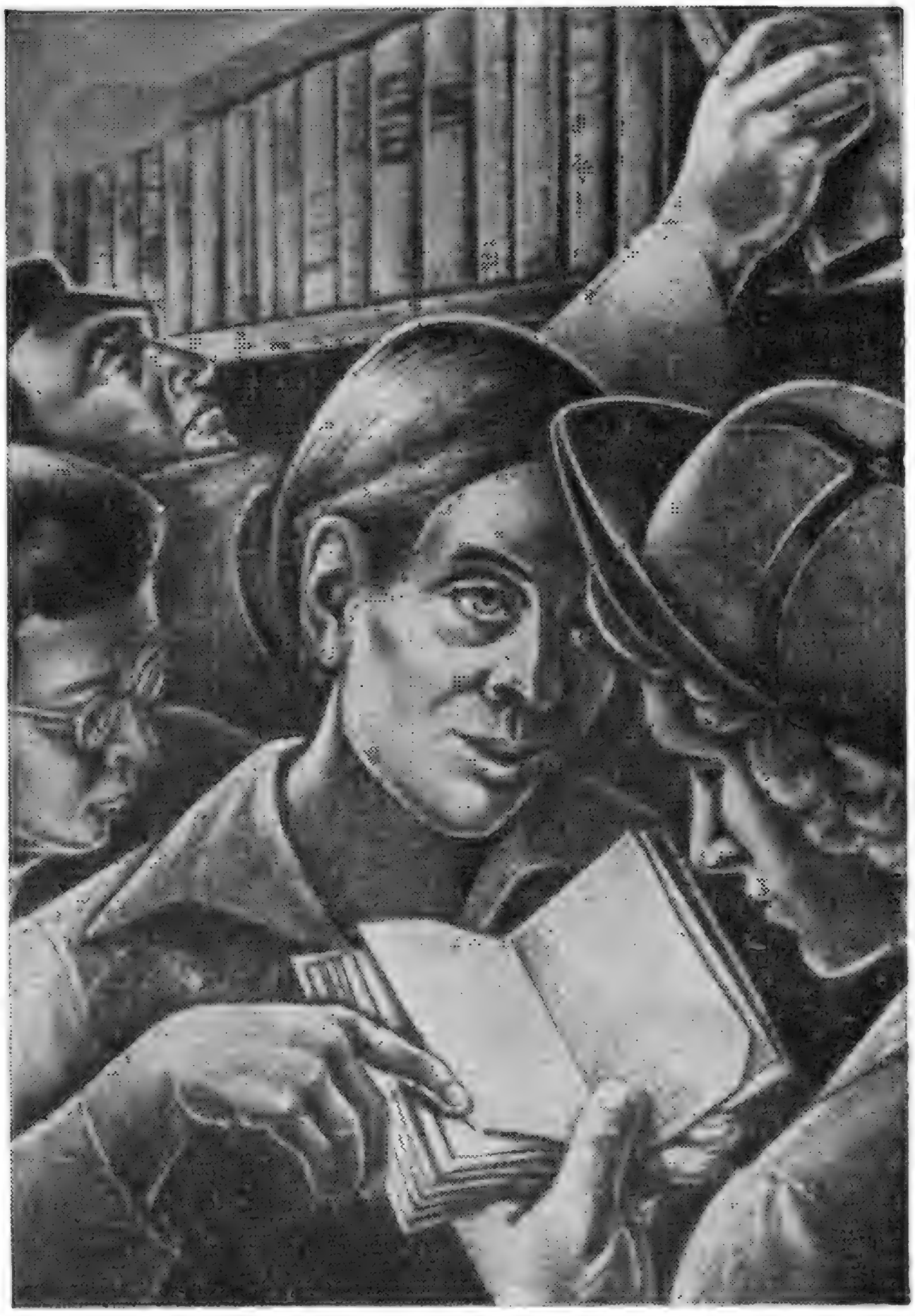
Читатель встретит на страницах книги волнующие документы времен антифашистской борьбы в Испании, где Вилли Бредель был комиссаром батальона имени Тельмана, а также многочисленные материалы, относящиеся к периоду участия писателя в борьбе против фашизма во время Великой Отечественной войны советского народа. Среди них — тексты выступлений Вилли Бределя по московскому радио, по радио Сталинградского фронта, а также написанные им листовки Национального комитета «Свободная Германия».

ГЕРХАРД ОТКРЫВАЕТ СЕБЕ ПУТЬ

«Борьба с фашизмом воспитала в старшем поколении писателей республики чувство партийности. К этому поколению принадлежит и певец новой деревни Вер-

Этот рисунок — «Дискуссия о прогрессивной литературе» — сделан Карлом-Эрихом Кохом, работающим на заводе приборостроения в Берлине. Рисунок входит в созданную художником-рабочим серию «Бригада», за которую автор был удостоен премии Союза свободных профсоюзов Германии.

(Газета «Берлинер цейтунг»)



нер Рейновски»,— пишет газета «Нейес Дейчланд», сообщая о выходе в свет его нового романа «Нетерпеливый». Роман — последняя часть трилогии «Маленькая голова».

...Кулак Фосс после двух браков остался бездетным. Правда, у него есть «незаконный» сын от бывшей батрачки Урсель, но уже много лет Фосс не проявлял никакой заботы ни о сыне Герхарде, ни о его матери.

В эту деревню для оказания помощи партия послала Ганса Шмидта, который становится душой односельчан и прежде всего сельской молодежи. Большое влияние он оказывает и на Герхарда.

Горячий и нетерпеливый Шмидт преждевременно повел в деревне кампанию за вступление крестьян в коллективное хозяйство, хотя крестьяне еще не убедились в необходимости новых перемен. И ошибкой Шмидта попытался воспользоваться Фосс.

Когда Шмидт и Урсель сблизились, Герхард отвернулся от матери, потеряв доверие к Шмидту. Это была вторая ошибка Шмидта, которой также захотел воспользоваться Фосс, чтобы привлечь к себе Герхарда.

Однако Герхард еще колеблется. Его внутренние противоречия наконец нашли разрядку. В соседней деревне произошел взрыв старого склада боеприпасов. Герхард и его молодая жена немедленно отозвались на призыв о помощи, однако старик Фосс закрыл перед ними ворота. Тогда Герхард одним взмахом топора разбивает ворота...

Победа нового над старым, пишет газета «Нейес Дейчланд», звучит в романе убедительно и реалистично, и значение этого романа выходит далеко за пределы истории, происшедшей в деревушке. Реализм романа, по словам газеты, способствовал глубокой партийности произведения.

ОТВЕЧАЯ НА АНКЕТУ «ЗОННТАГ»...

Берлинский еженедельник «Зоннтаг» проводил среди интеллигенции Германской Демократической Республики анкету с вопросом: «Почему для меня ГДР — единственно правомочное немецкое государство?»

«То, о чем я мечтал всю свою жизнь, то, за что я всю жизнь боролся,— заявил писатель и театральный деятель Вольфганг Лангхоф,— стало действительностью: немецкое государство рабочих и крестьян, которые держат в своих крепких руках немецкую культуру, гуманизм и будущее всех немцев».

Анкета «Зоннтаг»» вызвала необычайно живой отклик интеллигенции ГДР. Люди разных биографий и судеб приняли в ней участие — старые борцы-антифашисты и молодые граждане республики, писатели и адвокаты, священники и ученые, композиторы и экономисты, те, кто участвовал в жизни республики с первых дней ее создания, и те, кто приехал туда недавно, покинув Запад.

Профессор Эрих-Александр Виндс, главный режиссер Немецкой государственной оперы в Берлине, пишет: «В Боннской республике нельзя больше нести ответственность за судьбы культуры — это было и мое прощальное заявление, которое я опубликовал в западногерманской печати, покидая в 1953 году пост генерального интенданта и члена президиума западногерманского культурбунда... Я вздохнул, оказавшись в Лейпциге: несмотря на то, что тогда было напряженное время, каждый коллега высказывался открыто и свободно о темах, «которые жгутся», и не прятался в бездействие и молчание. Эта человеческая откровенность, взаимная привязанность, в которой рос и воспитывался наш коллектив, была для меня — после всех испытаний, трудностей и интриг всяческих комитетов по делам театра, культуры, музыки и т. д., после желаний и требований диаметрально противоположного политического характера — отдохновением и одновременно возвращением к истинному источнику всякого творчества».

Известный немецкий писатель-антифашист Людвиг Ренн заявил: «После разгрома гитлеризма на международных конференциях договорились о том, что Германия должна быть очищена от милитаризма. Только Германская Демократическая Республика выполнила это требование. Она — моя родина».

«В 1935 году,— вспоминает композитор Курт Швен,— я стоял перед фашистским судом, который приговорил меня к трем годам каторжной тюрьмы за «подготовку к государственной измене». Если бы я жил в Западной Германии, я снова стоял бы перед судом. Меня обвиняли бы в том же, и судили бы те же судьи. Там — та же система».

Среди отвечающих на анкету и участники гитлеровской войны. Художник Хорст Барч пишет: «Четыре года я провел в плену в Польше и видел, что́ немцы творили «во имя Германии». Поляки спрашивали меня, что сделал я для борьбы против фашизма. Тогда я мог еще отвечать, что я слишком молод, чтобы что-либо знать, понимать и делать. Я не хотел бы, чтобы в будущем мне снова задавали этот вопрос. Я живу теперь в стране, которая порвала с прошлым и чью политику можно принять с чистой совестью. Ей посвящаю я свой труд».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПИСАТЕЛИ — ПРОТИВ НАЦИСТСКИХ ПАЛАЧЕЙ

Процесс над нацистским преступником Адольфом Эйхманом привлек к себе

большое внимание деятелей культуры ФРГ.

«Приказ и ответственность. Мысли по поводу процесса Эйхмана» — так называлась одна из передач западногерманского радио. Ее автор — известный писатель Генрих Бёль. Гибель миллионов невинных людей стала возможной, подчеркивает Бёль, потому, что Эйхман принимал и передавал преступные приказы. Слово «приказ», употребляемое на процессе, говорит и о том, что приказ от кого-то принимался.

Западногерманский писатель Леонгард Франк незадолго до смерти выступил в Мюнхене на обсуждении уроков процесса над Эйхманом. Писатель потребовал от федерального правительства изгнать с высокого поста Глобке как соучастника преступлений Эйхмана. Вместе с тем Леонгард Франк протестовал против попыток скрыть от общественности, что «среди нас еще живут Эйхманы».

«Это хорошо, что и театр не отмалчивается в дни процесса над Эйхманом»,— пишет в еженедельнике «Ди андере цейтунг» театральный критик Герберт Иеринг, рецензируя постановку композиции Вернера Бейера «И никто не знает — куда». Композиция составлена по эпическим произведениям Вольфганга Борхерта, рано скончавшегося талантливого западногерманского драматурга. Постановка, осуществленная театром «Вагантен» в связи с процессом над Эйхманом, «захватывает своей боевой направленностью против войны и милитаризма».

Жгучим темам современности посвящены рисунки художника Лео Хааса (ГДР), произведения которого были недавно экспонированы на выставке в демократическом Берлине. Публикуемый здесь рисунок Хааса отражает действительность Федеративной Республики Германии — «Западногерманские крестьяне изгнаны с земель, конфискованных для ракетных баз».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ФРИЦ ФОН УНРУ ОБВИНЯЕТ

После двух попыток эмигрировать в США, где Фриц фон Унру в свое время нашел убежище от преследований гитлеровцев, этот известный немецкий писатель остается на родине. В статье, посвященной 76-летию писателя, еженедельник «Дейче фольксцейтунг» приводит слова Альберта Эйнштейна, называвшего его «солдатом и инженером мира», и указывает, что фон Унру продолжает неутомимо работать для мира, несмотря на то что ему очень трудно найти себя в послевоенной Западной Германии.

На рабочем столе писателя — только что законченная им рукопись. Автор многочисленных пьес и романов написал новую драму — «Братья». Еженедельник характеризует последнее произведение писателя как «обвинение против атомного вооружения». И его работу ожидает нелегкая участь: творчество фон Унру всячески замалчивается официальными кругами. Вот почему, подчеркивает «Дейче фольксцейтунг», необходимо вселить в престарелого писателя уверенность, что «другая Германия», миролюбивая, поддерживает его.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГАЗЕТЫ «ВЕЛЬТ»

Прогрессивная общественность разных стран осудила проведение в Западном Берлине так называемого «международного кинофестиваля», устроенного боннскими реваншистами в духе «холодной войны». И тот факт, что фильмы, представленные на этот фестиваль, стоят на весьма низком художественном уровне, не мо-

жет отрицать даже западногерманская пресса.

Гамбургская газета «Вельт», обвинить которую в симпатиях к прогрессивному не смог бы, пожалуй, даже и покойный Маккарти, пишет о фильмах западноберлинского фестиваля следующее: «Меланхолия, горечь и насмешка идут с экрана фестиваля. На нашу долю остается лишь покорность судьбе, если не полное отчаяние. Остается лишь бодро-цинически отдать себя на волю потока, который носит название «ты-все-равно-ничего-изменить-не-можешь». Именно так надо было бы рассматривать наше существование, если бы мы поверили в то, что показано на экране фестиваля о жизни. Когда мы говорим это, то мы не имеем в виду такие, с кинематографической точки зрения, незначительные фильмы, как американский фильм «Романов и Юлия», южнокорейский — «Кучер» или таиландский «Черный шелк». Подобный вывод напрашивается после таких фильмов, как «Брак господина Миссисипи» или «Убийца», которые, несмотря на их крупные недостатки, все же еще можно смотреть... Горечью отдает Берлинский фестиваль. Плохо то время, которое порождает таких «героев»...

Что можно еще добавить к свидетельству газеты «Вельт»?

ГОЛЛАНДИЯ

СПОРЫ ВОКРУГ РОМАНА

Известный голландский писатель Тойн де Фрис написал исторический роман «Мотет для кардинала», действие которого развертывается в эпоху итальянского Возрождения XV—XVI вв. Герой романа — уроженец Нидерландов, талантливый певец и музыкант.

Вместе с армией французских интервентов прибывает он в Италию. Жестокая расправа с населением, дикость нравов солдат-наемников навсегда отвращают Вольфа, так звали юношу, от военной службы. Решающим моментом в его жизни оказался тот день, когда в миланской капелле кардинала Сфорца ему довелось услышать мотет — музыкальное произведение на библейскую тему,— сочиненный выдающимся фламандским композитором Жоскеном Депре. Величественный и строгий хорал пробудил в душе юноши любовь к музыке. Тронутый его искренностью, Жоскен берет Вольфа к себе в ученики. Вольф, теперь уже носящий имя Лупо, становится профессиональным певцом. Вместе со своим другом и учителем он объезжает придворные капеллы тогдашних правителей Италии, наблюдая порочные нравы Ватикана, дворов Медичи и Борджиа. Герой романа завязывает дружбу со многими великими деятелями итальянского Возрождения.

Новый роман Тойн де Фриса вызвал оживленные споры. Рецензент журнала «Хет бук фан ну» Пьер Дюбуа утверждает, что писатель якобы утратил профессиональное мастерство, а в его романе отсутствует историческая правда.

Несостоятельность этой рецензии особенно видна в свете отзыва о новом романе Тойн де Фриса, опубликованного газетой «Ваархейд». Автор отзыва, видный голландский поэт и критик К. Келк, особо отмечает историзм романа. Отнюдь не идеализируя Италию на рубеже XV—XVI столетий, пишет Келк, де Фрис смело и ярко отобразил ее «чудовищные контрасты: религиозность и разврат, варварство и гениальность, раболепие и смелость».

ГРЕЦИЯ

КНИГИ О БОРЬБЕ

Серия произведений греческих писателей под общим названием «Вооруженная Греция» стала выходить в Афинах. Эти книги рассказывают о героической борьбе греческого народа против чужеземных оккупантов. В первый том включены лучшие рассказы, второй том составляют романы «Зверь» Н. Вретакоса, «Задымленное небо» К. Кодзяса, «Огонь» Д. Хадзиса.

ИНДИЯ

«ПЕСНЬ УРОЖАЯ»

В Калькутте вышло из печати новое произведение бенгальской писательницы Савитри Рэй «Песнь урожая». Это трилогия о «народе, который начинает осознавать свою силу и выходит на борьбу против тирании и эксплуатации»,—

Все чаще деятели индийского кино обращаются к произведениям национальных классиков. В текущем году, который в Индии называют «Годом Тагора», многие режиссеры работали над экранизацией произведений великого индийца. Один из крупнейших бенгальских режиссеров-продюсеров Бимал Рой совместно с режиссером Хеменом Гупта занят съемками фильма «Кабулец» по одноименному рассказу Рабиндраната Тагора. Режиссер Джибан Гангули ставит картину «Сумерки» по рассказу Тагора «Скелет». Исполнение главной роли поручено молодой актрисе Кальяни Гхош (на снимке).

(Журнал «Филмфэр»)

пишет Шародж Ачария, рецензент делийского еженедельника «Нью эйдж». В романе воспроизведены картины бурных тридцатых и сороковых годов в Бенгалии, показан рост активности широких масс на фоне исторических событий тех лет как внутри Индии, так и за ее рубежами. Однако, добавляет критик, новая книга Савитри Рэй — не просто политический роман.

...Отбыв тюремное заключение за революционную деятельность, Партха, молодой студент из крестьян, выходит на волю с твердым решением «пойти в народ». Поселившись в деревне, он поднимает крестьян на борьбу за отмену непомерных налогов. Правда, первое выступление против землевладельцев подавлено и руководители снова в тюрьме. Но жизненный опыт помог людям «обрести веру в силу единства, в силу коллективного действия». Жизнь идет вперед, и борьба продолжается. Хотя «каждый эпизод или рассказ внутри произведения сохраняет свою индивидуальную значимость, все они тесно связаны между собой общей мыслью и органично вплетены в общую канву»,— указывает критик. Колоритные картины сельского быта, сочные пейзажи, наполняющие огромное полотно книги, народный язык персонажей, по словам Шароджа Ачария, напоминают «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Роман Савитри Рэй охватывает «важный этап истории борьбы бенгальских крестьян против эксплуатации». Широкий политический кругозор помогает писательнице показать народную борьбу в Индии не обособленно, а в естественной взаимосвязи с другими, более крупными народными движениями против империализма как в самой стране, так и за границей. Вторая мировая война, репрессии британских колонизаторов, жестокий голод в Бенгалии в 1941—1942 годах и другие события вписаны в роман как составные элементы единого человеческого опыта в борьбе за освобождение от рабства. Свой вклад в эту борьбу внесли и крестьяне далекого индийского села.

«Песнь урожая» заканчивается разгромом восстания. Убит Партха, но украшенное красными флагами село приветствует верную подругу и единомышленницу Партхи, которая приезжает сюда, чтобы продолжить его дело, подхватить трагически оборванную песнь — песнь урожая.

В своем произведении, пишет критик «Нью эйдж», Савитри Рэй «показала глубокое понимание политических вопросов, сумела раскрыть многообразные темы и характеры... Политическая направленность отличает и более ранние ее произведения. Но «Песнь урожая» — самая успешная ее попытка создать эпическое произведение, которое с удивительной правдивостью изображает один из этапов народной борьбы в Восточной Бенгалии».

«Дочь дерева».
(Журнал «Блитц»)

«ДОЧЬ ДЕРЕВА» И АМЕРИКАНСКИЙ СОБЛАЗНИТЕЛЬ

Известная древняя скульптура «Дочь дерева», хранящаяся в Государственном музее Гвалиора и отобранная для передвижной выставки «Пять тысяч лет индийского искусства», как сообщает еженедельник «Блитц», особо заинтересовала некоего туриста из США. Представившись археологом, американец предложил баснословную взятку за право на приобретение этого бесценного шедевра. Он заявил главному куратору музея, что направлен в Индию с целью закупки антикварных произведений и готов уплатить за скульптуру любую цену. Ему, разумеется, объяснили, что ни «Дочь дерева», ни другие редкие произведения не предназначены для продажи.

Другой американский «турист», сообщает далее еженедельник, предложил пять миллионов долларов за одну из редчайших археологических находок — изображение Будды, находящееся в музее Матхуры.

Полагают, что варварское разрушение древних архитектурных памятников в Девгаре было инспирировано именно такими личностями, которые приезжали в Индию под видом туристов.

ИНДОНЕЗИЯ

«БЛИЖЕ К НАРОДУ»

Вопрос дальнейшего укрепления связей профсоюзных организаций с прогрессивными деятелями культуры находился в центре внимания состоявшегося недавно в Джакарте конгресса Центральной организации профсоюзов Индонезии. Этот первый в истории рабочего

движения страны конгресс был специально посвящен вопросам культуры.

По мнению участников конгресса, как сообщает газета «Хариан ракьят», движение индонезийских писателей под лозунгом «ближе к народу» не только способствует эстетическому воспитанию масс, но и помогает самим писателям создавать высокохудожественные произведения, ярко и глубоко отражающие жизнь рабочего класса и его борьбу за лучшее будущее. В числе произведений такого рода отмечаются стихи Анантагуны и Агама Виспи, рассказы Тан Синг Хвата. Среди постановок многочисленных самодеятельных драматических коллективов большой популярностью пользуется пьеса Бахтиара Сиагиана «Красный камень в долине Мерапи», направленная против сепаратистского движения.

Конгресс обратился к писателям и художникам с призывом способствовать выявлению молодых талантов из среды рабочего класса и оказывать им всяческое содействие.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ «ХАРИАН РАКЬЯТ»

Прогрессивная газета «Хариан ракьят» сообщила о результатах конкурса на лучшие произведения художественной литературы, напечатанные в этой газете.

Среди премированных — поэты старшего поколения Бандахаро (автор стихотворения «Разговор с живыми») и Додонг Дживапраджо («Вызов»), а также молодые поэты Халик Хамид («Великий пир») и Кунчахье («Бунг Карно, бери левее!»). Из прозаических произведений газета выделила рассказ Бахтиара Сиагиана «Пенсия».

Первые премии за художественные переводы присуждены Агаму Виспи, Муслимину Ясину и Хуанг Кхуен Хану.

Премиями отмечены также Прамудья Ананта Тур и Мия Бустам за лучшие статьи по вопросам культуры.

ИТАЛИЯ

«ЛЕВАНТИНСКАЯ БАЛЛАДА» ФАУСТЫ ЧАЛЕНТЕ

«Трудно найти роман, который было бы так легко и приятно читать и в то же время так трудно охарактеризовать, как только что вышедшую книгу Фаусты Чаленте «Левантинская баллада»,— так начинает свою статью в еженедельнике «Вие нуове» видный итальянский критик Карло Салинари.— Не может быть сомнений в художественных достоинствах романа: даже профану с первого взгляда становится ясно, что перед ним первоклассное произведение; кто следит за развитием нашей прозы, не может усомниться, что лишь считанные романы стоят на высоком уровне».

«Левантинская баллада» вышла в свет после многолетней творческой паузы Фаусты Чаленте и сразу привлекла к себе внимание критики. О книге пишут много и по-разному, но в одном, пожалуй, мнения сходятся: очень интересно, но очень сложно — по конструкции, по ритму повествования, по стилистическим особенностям. В романе — высоты и почти провалы; некоторые критики считают, что автор не всегда справляется со своим богатым материалом. Салинари, однако, настаивает на том, что книга обладает внутренним единством, «высокоинтеллектуальна». «Левантинская баллада» насыщена фактами, исторически верными и острыми зарисовками.

Действие происходит главным образом в Александрии и Каире. Героиня романа, Даниэла, с детства живет в Египте. Автор описывает своеобразную обстановку египетского общества и среду эмигрировавших в Египет европейцев. Рассказы бабушки Даниэлы ярко воссоздают атмосферу первых десятилетий нашего века, затем годы фашизма, итало-абиссинской войны, второй мировой войны.

Даниэлу читатель видит сначала девочкой, затем — юной девушкой и, наконец, созревшей женщиной. Рассказ ведется то от первого, то от третьего лица, на страницах романа возника-

Режиссер Витторио Де Сика поставил фильм «Страшный суд» по сценарию, созданному в содружестве с кинодраматургом Чезаре Дзаваттини. Замысел этого социально острого сатирического фильма-сказки, напоминающего картину Де Сика — Дзаваттини «Чудо в Милане», режиссер и кинодраматург вынашивали в течение нескольких лет. Действие фильма происходит в Неаполе. В картине участвует много известных артистов — Витторио Гассман, Паоло Стоппа, Анук Эме, Сильвана Мангано и другие. Мы публикуем кадр из фильма.

(Газета «Унита»)

ют и исчезают различные персонажи. Даниэла знакомится с жизнью, и реальность, которую она познает, тяжела и противоречива. Одна за другой гибнут иллюзии, все ярче картины политических афер, социальных столкновений. Личная судьба героини, любовная линия романа, «интрига» переплетаются с судьбами очень различных людей. На страницах книги мелькают актеры и коммерсанты, политические дельцы, шулера, убежденные антифашисты, женщины из среды крупной буржуазии, циники, авантюристы, одинокие мечтатели. И в центре — образ Даниэлы с ее жаждой любви, понимания, духовной свободы и независимости. Роман заканчивается трагически: как раз в тот момент, когда Даниэла, казалось, могла завоевать личное счастье, она погибает...

По мнению критики, «Левантийская баллада» будет одним из крупных литературных событий нынешнего года в Италии.

КАНАДА

ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ

В американском журнале «Сэтердей ревью» опубликована статья канадского публициста, одного из редакторов газеты «Монреаль стар» Эрика Маклина по вопросу об отношении канадцев к попыткам США повлиять на культуру Канады. Поводом к такому выступлению послужила состоявшаяся недавно в Торонто конференция канадских художников, писателей и музыкантов, обсуждавших насущные проблемы канадской культуры.

Многие участники этой конференции остро ставили вопрос об американском проникновении, подчеркивая, что Канада имеет и должна иметь национальную культуру.

«Канадцы,— пишет Маклин,— отнюдь не ищут путей возвращения в британское лоно. В то же время им вовсе не нравится утверждение американцев, что канадцы — это, дескать, двойники янки. Канадцы отлично сознают свое будущее самостоятельной нации и нисколько не склонны принимать чье бы то ни было покровительство».

Определяя отношение Канады к США, Маклин процитировал слова лидера либеральной партии Лестера Пирсона: «Канада, конечно, любит Соединенные Штаты, но вовсе не собирается выходить замуж за такого балбеса!»

После второй мировой войны, продолжает Маклин, Канада была наводнена американскими фильмами, американскими телевизионными передачами, американскими журналами, пластинками и т. п. Так продолжалось до 1957 года, когда был создан Канадский совет по развитию науки и искусства, литературы и гуманитарных наук. Совет занимался также и культурными связями Канады с зарубежными странами. Создание совета отразилось падение Цинской дина-

на многом, в частности и на том, что учреждена Канадская оперная компания в Торонто. Небезынтересно отметить, что, по сообщению Маклина, в репертуар Канадской оперной компании включена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», — составители репертуара явно не руководствовались американскими вкусами! Маклин в своей статье возлагает большие надежды на то, что Совет и в дальнейшем будет помогать развитию канадской культуры по самостоятельному пути.

КИТАЙ

ПУТЬ ЧЖОУ ПИНА

Писатель Оуян Шань завершил работу над новым романом «Улица трех семей».

...На небольшой улице в Кантоне рядом стоят три дома. В них живут разные люди. События 1911 года —

«Пост № 51» — так называется новый художественный фильм, демонстрирующийся на экранах Китая. Фильм, поставленный известным китайским режиссером Лю Цюном, повествует о грозных революционных событиях 1943 года. В то время в Шанхае под руководством коммуниста Лян Хуна действовала тайная подпольная организация, которая вела ожесточенную борьбу против оккупировавших город японцев. Поддерживая связь с Новой Четвертой армией, пост № 51 подготавливал условия для окончательного освобождения города. Этот фильм, пишет китайская критика, о смелых людях, о тех, кто отдавал свою волю, ум и энергию делу борьбы с врагом.

(Журнал «Шанхай дяньин»)

стии — вызвали перемены в жизни каждого из жителей. Мелкий лоточник Чень Вань-ли стал заведовать одной из крупных экспортных компаний; сотрудничая с богатыми компрадорами, он построил себе новый дом в западном стиле, начал жить на широкую ногу. Под стать Чень Вань-ли и его сосед, фермер Го, который тоже разбогател.

Не выбился из нищеты лишь третий сосед, кузнец Чжоу Те. На протяжении многих лет он влачил жалкое существование, воспитывая своего сына Чжоу Пина. Когда Чжоу Пин — главный герой романа — подрос, он стал присматриваться к революционной молодежи Китая, интересоваться ее жизнью, вникать в то, чем и как она живет. Прошли годы, и Чжоу окончательно сблизился с революционерами — расширился кругозор юноши, вместе со своими сверстниками он мечтает о светлом будущем Китая.

Чжоу Пин стал одним из активных деятелей кантонского комитета Китайской коммунистической партии. Он организовывал и возглавлял стачку, а когда она потерпела поражение, Чжоу вместе со своими друзьями ушел на подпольную работу, где продолжал сплачивать революционные силы, подготовляя их к решительному удару по гоминьдановской реакционной клике.

Роман, по словам журнала «Чайниз литерачер», написан очень живо, интересно. Особое внимание автора привлекают человеческие характеры, судьбы людей. События воспроизведены исторически правдиво, с большой художественной силой.

МЕКСИКА

В ЗАЩИТУ ИНДЕЙЦЕВ ТАРАУМАРА

Известный мексиканский писатель Фернандо Бенитес написал книгу очерков об индейском племени тараумара. «Путешествие в край Тараумара» — это своего рода репортаж, сообщает газета «Новедадес», целью которого является не только ознакомление широкого читателя с историей и жизнью одного из древнейших мексиканских племен. Писатель своей книгой призывает обратить внимание на трагическое положение этих неполноправных граждан Мексики.

«Говорить об индейцах,— пишет Фернандо Бенитес,— это значит говорить об их эксплуататорах».

Бенитес цитирует красноречивый человеческий документ — заявление индейцев тараумара, принятое на последнем съезде племени:

«Мы продолжаем страдать от того, что у нас отнимают наши земли. Наши семьи подвергаются произволу. У нас отнимают нашу последнюю рухлядь и наш скот. Обязательства выплачивать минимум жалованья и придерживаться восьмичасового рабочего дня не выполняются. Местные власти не только не соблюдают закон, а, наоборот, потакают тем, кто нас выселяет, с нами плохо обходится, обманывает и обкрадывает нас. Мы хотим, чтобы нами управляли честные люди, которые могли бы чувствовать и понимать наши проблемы. Мы просим только справедливости».

Именно об этом, отмечает «Новедадес», Фернандо Бенитес и пишет с глубоким чувством негодования в своей книге «Путешествие в край Тараумара».

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ ПОД УГРОЗОЙ

Мексика необычайно богата памятниками древней культуры. Однако из-за того, что не выделялись необходимые средства для сохранения этих памятников, многие из них, и в частности ценнейшие образцы настенной живописи предыспанского и колониального периодов, разрушаются и исчезают.

Большой ущерб культурному наследию страны наносится, кроме того, хищением археологических ценностей, тайным вывозом их за границу, главным образом в США. Мексиканская печать пишет о том, что нередки случаи, когда настенная живопись, об открытии которой в Мексике не делалось официального сообщения, обнаруживается вдруг за границей без обозначения ее национальной принадлежности. Так произошло, в частности, с настенной живописью Теотиуакана. Реставрированная, она входит теперь в богатую коллекцию Блисс в Национальной галерее Вашингтона.

Общественное мнение Мексики, как сообщает печать, весьма обеспокоено судьбой древних фресок Бонампака (копии этих фресок были показаны на выставке мексиканского искусства в Москве и Ленинграде).

«Разрушение фресок Бонампака,— пишет мексиканский публицист Луис Суарес,— является следствием влияния внешней среды на материал. Росписи сделаны на стенах, покрытых известковым составом. И ныне росписи оказались под весьма плотным слоем извести».

«Хотя уже давно прозвучал сигнал тревоги: «Бонампак в опасности»,— пишет Луис Суарес,— однако отсталость реставрационной техники и недостаток денежных средств не позволяют предотвратить прогрессирующее разрушение фресок, во многих местах почти совершенно стершихся, без всякой надежды на восстановление».

НИГЕРИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Со всех концов страны собрались на конференцию в городе Нсука писатели, входящие в Союз африканских писателей Нигерии. Конференция, как сообщает

газета «Уэст африкен пайлот», состоялась в помещении местного университета. Участники конференции рассмотрели актуальные для нигерийских писателей вопросы, наметили мероприятия, направленные на дальнейшее развитие литературы различных народностей страны. Решено создать творческий семинар, в котором молодые африканцы будут постигать тайны литературного мастерства.

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ

С большим успехом прошел в городе Энугу фестиваль культуры Восточной Нигерии. По отзывам печати, он явился смотром достижений нигерийцев в области драматургии, музыки, народных танцев, изобразительного искусства и ремесел. Подобный фестиваль проводится в Восточной Нигерии впервые после провозглашения независимости.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

РАССКАЗЫ О ЗЕМЛЯКАХ

Новозеландцы в городе и деревне, а также за границей — таковы герои писателя Мориса Шэдбоулта, выпустившего книгу рассказов о своих земляках. Особое место в рассказах Шэдбоулта занимает городок Хокьянга Харбор, в северной субтропической части Новой Зеландии. Это старейшее поселение белых превратилось ныне в глухую провинцию, населенную метисами. Как пишет рецензент журнала «Оверлэнд», «здесь автор создает ситуации, в которых действуют персонажи, олицетворяющие различные типы национального характера».

Одной из интересных особенностей сборника, по мнению рецензента, является необычайное для новозеландской литературы изображение маори. Это не шаблонно-экзотические «лесные жители», а, как правило, образованные, полные достоинства люди, чувствующие себя наравне с белыми, «однако сохраняющие чисто полинезийское отношение к деньгам, к труду, к любви».

Несколько рассказов посвящено проблемам рабочего движения.

Книга двадцатисемилетнего новозеландца, как отмечается в журнале, была тепло встречена не только на родине автора, но и в Англии, где критики поставили ее в один ряд с лучшими достижениями современной английской прозы.

ПОЛЬША

«ЛЮДИ ИЗ ПОЕЗДА»

Новый польский фильм «Люди из поезда» создан молодым режиссером Казимежом Кутцем по сценарию Мариана Брандыса и Людвики Возницкой.

Начальник маленькой железнодорожной станции Курианы, неподалеку от Белостока, Калинский вспоминает об одном дне времен гитлеровской оккупации. В тот день через станцию проходил поезд дальнего следования. Два вагона оказались неисправными, и их пришлось отцепить. Большая группа пассажиров вынуждена ожидать прибытия следующего поезда. Здесь собрались разные люди. Вот Петр — партизан, отправляющийся с важным заданием, и Анна, любящая его девушка, решившая поехать с ним. Пожилая женщина с маленькой девочкой. Мальчик-подросток, заботливо прячущий собачонку, он взволнован тем, что вовремя не сможет приехать к больной матери. Какой-то солидный человек.

Завязываются знакомства, возникают кое-какие конфликты...

Гитлеровцы производят обыск и около станции находят чей-то автомат. Чье это оружие? Офицер-эсэсовец предупреждает — если в течение пяти минут не обнаружится владелец автомата, то каждый пятый из выстроенной шеренги будет расстрелян.

Истекают пять минут...

В реалистическом и глубоко психологическом фильме Казимеж Кутц, как отмечает польская критика, представил целую галерею различных и ярких образов.

Кадр из фильма «Люди из поезда».
(Журнал «Фильм»)

ПО РАССКАЗУ ЛЕСКОВА

Известный польский режиссер Анджей Вайда, по сообщению газеты «Трибуна люду», предполагает поставить фильм по рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Съемки будут производиться с участием югославских артистов.

РУМЫНИЯ

НОВЫЕ СБОРНИКИ СТИХОВ

Рост румынской поэзии, пишет бухарестский еженедельник «Контемпоранул», отражается в создании многих удачных поэтических произведений, в которых эмоционально раскрываются темы сегодняшнего дня. Это — новые сборники стихов молодых поэтов, новые поэмы о мире Марии Банущ («Священные камни»), Дж. Т. Майореску («Глаза Даниэлы»), М. Бреслашу («Басни и поэмы»), Илие Константина («Отплытие от берега»), стихи Г. Томозеи о героической Кубе, поэмы М. Бенюка о полете человека в космос, исторический цикл Т. Утана, посвященный восстанию шахтеров в августе 1929 года.

США

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПОКУПАЮТ РОМАНЫ?

Этот вопрос беспокоит в США не только издателей и продавцов книг, но и самих писателей. Недавно еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» выступил с сетованиями на то, что хорошие романы непомерно дороги. Другие органы печати отмечали, что никто не занимается воспитанием литературного вкуса у широких читательских масс, и зачастую люди предпочитают альковный роман или детектив серьезному художественному произведению. Кроме того, существует опаснейшее потакание дурным вкусам со стороны некоторых литераторов: очень часто средний писатель, учитывая запросы книжного рынка, сознательно включает в свою книгу, по выражению «Нью-Йорк таймс бук ревью», «эпизоды из спальни».

«Роман в Америке,— пишет Ганс Кенингсбергер в «Нью-Йорк таймс бук ревью»,— находится сейчас в большой опасности, о чем свидетельствует очень слабый покупательский спрос даже на книги, пользующиеся известностью и успехом. Пагубно, однако, предполагать, что роман можно спасти, придав ему «приключенческий» облик и добавив пикантные эпизоды».

По мнению Кенингсбергера, необходимо, чтобы читателя правильно ориентировала литературная критика. Обычно критические статьи, говорит он, подчеркивают фабулу, сенсационность, остроту темы романа, но почти не упоминают об эмоциональной насыщенности, о душевных переживаниях героев, об идейной стороне произведения. Делается это для того, чтобы «показать товар лицом», сделать его более «ходким» и «броским», и в такой чисто коммерческой рекламе теряется настоящая литературная оценка. В результате читатели постоянно воспитываются в определенном полукоммерческом, а не литературном направлении, все это сказывается на общем литературном уровне.

Кенингсбергер иронически замечает, что недавно опубликованная на страницах этого же еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» статья о состоянии книжного дела в Америке, написанная с коммерческих позиций, по самому своему характеру и подходу к вопросу куда больше подошла бы для опубликования в финансовом отделе газеты, а не в специальном литературном приложении.

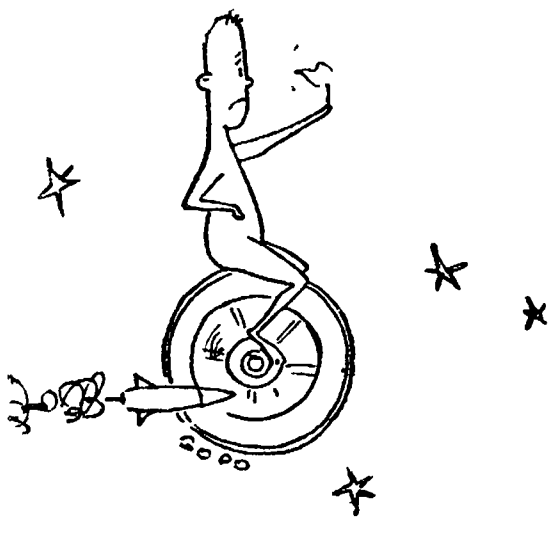
«НЕ НАСТУПИЛО ЛЬ ВРЕМЯ...»

Словами этой песни выдающийся американский певец Пит Сигер хотел ответить суду на выдвинутые против него обвинения. Он попросил разрешения исполнить ее тут же, на суде. «Песня эта,— сказал он,— как нельзя больше подходит к разбираемому вами делу». Но председательствовавший судья ответил кратко: «Не разрешается».

Пит Сигер, известный советским слушателям по его выступлениям на Московском фестивале молодежи, был обвинен в неуважении к конгрессу и приговорен к году тюрьмы.

Еженедельник «Пиплз уорлд» приводит выступление Питера Сигера на апелляционном суде таким, каким оно было задумано: вместе с текстом песни, которую ему не дали спеть. Поблагодарив адвоката, отдавшего недели и даже месяцы труда этому делу и знавшего, что подсудимый не в состоянии будет должным образом вознаградить его труд, Пит Сигер повто-

«Homo sapiens» — герой нового мультипликационного фильма, вышедшего под тем же названием, создан известным румынским художником и режиссером И. Попеску-Гопо. На языке, доступном всем народам, как отмечала критика, «Разумный человек» разговаривает с экрана и... завоевывает международные премии на кинофестивалях. На фестивале в Карловых Варах этому фильму была присуждена Большая премия, затем картина была отмечена на кинофестивалях в Эдинбурге, Монтевидео и Сан-Франциско. Мы печатаем «портрет» героя фильма, нарисованный для журнала И. Попеску-Гопо.



Пит Сигер.
(Газета «Пиплз уорлд»)

рил заявление, сделанное им на заседании комиссии по расследованию антиамериканской деятельности: он убежден, что никогда в своей жизни не совершал ничего «подрывного» в отношении родной страны — «ни словами, ни поступками, ни песнями». «Мои предки, прибывшие в Америку 300 лет назад,— сказал Сигер,— не признавали официальной английской церкви. Их потомки в Новой Англии 1840—1850 годов стали аболиционистами. Я глубоко верю, что, избрав свой путь в жизни, я не позорю их и не позорю тех, кто придет мне на смену. В течение двадцати лет я пою повсюду людям народные песни Америки и других стран. И я горд тем, что никогда не отказывался петь, кто бы меня ни просил, независимо от того, разделяю ли я мировоззрение тех, кто меня слушает. Я пою богатым и бедным, всем американцам, каких бы политических и религиозных убеждений и верований они ни придерживались, каков бы ни был цвет их кожи и символ веры.

Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности вознамерилась пригвоздить меня к позорному столбу, потому что некоторые из тех уголков, где я пою, ей не нравятся. Любопытно, что именно та песня, которая упоминалась в обвинении на этом суде,— «Вот это было время»,— одна из моих самых любимых песен».

Песня «Вот это было время» посвящена американцам, боровшимся и борющимся за свободу, за «веру в братство людей». Сигер хотел спеть суду о тех, кто в XVIII веке пал в Веллей Фордж и победил под Геттисбергом ради национальной независимости, о воинах, не пожалевших жизни в борьбе против фашизма в недавнем прошлом,— обо всех, кто выдержал «испытание души», обо всех, кто защищает веру в братство людей в наши дни.

Не наступило ль время,
не наступило ль время
душу человека освободить?

Когда на просьбу Пита Сигера заключить этой песней свое слово судья заявил: «Не разрешается», Сигер сказал: — Что ж, может быть, вы все-таки услышите ее когда-нибудь. Хорошая песня приносит с собой только хорошее, и я горжусь теми песнями, что я пою... Имею я право петь песни? Имею я право петь эти песни повсюду?

По пьесе Лорейн Хэнсберри «Изюминка на солнце» (опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1960 г.) американской кинофирмой «Коламбиа» поставлен фильм, получивший на последнем кинофестивале в Канне премию имени Гари Купера. На воспроизводимом здесь кадре из фильма «Изюминка на солнце» — артисты Клодиа Макнил и Сидней Пуатье

(Журнал «Синемонд»)

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

В ЧЕСТЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В честь провозглашения независимости Сьерра-Леоне местный журнал «Энкаунтер мэгэзин» организовал конкурс на лучшую пьесу, посвященную событиям, связанным с этой знаменательной датой. В конкурсе приняли участие люди самых различных профессий: юристы, учителя, врачи, чиновники... Жюри возглавил директор университетского колледжа Сьерра-Леоне доктор Дэвидсон Николь.

Победителем конкурса стал врач Р. Исмон, написавший пьесу «Дорогие родители и великан-людоед».

«СТРАНЕ НУЖНЫ БИБЛИОТЕКИ»

В результате многолетнего хозяйничания колонизаторов в Сьерра-Леоне молодая африканская республика испытывает чрезвычайно острый недостаток библиотек. Выходящая во Фритауне газета «Дейли мейл» пишет: «Несмотря на то что сьерра-леонцы являются страстными любителями чтения, многие из них не имеют возможности читать достаточно книг... Ведь далеко не каждому по средствам приобрести собственную библиотечку».

После провозглашения независимости правительство принимает меры к созданию в стране в течение ближайших лет широкой сети библиотек, чтобы обеспечить книгами массового читателя. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, будет основана национальная библиотека.

ФИНЛЯНДИЯ

ПАМЯТИ ЯНА СИБЕЛИУСА

Комментируя традиционную «Неделю Сибелиуса», проводимую в честь великого финского композитора, печать Финляндии особо отмечает участие советских исполнителей. Выступление симфонического оркестра Ленинградской филармонии находилось в центре внимания финской общественности еще задолго до прибытия оркестра в Хельсинки.

Газета «Кансан уутисет» сообщает о таком эпизоде, происшедшем во время выступления советских музыкантов в Финском национальном театре. Когда оркестр под руководством Арвида Янсонса исполнял «Четвертую симфонию» П. И. Чайковского, в результате удара молнии театр погрузился в темноту. Однако оркестр «продолжал исполнять произведение Чайковского совершенно спокойно, вызвав нескончаемую восторженную овацию публики».

«Неделя Сибелиуса» закончилась вторым выступлением оркестра Ленинградской филармонии. Под руководством дирижера Евгения Мравинского были исполнены произведения Яна Сибелиуса, П. И. Чайковского и Дмитрия Шостаковича. «Для многих слушателей, — пишет «Кансан уутисет», — концерт явился началом нового, более глубокого понимания музыкальных произведений».

Под заголовком «Два мастера» газета «Кансан уутисет» напечатала этот фотоснимок, изображающий финского скульптора Вяйне Аалтонена у создаваемого им скульптурного портрета Яна Сибелиуса.

ФРАНЦИЯ

ЖАН ГИТТОН О ПЕРВОМ СОВЕТСКОМ КОСМОНАВТЕ

В день полета первого советского космонавта писатель Жан Гиттон, недавно избранный в члены Французской академии, сделал записи в своем дневнике. Эти проникновенные строки о Юрии Гагарине недавно были опубликованы в парижском еженедельнике «Фигаро литтерер».

«Гагарин—это поэт,— пишет Гиттон, полностью приводя описание Гагариным земли, увиденной из космоса.— День двенадцатого апреля — это начало начал, и какого размаха: человек впервые преодолел силу тяготения! Человек, подобный нам, освободился на час от милых корней, которые связывают нас с центром земли... и парил, по его словам, чувствуя, как обострился его разум, ощущая под всеми своими панцирями чистую свободу. Я убежден, что из этого подвига вырастет новый миф о человеке».

КТО ПОКУШАЛСЯ НА ФРАНСУА МОРИАКА

Сообщая о покушении на известного французского писателя Франсуа Мориака, совершенном в его имении, еженедельник «Леттр франсез» подчеркивает, что оно произошло после нападений террористов «ультра» на редакции прогрессивных газет, ведущих систематическую борьбу за мир в Алжире.

«Еще раз доказано,— пишет «Леттр франсез»,— что те, кто совершают подобные действия, вдохновляются нормой, введенной у нас в обиход (намек на правительственные репрессии.— *Ред.*),— бороться против идей с помощью револьвера и физического уничтожения».

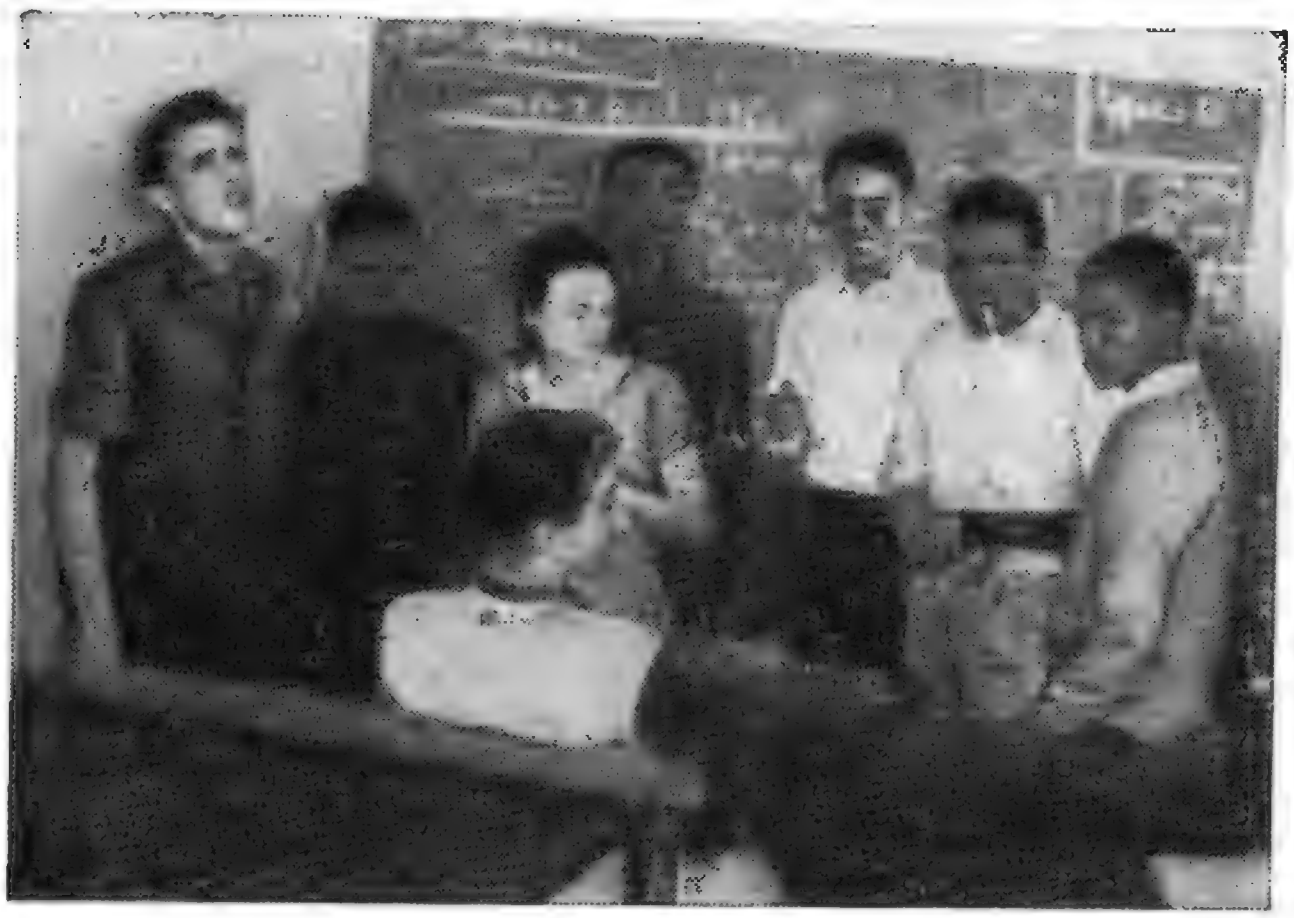
«Леттр франсез» в связи с этим замечает, что на судебном процессе против фашистских путчистов ни разу не был поставлен вопрос об их причастности к террористическим актам.

Скульптура молодого французского мастера Жоржа Удо «Вестница разума» (на фото) была представлена на выставке общества «Художники — свидетели своего времени», отмечавшего недавно свое десятилетие. Это общество объединяет лучших, передовых представителей французского искусства.

(Журнал «Нувель критик»)

АНТИРАСИСТСКИЙ ФИЛЬМ ЖАНА РУША

Жан Руш, автор нашумевшего фильма «Я негр», поставил новый антирасистский фильм «Человеческая



Кадр из фильма «Человеческая пирамида».
(Еженедельник «Франс-нувель»)

пирамида». Любопытна история создания этого фильма.

Однажды Руш зашел в один из лицеев Абиджана, где, несмотря на совместное обучение, ученики-белые не поддерживают никаких отношений с учениками-неграми. «Хотите ли вы играть в фильме? — обратился Руш к ученикам.— Согласитесь ли вы на несколько недель перестать быть самими собой, чтобы по окончании съемок понять, каковы вы на самом деле?..» Молодые люди согласились. Между ними стерлись расовые преграды. Молодой девушке-француженке Надин прежде не приходилось близко общаться с неграми, никогда она не думала о них. Играя же в фильме, Надин начинает задумываться о расизме и понимать всю его бесчеловечность.

Что касается сюжета фильма, то он очень прост: молодая француженка, приехавшая из Парижа, потрясена расовыми предрассудками, мешающими белым ученикам лицея сближаться с неграми. Она старается победить эти предрассудки. Ей это удается.

«Этот остроумный психологический эксперимент, проведенный Рушем, как нельзя лучше доказывает абсурдность расовой сегрегации», — пишет газета «Юманите».

ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ

«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ТЮРЕМНЫХ ПОДВАЛОВ»

Под таким названием ганская газета «Дейли грэфик» публикует статью о зарождающейся в Южной Родезии литературе на местных языках.

За последние восемь лет — с начала работы южнородезийского бюро африканской литературы — издано всего пятнадцать книжек на языках народов страны. Для того чтобы литературные произведения могли покупать африканцы, жизненный уровень которых крайне низок, авторы вынуждены чрезвычайно сильно сокращать объем своих книг, уменьшая тем самым их стоимость.

«МАКБЕТ» В ПОСТАНОВКЕ ЗУЛУССКОЙ ТРУППЫ

В городе Солсбери театральная труппа местных жителей зулусов поставила пьесу Шекспира «Макбет». Для того чтобы пьеса была понятна рядовым зрителям, сообщает «Информационный бюллетень ЮНЕСКО», ее действие перенесли в Зулуленд начала XIX века.

Текст не претерпел никаких изменений, за исключением того, что шотландские имена были заменены зулусскими. Так, например, Макбет стал Нолужу, леди Макбет получила имя Новава; вместо шотландцев, англичан и норвежцев в пьесе выступают представители различных племен Зулуленда.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РАСИСТЫ БОЙКОТИРУЮТ...

Труппа белых артистов осмелилась пригласить для участия в своих спектаклях негра... В Южно-Африканской Республике это небывалое событие вызвало бешеную злобу расистов, которые решили бойкотировать спектакли с участием негра.

И все же в студенческом театре университета города Питермарицбурга, провинция Наталь, при поддержке противников апартеида была поставлена пьеса Жан-Поль Сартра «Почтительная проститутка» (эта пьеса печаталась в журнале «Иностранная литература» № 2 за 1955 год под названием «Лиззи»), в которой одну из главных ролей исполняет негр Дуглас Ксаба.

Как замечает журнал «Иллюстрейтид уикли оф Индиа», сам факт появления на сцене негра-артиста вместе с белыми является вехой в истории южно-африканского театра.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Божидар Божилов (род. в 1923 г.) — поэт, лауреат Димитровской премии. Автор сборников стихов «Агитатор», 1950, «Димитров», 1950, «Любовь и ненависть» («Любов и омраза», 1952), «Под знаменем» («Под знамето», 1954), «За правду и за свободу» («За правда и за свобода», 1955), «Лирика», 1957 и др.

Публикуемое в этом номере журнала стихотворение взято из еженедельника «Литературен фронт».

Уильям Фолкнер — William Faulkner (род. в 1897 г.) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор многих романов и рассказов об американском Юге. Впервые выступил в печати со стихами в 1922 году. Наиболее известные его произведения — романы: «Сарторис» («Sartoris», 1927), «Святилище» («Sanctuary», 1931), «Деревня» («The Hamlet», 1940), «Осквернитель праха» («Intruder in the Dust», 1948), «Ход конем» («Knight's Gambit», 1950), «Притча» («A Fable», 1954), «Город» («The Town», 1957); сборник новелл «Сойди, Моисей» («Go down, Moses, and other Stories», 1942).

Его рассказы «Победа», «Дым» и «Поджигатель» печатались в нашем журнале.

Публикуемый роман «Особняк» («Mansion») вышел в 1959 году.

Хуан Хельман — Juan Gelman (род. в 1933 г.) — аргентинский поэт. Автор книг «Скрипки и прочее» («Violin y otras cuestiones»), «В огне» («El fuego en que andamos»).

Хулио Сесар Сильвайн — Julio César Silvain (род. в 1932 г.). Опубликовал книгу стихов «Время — это квартал» («El tiempo es un barrio»). Принадлежит к группе «Трудный хлеб» («Pan duro»), в которую входят Хуан Хельман, Эктор Негро, Хулио Уаси и другие молодые прогрессивные поэты Аргентины.

Хулио Уаси — Julio Ouasi (род. в 1935 г.). Опубликовал книги стихов: «Народная соната в Буэнос-Айресе» («Sonata popular en Buenos-Aires») и «Янки» («Janqueria»).

Сауль Перес — Saul Perez (род. в 1932 г.) — уругвайский поэт. Опубликовал книгу «Человек — город» («Homo — ciudad»).

Америко Абад — Americo Abad (род. в 1931 г.) — уругвайский поэт. Опубликовал книги «Этот голос доносится отовсюду» («La voz viene de todos», 1956), «Написано на улице» («Escrito en la calle», 1959).

Монго Бети — Mongo Beti (род. в 1932 г.) — африканский писатель (Камерун). Его перу принадлежат романы «Бедный Христос из Бомба» («Le pauvre Christ de Bomba» 1956); «Завершенная миссия» («Mission terminée», 1957) и «Исцеленный король» («Le roi miraculé», 1958).

Роман «Завершенная миссия» выходит отдельным изданием в Гослитиздате.

Орхан Кемаль — Orhan Kemal (род. в 1914 г.) — турецкий писатель. Автор сборников рассказов «Борьба за хлеб» («Ekmek kavgasi», 1949), «Камера № 72» («72-ci koğus», 1953), «Забастовка» («Grev», 1954), романов «Отчий дом» («Baba evi», 1949), «Годы скитаний» («Avare gillar», 1950), «На плодородных землях» («Bereketli toprak üzerinde», 1954), «Преступник» («Suçlu», 1957), «Малышка» («Kuçucuk», 1960).

Многие рассказы и роман «Преступник» переведены на русский язык.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Братская доля» («Kardeş payi», 1957).

Яшар Кемаль — Yaşar Kemal (род. в 1922 г.) — турецкий писатель. Автор романов «Жестянка» («Teneke», 1955) и «Тощий Мемед» («Ince Memed», 1955), который был переведен на русский язык.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Зной» («Sari sicak», 1952).

Зия Ямач — Ziya Iamaç (род. в 1914 г.) — турецкий писатель, автор «Турецких сказок» («Türk massallari», 1953), романов «Мехмет» («Mehmet», 1956), «Ганзеоглу» («Ganzeoglu», 1959).

Публикуемый рассказ прислан в рукописи.

Самим Коджагёз — Samim Kocagöz (род. в 1916 г.) — турецкий писатель. Автор нескольких сборников рассказов и романа «Возвращение 10 тысяч» («On binlerin dönu şu», 1957).

Рассказ «Смерть старого вола» («Koca öküzun ölümü») был напечатан в «Антологии современных турецких новеллистов» («Yeni türk hikâyeeileri antolojisi», 1956).

Анна Зегерс — Anna Seghers (род. в 1900 г.) — немецкая писательница, лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами», автор известных советскому читателю романов «Седьмой крест» («Das siebte Kreuz», 1939) и «Мертвые остаются молодыми» («Die Toten

bleiben jung», 1949), повестей «Возвращение» («Rückkehr», 1949 г.; см. «Иностранную литературу» № 6 за 1957 г.) и «Человек и его имя» («Der Mann und sein Name», 1952; см. «Иностранную литературу» № 1 за 1955 г.). Ее роман «Решение» («Die Entscheidung», 1959) был опубликован в нашем журнале в №№ 1—4 за 1960 г.

Мы публикуем текст доклада Анны Зегерс на V съезде немецких писателей.

Джон Говард Лоусон — John Howard Lawson (род. в 1895 г.) — американский киносценарист, драматург, кинокритик и публицист, один из деятелей Голливуда, брошенных в тюрьму за отказ «сотрудничать» с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Автор многих пьес и теоретических работ в области киноискусства. Его книга «Фильмы в битве идей» («Film in the Battle of Ideas», 1953) переведена на русский язык.

Публикуемая статья прислана в рукописи.

Масахито Ара (род. в 1913 г.) — японский критик. Начал свою деятельность в послевоенный период, выступив теоретиком так называемого «направления послевоенной литературы». Публикуемая статья написана для «Иностранной литературы».

Митчел Уилсон — Mitchell Wilson (род. в 1913 г.) — американский писатель. Советскому читателю известны романы Уилсона «Живи среди молний» («Live with Lightning», 1949; издан на русском языке под названием «Жизнь во мгле»), «Брат мой, враг мой» («My Brother, my Enemy», 1952), «Дэви Мэллори» («Davy Mallory», 1959); два последних романа публиковались в «Иностранной литературе» в 1956 и 1959 гг.

Роман «Встреча на далеком меридиане» напечатан в «Иностранной литературе» №№ 1—4 за 1961 г.

Оттьеро Оттьери — Ottiero Ottieri — молодой итальянский писатель. Автор романа «Сжатое время» («Tempi stretti», 1957). Мы публикуем отрывки из его новой книги «Доннарумма идет на приступ» («Donnarumma va all'assalto»).

Лео Монбуйран — Léo Monbouyrand — французский литературовед, профессор. Активно участвует в деятельности французских обществ дружбы и культурной связи с рядом стран народной демократии.

Людвиг Ренн — Ludwig Renn (род. в 1889 г.) — писатель и общественный деятель Германской Демократической Республики. Автор романов «Война» («Krieg», 1928), «После войны» («Nachkrieg», 1930), «Перед большими переменами» («Vor großen Wandlungen», 1936), «Упадок дворянства» («Adel im Untergang», 1944), «Война без битв» («Krieg ohne Schlacht», 1957), очерков «Поездка по России» («Rußland-fahrten», 1932), книги «Испанская война» («Der Spanische Krieg», 1955).

В этом номере журнала публикуется отрывок из книги Людвига Ренна «Заказчик — рабочий класс» («Auftraggeber: Arbeiterklasse», 1960).

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.

Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

А 03408 Сдано в производство 7/VII 1961 г. Подписано к печати 1/IX 1961 г.

Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66.+2 вкл. Зак. 1266.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 1962 году
журнал «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
предполагает
напечатать следующие произведения:

Жак Стефен Алексис «Деревья-музыканты» (Роман)
Жоржи Амаду «Старые рыбаки» (Роман)
Людвик Ашкенази «Ночной гость» (Пьеса)
Франц Кафка «Отчет для Академии» (Рассказ)
Эрскин Колдуэлл «Женщина по природе» (Роман)
Тодор Монов «Смерти нет» (Повесть)
Дитер Ноль «Приключения Вернера Хольта» (Роман)
Джеймс Олдридж (Новый роман)
Джон Стейнбек «Зима невзгод» (Роман)
Янош Фюлеп «Ботонд» (Повесть)
Леонардо Шьяшья «Тень совы» (Повесть)
Филипп Эрриа «Золотая решетка» (Роман)

Кроме того, редакция намерена напечатать новые произведения:

Луи Арагона, Генриха Бёля, Монго Бети, Грэхема Грина, Фридриха Дюрренматта, Ярослава Ивашкевича, Халлдора Лакснесса, Альберта Мальца, Альберто Моравиа, Яна Отченашека, Ивайло Петрова, Зденека Плугаржа, Титуса Поповича, Марина Преда, Ежи Путрамента, Виктора Рида, Жан-Поля Сартра, Людмила Стоянова, Андре Стиля, Митчела Уилсона, Фрэнка Харди, Оуяна Шаня и других зарубежных писателей.

В 1962 году на страницах журнала будут регулярно публиковаться статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур и творчеству выдающихся современных писателей Запада и Востока. Систематически будут рецензироваться новинки зарубежной литературы.

Читатели смогут познакомиться с высказываниями зарубежных и советских писателей, деятелей культуры, науки и искусства по актуальным вопросам международной жизни, со статьями и обзорами о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе «Из месяца в месяц» журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал выходит с иллюстрациями.

Подписная цена на 1962 год:

на год — 9 руб. 60 коп.
на 6 мес.— 4 руб. 80 коп.
на 3 мес.— 2 руб. 40 коп.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати», конторами и отделениями связи, почтальонами и общественными уполномоченными по подписке.

Герман Титов: СЛУШАЙ МЕНЯ, ВСЕЛЕННАЯ!

Рисунок РЕНАТО ГУТТУЗО для журнала «Иностранная литература».

Божидар Божилов

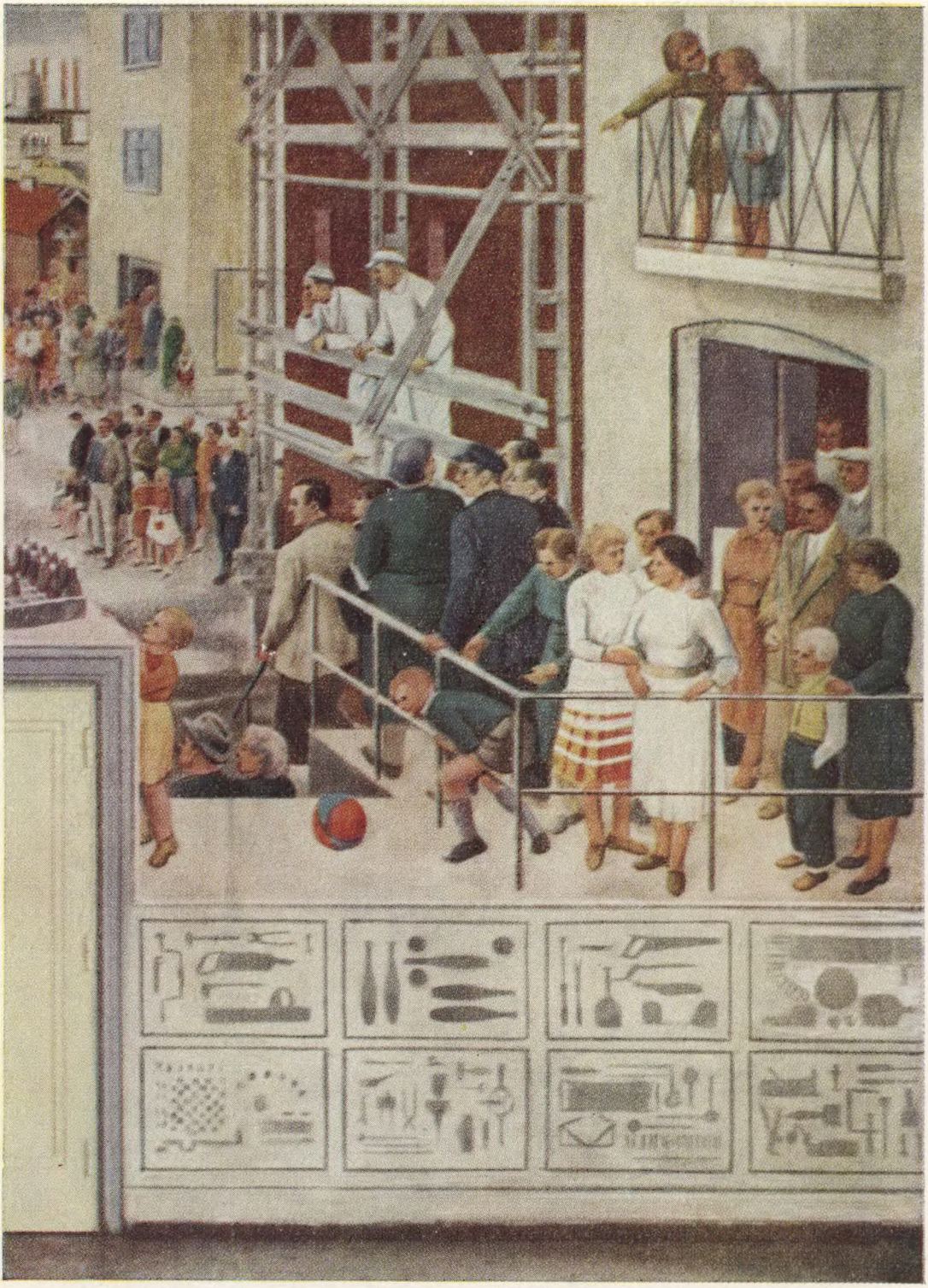
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!

Двадцатый век, к галактикам взлетая,
несет нам всем
торжественную весть:
есть космонавт — профессия такая,
уже такая должность в мире есть.
Знакомый плохо с картою небесной,
и я в тот день ошибки не избег,—
смотрите все: уже парит над бездной
не мертвая звезда, а Человек!
Такая должность и такое право:
он первым ищет путь к мирам иным.
Он трудится!
Не почести и слава,
а долг и верность управляют им.

Песнь спутников,
что в тихом звездном звоне
гремит, и величава и проста,
он завтра примет в твердые ладони,
он прояснит неясные места,
о том, что видел, даст отчет народу
он,
мягкий взор поднявший к небесам,
где светлых звезд мерцают хороводы,
где он звездой
сиял недавно сам!..

Перевод с болгарского
Виктора Виноградова

Фрагмент фрески Вольфганга Франкенштейна



Фрагмент фрески Вольфганга Франкенштейна

Цена 80 коп.